РЕШЕТОВ

Ксения Гашева

Издательский
центр «Титул»,
Пермь 2019

УДК 66.54
ББК 83

Издание подготовлено
при поддержке Министерства культуры
Пермского края в рамках реализации мероприятия
«Пермская библиотека» в 2019 году

Выражаем благодарность
Администрации города Березники
за помощь в издании книги,

Т. П. Катаевой за передачу личного архива
А. Л. Решетова в Березниковский
историко-художественный музей
им. И. Ф. Коновалова,

Музею ПАО «Уралкалий» за предоставление
архивных материалов,

Ассоциации кинематографистов
киностудии «Новый курс»
и лично режиссерам Б. Караджеву и О. Аверкиевой,

Музею книжной культуры и литературной жизни
Верхнекамья «Алконост» и лично Н. Исаковой,

Музею ПАО «Уралкалий»,
а также А. Г. Зебзеевой и Е. Гашевой

ISBN 978-5-905546-52-5

© Гашева К. Б., текст, 2019
© МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова», 2019
© ООО «ИЦ «Титул», макет, 2019

Что делают люди в книгах? Они, даже навек ушедшие от нас, в книгах живут, говорят, действуют. Вот почему гораздо отраднее встречать знакомые фамилии на книжных страницах, чем на кладбищенских плитах, вот почему книга не погост, а гостеприимный дом для многих.

А. Решетов
«Книга – лучше памятника»

О ЗАЙЦАХ, ПЕРЕБЕГАЮЩИХ ДОРОГУ

Недельная почта, стопа газет. А писем ваших все нет и нет. И вот, развернул я «Независимую газету», а там на последней странице такая радостная весть, что захотелось с кем-то поделиться: в 175-ю годовщину перебегания зайцем дороги русскому поэту Зайцу воздвигли памятник. <…> Я пошел и сделал ксерокс, и вот посылаю его вам, радуйтесь на здоровье! А ты, Леша, напиши по этому поводу блестящее стихотворение. У тебя получится.

Из письма Владимира Михайлюка Алексею Решетову (26.01.2001)

Читать чужие письма нельзя. Это всем известно. Частное письмо принадлежит адресату, в крайнем случае – отправителю. Выцветшие от времени документы, чудом сохранившиеся в семейном архиве, не предназначены для посторонних глаз. Имеем ли мы право совать нос в семейную переписку, в личную записную книжку, в детский дневник? Не потакаем ли праздному любопытству, когда используем этот бесценный для одного человека материал, чтобы написать биографию? Да и нужно ли нам знать биографию поэта? Ведь есть его стихи. Есть автобиографическая проза, где он сообщил о себе все, что захотел сообщить.

Но можно задать и другой вопрос: если бы судьба поэта сложилась иначе, было бы иным его творчество? Как беспощадные факты – время, место, случай, политические события, личные драмы – повлияли на выбор тем и героев, на интонацию и угол зрения?

Ничего не поделаешь – существует соблазн сказать (в крайнем случае, подумать): а что, если?.. Лермонтов получил желанную отставку и не прибыл в свой полк на Кавказ, навстречу ссоре с Мартыновым и дуэли. Гумилев не отправился в Африку. Пастернак в 1916-м не приехал на Урал. Есенин не встретил Айседору Дункан. Маяковский не увидел Парижа. Бродский не был объявлен «литературным трутнем» и не оказался в Норинской.

Пушкин, в конце концов!..

Если бы в декабре 1825 года, самовольно сорвавшись из Михайловского, он все-таки добрался бы до Петербурга? Но заяц вылетел из леса на дорогу, а возница или седок заметили его – белого на белом снегу. Не Бог ли выпустил заполошного зверька из рукава именно в том месте в то самое время? Чтобы суеверный Александр Сергеевич велел поворачивать, а возвратившись в Михайловское, с ходу написал поэму «Граф Нулин». Рассеял тоску, заглушил тревогу, а заодно свел счеты со всеми окрестными зайцами – оставят они привычку скакать, когда не надо!

Какая скверная погода!
У кузницы я видел ваш
Совсем готовый экипаж.
Наташа! там у огорода
Мы затравили русака...

Литературный заяц погиб, но реальный повлиял на ход истории русской культуры.

Писатель Андрей Битов, которому принадлежит идея памятника легендарному зайцу (то есть памятника Случаю, Выбору, Судьбе), писал: *«Есть вещи, которые про Пушкина рассказывали, есть, которые он сам рассказывал. <...> Никому, кроме него, известно не было, что заяц перебежал дорогу. Разве что самому зайцу. Пушкин рассказывал эту историю неоднократно и разным лицам. М. П. Погодин приводит и конечные слова его: “А вот каковы были бы последствия моей поездки. Я рассчитывал приехать*

в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!"

Что значит "с вами, мои милые"? Не прямое ли к нам обращение?» («Вычитание зайца»)

В интервью «Независимой газете» Битов объяснил идею памятника: окажись Пушкин в числе декабристов, «*ему суждена была другая судьба. Лучше или хуже? Вопрос не наш. Она была бы другая. И двенадцать его блестящих состоявшихся лет творчества, которые мы знаем от 1825 года до гибели в 37-м, были бы другими*».

Не было бы зайца – не было бы у нас «Медного всадника» и «Барышни-крестьянки».

Конечно, игры с сослагательным наклонением бессмысленны, история их не знает и знать не хочет. Но заячьи уши случая торчат из любой биографии. Один поворот дороги – и откроется взору совершенно иной пейзаж. А когда речь идет о поэте, этот иной пейзаж и будет описан. Значит, частная биография человека, оказавшегося поэтом, имеет значение для читателей.

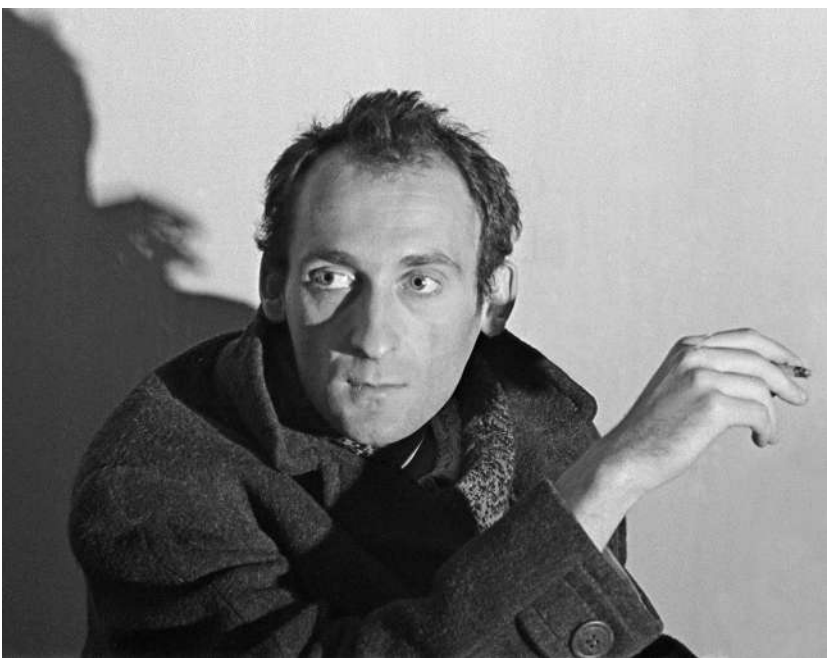
В 2017 году Тамара Катаева передала Березниковскому историко-художественному музею им. И. Ф. Коновалова архив своего мужа, Алексея Решетова. Работа с архивом не завершена. Его систематизация продолжается, а подробное изучение займет долгое время. Еще не раз исследователи будут перебирать бумаги и фотографии, сравнивать варианты рукописей, сопоставлять даты, проводить текстологический анализ стихов и прозы.

Эта книга – первый результат работы с решетовским архивом и первая попытка биографии поэта. Чтобы соединить в единый рассказ разрозненные факты, воспоминания и легенды, необходим исторический фон. В конце концов, любая биография зависит от эпохи, и в любой биографии эпоха отражается. А чтобы понять порой неясные намеки судьбы, ее знаки и подсказки, нужно попытаться увидеть картину в целом: выйти за рамки дат рождения и смерти героя. И речь не только о родословной, жизнь богата на совпадения, которые лишь на первый взгляд кажутся случайными.

Возможно, кто-то из тех, кто лично знал Решетова, скажет: все было не так! Это право свидетелей. А обязанность биографа опираться на документы и быть осторожным в интерпретациях.

Алексей Решетов не был человеком открытым, избегал публичных излияний и официальных мероприятий. Но по обе стороны уральского хребта его не раз называли лучшим поэтом Урала. Звание не верно. Не стоит распределять места. И тем более не стоит привязывать поэзию к местности, определять ее границы на карте. Речь не о региональном явлении. Решетов – поэт не березниковский, не пермский, не екатеринбургский, не уральский. Он просто большой русский поэт.

Его мало знают за пределами Урала. Он не избалован вниманием исследователей-филологов, и кое-кто считает его «местночтимым» стихотворцем с несостоявшейся судьбой. Но разве от того, что не все знакомы с шедевром, шедевр становится хуже? Не пора ли, наконец, всерьез поговорить о провинциальном поэте, дар которого намного больше его известности?



Строчки Решетова незаметно входят в память. Кажется, что они всегда там были и без них нельзя. Многие его стихи касаются души читателя и что-то преображают в ней. Если в душе рана – лечат, если печаль – просветляют, если сомнения – поражают точностью узнавания: так вот что со мной случилось! Это происходит потому, что в лучших своих стихах Решетов добился невозможного: единственно верное слово поставил в единственно нужное место. Как он это совершил – тайна непостижимая. Сам он говорил: «Если бы я знал, как это делается, я бы рассказал. Но я не знаю».

Тайну творчества невозможно разгадать. Однако стоит попытаться понять хотя бы тайну личности. Ответить на вопросы, которые неизбежно возникают. Почему Алексей Решетов, автор многих книг и член Союза писателей, 27 лет проработал на солемельнице? Почему ни разу не навестил родной Хабаровск, откуда его мальчиком привезли на Урал? Почему из всех возможных городов выбрал *тихие и невеликие* Березники? Отчего навсегда оставил идею поступать в Литературный институт и вообще не стал продолжать образование? И по какой причине имя горного мастера Березниковского калийного комбината включено в Кембриджский справочник интеллектуальной элиты мира? Почему Решетов не написал повесть «Трещина» и о чем должна была рассказать эта повесть? Что заставило его назвать свой итоговый текст так безжалостно: «Я себя не прощаю»? Почему «тихого лирика», *живущего в почти недоступной глуши*, поздравляли с юбилеем космонавты, Союз писателей Грузии, три губернатора и Британский совет по культуре? Почему, в конце концов, он неизменно называл свои стихи *стишками*? И почему памятник автору этих *стишков* стоит теперь в Березниках?..

Попробуем понять, какие события определили тональность стихов Алексея Решетова и его непростой жизненный выбор. Обстоятельства, при которых однажды ночью на белом листе появились слова, имеют значение: комната, где стоял стол, пейзаж за окном, а особенно, что было на душе у поэта, когда он поставил точку. Все факты биографии – семейные корни, дружбы, любови, потери, города, встречи и разлуки – переплавляются в слова. И когда мы читаем эти слова, запоминаем их, присваиваем себе – они влияют на нас.

…В декабре 2000 года «Независимая газета» сообщила:

> В селе Михайловском Псковской области в воскресенье состоялось открытие памятника зайцу, который, по преданию, перебежал дорогу русскому поэту Александру Пушкину. <…> Памятник представляет собой верстовой столб с надписью «До Сенатской площади осталось 416 верст» и с фигурой сидящего на нем зайца.

Ксерокс этой заметки Владимир Михайлюк отправил в письме Алексею Решетову, из Перми – в Екатеринбург. Хотел порадовать друга. Он-то знал, какое значение для Решетова имеет все, связанное с Пушкиным. Неизменно. С самого момента рождения.

Часть I
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Глава 1
ТРАУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Осколок солнца догорал,
Из труб печных летела сажа.
И снова Пушкин умирал.
И Натали шептала: – Саша...

А. Р.

Алексей Решетов родился в Хабаровске 3 апреля 1937 года.

Потом мать расскажет сыну, как он появился на свет. А он запишет: *«1 апреля 1937 года отец улетал в командировку. Мать – именинница, с утра искупалась. Появился жарок. "За мной приедет машина, завезем тебя в больницу* – решил отец. – *Если что-то серьезное, я не полечу"*.

Гинеколог сказал: "Рожать будете ровно через месяц. А жар от простуды, ничего страшного". И отец улетел.

А мать свалилась дома с температурой 40 градусов. К бабушке при-

Хабаровск. 1930-е годы

шли гости 2-го, а 3-го маме стало так плохо, что пять раз вызывали "скорую". Кажется, на седьмой раз завопила сама врачиха – скорей в машину! А машины были тогда неприспособленные, обыкновенные ЭМКи. Только накинула тужурку. Боялась родить в машине. Привезли в гинекологическое отделение. А там: – Не к нам, у нас тут оборудования нет, несите в родильное! И там: – Не к нам, у нее какая-то зараза, она тут всех перезаразит, несите в инфекционное! Санитарки поволокли. В инфекционном замахали руками: – У нас тут заразные, мы же ребенка заразим! Несите обратно! – Мы тут бросим! – взревели санитарки, но все-таки по этажам поволокли опять до гинекологии. Опустили носилки у дверей в коридоре.

– Не смейте заносить! Я сейчас наведу порядок! – бросилась куда-то врачиха.

И пока она бегала, я родился. В коридоре.

Сейчас, перебирая в памяти свою жизнь, усмехаюсь иногда – ну чего я так торопился? В этот прекрасный мир?

У матери оказался тиф, вот в чем дело».

Я не был в счастливой рубашке рожден...

Страна в тот год торжественно отмечала столетие со дня гибели Пушкина. Юбилей убийства принял имперские масштабы. И *Солнце русской поэзии*, разбитое на миллион осколков, освещало все уголки СССР страшным закатным огнем. Не этот ли кровавый отсвет ворвался потом в решетовский стих непривычно резкими строками?

Я знаю, что мир будет вечен,
Побейся со мной об заклад,
Хотя и идет каждый вечер
На мокрое дело закат...

В 1937-м вопросы вечности в стране воинствующего атеизма никого, казалось, не волновали, хотя стояли необычайно остро – смерть ходила рядом с каждым.

И везде был Пушкин. На обложках школьных тетрадок, на почтовых марках, в колхозных клубах и заводских цехах, на охотничьих становьях, железнодорожных станциях и на театральных афишах, на конфетных коробках, в кустарных мастерских и на прилавках магазинов... Общий тираж произведений Пушкина, выпущенный в то время в СССР, превысил 14 миллионов. Книги выходили на всех возможных языках, включая ассирийский, бурятский, греческий, еврейский, коми-зырянский, монгольский, нанайский, цыганский, чукотский и язык эсперанто.

Союз советских художников объявил всесоюзный конкурс на пушкинскую тему. Результат этого мероприятия получился пугающим: первая премия не досталась никому, а вторую присудили художникам Федорову за работу «Похороны Пушкина» и Горбову за работу «Дуэль».

Ликовали пушкинские карнавалы, гремели рифмами пушкинские вечера поэзии, взрывались дружными аплодисментами пушкинские торжественные заседания. По всей стране открывались пушкинские библиотеки и музеи. В том числе открыт музейный комплекс в Михайловском. И если в 1918 году усадьба поэта в Святых Горах (Михайловское-Тригорское-Петровское) была разграблена и сожжена крестьянами, то через 19 лет бывшего барина чествовали с размахом.

15 тыс. земляков Пушкина съехались в Михайловское. Вдоль дороги пронеслось 290 троек, разукра-

шенных цветными лентами, зеленью, лозунгами на кумаче, портретами поэта. Имя Пушкина звучит повсюду: МТС им. Пушкина, колхоз «Уголок Пушкина». Пушкинский район объявил соревнование на лучшее знание произведений Пушкина. <...> Самолет, реющий над огромным митингом, сбрасывает летучки, в которых строчки из пушкинского «Памятника» чередуются с призывом к повышению урожайности пушкинских полей.

Среди новых песен советской деревни не случайно упоминается имя Пушкина:

Александр Сергеич Пушкин,
Жаль, что с нами не живешь.
Написал бы ты частушки,
Чтобы пела молодежь.

«Правда», 10 января 1937 года

По городам и весям прокатилась уже привычная советским людям волна переименований. В честь Пушкина называли улицы, площади, набережные, парки... Бывшее Царское Село, ставшее после революции Детским, получило теперь имя бывшего лицеиста. На Черной речке на месте злосчастной дуэли был воздвигнут девятиметровый гранитный обелиск. Возникла идея перенести прах Пушкина в Москву и создать вокруг него Пантеон русских писателей.

Советские руководители и деятели культуры состязались, кто сделает *Наше все* созвучнее эпохе. Поэту вручили партбилет, он стал главным оружием в борьбе за патриотическое воспитание.

Прошло 100 лет с тех пор, как рукой иноземного аристократического прохвоста, наемника царизма, был застрелен величайший русский поэт. Пушкин целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в нашем народе. В конечном счете, творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан!

«Правда», 10 февраля 1937 года

Московский театр народного творчества готовит спектакль «Пушкин — великий поэт русского

народа». В спектакле находит отражение характерный эпизод из челюскинской эпопеи <...>: чтение Пушкина на льдине после гибели «Челюскина». Эпизод «Пушкин в колхозе» исполняется колхозниками Пушкинского района (бывшее с. Михайловское).

«Правда», 1 февраля 1937 года

В столетнюю годовщину со дня смерти поэта в Большом театре собрались руководители СССР во главе со Сталиным. Радио на всю страну транслировало это торжественное заседание «пушкинистов». В каждом доме звучала из радиоточки речь председателя Всесоюзного пушкинского комитета Бубнова: «Только великая страна победившего социализма по достоинству может оценить великого поэта Пушкина <...> Пушкин принадлежит тем, кто борется и побеждает под великим знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Пушкин стал теперь нашим товарищем в борьбе за коммунизм!» А затем гремели вдохновенные строки Демьяна Бедного:

Ты слышишь ли, Пушкин, команду «стреляй»,
ты видишь костров огневую завесу?
Там в Пушкиных целит Адольф-Николай
руками кровавых фашистских Дантесов.
<...>
Да здравствует Ленин!
Да здравствует Сталин!
Да здравствует солнце,
Да скроется тьма!

Но солнце было утомленным, закатным, и тьма подползала все ближе. Происходящее смахивало на пир во время чумы. Пушкинский юбилей приобретал отчетливо инфернальный оттенок.

Люди защищались от кипучего безумия юмором. Михаил Зощенко сочинил свою «Первую речь о Пушкине»: *«С чувством гордости хочется отметить, что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий. Нами, во-первых, приобретен за 6 руб. 50 коп. однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратным плательщикам о невзносе квартплаты».*

Возник целый цикл анекдотов на пушкинскую тему: *«Пришел однажды Пушкин на прием к вождю всех времен и народов. “На что жалуетесь, товарищ Пушкин?” – “Жить негде, товарищ Сталин”. Сталин снимает трубку: “Моссовет! У меня тут товарищ Пушкин. Чтобы завтра у него была квартира. Какие еще проблемы, товарищ Пушкин?” – “Не печатают меня, товарищ Сталин”. Сталин снова снимает трубку: “Союз писателей! Тут у меня товарищ Пушкин. Чтобы завтра напечатать его большим тиражом”. Пушкин благодарит вождя и уходит. Сталин снова снимает трубку: “Товарищ Дантес! Пушкин уже вышел”».*

За подобные шутки светила статья и рассказчику, и слушателям. Но удержаться было уже невозможно – трагедия гибели национального поэта отчетливо рифмовалась с ужасом настоящего. Граждане мрачно шутили: «Если бы Пушкин жил не в девятнадцатом, а в двадцатом веке, он все равно умер бы в 37-м».

Пожалуй, самым знаменательным событием юбилейных торжеств стал многотысячный митинг у памятника поэта в Москве. В то время памятник стоял еще на старом месте – в начале Тверского бульвара, и 10 февраля 1937 года окруженный фонарями и бронзовой цепью печальный Пушкин, склонив голову, глядел прямо на собственный гигантский портрет, укрепленный на стене Страстного монастыря, а вокруг ликовала толпа. Впрочем, повод для ликования был. Две поэтические строки в тот день вырвались из-под запрета.

Первое посмертное собрание сочинений Пушкина готовил к изданию Василий Жуковский. Поневоле ему пришлось стать не только редактором, но и цензором погибшего друга. Многие произведения победившего ученика побежденный учитель исправил. И, пожалуй, самой антипушкинской правке подверглось знаменитое стихотворение «Памятник». Жуковский переписал всего три строки. В четвертой от греха подальше заменил *Александрийский столп* на *столп Наполеонов*, а еще переделал 13-ю (чтобы сохранить рифму) и 15-ю (по цензурным соображениям). Три строки, но содержание всего стиха изменилось до неузнаваемости. Произошла подмена смыслов. Вариант Жуковского звучал так:

И долго буду тем **народу я любезен**,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что **прелестью стиха живой я был полезен**
И милость к падшим призывал.

В 1880 году, когда открыли первый в России памятник поэту, на его пьедестале выбили строчки именно этого, отредактированного Жуковским, стиха. В таком виде памятник простоял 57 лет. Марина Цветаева, возмущенная «антипушкинским введением пользы в поэзию», назвала эту подмену «ложью царя, которая стала ложью народа». («Тебе бы пользы все – на вес кумир ты ценишь Бельведерский», – насмешливо говорит пушкинский Моцарт своему Сальери.)

Но дело не в пользе. Дело в свободе. Как ни удивительно, именно в 1937 году позор был, наконец, смыт. На постамент возвратили подлинные пушкинские строки, все четверостишье целиком:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Ни в какую другую эпоху эти слова не звучали так вызывающе и так страшно.

Юрий Трифонов писал в романе «Исчезновение»: *«Стояла пушкинская зима. Все пронизывалось его стихами: снег, небо, замерзшая река, сад перед школой с голыми черными деревьями и гуляющими по снегу воронами. <…> Из репродуктора каждый день разносилось что-нибудь пушкинское, и утром, и вечером. В газетах бок о бок с карикатурами на Франко и Гитлера, фотографиями писателей-орденоносцев и грузинских танцоров, приехавших в Москву на Декаду грузинского искусства, рядом с гневными заголовками “Нет пощады изменникам!” и “Смести с лица земли предателей и убийц!” печатались портреты нежного юноши в кудрях и господина в цилиндре, сидящего на скамейке или гуляющего по набережной Мойки».*

Дни государство посвящало поэзии, ночи – допросам. *Свободы сеятель пустынный* тоже стал поводом для репрессий. Заместитель директора Пушкинского дома профессор Юлиан Оксман был осужден на 5 лет лагерей за «попытки

срыва юбилея Пушкина путем торможения работы над юбилейным собранием сочинений» (потом к сроку добавили еще 5 лет). Запретили к постановке музыкально-театральное представление «Борис Годунов», подготовленное Всеволодом Мейерхольдом, – оригинальный (до изъятий царской цензуры) текст Пушкина, музыка Сергея Прокофьева. Мейерхольда уже стерегла близкая гибель, Прокофьева – опала. Пароходы с заключенными, прибывающие в 1937 году на Соловки, встречал плакат, укрепленный на стене закрытого Соловецкого монастыря: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

Уместнее было бы процитировать стихотворение «Андрей Шенье»:

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! О позор!

В Хабаровске, где Нина Павчинская и Леонид Решетов ждали рождения второго сына, тоже планировали открыть к юбилею памятник поэту. Его собирались поставить в сквере рядом с новеньким зданием педагогического института. Но строительство института затянулось, юбилей отгремел, потом началась война. Открыли памятник лишь в 1949-м, Алексей Решетов никогда его не видел. А жаль. По одной из местных легенд, автором памятника был японский военнопленный – бывший солдат Квантунской армии и выпускник Токийской школы изящных искусств.

…В решетовском архиве хранится тетрадь с портретом Гете на обложке. В тетради записи о литературе, и больше всего – о Пушкине. Среди них такая: *«Ранним утром 6 февраля останки Пушкина опускают в промерзшую землю. Тургенев, Е. и М. Осиповы и тригорские крестьяне были последними, кто видел Пушкина в лицо. Отныне хранить его облик предстояло его собственным стихам, портретам – и человеческой памяти».*

Зима на Дальнем Востоке была тревожной, весна выдалась страшной. По краю катилась волна генеральных чисток и арестов. А гром юбилейных торжеств бил в уши Нины Павчинской, как некая увертюра судьбы ее второго сына.

Решетов напишет, обращаясь к Пушкину:

Я только тень при божественном свете,
Я только мышка на бриге твоем.
Но поминать нас грядущие дети
Будут, хоть изредка, вместе, вдвоем!

Он прав. Невозможно не помянуть их вместе. И не только потому, что Пушкин – тенью на стене, звоном колокольчика вдали, пером в раскисшем снегу – так часто будет возникать в стихах и прозе Решетова. Но и потому, что мало кто из русских стихотворцев столь непоколебимо выполнил пушкинский завет:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

А еще чисто биографически, из-за рокового 1937-го, когда один снова умирал, а другой родился:

Я, как волк, появился в апреле
В этом яростном мире большом.
Мне Авдотка играл на свирели.
Я лежал на земле голышом.

Обстоятельства сразу расставили главных для новорожденного людей по своим местам. Отец был далеко. Мать металась в жару, и загнанные санитарки таскали ее, неприкаянную, с этажа на этаж. Бабушка и брат в тревоге ждали дома… И надо всем – гибель Пушкина, которую превратили во всенародный праздник.

Впрочем, раз уж речь о поэте – речь о судьбе. И если биография начинается рождением, то судьба проявляет себя гораздо раньше.

Глава 2
ЛЕКСО

Кем я был до появленья
Своего на белый свет?
Пылью? Облаком? Растеньем?
Есть вопрос. Ответа нет.

А. Р.

В жилах Алексея Решетова текли три крови – русская, польская и грузинская. Сам он немногое знал о своих предках. А то, что знал, можно разделить на факты, догадки и легенды (впрочем, так обстоит дело в любой семье). Но еще неизвестно, что важнее для самосознания – действительность или миф.

Ольга Александровна, бабушка А. Решетова

В одной из черновых тетрадей Решетова есть такая запись: *«Бабушка моя очень гордилась тем, что родилась в Озургети. В XVII веке это был стольный город Гурии, владетельного грузинского княжества. Но в половине XX века, когда бабушка получала бессрочный паспорт, молоденький лейтенант спросил ее, что это за город, и бабушка немедленно заявила ему, что, во-первых, она ему не мамаша, а во-вторых, может, молодой человек не знает и кто такой Акакий Церетели? <...> Ну и бабка у тебя! Гвоздь-бабка».*

Молоденький лейтенант, конечно, не знал, кто такой Церетели. В этом, увы, нет ничего удивительного. Но вся Грузия знала и, как принято в этой стране, называла его просто по имени: Акакий. А еще его именовали покровителем своего народа, вдохновителем нации, некоронованным королем.

Большой поэт, просветитель, мыслитель, общественный деятель Акакий Церетели (1840–1915) мечтал о свободной и сильной Грузии, но был чужд духу местничества и национализма. Его художественные произведения стали классикой. Уже при жизни его почитали и любили даже в самых

отдаленных горных селах, и память о нем для грузин священна.

Впрочем, даже березниковский милиционер (по другой версии, это был работник паспортного стола), оскорбивший Ольгу Александровну Павчинскую, урожденную Нижарадзе, своим географическим невежеством, несомненно помнил одну песню на стихи Церетели. Ее знали в Советском Союзе все как любимую песню вождя народов. В каноническом переводе Татьяны Сикорской начало звучит так:

Я могилу милой искал,
Сердце мне томила тоска,
Сердцу без любви нелегко,
Где ты? Отзовись, Сулико!

Музыку на эти стихи написала родственница поэта Варинка Церетели. В СССР песня стала популярна все в том же 1937 году, когда прозвучала в Москве во время Декады грузинской культуры. Правда, при исполнении и грамзаписях песню обычно величали народной. Но Церетели и был народным поэтом.

Однако какое отношение классик грузинской литературы имеет к семейной легенде русского поэта?

В июле 1996 года ответственный секретарь Пермской писательской организации Н. Н. Вагнер получил необычное письмо.

Уважаемый Николай Николаевич!

В отдел культуры Управления воспитательной работы Группы Российских войск в Закавказье обратилась известная грузинская журналистка и поэтесса Гули Салуквадзе с просьбой оказать помощь в установлении контакта с российским поэтом Решетовым Алексеем Леонидовичем. Недавно в грузинской печати прошли ее публикации о потомственных связях А. Решетова с великим грузинским поэтом А. Церетели. Эти материалы нашли широкий отклик среди общественности Грузии, были восприняты как сенсационные и вызвали большой интерес в литературных кругах республики.

Прошу переадресовать письмо Г. Салуквадзе и ее статью Алексею Леонидовичу Решетову, проживающему в г. Перми. <…> От себя хочется добавить, что военные органы управления культурой также глубоко заинтересованы в укреплении

культурных связей между Россией и Грузией и посему взялись выступить посредником в данном вопросе.

С уважением
начальник отдела культуры российских войск
в Закавказье подполковник А. Филипенко

Причиной интереса грузинской журналистки к уральскому поэту послужило издание шестнадцатилетней давности.

В 1980 году в Москве была издана антология «Страницы современной лирики», составленная известным критиком Вадимом Кожиновым. В книгу вошли произведения двенадцати поэтов: Владимира Соколова, Николая Рубцова, Алексея Прасолова, Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Алексея Решетова, Юрия Кузнецова, Анатолия Жигулина, Глеба Горбовского, Олега Чухонцева, Василия Казанцева и Эдуарда Балашова. Книгу выпустило издательство «Детская литература» тиражом для СССР нормальным – 75 тысяч экземпляров. Антология подводила некий итог двух предыдущих десятилетий, Кожинов включил в нее лириков, которые «не только активно работали в шестидесятых-семидесятых, но именно в этот период по-настоящему вошли в поэзию <...>». В издании имелись фотографии авторов и краткие биографические справки о них.

Сборник не затерялся на бескрайних просторах страны, не стал проходным (его и сегодня высоко ценят любители поэзии, отмечая снайперски точный выбор составителя). В 1983-м антология была переиздана. Вот тогда она и попала в руки журналистки Гули Салуквадзе. Сведения, сообщенные издателями о поэте Алексее Решетове, глубоко взволновали ее. В биографической справке значилось: *«Родился 3 апреля 1937 года в Хабаровске. Отец – видный дальневосточный журналист, мать – правнучка грузинского поэта Акакия Церетели, также работала в газете...»*

Салуквадзе перевела на грузинский язык стихи Решетова, помещенные в книге, написала и опубликовала статью о его возможной кровной связи с грузинским классиком и, в конце концов, разыскала российского поэта.

В общем-то, грузины знали, что в биографической справке ошибка, и Решетов не может быть праправнуком

великого Акакия, но искренне надеялись на чудо. Искали в его строках особый поэтический код. Ловили сходства.

Ничего, что единственный сын покровителя нации умер в Париже в 1943 году в возрасте 74 лет и не оставил осиротевшей нации потомства. Зато Решетов написал:

Я знал человека. О нем,
Должно быть, вы слышали прежде:
Он в свой непостроенный дом
Входил в непошитой одежде.
Садился поближе к огню
В несуществовавшем камине
И ласково гладил жену,
Хотя ее нету в помине.
И в этой нелегкой судьбе
В особенно горькие миги
Искал утешенья себе
В никем не написанной книге.

Разве не перекликаются эти стихи с известными словами Церетели: «Удивительный я человек, жену имею – и не имею». И ведь сына Акакия Церетели и Натальи Базилевской тоже звали Алексеем, Лексо. И поэму «Алексей» счастливый отец сочинил в год рождения сына. И стихи уральского поэта так прекрасно звучат по-грузински!

Гули Салуквадзе писала в статье, опубликованной в республиканских газетах «Литературная Грузия» и «Возрождение»: *«У меня на столе лежит сборник стихотворений “Страницы современной лирики”, в котором помещены стихотворения поэтов одного поколения.* <…> *Среди них и Алексей Решетов. Рядом с фотографией Алексея Решетова раскладываю известные фотографии семьи Церетели, ищу сходства. Акакий Церетели – Наталья Базилевская – Алексей Церетели – Алексей Решетов… Чудится, смотрю на зеленый росточек от глубоко сидящего корня, оставшегося после молнии…»*

Гули писала Решетову как ровеснику (она тоже знала, что такое военное детство, и помнила, как «пластинкой о синем платочке крутилась родная земля») и как поэт поэту, взволнованно и искренне: *«Вы, наверное, хорошо представляете себе, какова значимость и какую сенсацию вызвало известие о том, что у нашего великого поэта Акакия Церетели*

имеется в вашем лице потомок. <…> Алексей Леонидович! Отзовитесь, пожалуйста. Для нас важно знать о вас более подробно: воспоминания и рассказы матери, фотографии, письма, реликвии и т. д., словом, все, что может послужить аргументом для подтверждения вашего родства с великим Церетели».

Решетов тоже был взволнован. Как и любимая бабушка, он гордился своими грузинскими корнями. Он откликнулся, но попытался осторожно все объяснить.

1.09.1996

Гули Георгиевна!

Очень тронуло меня Ваше письмо и статья, очень благодарен Вам за Ваши переводы моих стихов.

К сожалению, у меня нет никаких материалов, подтверждающих родство с великим Акакием Церетели. <…> Не осталось ничего, кроме посмертных записок моей матери. Бабушка моя, Ольга Александровна Павчинская, наполовину грузинка, считала себя грузинкой полностью. Когда какой-то милицейский чиновник в Березниках выдавал ей паспорт и усомнился, что есть такой город – Озургети (там бабушка моя родилась в 1894 году), она этого милиционера чуть не побила.

С Грузией есть в нашем роду еще одна связующая нить: мой двоюродный дед Николай Владимирович Павчинский был редактором «Зари Востока».

Буду рад, если мой ответ Вас хоть чем-то утешит. Буду всегда благодарен Вам за Ваше благородное внимание.

Посылаю Вам записки матери, газетные вырезки о ней и о себе, может быть, они как-то пригодятся. И посылаю свою последнюю книгу. Если мои стихи зазвучат по-грузински, прочтут их на нашей общей родине, буду счастлив!

Спасибо Вам, дорогая, добрая душа.

Ваш А. Решетов

О записках Нины Вадимовны Павчинской, копию которых ее сын отправил в Грузию, речь будет позже, поскольку относятся они к области фактов, а не к миру легенд. Пока же надо сказать, что в записках этих лишь раз упоминается фамилия Церетели. Нина Вадимовна сообщает о своей прабабушке, в честь которой и получила имя: «Княгиня Нина, урожденная Церетели, – владелица марганцевых

рудников». После замужества эта дама стала носить фамилию Нижарадзе.

И Церетели, и Нижарадзе – известные в Грузии старинные родовитые семьи. Обе они дали своей стране многих выдающихся людей.

К воспоминаниям матери Решетов сделал приписку для Гули: *«В “Пережитом” Акакия Церетели есть такое упоминание: “Сын Григола Церетели, отец Нестора Церетели, Дмитрий воспитывался в России. Вскоре после возвращения он женился на богатой наследнице Нижарадзе из деревни Опшиквити. Нижарадзе и «привязали» Дмитрия”. Может быть, это замечание поможет Вам уловить, установить истину?»*

Итак, мать князя Нестора Церетели, генерал-майора, флигель-адъютанта, участника Русско-турецкой войны и многих кавказских баталий, происходила из рода Нижарадзе. Сам Нестор в 1879–1882 годах был избран предводителем дворянства Кутаисской губернии. А Нина Вадимовна Павчинская сообщает о своем прадеде: «Георгий Нижарадзе – предводитель дворянства в городе Кутаиси». Место действия и даже выборная должность, таким образом, совпадают. Случайностью, конечно, это быть не может. Но если Акакий пишет, что девица Нижарадзе вышла замуж за представителя семьи Церетели, то Нина Вадимовна помнит прямо противоположное: девица Церетели стала женой представителя рода Нижарадзе.

Впрочем, Грузия не такая большая страна. Две видные семьи могли не раз пересечься и переплестись. И к родству на Кавказе особое отношение. Там шутят: если ваша собака пробегала мимо нашего плетня, значит, мы уже родственники.

Во всяком случае, Гули Салуквадзе духом не упала и поисков не оставила. В январе 1996 года она писала Решетову:

«Основательно ознакомившись с записями Вашей матери, сразу же приступила к розыску необходимых материалов, чтобы составить генеалогическую схему, где была бы указана ваша ветвь. Но это оказалось не так просто. Перечитала литературу, побывала у многих адресатов, представителей рода Церетели, ознакомилась с семейными архивами, рассказала им о Вас, что в каждой семье вызывало большой инте-

рес, у многих и глаза прослезились, когда прочитали в конце Вашего письма слова "Ваш Алексей Решетов". Все они тепло и с любовью обнимают Вас.

В одной из семей показали портрет, на котором надпись: "Нино Церетели". Из фотопортрета смотрит красивая, умная, представительная дама. Я не решилась выслать Вам копию этой фотографии, так как надпись сравнительно свежая, и я пока не уверена, что это фотография прабабушки Вашей матери, ошибиться же тут считаю себя не вправе. Встречалась и с другими фактами, заслуживающими внимания. Продолжаю искать корни Вашей ветви. Приступила к переводу Ваших стихов, они нашли у наших читателей большое признание. Так что у вас тут есть и родня, и поклонники, и доброжелатели. <…>

Высылаю статьи о Вас и перевод нескольких стихов. Буду писать. С наилучшими пожеланиями.

Гули Салуквадзе».

Однако для генеалогических изысканий время было неподходящее. И Грузия, и Россия переживали тяжелые и беспокойные времена. Удалось ли тбилисской журналистке найти какие-нибудь сведения о грузинской родне русского поэта – неизвестно. Больше писем от нее в решетовском архиве нет.

Сам Алексей Леонидович тоже пытался что-то узнать, точнее, просил о помощи в этом Анну Бердичевскую, свою добрую знакомую, переехавшую из Перми в Тбилиси. Но… история, злоба дня. А может, просто легенда должна оставаться легендой.

Однако душу Алексея Решетова, конечно, согрели заключительные строчки статьи Гули Салуквадзе, прямо обращенные к нему: *«Приезжайте, Алексей! В Грузии Вас, наверное, назовут Лексо! Здесь бурлят гены Великого предка.* <…> *Приезжайте, Грузии присуще сильно любить! Покровительница Акакия есть сама Грузия, и пока она существует, ему не будет недостатка ни в тепле, ни в слезах, ни в цветах. Но совершенно по-другому затрепещут его остывшие кости от прикосновения Ваших рук к его могильному камню. Озарится его божественный дух, и, если внимательно прислушаетесь, может быть, услышите таинственный зов: "Алексей!"».*

2 апреля 1997 года, накануне шестидесятилетия, Решетов получил телеграмму из Союза писателей Грузии.

Дорогой Алексей Леонидович!

Союз писателей Грузии от всего сердца поздравляет Вас с 60-летием со дня рождения, желает долгих счастливых лет жизни и славных творческих удач. Акакий и Грузия безраздельны, и как бы далеки ни были, его корни для нас очень близки. Пусть не смущает Вас допущенная издательством Москвы неточность. Грузинский народ всегда ищет и прижимает к сердцу ближнего.

Кровь, конечно, не вода. Но главное все же – духовное родство. Мы до сих пор не знаем (можно надеяться, пока!), где и как пересекались ветви родов Церетели и Нижарадзе. Но имена великого Акакия и Алексея Решетова связаны. Отношением к миру и людям. Поэтической традицией.

В биографическую справку о Решетове, напечатанную в антологии «Страницы современной лирики», вкралась ошибка, переполошившая целую независимую республику. Но в предисловии к этой книге Вадим Кожинов написал правду: *«Поэзия, в чем я не раз убеждался, до конца открывается лишь тому, кто умел освоить и классику, и лучшие произведения современности, воплотившие в себя стихию нашей сегодняшней жизни. <…> В восприятии тех, кто совсем не знает современной поэзии, творения прошлых времен неизбежно предстают как нечто не вполне живое, как памятники. И только лишь воочию убедившись, что и сегодня продолжается в принципе то же самое поэтическое дело, можно воспринять стихи далекого прошлого во всей их жизненности. Не менее важно и другое. Чтобы по-настоящему проникнуть в мир поэзии, человеку необходимо осознать ее прямую, непосредственную связь со своей собственной личностью».*

Глава 3
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Вот пустой дом.
Кто-то жил в нем.
Вот глухой сад,
Словно вход в ад.
Там на дне гнезд
Соль от слез звезд.
Вот косой крест –
Сколь таких мест.
А. Р.

Записки Нины Вадимовны Павчинской – главный источник сведений о предках Алексея Решетова, о корнях семьи. Текст очень короткий, всего несколько страниц. Нина Вадимовна писала его в самом конце жизни, в тот момент для нее уже перестало иметь значение второстепенное, и потому рассказала она лишь о главном: о самых счастливых временах и о самой страшной беде.

Первая часть мемуаров больше напоминает сказку, чем хронику. Там нет дат и мало географических названий. Зато есть хлебосольный хозяин, в доме которого бочки сами наполняются вином, а невидимые поварята готовят пир на весь мир. Там красавица танцует на балу с царем, вопреки ухищрениям ее соперниц (а царь – просто царь, без исторических подробностей). Там солнце вечно стоит в зените и горы поднимаются на горизонте. Там звучат детские голоса и музыка, там читают стихи и растят цветы. Первенец молодой семьи рождается посреди военного похода, и хочется верить, что этому ребенку уготована счастливая судьба. А все страхи и дурные предчувствия – лишь плод слишком богатого воображения. Никто не погибнет, все останутся вместе и будут любить друг друга…

Но к концу первой части записок богатое поместье вдруг оборачивается углом в убогой комнатке, Кавказ превращается в Дальний Восток, и, словно украдена скатерть-самобранка, на столе вместо роскошных яств появляется суп из пшенки и сушеной рыбки, пахнущей огурцом.

Записки публиковались не раз: в альманахе «Кама» в 2003 году, в сборнике воспоминаний о поэте «Друзья

расскажут» в 2006-м, затем в третьем томе сочинений Решетова. Этот драгоценный текст нельзя обойти вниманием. Приведем его почти полностью. Лишь последнюю главку – об Ольге Александровне Петровой, в замужестве Павчинской, – прибережем на потом. Про бабу Олю необходимо говорить отдельно и гораздо подробнее, чем это сделала ее дочь.

Нина Павчинская. *Из воспоминаний*

ПРАДЕД

Георгий Нижарадзе – предводитель дворянства в городе Кутаиси. Хлебосольный, радушный хозяин. С утра во дворе подымался переполох, метались поварята, ловили кур, индюшек, стоял дым коромыслом, надо было обеспечить едой такую ораву. За стол никогда не садились меньше двадцати человек. Одних детей девять человек, а если гостей было мало, прадед считал день потерянным. После ужина садились играть в преферанс, гостей оставляли ночевать, а утром все начиналось сначала. Одни гости уходили, другие приходили, и так без конца. Воды в доме никто не пил, везде стояли кувшины с молодым вином. Во дворе было закопано пять огромных кувшинов.

Прадед был ужасный паникер. Вот два примера.

Если куда-нибудь должен был ехать, например, вечером в десять часов, то в восемь часов он уже торжественно, опершись о палку, сидел на станционной скамейке. Когда его спрашивали, зачем он себя мучает, ведь поезд придет только вечером, он отвечал: «А черт его знает. Вдруг надумает прийти раньше… Так вернее».

В Кутаиси ждали приезда царя. Готовились к этому событию кто как мог. Закладывали имения, влезали в неоплатные долги, чтобы сделать женам небывалые туалеты. Некоторые дамы доходили до того, что золотом расшивали свои панталоны. А прабабушка, красавица, была на этом приеме в своем обычном национальном костюме (европейского платья она никогда не носила). И случилось невероятное для всех – царь протанцевал какой-то танец именно с ней, после чего прадед чуть с ума не сошел от страха. Дома он рвал на себе волосы, бегал по комнате и кричал: «Что ты наделала? Погубила, погубила. Пропал я теперь, пропал… Сейчас заберут меня – вай мне…»

ПРАБАБУШКА

Княгиня Нина, урожденная Церетели, – владелица марганцевых рудников. Знаю о ней только, что была она очень красивая, спокойная, умная, прекрасная мать большого семейства: четыре дочери и пятеро сыновей, из которых я знаю кое-что только о самом любимом сыне Датико. Об остальных я ничего не помню. Видимо, они были совсем маленькие, и о них еще нечего было рассказывать.

ДОЧЕРИ

Александра – моя бабушка (баба Саша).

Соня – обладала чудесным голосом. Бабушка говорила, что из лучших певиц того времени ей не было равных.

Маша – самая красивая, а замуж вышла против воли родных и очень неудачно.

Елена – семнадцатилетняя убежала из дома с офицером, и говорить о ней никому не разрешалось, она была предана полному забвению.

С годами семья распалась. Прадеда парализовало, он всех замучил всякими причудами и, пролежав очень долго, умер. Дети подросли и разошлись кто куда. Прабабушка со своими рудниками разорилась. И последнее время жила в деревне, в своем поместье с любимым сыном – юристом Датико. Оба они без памяти любили: она свою внучку, а он – племянницу Люлюсю (мою маму). И совсем ее избаловали.

В детстве и молодости я беспредельно любила четырех человек: бабу Сашу, маму, Вадима и Валентина. После замужества к ним прибавились Леша (муж), Бетя и Алеша, а к старости – Оленька.

БАБА САША

(Александра Георгиевна)

По окончании института благородных девиц Саша Нижарадзе стала Александрой Георгиевной Петровой, выйдя замуж за моего деда, офицера – Александра Дмитриевича. Друг друга они называли Сашами, а я и Вадим никогда не называли их бабушкой и дедушкой. Мы называли их, как все дети в доме, мама и папа. Только баба Саша была мама большая, а наша – мама маленькая. Тетю с дядей тоже не удостаивали их звания, а называли просто по именам. Так это и осталось на всю жизнь.

В то время на Кавказе шла татаро-армянская резня, и дедушкин полк был послан на усмирение и стоял близ Еревана, в местечке Озургети. Там и родился их первенец – ненаглядная Люлюсенька, моя матушка. Потом посыпались ребята один за другим: Жоржик, Миша, Кукуля. Я только в тринадцать лет узнала, что звали его Дмитрием. В 26 лет он умер в Харбине от туберкулеза. Следом появилась на свет Нина, названная этим именем бабой Сашей в честь своей матери (а потом и меня назвали в ее честь, и, таким образом, в нашем роду три Нины). Предпоследним был Петя, балбес и неслух, любимец бабы Саши, а последним – Котэ (Костя), говорят, самый красивый ребенок, но он умер десяти месяцев от дизентерии, и в то самое время, когда семья на линейке (экипаж) переезжала через границу на новое место. И, чтобы не было задержки из-за мертвого тела, убитая горем баба Саша держала его, завернутого, на руках, делая вид, что укачивает его.

Деда часто перебрасывали с места на место, и дети, общаясь с местными ребятишками, прекрасно болтали на четырех языках: грузинском, армянском, татарском и, конечно, русском. С годами эти языки были забыты, но грузинский так прочно переплелся с русским, что мы с Вадимом в детстве считали их единым языком.

Баба Саша хорошо играла на фортепьяно, владела французским и отлично знала отечественную и зарубежную литературу. Боготворила Пушкина и могла наизусть читать почти всего «Евгения Онегина».

Она была великой любительницей книг и книгочеей, вообще не могла пропустить никакого печатного текста. Вот, даже принесет с базара какую-нибудь покупку, завернутую в обрывок газеты, и тут же обязательно прочтет.

Я так и вижу ее в пенсне, с папироской и газетой в руках. Помню, я ей очень завидовала и присаживалась у ее ног на меленькой скамеечке, посадив верхом на нос шпильку вместо пенсне, скрутив из бумажки подобие папиросы, а газету держала большей частью вверх ногами. Так мы с ней проводили послеобеденное время.

Готовить баба Саша совсем не умела, да и кто бы научил ее этому? Всегда было кому готовить... Единственное, что она все-таки готовила классически – хаурму (подобие рагу), деликатесами занимался дед, великий кулинар.

Всякие уборки-приборки она не очень-то жаловала, а вот веник из рук почти не выпускала – без конца что-то выметала, и не признавала потертых веников. На нее даже рисовали карикатуру: баба идет с рейсового парохода, и из ее хозяйственной сумки обязательно торчит хвост осетра и новый веник.

Она была полная (три подбородка); будучи моложе, когда собиралась в гости, надевала корсет, чтобы стянуть на нем завязки, горничная или муж коленом упирались ей в спину. Потом, придя домой, развяжет корсет и блаженствует: «Уф-ф-ф!..» А на теле отпечатаны следы от дырочек и завязок (крест-накрест, как кружево).

Баба Саша, несмотря на большую семью, в смысле духовного общения была одинока. Дети повырастали, у них свои интересы, своя жизнь. Память у нее была необыкновенная, и она нашла в нас с Вадимом благодарных и ненасытных слушателей. Благодаря ей мы в шесть-семь лет неоднократно прочли «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя, «Тараса Бульбу», все стихи Пушкина и Лермонтова (хотя и не все нам было понятно). Вадим с Петькой дразнили меня, называли Фетой, потому что я не расставалась с двумя томиками стихов Фета и читала их даже перед сном с постели. Она учила нас французскому и говорила, что у меня настоящее прекрасное французское произношение.

Дома бабушка ходила обыкновенно в широком длинном капоте с кокеткой на пуговицах, в пенсне, с папироской во рту и обязательно с какой-нибудь книгой в руке. Излюбленный фасон для многих ее платьев назывался «бебеткой». Бабу Сашу хлебом не корми, а подавай развлечения. Не пропускала в клубе ни одного кино, спектакля, концерта. Очень любила ходить в гости к своим приятельницам, и я, как Бобик, таскалась всюду за ней. Баба Саша была очень хорошая, и я ее очень любила, она нас тоже и переживала за нас страшно...

Спать нас всегда укладывала баба Саша и, кроме бесчисленных сказок и доступных анекдотов (преимущественно солдатских и про Конто), могла, увлекшись, рассказать и не совсем приличный, но, спохватившись, просила нас никому об этом не говорить.

Иногда она садилась за пианино, играла и напевала совершенно немыслимые в настоящее время песенки. Вот, например, из ее репертуара:

Когда собаки две грызутся –
Чужая к ним не приставай...
Но если муж с женой дерутся –
Благодарю, не ожидал!..

Или вот:

Раз пастушка здесь жила,
Рыбака с ума свела.
(и так далее).

Еще:

В шестнадцать лет я развилась
И не играла в куклы я,
Но сердце мое сильно билось
При звуках песни соловья.
Заметив эту перемену,
Маман твердила:
– Не жди добра...
Пора пристроить нашу Нину,
Пора, пора, пора...

Нам с Вадимом очень нравилось.

И еще она была ужасной паникершей. Видно, унаследовала эту черту у своего батюшки. Главным объектом вечерних страхов и волнений был Петенька. По ее убеждению, он несколько раз на дню должен был утонуть в Лиде, заблудиться в лесу и вообще пропасть. Она подымала на ноги весь дом, кричала, причитала по-грузински: «Принесите мне его живого или мертвого!..», а когда он заявлялся домой, набрасывалась на него со страшной грузинской руганью. Между прочим, ругала она изо всех сил только его и деда, и всегда по-грузински.

Со снохами бабе не повезло. Жоржик женился на огненно-рыжей, очень некрасивой девушке Кате Козловской. Через два дня после свадьбы баба пошла к ним и вернулась вся в слезах:

– Подумать, она, рыжая, лежит на диване, а Жоржик моет пол!

Но, видимо, интересный и умный Жоржик нашел что-то в своей некрасивой Кате, так как они прожили в полном согласии и любви очень долгую жизнь (в настоящее время Жоржик живет в США, штат Калифорния, город Сан-Франциско).

А вторая сноха – Петина жена, староверка Люба – действительно оказалась змеей подколодной. Она выгнала бабу Сашу

из ее же квартиры и завладела ею полностью, а баба Саша ушла жить к Нине, которая сама ютилась в уголке у приятельницы. После моего ареста бабу привезли к нам в Хабаровск, где она и жила последние годы с мамой и ребятами. К этому времени она стала такой худенькой и маленькой, как девочка-подросток, у нее парализовало ногу, и она уже не вставала с постели. Умерла она под 8 марта 1940 года. Хоронили ее вдвоем: мама и Валентин. В это страшное для нее время не смогли ей сделать крест, лежит она в безымянной могиле на Хабаровском кладбище, не зная, что где-то рядом с ней лежат Вадим и Леша.

ДЕДУШКА

(Александр Дмитриевич Петров, муж бабы Саши)

Дедушка был очень набожным человеком. Он, пожалуй, один в семье соблюдал все церковные праздники и посты. До армии он получил высшее образование, что-то связанное с топографией. Потом он был человеком военным, вышел в отставку генералом. У него хранилась сабля, подаренная ему солдатами, где было написано: «Отцу родному».

Дедушка был очень добрый и тихий человек. Любил разводить всякие цветы, фрукты, овощи. Один раз я съела у него семена (или рассаду?) каких-то редких дынь, которые ему специально привезли. Он рассердился очень, но наказывать не стал. Вообще нас в детстве не наказывали.

Он хорошо готовил, а бабушка была бесхозяйственная, готовила только хаурму (типа рагу) и узвар (компот). В голодное время дедушка каждый день готовил один и тот же суп из пшена и сушеной рыбки, мелкой, которую связывали по пять штук хвостиками и опускали в суп. В доме был запас этой рыбки. В комнате, где она лежала, был запах свежих огурцов. Пшено покупали на рынке стаканами. Тогда все брали стаканами и поштучно (яйца, помидоры). Весовая система была не принята.

Последние годы жизни, особенно два последних, дедушка почти не вставал из-за одышки, боялся шаг сделать. И баба Саша, когда приходила с базара или еще откуда-нибудь, спрашивала дедушку:

– А ты все сидишь?

Она его так всегда спрашивала, как будто за время ее отсутствия что-то могло измениться.

Алексей Решетов сетовал: «Никогда себе не прощу, что слишком поздно, перед самой смертью, уговорил маму писать биографические воспоминания: теперь уже ничего не уточнить, не исправить и не добавить к тем 5–6 листочкам, которые она успела заполнить».

Мемуары задумывались гораздо более масштабными. Сохранился план, где Нина Вадимовна обозначила персонажей, сюжеты, эпизоды. Однако расшифровать эти записи могла бы только она сама. Даже в написанных страницах много неясных моментов, и чтобы вернуться из сказочного мира в реальность, нужно их по возможности прояснить.

Царь, с которым на балу в Кутаиси танцевала Нина Нижарадзе, – это российский император Александр II. Он посещал Кавказ трижды: в 1850-м – будучи еще наследником престола, и затем, взойдя на престол, – в 1861 и в 1871 годах. Очевидно, семейная легенда, рассказанная Ниной Павчинской, относится к последнему из этих путешествий.

Государь прибыл на Кавказ в сопровождении двух сыновей: наследника цесаревича (будущего императора Александра III) и великого князя Владимира Александровича. Всего семь лет назад закончилась Кавказская война, глухо гремевшая в здешних горах с 1817 года. Теперь император знакомился с обстановкой на Кавказе, общался с представителями разных сословий, осматривал города и аулы, выслушивал жалобы, раздавал награды. В честь высочайшего визита местная знать давала балы и устраивала торжественные приемы. Во время путешествия посетил государь и древний Кутаиси – некогда столицу легендарного царства Колхида, куда аргонавты плыли за Золотым руном, а с 1810 года – просто города Российской империи.

Александра Нижарадзе, скорее всего, окончила Закавказский девичий институт. Это первое в Тифлисе женское учебное заведение было открыто в 1840 году. Учились там дочери русских офицеров и чиновников, служащих на Кавказе, и девицы местных знатных фамилий. Очевидно, позднее Александра Георгиевна некоторое время жила в Тифлисе с мужем и детьми. Ольга Александровна хорошо помнила это время.

Что касается упомянутой в главе «Баба Саша» татаро-армянской резни, на усмирение которой был послан полк Александра Дмитриевича Петрова, то необходимо пояс-

нить: в Российской империи *закавказскими татарами* в то время называли азербайджанцев. Так что речь идет о неиссякаемом национально-религиозном конфликте, в котором Российская империя играла, увы, не лучшую роль, то пытаясь искоренить мусульманские обычаи азербайджанцев, то ущемляя в правах армян. Столкновения двух народов происходили нередко. В 1894 году началось истребление армян в Турции (за несколько лет в этой резне погибли около 10 тысяч человек), и эхо кровавых турецких событий прокатилось по горам Кавказа.

О некоторых людях, упомянутых Ниной Вадимовной, речь впереди (например, о ее брате Вадиме Павчинском, тетке Нине Георгиевне и ее семье, о Жорже Петрове и его жене Кате). Сейчас же следует сказать лишь о главной героине семейной легенды – о бабе Саше, Александре Георгиевне Нижарадзе.

В биографической повести «Я себя не прощаю» Решетов пишет: *«Удивительное дело. Баба Саша, моя прабабушка, умерла в 1940 году у нас в Хабаровске. Мне было три года, брату моему Беталу – четыре. А я ее помню! Баба Саша очень много читала и беспрестанно курила. И я помню, как мы с братом таскали у нее папиросную бумагу, жевали ее и заливались хохотом победителей».*

Словно мифологический персонаж переселяется в реалистическую повесть.

Записки Нины Вадимовны вызывают множество вопросов. Какую границу пересекала семья, когда умер от дизентерии маленький Костя (Котэ)? Когда и при каких обстоятельствах Петровы перенеслись через всю страну – с Кавказа на Дальний Восток? Вероятнее всего, Александр Дмитриевич получил новое назначение во время Русско-японской войны. Некоторые друзья Решетова вспоминают рассказы Ольги Александровны о том, что отец ее вышел в отставку генералом, а сама она в юности танцевала с Лавром Георгиевичем Корниловым. Увы, подробностей никто не приводит. Возможно, это случилось в 1911 году, когда генерал Корнилов недолгое время возглавлял отряд в Заамурском округе отдельного корпуса пограничной стражи.

Во всяком случае, очевидно, что во время исторического переезда во Владивосток дети Александры Георгиевны и Александра Дмитриевича еще не были самостоятельны,

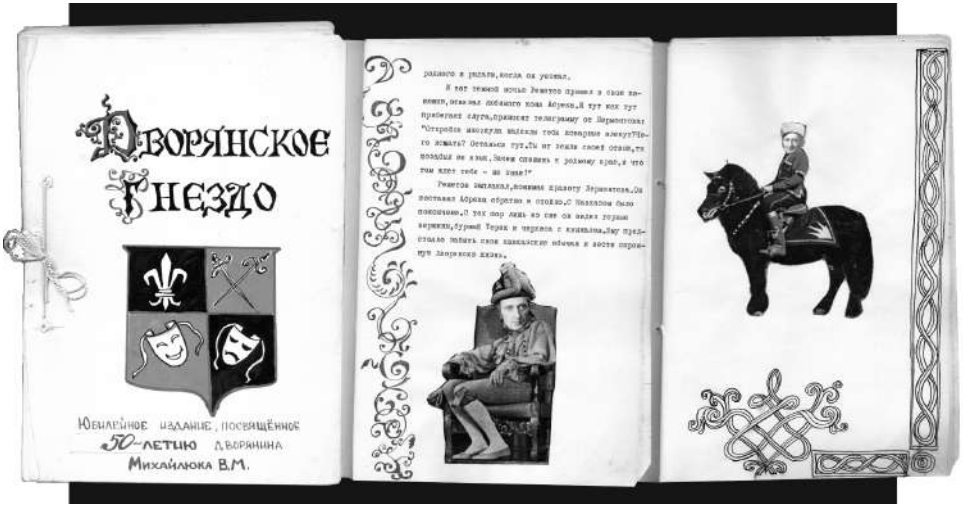
поскольку судьбы их тоже оказались связаны с Дальневосточным краем. Обе дочери вышли здесь замуж: старшая Ольга – за военного Вадима Павчинского, младшая Нина – за врача Эдуарда Фохта. Отсюда в 1920-е уехали за границу сыновья: Дмитрий (Кукуля) – в Харбин, Жоржик, возможно тоже через Харбин, в Америку. Здесь семья встретила начало Первой мировой, а затем пережила революционные события и Гражданскую войну.

В первые годы после революции Александр Дмитриевич Петров был еще жив. Именно тогда он варил для жены и внуков суп из пшена и мелкой рыбешки, сажал цветы и разводил овощи в своем огороде. В то голодное время его маленькая внучка, третья Нина в роду, съела рассаду или семена редких дынь, привезенных деду откуда-то издалека. Прямо как в «Песенке о голландском тюльпане» Решетова, где некий простак отправил под усы луковицу прекрасного тюльпана:

Пусть будет песенка моя,
Как луковка, горька,
И ею бедная семья
Заморит червячка,
Чем комплименты принимать
И в вазе золотой
Зевак придворных занимать
Своею красотой.

Так или иначе, но Кавказ, божественный рай детства и юности Александры Нижарадзе и ее дочери Ольги, был утерян. Большая семья рассеялась по свету. А грузинский язык, на котором баба Саша когда-то страстно ругала мужа и сына, позабыт.

…В 1970–1980-е годы Ирина Петровна Христолюбова сочинила для узкого дружеского круга шуточную хронику «Дворянское гнездо». Герои хроники – «дворяне города Пермебурга» – участвуют в событиях выдуманных и живут во временах вымышленных. Ирина Христолюбова сделала своих друзей маркизами, гусарами, купцами, потомками декабристов… Но суть личности каждого схвачена в повествовании верно и зорко. Анна Бердичевская писала о «Дворянском гнезде»: *«Все, что так коротко, печально, смешно и на скорую руку сочинила Ирина Христолюбова, – фантастично, но и фантастически точно. Короткие но-*



Страницы «Дворянского гнезда»

веллы, каждая в одну-две страницы, передают характеры и суть героев в абсолютной чистоте. <…> Лишь едва уловимые намеки на реальные события, на наше бедное советское бытие. <…> Автор посмеивается. И читатель тоже. Смех смехом, но поэты не милиционеры, они – во все времена – парят над своей эпохой. <…> "Дворянское гнездо" – еще и об этом: чем дальше от фальшивой реальности, тем реальней и ярче проступают подлинные черты человека…»

Вот что сказано в «Дворянском гнезде» об Алексее Решетове:

«Решетов – грузинский князь. Государь решил перевести его к себе поближе, чтобы Решетов не сгинул в безвестности на Кавказе. А Решетов как раз жаждал безвестности.

У Решетова было именье и 3 миллиона наличными. Уезжая в Пермебург, он хотел перевести их по почте отделу народного образования. Но государь посоветовал оставить их на черный день.

– Все равно будет революция, – сказал он.

А Решетов до того о революции слыхом не слыхал, хотя черного дня ждал со дня на день.

Не нравилось грузинскому князю в Пермебурге. <…> Жизнь дворянского общества (балы, приемы, четверги, среды) оказалась чуждой его тонкой натуре. <…> Он решил тайно сбежать обратно на Кавказ. Тем более в это время в Пятигорске жили его друзья Лермонтов и Мартынов.

<…> И вот темной ночью Решетов пришел в свою конюшню, отвязал любимого коня Абрека. И тут как тут прибегает слуга, приносит телеграмму от Лермонтова: "Откройся мне: куда надежды тебя коварные влекут? Останься тут. Ты от земли своей отвык, ты позабыл ее язык. Зачем спешишь к родному краю и что там ждет тебя – не знаю!"

Решетов заплакал, понимая правоту Лермонтова. Он поставил Абрека обратно в стойло. С Кавказом было покончено. С тех пор лишь во сне он видел горные вершины, бурный Терек и черкеса с кинжалом. Ему предстояло забыть свои кавказские обычаи и вести скромную дворянскую жизнь».

Цитата из «Мцыри» в этом рассказе удивительно уместна!

В одной из черновых тетрадей Алексей Решетов составил для себя что-то вроде небольшого русско-грузинского словарика. Ему хотелось прикоснуться к прошлому, почувствовать звук чужой (некогда родной!) речи. Ощутить ее вкус – сладость и горечь. Переводчице Гули Салуквадзе он писал, как будет счастлив, если его стихи зазвучат по-грузински, на их общей родине, на которую он никогда не собрался поехать.

Уж если потеряно все – к чему вояжи? Кавказ, как реальная географическая территория, утрачен навсегда. Для Решетова он остался лишь в семейных преданиях да в стихах любимого с детства Лермонтова.

Глава 4
ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

На горе, под облаками,
Различимое с трудом,
Что-то темное над нами,
С птичьим схожее гнездом.
Акакий Церетели

Старшая дочь Александры Георгиевны и Александра Дмитриевича Петровых Ольга вышла замуж во Владивостоке в самом начале 1900-х годов. Точная дата неизвестна, но первый ребенок Ольги Александровны – сын Вадим – родился в 1912-м, юной матери в то время было всего во-

семнадцать. Через два года на свет появилась дочь Нина. Крестили детей в церкви 6635-го Сибирского стрелкового полка.

О муже Ольги Александровны сведений в семейном архиве почти не сохранилось. Доподлинно известно следующее.

По национальности Вадим Владимирович Павчинский был поляком. По профессии – военным. В Общем списке офицерских чинов русской императорской армии за 1909 год, опубликованном на сайте Центра генеалогических исследований, значится Павчинский Вадим Владимирович, поручик артиллерийской бригады. Быть может, будущий зять служил под началом будущего тестя.

Вадим и Нина Павчинские

Известно также, что поручик Павчинский писал стихи. В год рождения дочери Нины он издал во Владивостоке сборник стихотворений с говорящим названием «На перепутье». На обложке вместо имени автора стоял псевдоним – Ноэль, вполне в духе времени. Книгу отпечатали в типографии газеты «Дальняя окраина». С этим изданием Вадим Владимирович сотрудничал в 1912–1915 годах. А после революции, с 1919 по 1923 год, он печатался в газетах Владивостока «Голос Родины» и «Красное знамя».

Поэтический сборник «На перепутье» несколько раз упомянут в семейной переписке. 12 апреля 1963 года Вадим Павчинский сообщал родным: *«Недавно я получил письмо от одного научного работника: он пишет книгу по истории литературного движения на Дальнем Востоке. Кто-то ему из наших писателей сказал обо мне, а он спутал меня с папой и прислал целую анкету – пришлось вспомнить все, вплоть до сборника “На перепутье”. Я написал ему, объяснил, что автором этого сборника был отец, а не я. И этот деятель как-то сразу утратил интерес ко мне, а судя по письму, хотел получить данные “из первых рук”».*

И сразу, предвидя интерес поэта-племянника к творчеству деда: «*Сборника этого у меня, Алеша, нет и не было*».

Через много лет Анна Романовна Павчинская (вдова Вадима) тоже упомянула в письме давнее издание: «*Нина, ты пишешь о книге вашего с Вадимом отца. Я никогда ее не видела. Видимо, она еще до меня исчезла в те тяжелые годы, когда бесследно терялись не только книги, но и люди.* <…> *Сразу после кончины Вадима ко мне обращался дальневосточный поэт. Он занимался исследованием поэзии на Дальнем Востоке. В печати он встретил фамилию – Ноэль. Узнав автора, он думал, что это Вадим*» (26.03.1990).

Нине Павчинской было пять месяцев, когда началась Первая мировая война. Вскоре ее отец отправился на фронт, и мать с двумя маленькими детьми перебралась к родителям. В их доме брат и сестра росли в окружении книг, песенок и рассказов бабы Саши, цветов и забот деда. Ждали конца войны, возвращения отца домой.

Возможно, у молодых Павчинских что-то не заладилось с самого начала, а может, виной долгая военная разлука, но, когда Вадим Владимирович вернулся с фронта, семья распалась. Ольга Александровна с детьми осталась в доме родителей. А Вадим Владимирович вскоре женился снова.

В записках Нина Вадимовна упомянет вскользь: «*… Когда он* (отец. – **К. Г.**) *вернулся, они с мамой больше вместе не жили – сразу разошлись*». Здесь не слышно горя или обиды. Девочка не знала отца, он ушел на войну почти сразу после ее рождения, и его дальнейшее отсутствие восприняла как должное. Но развод родителей заставил Нину Павчинскую проследить одну важную закономерность – на протяжении трех поколений дети в их семье росли без отцов. «*…Безотцовщина в нашем роду с самых ранних лет*», – написала она.

Брат Нины, Вадим, был на два года старше и расставание родителей переживал намного острее. Об этом свидетельствует один эпизод его романа «Орлиное гнездо».

Свою книгу Вадим Павчинский посвятил «родному Владивостоку». Он задумал роман в конце 1940-х, писал и переписывал до конца 1950-х и не оставил работу даже после первой публикации. Вторая редакция настолько отличалась от первой, что получила другое название (первоначально книга называлась совсем уж по-советски – «Пла-

менем сердца»). Работа над романом и заботы о его судьбе занимали Вадима Вадимовича до конца жизни.

В аннотации к этому произведению сказано: *«Тема романа — история "Орлиного гнезда", города Владивостока, жизнь и борьба дальневосточного рабочего класса. Действие романа охватывает большой промежуток времени, почти столетие».* Нужно добавить, что в книге много автобиографических моментов. Жизнь автора если не отразилась, то преломилась в ней. Правда, преломилась через идеологию. Роман Вадима Павчинского и по языку, и по сюжету – типичное советское сочинение. В исторических оценках автор однозначен, в нравственных – непреклонен. Сюжетные повороты легко угадать, герои не отличаются сложностью, приемы лежат на поверхности. И все же у этого добротного плохого романа есть достоинства. С любовью описан Владивосток, историю которого автор хорошо знает. И сам Вадим Павчинский предстает в тексте таким, какой есть, без прикрас и ухищрений. Он писал то, что думал, и даже в 1960-х не мог иначе трактовать исторический сюжет и сюжет собственной жизни.

Болезненная драма детства – уход отца – тоже отразилась в книге. Для одного из героев подобная ситуация становится началом душевного перелома.

<…> Сергей не мог простить отцу его ухода из семьи. Маленьким мальчишкой Сергей, по подсказке бабушки, усердно молился перед иконой, повторяя за старухой слова о том, чтобы бог вернул отца с фронта. «Будешь хорошо молиться, и отец приедет домой», – уверяла бабушка. И этот счастливый день настал. Отец возвратился. Сергей верил, что помогли его молитвы. Когда же вскоре отец ушел в другую семью, Сергей теперь по собственному почину стал вымаливать перед золоченой иконой отца. Но из этого ничего не вышло. После этой истории Сергей стал все реже и реже молиться. Сначала бабушка сердилась, а потом оставила мальчишку в покое. В школе он теперь распевал с ребятами смелые песни против бога. А когда в сочельник двадцать третьего года комсомольцы устроили невдалеке от Покровской церкви сожжение соломенных чучел, изображавших собою святых, Сергей и сам бегал с факелом, не давая пламени погаснуть…

В новой семье у Вадима Владимировича родилась еще одна дочь – Галина.

О судьбе второй семьи отца Вадим Павчинский писал сестре в том же письме от 12 апреля 1962 года, в котором упомянут сборник «На перепутье»: «*В прошлом году пришло письмо от Марии Ивановны – жены Вадима Владимировича, нашего отца и отца Гали. Она старушка-пенсионерка. 27 лет работала учительницей. Прожила очень трудно. В 1939 году похоронила Галю. Бедная девочка! А я все думал, что когда-нибудь она даст о себе знать: ведь след ее совсем потерялся в 1931 году. Сейчас у М. И. вторая дочь Мария. Недавно вышла замуж и – неудачно: муж-пьяница. Мария техник-нормировщик. Живут в Башкирии, в Стерлитамаке».*

Похоже, и с новой семьей жизнь Вадима Владимировича не задалась (раз вторая жена одна хоронила дочь в 1931-м). Или же в 1937–1938 годах, когда многие поляки подверглись репрессиям, он тоже угодил под кровавое колесо? Но к чему строить предположения…

Интересно, что фамилией своей – Павчинские – и Нина, и Вадим гордились, а к родне с отцовской стороны проявляли большой интерес. Хотя информацию о многочисленных родственниках получили лишь в 1960-е.

Когда в 1963 году московское издательство «Советский писатель» опубликовало новую «расширенную и исправленную» редакцию романа «Орлиное гнездо» (первая редакция увидела свет в Хабаровске в 1959-м), автор стал получать письма из разных городов от родственников отца, которые прочли книгу и опознали родную кровь. О восстановленных родственных связях Вадим извещал мать, сестру и племянника: «*Однажды я получил письмо из Узбекистана. Есть там такой город Кагта-Курган. Там живет двоюродная сестра папы – моя двоюродная тетка Анна Иустиновна Павчинская-Иванова, учительница, пенсионерка. Она рассказала очень много интересного о многих Павчинских, о существовании которых я и не подозревал. И вот что любопытно: все они либо писатели, либо художники, либо музыканты. <…> Тетка рассказала о моем деде, твоем прадеде, Алеша. Это был героический человек, польский революционер, сосланный в Сибирь после лишения “всех прав, достояния и имущества”. Он прожил там трудную жизнь сельского писаря»* (12.04.1963).

В семейной переписке есть сведения, что дед Нины и Вадима Павчинских был родом с Украины и угодил в ссылку в самом конце XIX или в начале XX века. Анна Романовна, которую родные мужа втянули в изучение семейного древа, несколько раз пыталась получить какие-то биографические сведения у Нины Вадимовны: «*Нина, если помнишь, напиши, пожалуйста, в каком году родился Вадим Владимирович и где. Его брат Николай Владимирович родился в Житомире в 1888 году. У нас есть вырезка из "Зари Востока" с сообщением о его кончине*» (27.05.1987).

Следовательно, в конце 1880-х годов семья еще не угодила в Сибирь и обладала правами, достоянием и имуществом. И семья, очевидно, немаленькая.

В письме от 5 апреля 1989 года Анна Романовна писала: «*Многое бы в родословной прояснилось, если бы знать, сколько братьев было у Вадима Владимировича (отца Вадима и твоего). Твердо я знаю о двух братьях: Петр Владимирович (Киев) и Николай Владимирович (Тбилиси).* <…> *Нина, вспомни, пожалуйста, сколько всего было братьев у отца? Как были их имена?..*»

Братьев Павчинских было по крайней мере четверо: Вадим (прадед Алексея Решетова), Николай, Владимир и Петр.

Наиболее подробные сведения в семейной переписке есть о Николае Владимировиче. В июле 1950 года, в первом письме после долгой разлуки, Вадим Павчинский сообщал сестре: «*В нашей общей семье прибавилось родственников. В 1947 году я узнал, что в Тбилиси, в республиканской газете "Заря Востока", работает редактором некий Н. В. Павчинский. Я написал ему письмо, и оказалось, что это мой и твой дядя Николай Владимирович*».

Ежедневная газета «Заря Востока» (ныне «Свободная Грузия») издается с 1922 года, в 1936 году она стала республиканской. Издание это известное, с ним в свое время сотрудничали Исаак Бабель, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Николай Владимирович Павчинский был редактором этой газеты в 1940-е годы, а затем перешел на работу в Тбилисское книжное издательство.

Вадим Павчинский пишет сестре 12 апреля 1963 года: «*А недавно умер Николай Владимирович Павчинский, работавший с 1919 года в Грузии в газете. Последние годы он был*

редактором республиканской газеты "Заря Востока". Хочу разыскать его жену Нину Георгиевну. Она – грузинка, прожила с дядей Колей всю жизнь. После "Зари Востока" Ник. Вл. работал (будучи на пенсии) директором издательства. За свою жизнь он отредактировал очень много книг грузинских писателей. Я встретился в Хабаровске с одним журналистом из Тбилиси, который много лет работал вместе с Николаем Владимировичем. Журналист этот рассказывал, что Н. В. очень любили в редакции, что был он человек очень отзывчивый, сердечный, талантливый. Ане, когда она ездила в прошлом году на курсы в Москву, один журналист из Грузии, учившийся на этих курсах, рассказал, что хоронил Николая Владимировича весь Тбилиси».

Затем отыскались следы других братьев Павчинских. Владимир был художником, жил в Белоруссии, имел сына Виталия. Петр проживал в Киеве. Умер он в 1959 году, у него осталось два сына – Сергей и Владимир.

Как и Вадим Владимирович Павчинский, его братья участвовали в Первой мировой. Владимира тепло упоминает писатель Кирилл Левин в повести «Записки из плена» (1928), где рассказано о событиях великой войны. Имя подпоручика пехотной резервной бригады Павчинского Петра Владимировича значится в Общем списке офицерских чинов русской императорской армии за 1909 год. В начале войны резерв бросили в бой. Журнал «Русский инвалид» сообщал, что 8 сентября 1915 года поручик Петр Павчинский попал в плен.

Анна Романовна до конца жизни поддерживала семейную переписку: «*Переписываюсь со многими Павчинскими. Все они интересуются родословным древом. <…> Всем им раньше родители говорили, что у Павчинских нет однофамильцев, это только род, один клан*» (5.04.1989). «*Всем пишу, отвечаю на их письма, все они мне дороги, как был дорог Вадим и дорога память о нем*» (2.02.1987).

Она получала письма из Киева, Минска, Тбилиси. Из Москвы писала переводчица Марина Эразмовна Павчинская: «вроде бы, тетя Вадима» (по другим данным, двоюродная сестра В. В. и Н. В. Павчинских. – **К. Г.**). Потом к переписке присоединился дядя Марины Эразмовны. Клан расширялся, и все благодаря роману «Орлиное гнездо». Книга собирала родных вместе, созывала их в гнездо с разных территорий.

В 1987 году Анна Романовна сообщала: «*Три года назад в наш Союз писателей пришло письмо из Софии (Болгария). Письмо передали мне. Писал троюродный брат Вадима, Петр Александрович Павчинский. Он родился в Болгарии. Там у него семья. Вадима он нашел по книге в Софийской библиотеке. Мы постоянно с ним переписываемся, чувствуется, что скучает по родине своих предков, которую он никогда не видел».*

Павчинские держались друг за друга. У них не было однофамильцев, только родственники – неважно, в каком колене.

В многочисленных кровных связях легко запутаться. И вроде бы, они не так уж важны. Но все же нужно сказать несколько слов о семье учительницы Анны Иустиновны Павчинской, от которой ее двоюродный племянник Вадим узнал о своем деде – польском ссыльном и сельском писаре. Имя брата Анны Иустиновны упомянуто в Книге памяти Новосибирской области. Короткая справка сообщает:

> Павчинский Михаил Иустинович. Родился в 1868 г., г. Житомир; русский, кассир в Ордынской райсберкассе. Арестован 17 декабря 1937 г. Приговорен: Постановлением комиссии НКВД и Прокурора СССР 14 января 1938 г. по обвинению в «участии в шпионско-диверсионной группе» (ст. 58-6-9-10-11) УК РСФСР. Приговор: к расстрелу. Расстрелян 28 января 1938 г. Реабилитирован 25 октября 1957 г.

Становится понятно, почему Анна Иустиновна писала племяннику из Узбекистана. Польская ссылка в XX веке была страшнее, чем в XIX. Кстати, другой брат учительницы из города Кагта-Курган избежал репрессий 1930-х. В первый год мировой войны журнал «Разведчик» известил, что пехотный капитан Петр Иустинович Павчинский убит 30 сентября 1914 года.

«Правильно говорит Алеша, что нужно писать, людям близким это нужно, а мы ведь не вечны, и будет какая-то память о нас…» Эти слова в одном из писем Анны Романовны – словно вздох. «Вот и Орлиное гнездо. Теперь мы дома», – произносит один из героев романа Вадима Павчинского.

Дом был разорен, но они делали все, чтобы собраться или хотя бы окликнуть друг друга. Перебираешь страницы семейной переписки и понимаешь: каждая мелочь имеет

значение. Важно, что в роду Алексея Решетова были воины, сражавшиеся на мировой войне, ссыльные, боровшиеся за независимость своей страны, поэты, выбиравшие себе вычурные псевдонимы. И вот что любопытно: все они либо писатели, либо художники, либо музыканты. Несмотря на эпоху, вопреки бойням, плену, катастрофам и преследованиям, его родные со стороны матери стремились выразить себя в творчестве. Кажется, это к ним в первую очередь обращено стихотворение:

Мы бредем, спотыкаясь о корни
Слов старинных,
я их предпочел, –
Молодой человек непокорный, –
Да измученный письменный стол.
Ты, ему говорили, попомнишь,
Как бумагомарак поважать,
Каково без кровавой попоны
Где-нибудь на задворках дрожать.
Он не слушает голос зловещий,
Угрожающий стужей и тьмой.
До свидания, люди и вещи,
Мы не скоро вернемся домой.

Глава 5
РОМАНТИК

Вам нравится туман,
Седые перелески?
Но чу, вокруг обман.
Доверчивый по-детски,
Куда всю жизнь иду
В неведомом тумане?
А может быть, найду
Цветочек на поляне.

А. Р.

На самом деле Орлиное гнездо – не метафора. Это название конкретного места. В автобиографическом повествовании «Я себя не прощаю» Алексей Решетов пишет: *«Мать моя,*

Остров Русский

Нина Вадимовна Павчинская-Решетова, родилась 1 апреля 1914 года во Владивостоке, "на горушке", на Орлином гнезде по-иному». (Сама Нина Вадимовна называет местом своего рождения Русский остров. – **К. Г.**)

Нет, не «горушка» (это слишком по-уральски!) – сопка, то есть разрушенный эрозией, сглаженный дождями и соленым ветром конус древнего вулкана. Одна из тех, на которых стоит портовый город Владивосток. Название свое место получило вовсе не из-за гнездившихся там орлов, а дабы увековечить легендарный эпизод Русско-турецкой войны – героическую оборону русскими войсками перевала Шипка в 1877 году. До того именовалось спокойнее – сопка Клыкова, в честь знаменитого исследователя Дальнего Востока Михаила Аввакумовича Клыкова (1834–1910/1911).

Впервые сообщая сестре о замысле романа, Вадим Павчинский признавался, что создает его на основе своих дневниковых записей: *«Дай, думаю, попробую свои силы, напишу большую вещь о том, что пережил сам, о том, что*

видел и знаю. Страничка за страничкой стала вырисовываться эта задуманная вещь. <…> В романе рассказывается о Владивостоке. События, о которых я пишу, происходят в 1928–1932 годах. Это годы первой пятилетки. Действие романа разворачивается на "Дальзаводе", где я, как вы помните, начинал свою трудовую жизнь. <…> (Кстати, мои герои живут на Орлином гнезде, где жили и мы когда-то.) <…> В судьбах людей вы узнаете много из того, что приходилось всем нам видеть, когда мы жили во Владивостоке» (6.01.1956).

Из книги, действительно, многое можно узнать о Владивостоке тех лет, но главное, можно понять мечты и настроения автора. А личность Вадима Павчинского чрезвычайно важна для нашего сюжета. Его жизненный выбор во многом определил судьбу его младшей сестры и племянников. По словам Тамары Катаевой, Нина Вадимовна не раз говорила, что ее младший сын внешне очень похож на отца, а «по характеру вылитый Вадим».

Поэтому попробуем пролистать роман и разглядеть на его страницах следы прошлого.

Когда Ольга Александровна Павчинская с детьми поселилась на Орлином гнезде, сопка была открыта всем ветрам: *«<…> В первый год Русско-японской войны по неразумному приказу воинского начальства подчистую были вырублены все деревья и кустарники на городских сопках – для лучшего обозрения заливов и удобства наблюдения за противником, если он подойдет к этим берегам. Обритые наголо сопки и впрямь позволяли видеть далеко. И с вершины Орлиного гнезда тоже открывалась глазу неизмеримая морская даль».*

Орлиное гнездо – самая высокая точка исторической части города – 199 метров над уровнем моря. Оттуда открывается взгляду удивительная панорама: бухта Золотой Рог, где высадились первые поселенцы, Уссурийская бухта, мыс Чуркин, а вдалеке – остров Русский… Океан – как на ладони.

Дома словно вросли в каменистую почву склонов, чтобы не снесло штормовым ветром. Бóльшая часть владивостокских церквей, во всем разнообразии архитектурных стилей, тоже стояла здесь. А вниз – к океану, порту, к корпусам «Дальзавода», примостившимся на северной оконечности бухты Золотой Рог, – бежали узкие улочки, лесенки, тропинки. Если над городом проносился ливень (а тропи-

ческие ливни тут не редкость), *«с вершины сопок к берегу бухты, с плеском и ревом низвергались потоки дождевой воды, увлекая за собой камни, песок, щебень. Ливни причиняли немало разрушений. Нередко можно было видеть развороченную мостовую, трамвай, сошедший с замытых песком рельсов, сваленные телефонные столбы или вырванное с корнем дерево».*

Китайцы-лодочники прятались от непогоды *«в своих шампунках, стоявших на якорях и отчаянно качавшихся на штормовой волне. Волны с размаху шлепались о песок, разбивались на тысячи водяных брызг, покрывали берег зелеными космами водорослей, вырванных штормом со дна бухты».*

Портовый город на берегу океана часто окутывал туман. Густая серая завеса скрывала окрестности. Вадим, как и его герой, *«не любил владивостокский туман, закрывавший солнце и таинственную даль открытого моря. Заунывный ревун на Скрыплеве, предупреждавший корабли об опасности, вселял в его сердце тревогу за тех, кто в море».*

Но иногда, если солнце поднималось выше тумана, обитателям Орлиного гнезда являлся так называемый брокенский призрак – можно было увидеть отражение собственной тени на туманной пелене. Это оптическое явление получило название в честь одной из вершин немецкого Гарца – знаменитой горы Брокен, где, согласно древней легенде, в Вальпургиеву ночь собираются ведьмы и куда Мефистофель увлек за собой доктора Фауста…

Туман меняет восприятие глубины и перспективы. Тень человека, проходя сквозь него, принимает причудливые очертания, шевелится, кажется огромной, живет собственной жизнью, пугает, предупреждает. Иногда вокруг нее возникают сияющие радужные кольца – глории. Но не опасно ли смотреть на свою тень со стороны?

Впрочем, в первые десятилетия XX века брокенский призрак волновал воображение гораздо меньше, чем другой, тоже пробравшийся из Германии. Побродив по Европе, этот призрак миновал ее и прочно обосновался в России. Становился все более осязаемым, рос, принимал удивительные формы, сиял надеждой на всеобщее счастье. И те, кому он мерещился, забывали, что перед глазами тень, отраженная от густеющей мглы.

…Между двумя войнами – Русско-японской и Второй мировой – Владивосток стал единственным тихоокеанским портом страны и переживал бурный рост. Россия потеряла Порт-Артур и Дальний, и *«Владивосток обретал черты большого города. <…> Лик его был смешанный, европейско-азиатский. Тысячи китайских рабочих, селившихся в кварталах Миллионки, придавали городу схожесть с Шанхаем. Город был шумен, многолюден, кипуч. Громыхали по центральной улице трамваи, ярко горело электричество – все это было заведено здесь перед войной 1914 года. А во время Первой мировой войны, в связи с немецкой блокадой русских европейских портов, Владивосток и вовсе расцвел, сделавшись открытым портом и центральным пунктом всех военных и коммерческих перевозок».*

В этом шумном, разнообразном, многоязыком котле шло детство Нины и Вадима Павчинских. А эпоха им досталась еще более бурная, чем город. В страшной дали, в Петрограде, прогремел выстрел «Авроры», и раскаты его покатились по России. Уже 30 октября 1917 года матросы Сибирской флотилии «сплотились вокруг Советов»,

Нина и Вадим Павчинские

и власть в городе перешла к большевикам. *«И, как бы в подтверждение того, что на землю пришла эта поздняя, давно ожидаемая весна свободы, в лесах Приморья началось второе цветение. На склонах Богатой Гривы зацвел даурский рододендрон, распушились метелки белой амурской сирени. Леса стояли в золотом и багряном одеянии осени, а цветы были как в весеннюю пору».*

Нина Вадимовна вспоминала это время так: *«Дед и отец были офицерами. Во время гражданской войны у белых они не служили. Наоборот, симпатизировали красным. Помню (мне было 7 лет), на острове* (Русском. – **К. Г.**) *началась паника: идут красные! Недоваренные обеды остались на плитах – все кинулись на пароход, который шел в Японию. На острове осталось восемь семей, в том числе и наша. Мы и встретили красных».*

Но в 1918-м чехословацкие войска свергли советскую власть во Владивостоке. Вскоре порт заполнили чужие солдаты – американцы, канадцы, итальянцы и недавние враги – японцы. *«Солдаты выгрузились под покровом сырой апрельской ночи. Над бухтой и сопками клубился тяжелый, моросящий туман, в нескольких шагах не было ничего видно, и жители Владивостока лишь утром обнаружили марширующих по Светланской солдат микадо. Они шли повзводно, под громкие звуки сигнальных рожков. Перед каждым взводом вышагивал офицер. Одна рука в белой перчатке покоилась на эфесе сабли, другая – с крепко сжатыми пальцами – плотно прилегала к туловищу. Горбились под тяжестью больших походных ранцев низкорослые солдаты. Они были обвешаны подсумками, лопатами, манерками, тесаками. Скрипели и цокали гвоздями о булыжник грубые ботинки. Надрывно и тревожно звучали сигнальные рожки, заменявшие оркестр».*

В притихшем городе чужие войска устанавливали свои порядки. Дальневосточный край охватила партизанская война. Белые, красные, американцы, японцы делили власть, море и землю. А обыватели узнали, что такое нужда, неразбериха, опасность и вражда. 6 апреля 1920 года была провозглашена Дальневосточная республика. Огромная территория, как льдина, откололась от России и два года дрейфовала по бурным волнам. Лишь в ноябре 1922-го наступила развязка.

В это время Нине было 10 лет, Вадиму только что исполнилось 12. Мальчик на всю жизнь запомнил, как это было. Слухи пролетели по городу: японцы оставят Владивосток не позднее 25 октября (на следующий день после его дня рождения!). Последний молебен и последний парад белых на обширном плацу, где мокли под дождем *«камцы, ижевцы, воткинцы — солдаты "земской рати"…»*, последняя надежда белых. Переполненные пароходы в панике штурмовали те, кто не хотел оставаться под властью большевиков. Пароходы отваливали от берега и постепенно терялись в океане, навсегда увозя с родины тысячи людей. На борту одного из них уплывали к неясному будущему родные братья Ольги Александровны Павчинской – Дмитрий (он вскоре умрет от туберкулеза в Харбине двадцати шести лет от роду) и Жорж со своей рыжей, некрасивой, любимой женой Катей. След Жоржа и Кати Петровых надолго затеряется, лишь в 1970-е родные получат переданное с оказией письмо из невообразимо далекой Калифорнии.

Поздней осенью 1922 года дед Саша и баба Саша потеряли навсегда двух сыновей. Владивосток заняла Красная армия. Призрачная республика была ликвидирована, и Дальний Восток вошел в состав РСФСР. Жизнь навсегда изменилась.

После смерти деда и неудачной женитьбы любимого сына Петра баба Саша перебралась в комнатку, где теснилась семья ее дочери Нины. Муж Нины, Эдуард Карлович Фохт, человек организованный и строгий, был одним из лучших в городе хирургов и гинекологов, а ее сын Валентин очень дружил с двоюродными братом и сестрой – Павчинскими. Дружба сохранилась на долгие годы.

Нина и ее муж Эдуард Фохт

Неизвестно, как старшее поколение восприняло новую власть, но дети были полны радости и надежд. Особенно старший – Вадим. Красивый,

с копной черных волнистых волос (наследие Кавказа) и живыми глазами, талантливый и добрый мальчик, он казался общительным и веселым. Но, как напишет много лет спустя в последнем письме, адресованном сестре мужа, Анна Романовна: *«Вадим мне говорил, что в детстве его называли певцом мировой скорби. Да оно и, в какой-то степени, пророчески»* (23.04.1990). С тем же письмом вдова Вадима отправила родным старые фотографии времен «милого далекого детства»: *«На одной молодая Ольга Александровна в шифоновом платье без рукавов. А на другой красивая девочка с бантом, озорно поставившая ногу на стол. Это, Нина, – ты»*. Эти снимки «мирного времени» были пересняты с оригиналов, присланных из Сан-Франциско Жоржем и Катей Петровыми. В семье самого Вадима, не говоря уж про Нину, фотографии детских лет не сохранились. Зато эмигранты, обосновавшиеся на Американском континенте, берегли их свято как память о родине и о родных, о собственной молодости.

Ольга Александровна

Маленькая Нина

Однако время ностальгически рассматривать пожелтевшие снимки для оставшихся на берегу еще не наступило. Едва ли в 1920-е Вадим Павчинский вообще мог вообразить себе подобное занятие! Дел у него было невпроворот.

Происхождение мальчика у любого представителя новой власти вызывало сомнения: прадед – предводитель дворянства, прабабушка – княгиня, владелица марганцевых рудников, танцевавшая на балу с царем-«кровопийцей», дед и отец – офицеры царской армии. Любимая бабушка – выпускница института благородных девиц, обучавшая внуков французскому языку. Но душа Вадима была

безраздельно отдана «Октябрю и маю», всем «великим завоеваниям революции». Им он отдаст потом и лиру, и незаурядный талант художника, и всю свою жизнь.

Вадим полюбил звонкие песни, пионерские диспуты, барабанный бой. Принимал участие в воскресниках со сбором металлолома для мастерских «Дальзавода», где после японской эвакуации остро не хватало всего: железа, рук, оборудования. Для школьной стенгазеты писал первые юнкорские заметки и делал первые рисунки. И навсегда запомнил «красный» сочельник 1923 года, когда веселые комсомольцы спалили на подворье Покровской церкви соломенные чучела, изображавшие святых. За ним тянулись младшая сестра и двоюродный брат. В плане воспоминаний Нины Вадимовны есть два упоминания о том бурном времени. «*Валя в церкви запел во весь голос:*

Валя Фохт

Долой, долой монахов, раввинов
и попов!
Мы, дети коммунаров, не веруем
в богов!»

Дерзкая выходка Вали Фохта, должно быть, шокировала старших членов семьи (которые, кстати сказать, вовсе не были коммунарами), но о последствиях ее Нина не сообщает. Зато приводит еще одну боевую песенку.

Синеблузники:
Чистим, чистим, начищаем
Дружно вчетвером,
А кого и что прочистим –
Песенку споем.
Не раздумывая долго,
Предлагаю я,
Бюрократов и буржуев
Высмеем, друзья!

Может быть, дети только слышали эту песню, а может, и сами принимали участие в какой-нибудь агитгруппе. Но выступления синеблузников, видимо, произвели на юную Нину большое впечатление. Она, как и брат, всей душой рвалась к переменам.

Даль жизни казалась ясной. Жарко горел огонь первых пятилеток. Вадим желал одного – слиться с трудовым народом, доказать родной советской стране, что он свой. Он был полон энергии, юной отваги и готов совершать подвиги на любом участке трудового фронта… Да и деньги нужно было зарабатывать, чтобы помогать семье.

В краткой автобиографии, написанной в 1941 году, Вадим Павчинский сообщал:

«До 1928 года я жил на иждивении матери, мать работала портнихой, на парфюмерной фабрике упаковщицей, официанткой в ресторане. В 1928 году я, учась в школе, стал работать во владивостокской газете "Красное знамя". Там же работал мой отец, но он был женат вторично, имел новую семью, дочь… Окончив школу, я работал на "Дальзаводе". Сначала – судосборщиком, потом – электросварщиком. В 1931 году заводской комитет комсомола направил меня на постоянную работу в заводскую многотиражку "Молот", где я работал массовиком. С тех пор я нахожусь на журналистской работе».

В газете «Красное знамя» четырнадцатилетний школьник первое время служил разносчиком. В то время свежий номер подписчикам доставляла не почта, а само издательство. На рассвете мальчишки получали пачку газетных листков в окошке экспедиции и, поудобнее пристроив на плече «огромную сумку из сыромятной кожи, предохранительно пропитанную ворванью — от владивостокских туманов, дождей и сырого весеннего снега», бежали по крутым улочкам города от одного дома к другому со свежими новостями.

Сам Вадим *«начинал чтение газеты с четвертой страницы. Здесь печатался отдел "Морской день", в котором рассказывалось о прибывающих в Золотой Рог и уходящих из порта кораблях. Он знал наизусть названия многих десятков японских, английских, норвежских, китайских, датских, греческих, немецких пароходов и насчитывал иной раз до пятидесяти и более иностранных флагов на рейде. Он видел перед собой дальние страны, которые представлялись ему такими, как они выглядели на почтовых марках из его коллекции: яркие краски, волнующие названия — Сиам, Перу, Гаваи, Камерун… Перед глазами возникали корабли, паруса, вулканы, пальмы, пирамиды и сфинксы, неправдоподобная синева океанов*

и такая же синь нездешнего неба, солнечная желтизна песчаных пустынь, изумрудная зелень джунглей. Читая, <…> забывал обо всем на свете, и запах типографской краски казался ему запахом моря».

Вадим Павчинский был романтиком. В детстве, как большинство мальчишек портового города, мечтал о море. Хотел поступить в мореходку. Но порядки новой власти обернулись против него. Получить образование было практически невозможно – для детей «бывших» в первые годы советской власти ввели строгие квоты при поступлении в вуз. Однако новую власть он полюбил сильнее моря. Поверил ей безоговорочно. И романтика дальних странствий уступила место революционной романтике.

Романтики видят призраков. Революционным романтикам не до них. Они не ведут бесед с тенями, они разгоняют мглу и стремятся к свету. А полутеней не замечают вовсе.

Мечты о мореходке пришлось оставить. Но рядом был порт, откуда сутки напролет доносились *«грохот лебедок, постукивание конвейеров на Эгершельде, нервные крики паровозов в транзитной гавани, усталое посапывание буксиров»*. И прямо у подножия Орлиного гнезда стояли судостроительные и судоремонтные мастерские «Дальзавода», где *«всю ночь напролет вспыхивали трепетные голубые зарницы электросварки. <…> Весь Владивосток слышал по утрам зычный, немного медлительный, натруженный голос “Дальзавода”. <…> По нему жили многие в городе. Гудок входил в их быт, управлял временем, становился неотъемлемой составной частью их жизни. Гудок не только будил и звал их на работу. Он постоянно как бы напоминал этим людям об их принадлежности к рабочему классу»*.

Вадим Павчинский

И Вадим тоже стал частью победившего класса. Гордо влился в трудовую колонну. Он вставал еще до восхода, выходил из дому в утренних сумерках и по крутым улочкам сбегал к подножью сопки. *«С Орлиного гнезда, из Голубиной пади, из Рабочей и Матросской слободок, с Эгершельдских сопок –*

отовсюду шли люди, в одиночку и группами, стекаясь в говорливые ручейки. Они вливались, как в русло, в главную магистраль города – Ленинскую улицу. Тут людской поток постепенно мелел, исчезая в широко распахнутых воротах завода, порта, мастерских. Запахи перегорелого угля, отработанного пара, нагретого железа, сдержанное дыхание не успевших отдохнуть за ночь цехов, полусонное бормотание пароходных лебедок – все напоминало людям о хлопотливой жизни заводских корпусов, о неисполненных делах, о новых заботах, о труде».

Вадиму нравилось на заводе. Нравились гремящие цеха, лебедки, процесс сборки, люди, а главное – результат своего труда. Увидев спущенный на воду сейнер, он поражался его красоте и тому, что создание его рук уходит *«в дальние моря, что бушуют у заветных камчатских берегов, куда стремился сам он с такой силой»*.

Но еще больше Вадима увлекла работа электросварщика.

Удивительна связь большевизма и электричества! Электрификация всей страны и энтузиазм первых пятилеток неотделимы друг от друга, они словно слились воедино в ослепительной вспышке. Вадим тоже отдал дань этому увлечению: *«Ради возможности иметь дело с динамо-машинами, моторами, реостатами и другой механикой он не пожалел своей давнишней мечты о мореходке. Электричество и море – эти две стихии бушевали в сердце мальчишки долгое время, не уступая одна другой»*.

Но потом в душе молодого рабочего появилась новая страсть. Она-то и определила судьбу, и не только его собственную, но и судьбу его младшей сестры Нины.

Сперва Вадим Павчинский стал корреспондентом заводской многотиражки «Молот». Сменил запыленную рабочую куртку на юнгштормовку, портупею и брезентовые сапоги, а сварочный аппарат – на самодельный блокнот и двухцветный карандаш. Писания свои он в то время украшал цветастыми эпитетами и многочисленными восклицательными знаками. Но даже лучше, чем заметки, получались карикатуры – смешно, похоже, дерзко. На талантливого юношу-комсомольца обратили внимание – перспективный идейный журналист и одаренный художник. В 1932 году двадцатилетний Вадим Павчинский стал собственным корреспондентом по Приморью хабаровской газеты «Набат молодежи». И покинул Владивосток.

По родному городу, по “Дальзаводу” и Орлиному гнезду он будет тосковать всю жизнь. А став взрослым, затоскует и по детству. По голосам судов в тумане, шуму прибоя, разноголосице улиц. По дальним странам, которых так и не увидел. По таинственной дали, которая манила на рассвете, когда *«солнце выплывало из океанских глубин. <…> Потом коричневатые ржавые обломки скалистой вершины Орлиного гнезда превращались вдруг в россыпи золотых самородков. А по ту сторону Амурского залива свинцово-неподвижные дремлющие облака, неожиданно утратив тяжесть, становились пухлыми, розовыми комками ваты. Прокоптелые кирпичные трубы “Дальзавода” стояли будто облицованные красным мрамором, исторгая торжественно-багряный дым».*

В молодежной газете Хабаровска Вадим Павчинский проработал год. А в 1933-м по комсомольской путевке отправляется в село Михайловка Дальневосточного края, на Дубининскую МТС, чтобы из ничего создавать газету нового типа. В тот же пункт назначения, с тем же комсомольским заданием спешил через всю страну яркий молодой журналист Леонид Решетов.

Глава 6
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПОВЕСТЬ

И суровое детство, и неистовый труд
Не дают оглядеться, продохнуть не дают.
Эта горькая чаша тяжелым-тяжела,
Но зато она наша, не с чужого стола.

А. Р.

Если родственники Алексея Решетова по материнской линии в советских анкетах выглядели сомнительно (помог бы ссыльный прадед, не будь он поляком!), то ранняя биография отца была кристальной.

Родился Леонид Решетов 15 февраля 1910 года в Москве в семье квалифицированного типографского рабочего. Глава семьи Сергей Иванович Решетов, сознательный пролетарий, рано стал участником революционной борьбы. Скорее всего,

еще до революции вступил в партию большевиков. Был арестован, по всей видимости, не раз, попал в ссылку. Видимо, после очередного ареста отца четырехлетний Леонид был вписан в паспорт матери Татьяны Степановны. Жена и сын мотались по ссылкам вместе с Сергеем Ивановичем (Леонид хорошо это помнил), но в 1918-м, на втором году революции, семья распалась. После развода Татьяна Степановна устроилась разнорабочей на железную дорогу. Леонид подрабатывал на вокзале – подвозил на санках вещи пассажиров. Время было голодное, и на какое-то время мать была вынуждена отдать восьмилетнего сына в приют. Сергей Решетов, видимо, бывшей жене не помогал, у него появилась новая семья. Но добрые отношения с отцом и его родней у Леонида сохранились.

Татьяна Степановна, Сергей Иванович и Леонид Решетовы

У Алексея Решетова много записей об отце. Одна из них сделана в 1991 году. В то время он уже знал о судьбе Леонида Сергеевича правду и много думал о нем, но вопросов по-прежнему оставалось больше, чем ответов. Сыну было дорого каждое свидетельство, и он бережно переписал самый ранний документ, относящийся к жизни Леонида Решетова, – «Выпись из метрической книги» о родившихся за 1910 год, выданный Московской Василие Кесарийской, что в Тверской-Ямской слободе, церковью, где 26 февраля 1910 года крестили его отца. *«Этому дореволюционному отцовскому документу я доверяю больше всех прочих».*

> <...> Имена родившихся – Леонид.
>
> Звание, имя и фамилия родителей и какого вероисповедания – Московской губернии, Богородского уезда,

Шиловской волости, деревни Стуловой крестьянин Сергей Ивановъ Решетовъ и законная жена его Татиана Стефанова, оба православного вероисповедания.

Звания, имя и фамилия воспреемников – крестьянин Подольского уезда, села Сосничев Михаил Стефанов Пичугин и Крапивинского уезда Сергиевской волости безземельная Александра Васильева Нестерова.

Кто совершил таинство крещения – Священник Николай Преображенский с причтом.

Есть еще подпись псаломщика Василия Нечаева, круглая, до сих пор не выцветшая печать церкви св. Василия Кесарийского, что в Тверской-Ямской, есть пятнышки от подушечек пальцев свидетелей. И гербовая марка в 75 копеек. Есть еще гербовый знак московской синодальной типографии.

Выписка сложена пополам, и на четвертой, образовавшейся от перегибания странице имеется любопытный штамп: «Отпущено 24.5.1918 г. одна пара д. обуви Т-во “Скороход”».

На 1-й же странице Выписи запись еще более занимательная: «Леонид записан в бессрочную паспортную книжку матери Татьяны Степановой Решетовой 5 апреля 1914 года выданной».

«Я знаю, что родители отца рано разошлись, но что так рано? Пара обуви товарищества “Скороход” отцу как еще пригодилась! Много ли зарабатывала баба Таня на своей железной дороге? Разнорабочей? Уж ходить он любил с малых лет. С дружком Володькой Костиным любили такую забаву: поспорят, какая улица длиннее, та или эта, и измеряют их шагами».

Дружок Володька Костин станет художником. Их с Леонидом пути разойдутся в конце 1920-х, но товарища юности Владимир Костин не забудет. Он долгие годы будет навещать мать Леонида, по мере сил помогать ей. Постарается поддержать жену и сыновей друга. Будет интересоваться делами и планами старшего, рисунками и стихами младшего. Поможет и в самую страшную минуту…

Леонид Решетов учился в московской школе второй ступени № 27 (что примерно соответствует современной средней школе, там обучались дети с 12 до 17 лет). Затем окончил ФЗУ – школу фабрично-заводского ученичества при Северной железной дороге.

Юноша идеально вписывался в эпоху. Активный комсомолец, общественник, честный, трудолюбивый, решительный. Прирожденный лидер.

Уже в 14 лет он вместе с товарищами представлял органы советской власти и принимал участие в различных (не до конца понятных сегодня) ее начинаниях. Вот один любопытный документ – свидетельство абсурдной эпохи 1920-х.

Организационное бюро
Центрально-Промышленной области при Госплане
23 мая 1924 года, № 8, Москва

МАНДАТ

Предъявители сего учащиеся школы 2-й ступени № 27 СПНП Леонид Решетов, Иван Понятовский, Виктор Попов, Владимир Фуфурин являются участниками массового обследования школами второй ступени промышленности и торговли города Москвы.

Президиум оргбюро Ц.П.О. и Президиум Областной плановой Комиссии просят торговые и промышленные предприятия г. Москвы, а также подлежащие учреждения и должностные лица оказывать им всяческое содействие в выполнении ими возложенного на них поручения.

Зам. Председателя Оргбюро ЦПО К. Д. Егоров
И. Д. Председателя Областн. План. Комиссии
В. И. Лавров.

Но не нужно думать, что Леонид Решетов растворился в общественном, забыв о личном. Круг его интересов был широк. Один из талантов – умение находить общий язык с самыми разными людьми. А еще Леонид, по-видимому, обладал удивительным обаянием. Во всяком случае, знавшие его люди и через много лет говорили о нем с любовью и восхищением.

Двоюродная сестра Леонида по материнской линии Юлия (дочь его дяди Андрония Сергеевича Еремина) в каждом письме Нине Вадимовне – и в 1960-е, и в 1990-е – упоминала брата, пытаясь рассказать его сыну, каким он был.

«Леня хорошо рисовал, лепил, вечно что-нибудь мастерил. <…> Я часто вспоминаю Леню. Ведь он для нас с Верой (родная сестра Юлии. – **К. Г.**) *был не двоюродным,*

*а родным братом, он ведь у нас много жил в Чембаре (*город в Пензенской области, с 1948 года г. Белинский. – **К. Г.***), в Ялте. <…> Очень яркое воспоминание: в день моего десятилетия Леня принес мне розу в горшочке, она жила несколько лет. Потом помню, как однажды он по либретто "Евгения Онегина" пел всю оперу на разные голоса. Помню, как вместе катались на лыжах. Помню, как по призыву комсомола пошел работать на паровоз (кем?) и что-то случилось, в результате чуть не лишился глаза, шрам остался. Помню, как собирались в Перове (в 1923 году, до Крыма) все мы: Леня, Вера, я, Зина и ее брат Виктор. Возни было! Мы у родителей Зины (отец – брат нашей мамы) жили полгода, приехав из Чембара и до отъезда в Крым в июне 1923 года. Жили, наверное, бедновато, но мы, дети, этого и не подозревали. А вот радости было много. Наш папа умел приносить нам радость. Потом помню, как Леня один (лет 14-15) приехал к нам в Ялту худющий и страшно голодный, моя мама плакала, увидя его таким, а мы были безумно рады его приезду»* (11.02.1990).

Почему Леонид – тринадцатилетний! – в такое неспокойное время один отправился в Крым, неясно. Он рано стал самостоятельным, и удержать его от всевозможных затей Татьяна Степановна не могла ни тогда, ни потом. Да и не пыталась. Крымское путешествие 1923 года пошло не по плану.

Леонид Решетов (справа). 1926 год

На пароходе путешественника ограбили (украли 20 рублей). Поэтому «основательно осмотреть южный берег Крыма» не вышло, пришлось «положить зубы на полку». Оставшись без денег, подросток бродил по крымским дорогам пешком и, в конце концов, добрался до родственников, точного адреса которых не знал, – голодный, измученный, но все же счастливый. Дорога была его стихией.

Шарж на Леонида Решетова. 1927 год

Из Ялты Леонид написал письмо матери в Москву: *«Я думаю как-нибудь сходить в Мисхор (12 верст), Алупку или Форос. <…> Ты, наверное, думаешь, для чего это он хочет тащиться в Форос 31 версту, да притом он ведь в Форосе был? Но, мама, потому, что мне хочется повидаться со старым товарищем, еще раз посмотреть уже виденные места. <…> Мама, если бы ты знала, как мне не хочется уезжать из Крыма, но как вспомню, что в Москве меня ждет: отряд, школа – так смиряешься»* (7.07.1923).

В Москве, в школе, а затем в училище было чертовски интересно! На ответственного юношу взваливали все новые и новые общественные нагрузки. А скорее – он сам их на себя взваливал.

Сохранился сделанный в 1927 году шарж на Леонида Решетова. Карандашный рисунок: фигура в картузе, рубашке с закатанными, как для работы, рукавами, в сапогах и длинном рабочем фартуке еле стоит на подгибающихся ногах. Под картузом – вклеенная фотография – лицо Леонида. А на плечах – множество ящиков и тюков с надписями: «член РК КСМ» (районного комитета Коммунистического союза молодежи. – **К. Г.**), «председатель приемной комиссии РК», «редактор стенной газеты “Манометр”»,

«руководитель кружка тек. полит.» (текущей политики. – **К. Г.**), «предоргком» (председатель организационного комитета. – **К. Г.**), «замотсекр» (заместитель ответственного секретаря. – **К. Г.**). Звонкие щелчки аббревиатур, и каждая – свидетельство бурной комсомольской жизни, которую уже выхлестнуло за пределы училища – в район, в город, на просторы страны.

В 1928 году, окончив ФЗУ, Леонид Решетов начал работать на железной дороге – сначала слесарем, затем помощником машиниста паровоза (по призыву комсомола, как вспоминает Юлия Андрониевна Еремина). В то время он жил в Москве на бывшем Сокольничьем шоссе, переименованном в 1921-м в улицу Русаковскую, в честь революционного деятеля Ивана Васильевича Русакова, погибшего во время Кронштадтского мятежа. Впрочем, по месту прописки Леонид бывал редко, только чтобы поспать пару часов. И снова спешил – на работу, на заседание политпросветкома или актива, на собрание оргкомиссии комсомольской ячейки, на воскресник, на совещание работников водного и морского транспорта при ЦК ВЛКСМ («Водники! Вперед, на штурм реконструкции транспорта!»), выполнять задание газеты, в литкружок…

В сутках было больше 25 часов. Кроме всех общественных нагрузок юноша находил время и на увлечения, главным из которых стала журналистика.

Спустя много лет Вадим Павчинский – друг, родственник и соратник – напишет: *«Леонид Сергеевич был журналистом по призванию, любовь к газете, печатному слову жила в нем с юношеских лет. Быть может, этому способствовала типографская профессия родителей, которую Леонид очень уважал. Он начал довольно рано “юнкорить”, ходил в литературный кружок при газете “Комсомольская правда”, руководил которым, среди прочих, Владимир Маяковский. Школа “Комсомолки” дала ему многое в газетном деле».*

Пожалуй, школа «Комсомолки» оказалась для Леонида Решетова важнее, чем школа ФЗУ. А Маяковского он задолго до сталинской директивы признал *лучшим и самым талантливым поэтом советской эпохи*.

По свидетельству Владимира Костина, с Маяковским Леонид Решетов был знаком хорошо. В библиотеке молодого железнодорожника хранилось несколько книг с дру-

Совещание Водного и Морского транспорта при ЦК ВЛКСМ. Л. С. Решетов в центре первого ряда. 1931 год

жескими автографами поэта. (Не только сонеты Данте и Петрарки изведет потом на цигарки рыжий хабаровский дворник, но и рубленные строчки Маяка!)

В книге Льва Шилова «Здесь жил Маяковский», впервые опубликованной издательством «Московский рабочий» в 1959 году, помещено «письмо от слушателя курсов ЦИК СССР Л. Решетова в связи с постановкой “Бани” и спорами вокруг спектакля». Вот его текст.

Тов. Маяковский!

Оттого, что «Баня» кажется мне острым, злободневным, нужным спектаклем, хочу поделиться с тобой некоторыми замечаниями.

Думаю, что можно было бы использовать эпиграфом ленинские слова о бюрократизме. Эпиграф этот сразу даст толчок мозгам в сторону сочувствия Чудакову. Может быть, этот эпиграф нужен перед вторым актом, когда ребята приходят к Главначпуп. <…> Общее впечатление от спектакля большое, хорошее. Спектакль будет иметь больший успех, чем «Клоп». О «скользкости» могут говорить люди совпартчиновничьего обличия. Привет! Л. Решетов.

Судя по этому письму, Леонид видел легендарный спектакль Всеволода Мейерхольда – первую московскую постановку «Бани». Премьера прошла весной 1930 года на сцене ГосТиМа, для которого пьеса и была написана. (На полтора месяца раньше «Баню» показали в Ленинграде в Драматическом театре Государственного народного дома в постановке Владимира Люце.) Московская премьера, можно сказать, провалилась. «Зрители, – писал Маяковский, – впервые увидевшие спектакль 10 апреля, до смешного поделились – одни говорят: никогда так не скучали; другие: никогда так не веселились». Критики тоже высказывали прямо противоположные мнения, и претензии предъявляли в основном к пьесе и ее автору, а не к театру.

Написать письмо автору «Бани» Леонида Решетова заставило не столько желание дать советы – куда и зачем поместить ленинский эпиграф, сколько стремление поддержать своего кумира. Он не был согласен с нападками на пьесу и не разделяет мнение критика Ермилова, что тема – бюрократизм! – уже не актуальна. Юный комсомолец уверен, что «Баня» будет иметь больший успех, чем «Клоп», а ведь сам Маяк утверждал, что каждая последующая пьеса должна быть лучше предыдущей, иначе и писать ее незачем. «О "скользкости" могут говорить люди совпартчиновничьего обличия», – заключает Леонид и четко обозначает этим сторону баррикады. У них общий враг – у горлана-главаря В. Маяковского, новатора В. Мейерхольда, блистательных артистов ГосТиМа и слушателя курсов ЦИК СССР Л. Решетова – идеального представителя лучшей части советской молодежи.

Спектакль получился уж слишком острым и был вскоре снят с репертуара. Так что Леонид не ошибся ни в оценке произведения, ни в оценке врага. Вот разве что в оценке действительности…

Выбор любимого, своего поэта многое говорит о человеке. Алексей Решетов записал однажды: «Дядя Вадим любил Блока, мама – Есенина, отец обожал Маяковского». Влияние это было не только (и не столько) литературное, скорее личное. Леонид Решетов, как и его кумир в период создания ОКОН РОСТА, был готов работать сутками: сочинять, рисовать, голодать и холодать вместе со страной, придумывать, как рисунком и строкой максимально просто

донести до народа информацию, заинтересовать, растолковать, побудить к действию. Словно специально для него – о нем! – написано стихотворение «Рабочий корреспондент» (1923):

Пора последнее оружие отковать.
В руки перо берем.
Пора —
самим пером атаковать!
Пора —
самим защищаться пером.
Исписывая каракулью листов клочья,
с трудом вытягивая мыслей ленты, —
ночами скрипят корреспонденты-рабочие,
крестьяне-корреспонденты.
<...>
В дрожь вгоняя врагов рой,
трудящемуся защита дружья,
да здравствует
красное
рабочее перо —
нынешнее наше оружие!

В 1928-м восемнадцатилетний Леонид Решетов вступил в партию. Он вообще все делал не откладывая. Словно чувствовал: жизнь коротка и нужно успеть как можно

Комсомольцы на XVII конференции в Москве. Л. С. Решетов (первый справа в первом ряду). 1929 год

больше. В 1929-м начал учиться на Центральных курсах марксизма при ЦК ВКП(б). Но доучиться ему не дали. Партия в очередной раз сказала: «Надо!», и Леонид Решетов бросил курсы и покинул столицу. Сначала уехал сравнительно недалеко – стал секретарем комитета ВЛКСМ на Саратовском заводе комбайнов. Завод строился. Нужно было мобилизовать на стройку крестьян из окрестных деревень, агитировать, искать стройматериалы и транспорт, выполнять план, бороться за переходящее знамя… *«Среди ночи мы поднимали бараки и бежали разгружать кварцевый камень, после дневной работы таскали тес с Волги, обрывали собрания на полуслове и, вскинув заступы, шли рыть котлованы»*, – так опишет это время Леонид в неоконченной (да, пожалуй, толком и не начатой) повести «Барачная жизнь».

Кроме всего прочего товарищу Решетову, прошедшему школу «Комсомолки», поручили редактировать заводскую газету «Молодой сталинец».

Но есть и еще один любопытный документ саратовской поры. Он раскрывает личность неугомонного комсомольского вожака и его отца-подпольщика с новой, неожиданной стороны. В семейном архиве сохранилось много писем Леонида Решетова к матери, и только одно к отцу. Из этого единственного письма ясно: отец и сын были духовно близки. Боевая юность подпольщика Сергея Решетова оказала на Леонида огромное влияние. Отец приближал новую жизнь, сын эту жизнь с энтузиазмом строил. Но объединяло их и еще одно – отношение к слову, к книгам, к культуре в самом широком понимании этого слова.

Саратов, 19.02.1931

Дорогой отец!

Недавно читали твою книгу с друзьями, и вот, захотелось написать тебе. Я ее перечитываю, кажется, в 4-й раз. Простота изложения, бесхитростность повествования подкупают.

И вот что мне кажется странным: почему, написав прекрасную книгу, ты замолчал? Разве нет тем в нашей жизни, разве она не может увлечь художника? «Времени нет», – пожалуй, ответишь ты. А вот этому, прости, я никогда не поверю. Я в сутолоке своей комсомольской жизни написал

здесь, в Саратове, две брошюры. Правда, они меня не удовлетворяют, правда, сухонький язык и, может быть, «мелкая тема»... Я и сам вижу, что далеко мне до «большого искусства большевизма», но я и не гнался за этим. <...>

Леонид Решетов

Помнишь, ты рассказывал о желании написать книгу об интеллигентстве, но потом-де помешал «Шахтинский процесс»? Неверно это. Процесс прошел, о нем забыли, в среде интеллигентства много нового. Вот показать, что новое в интеллигентстве, новое в борьбе со старым – большая трудная задача и тебе по плечу. Я никак не могу смириться с твоим молчанием. В чем причина? Жизненные перипетии не могут служить основанием бездействия большевика. Мы, молодежь, тебе простить не можем. И вместе с благодарностью за прекрасную книгу о прошлом выдвигаем «социальный заказ»: дать хорошую, сочную книгу о сегодня.

Несколько слов о себе.

Я работаю секретарем заводского комитета КСМ Саратовского Комбайнстроя. В нашей организации (заводской) 2000 человек комсомольцев – это солидная организация, не так ли? Времени на работу уходит много, около 12-14 часов ежедневно. И все же я делаю записи, собираю материал, пишу в газету. Я тебе пришлю свои брошюры для критического разбора и разгрома. И то, и другое я приму как должное.

Мне очень хочется засесть за работу над повестью о днях комсомольской жизни. Небольшая моя жизнь изобилует ярчайшими, интереснейшими моментами. Немного есть среди нас комсомольцев, которые знают, что такое ссылка, не по книгам, а я это помню неплохо. Потом фабзавуч, работа в депо, на паровозе. Колхоз. Строительство завода-гиганта. Это прекрасная школа для молодого большевика. В 32 году я сажусь за повесть. Кстати сказать, рассчитываю на твою помощь – советы, материалы о твоем детстве, о тебе... Ведь смешно, но я не знаю, с какого года ты в партии, сколько раз сидел, ссылался, были ли побеги? Когда материалы будут,

ты должен будешь посмотреть план повести, прокорректировать, и потом поторапливать меня, подправлять. Согласен ли ты на это? Думаю, что да!

Несколько попутных вопросов.

Я редко бываю в Москве и лишен возможности купить все книги, которые мне хочется. У меня здесь нет классиков, за исключением Толстого, очень мало французов (современники, кроме Маяковского, Роллана, Горького, меня мало интересуют). Так вот, нет ли этой возможности у тебя: достать кое-что для меня?

В материальном отношении дело обстоит хорошо – я богатый человек, относительно. (Получаю 200 руб. + газетная работа. Не пью. Барахла не покупаю. В театры хожу бесплатно. Деньги есть, но книг нет!)

Вот, примерно, что мне нужно: 1. (неразборчиво), *2. Сервантес, 3. Дефо «Робинзон» (Академия), 4. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюель» (Академия), 5. Маяковский – 8 том (Гиз), 6. Бабель – рассказы, 7. Л. Андреев, 8. Есенин – стихи, 9. Гончаров «Обломов», 10. Помяловский – очерки, 11. Щедрин – сказки, 12. «1001 ночь» 1 и 3 тома (2 есть) – Академия, 13. Чернышевский «Что делать», 14. Светлов – стихи.*

Кроме того: Энгельс-Фейербах, Маркс «К критике политэкономии», Плеханов «К развитию мистического взгляда на историю».

Мой адрес: г. Саратов, ул. Республики, центральная гостиница, №3-а, Л. Решетов.

P.S. Говорят, что я заядлый библиофил, но что правда – не люблю книги в плохом издании.

Посылаю обе брошюры. Очень прошу, чтобы ты написал обстоятельное мнение, хотя они обе для меня – пройденный этап.

К просьбе о книгах. Нужно, кроме всего, о чем пишу в первом письме: Стендаль «Арманс», «Пармская обитель», «О любви» и хроника. <…> Пруст «В поисках утраченного времени», «Под сенью девушек в цвету».

В Москве, как я узнал дорогой, есть закрытый распределитель, вот там-то, видимо, можно достать кое-что. Попробуй отыскать его (кажется, на Тверской).

Из книг очень бы хотелось в первую очередь Рабле и Стендаля.

Леня.

Здесь нужно сказать еще несколько слов о Сергее Ивановиче Решетове (1882–18.11.1954). Если дед Алексея Решетова по материнской линии Вадим Владимирович Павчинский выпустил в 1914 году сборник стихов, то дед по линии отца был автором целого ряда изданий. О первой его книге упоминает в своем письме Леонид.

Повесть Сергея Решетова «К новой жизни» была впервые опубликована в 1926 году (Госиздательство, Москва – Ленинград) и переиздана в 1928 году (издательство «Молодая гвардия»). Главу из нее («В старом подполье») напечатал в 1925-м журнал «Огонек». Но призыв сына продолжать литературное творчество не был услышан, «социальный заказ» *дать хорошую, сочную книгу о сегодня* не был выполнен. Творческие планы Сергея Решетова не реализовались. О причинах лучше не гадать. Однако, отказавшись от беллетристики, писать он продолжал – стал автором нескольких брошюр и учебных пособий для полиграфистов. Первое из них «Наборные машины, их изобретение и развитие» вышло в 1932 году, последнее – «Ручной набор и верстка» – в 1954-м. Очевидно, в своем деле Сергей Решетов был настоящим специалистом. Издавались эти пособия в Москве и Ленинграде, некоторые выдержали не одно издание.

В «Материалах к биографии» Тамара Катаева пишет: *«Кое-какие сведенья об отце Леонида, Сергее Решетове, сообщил в письме 1950 года <…> Вадим Вадимович Павчинский: “По-моему, муж Татьяны Степановны работает в Великих Луках председателем облисполкома – я читал его речь на сессии Верховного Совета, он депутат…”»*

Вадим ошибся. Депутатом Верховного Совета был председатель Великолукского облисполкома Серафим Николаевич Решетов. Сергей же Иванович как был, так и остался полиграфистом. Если он, подпольщик и член партии до 1917 года, и начинал делать успешную партийную карьеру, то трагическая судьба сына не могла на ней не сказаться. Да и психологически случившееся с Леонидом должно было повлиять на отца. Уж он-то знал, каким честным, искренним, беззаветным коммунистом был его сын.

Нельзя обойти молчанием писательские опыты самого Леонида Решетова. В начале 1930-х в Саратове вышли две его брошюры «К новой боли, к новым победам!» и «Дело мистера Луньеса». Название первой говорит само за себя.

Что касается второй, то ее появление он объяснял отцу так: *«Мне просто казалось странным, что писатели-интеллигенты прошли мимо интереснейшего факта избиения негра на тракторном в Сталинграде. И я написал»*.

Дело Луньеса – дело о расизме. Чернокожего рабочего сталинградского тракторного завода Робинсона избил белый рабочий того же завода Луньес. Луньеса осудили все, в том числе и пылкий молодой интернационалист Решетов. Но об этой брошюре, где автор рассуждает о советском правосудии, речь впереди. Как и о повести, которую Леонид Решетов, как и обещал отцу, начал писать в 1932-м.

Пока же хочется сказать о Решетове-библиофиле. Свою библиотеку он не просто собирал, но подбирал. Для него был важен не только текст, но и внешний вид книги, качество полиграфии и бумаги, издательство *(«не люблю книги в плохом издании»)*. На подобные вещи обращают внимание люди, для которых книга – не просто источник знаний, но и источник наслаждения, друг и собеседник. Те, кто книги перечитывает, живут в них. Остальным все едино – «Академия» или «Детгиз».

Сохранился алфавитный список книг библиотеки Леонида Решетова, составленный им 31 октября 1930 года. Есть в этом каталоге сочинения основоположников марксизма-ленинизма, брошюры о комбайнах и добавочной стоимости, показания профессора Рамзина на процессе Промпартии. Есть англоязычный словарь и учебник английского языка. Есть сочинение Спинозы «Принципы Декарта» и «Этика», а также «Философские очерки» Любови Аксельрод. Есть «Золотой осел» Апулея и комедии Аристофана. Есть собрание сочинений Пушкина и семь томов Маяковского. Есть Асеев, Сельвинский, Смеляков, Хлебников (явное предпочтение футуристам, что подтверждает и сборник статей Николая Радлова «О футуризме»). Есть современные прозаики, отечественные и иностранные: Ромен Роллан, Джон Рид, «На Западном фронте без перемен» Ремарка, Сейфуллина, Фурманов, Анатоль Франс, Уэллс. Есть классики: Фонвизин, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Флобер, Свифт, Сервантес. Есть «Листья травы» Уолта Уитмена…

Когда он находил время на чтение? Если судить по дневнику, который Леонид Решетов вел в Саратове, часов

в сутках по-прежнему не хватало. Да и как их могло хватать на большой стройке первой пятилетки?!

Впрочем, это не личный дневник, скорее – дневник комсомольской организации завода, снабженный, правда, иногда диалогами и характеристиками персонажей (вроде «великан с соломенными волосами»). Краткие записи хорошо передают бешеный ритм жизни.

16.04.1931. *Сбежал Гаврилов, присланный райкомом для работы секретарем строит. коллектива КСМ. Спасовал! Придется обсуждать о пребывании в комсомоле, так обсуждать, чтобы «дело Гаврилова» было поднято на принципиальную высоту. Чем это не дезертирство?*

23.04. *Гаврилова исключили с треском. Строительство задыхается без камня. Работы могут остановиться. Послали телеграмму в «Комсомолку».*

25.04. *Послали сегодня письмо комсомольцам завода «Красный пролетарий» им. Свердлова – письмо-счет за недоброкачественные станки. <…> Начал поступать кварцевый камень, сегодня пришло 6 ваг.*

11.05. *Начали съезжаться ребята из колхозов. Вот где критические настроения! Наутро пришли в завком, побузили:*

– Не могем работать – тяжело. Тачки гонять по пяти пудов. Мы слабосильные – не можем.

Дали им наговориться, да и спрашиваем:

– Комсомольцы?

Даже обиделись:

– Как же, факт – комсомольцы.

Тут мы и взяли в оборот.

– А наши комсомольцы возят по пять пудов? Наши-то что ли сильнее? Ну, уйдете домой, а кто завод будет строить?..<…>

12.05. *Задумали провести встречу ударников полей с ударниками завода.*

<…> Проблема с кадрами, прежде всего квалифицированными. О «500» вообще, видать, не слыхали. Но особо безобразное отношение к школе ФЗУ. Снабжение оборудованием происходит по принципу: «На тебе, боже, что нам не гоже». В школу «подбросили», например, такой станок, на котором Ной обрабатывал коленчатый вал для своего ковчега.

18.05. *Вчера обратились с обращением «Ко всем комсомольцам, рабочей молодежи Саратова, Нижней Волги и всего Советского Союза» – кадры для стройки. Создаются «батальоны помощи»…*

И так далее.

Но все же, несмотря на азарт работы, чувство локтя, романтику большого дела, Леонид Решетов мечтал продолжать учебу. В 1932-м он надеялся вернуться на курсы ЦИК. Мечта не сбылась. Молодой партиец получил новое назначение. Советская власть продолжала увлеченно заколачивать гвозди микроскопами, тем более что в данном случае микроскоп не был по-настоящему отлажен.

Леонид оказался в числе тех, кого партия направила на самый ответственный участок идеологического фронта, созданный, чтобы укрепить фронт трудовой. Молодому партийному журналисту предстояло снова пуститься в путь.

На подъем Леонид был легок, но тяга к знаниям была у него не меньше, чем тяга к жизни. Долг и чувство пришли в противоречие.

18 января 1932 года дядя Костя (видимо, брат отца) написал Леониду Решетову письмо, упрекая племянника в том, что он «чрезмерно нервничает» и «приходит в отчаянье» без достаточного на то основания.

«Ты пишешь: “Неужели я, выросший в обстановке ссылок, сын подпольщика и т. д., не имею права учиться? <…> Разве не найдутся охотники увидеть в отзыве с учебы факт недоверия мне. <…> К тому же в следующем году – армия и пр.” Словом, катастрофа, провал, паника. Таков тон твоего письма.

Поверь, Леня, ничего страшного не случится, даже если тебя отзовут с учебы. <…> И снятие, вернее, отзыв с учебы, и предстоящая армия для юноши 20 лет – жизненные эпизоды, ни в коем случае не могущие повлиять в худшую сторону в твоей жизни. Коммунист при любых обстоятельствах и положениях должен, прежде всего, помнить, что он коммунист, и не поддаваться настроениям минуты дня. <…> Словом, дорогой Леонид, никогда не падай духом, крепись при любых обстоятельствах. А главное, никогда не теряйся, частное подчиняй общему. Все остальное прилагается» (18.01.1932).

Письмо отправлено из Москвы и написано во время какого-то заседания. По смыслу и тону: не дядя пишет племяннику, а партиец – партийцу. Правда, в первых строках упомянуто, что какие-то хлопоты дядя Костя предпринял, попытался отстоять право юноши на учебу (видимо, имел влияние в партийных кругах). «*Тов. Птухе написал… Думаю, что он поможет тебе выкарабкаться из создавшегося положения*». Увы, товарищ Птуха не помог. Леониду Решетову выпала дальняя дорога на край страны – на Дальний Восток.

Глава 7
ВЫЗОВ

Я буду посылать тебе «Вызов». Он выходит ежедневно, на нем моя подпись. Поглядишь – подпись на месте, значит, жив, здоров, чего и вам желаю.

Из письма Леонида Решетова матери, Татьяне Степановне Решетовой (1933)

В декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) провозгласил курс на коллективизацию. Чтобы решить задачу – ликвидировать индивидуальные крестьянские хозяйства и любыми способами загнать крестьян в колхозы и совхозы, из городов были мобилизованы 25 тысяч сознательных рабочих. Техническое обслуживание крестьянских объединений осуществляли машинно-тракторные станции (МТС). В январе 1930-го было принято постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Одной из мер стала организация при МТС чрезвычайных органов управления – политотделов. Политотделы создавали в колхозах партийные и комсомольские ячейки, боролись с саботажем и хищениями колхозного имущества, решали кадровые вопросы, пропагандировали политику партии и вели культурно-просветительскую работу. За два года в стране появилось 3368 политотделов, куда, в дополнение к двадцатипятитысячникам, были направлены 17 тысяч работников с партийно-политическим и организационным опытом.

Одним из этих организаторов-пропагандистов и стал двадцатитрехлетний Леонид Решетов. Весной 1933 года его назначили помощником начальника политотдела по комсомолу в Дубининскую МТС Михайловского района Приморской области.

Среди черновиков Алексея Решетова есть запись коротенького рассказа о том, как его отец прибыл к месту нового назначения.

«Веледницкий. Б(ывший) директор МТС:

Помню глубокой апрельской ночью звонок с разъезда:

– Говорит помощник начальника политотдела Решетов…

Я сразу же оседлал своего Гусара и выехал встречать. Пока знакомились и толковали, подошел 2-й поезд, и в нем приехал зам. нач. Скворцов. <…> День на ознакомление с МТС. Назавтра они (Скворцов и Решетов. – **К. Г.**) *едут в колхозы готовить и выводить бригады на сев».*

На том же листе – отрывочные записи, словно кадры рвущейся старой кинопленки:

«К весне всех коней до единого ввести в рабочее тело хорошей упитанности! <…> Бабы крепко помнят слова товарища Сталина о том, что женщины в колхозах большая сила. <…> С чего мы начали. Это внедрение женского труда в колхозное производство. Мы провели во всех колхозах организацию детских ясель, а на кор(откий) срок – полевых ясель…»

С Михаилом Веледницким Леонид Решетов крепко подружился, и сотрудничество директора МТС с помощником начальника политотдела оказалось плодотворным. Однако дальневосточный колхоз был не первым крестьянским хозяйством, куда попал молодой москвич.

В письме отцу, перечисляя этапы своей короткой, но богатой событиями жизни, Леонид Решетов упоминает «колхоз» между работой на паровозе и строительством завода-гиганта. А в 1935 году в письме к матери сообщает: «*Сейчас получил такую телеграмму из Москвы: “Шлем новогодний привет блестящему редактору ждем писем Мартовицкий Третьяков”. Третьякова – писателя – ты знаешь, а Мартовицкий – это председатель коммуны “Маяк” на Сев. Кавказе, где я был вместе с Третьяковым».*

Работу Леонида Решетова на Северном Кавказе можно было бы счесть эпизодом, если бы не Третьяков.

Сергей Михайлович Третьяков (1892–1937) – поэт, сценарист, переводчик, теоретик и практик литературы факта, драматург. Его пьеса «Рычи, Китай!» стала одной из самых нашумевших постановок 1920-х, спектакли по ней шли не только во многих городах СССР, но и в Англии, США, Австрии, Аргентине, Норвегии, Японии и, конечно, в самом Китае.

В начале своей бурной творческой биографии Третьяков принадлежал к кругу эгофутуристов. С 1918 по 1922 годы, во время существования Дальневосточной республики, жил на Дальнем Востоке и принимал деятельное участие в культурной жизни края. Вместе с Николаем Асеевым, Давидом Бурлюком и другими литераторами создал там поэтическую группу «Творчество». Публиковался в местной прессе (в том числе, между прочим, в газете «Красное знамя», где в те годы работал Вадим Владимирович Павчинский). Читал лекции в Харбине. Затем вернулся в Москву. В 1923-м сблизился с группой Маяковского и стал участником ЛЕФа (Левого фронта искусств). В московской квартире Третьякова на Малой Бронной два года (1927–1928) фактически находилась редакция журнала «Новый ЛЕФ», и после ухода из Левого фронта Маяковского именно Третьяков стал редактором.

В разное время он сотрудничал со многими настоящими мастерами: режиссерами Всеволодом Мейерхольдом и Сергеем Эйзенштейном, фотографом Александром Родченко, поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом, художником Джоном Хартфилдом. Но более всего Сергей Третьяков известен как один из теоретиков производственного искусства, расцвет которого пришелся на 1930-е годы. Очерки, дневники, биографии, плакаты, фотографии, репортажи – все виды документалистики – выходили на первый план. Третьяков и его единомышленники считали, что художественные произведения создаются самой жизнью и не нуждаются в вымысле и художественных приемах.

«Высокого роста, широкоплечий, с наголо выбритой маленькой головой, с птичьим профилем, очень тонкогубый, очень организованный, Сергей Михайлович Третьяков был пуристом и фанатиком. Принципиальный очеркист, “фактовик”, разносторонне и широко образованный, Третьяков был рыцарем, пропагандистом документа, факта, газетной информации», – писал об этом человеке Варлам Шаламов.

Третьяков неустанно ездил по стране. Свою задачу он видел не только в максимально точном описании действительности, он и сам принимал активное участие в социалистических преобразованиях. Несколько лет провел на Северном Кавказе, опубликовал серию очерков о работе местного совхоза. Как можно заключить из письма Леонида Решетова, совхоз назывался «Маяк». В 1930 году Третьяков выпустил книгу о коллективизации. Заглавие этой документальной повести – «Вызов». Так называлась газета, которую Сергей Михайлович выпускал на Кавказе. Одним из сотрудников этого издания был Леонид Решетов.

Личность старшего товарища – убежденного коммуниста, человека большой эрудиции, повидавшего мир, знакомого с самыми видными представителями современного искусства, – поразила молодого журналиста.

Вполне возможно, жизнь сводила их и раньше, еще в Москве. Один был соратником Маяковского, другой – его кружковцем-учеником. Вероятно, Решетов посещал диспуты и литературные вечера, которые в 1920-е годы собирали обширную и разнообразную аудиторию. Любил он и театры. И раз видел в ГосТиМе «Баню» Маяковского, мог видеть в том же театре «Рычи, Китай!» и другие постановки Третьякова. Но даже если встреча на Северном Кавказе стала случайной (жизнь на подобные случайности щедра), то нужно признать: случай этот оказал большое влияние на дальнейшую судьбу Леонида Решетова. Его жизнь и жизнь Третьякова оказались связаны. И несомненно: в 1933-м молодой журналист был направлен на Дальний Восток, где когда-то работал Сергей Третьяков, неслучайно. А газета, которую Решетов начал выпускать в Дубнинской МТС, – прямая наследница третьяковского «Вызова».

Чтобы решить одну из главных задач политотделов – укрепить политическое руководство массами, – при МТС начали создавать специальные издания, наподобие заводских многотиражек («Печать – коллективный пропагандист!»). В августе 1933 года было принято специальное Постановление ЦК, где, в частности, говорилось: «Организовать в течение 1933 года в каждом политотделе МТС по небольшой общедоступной газете и ввести в штат политотделов должность редактора газеты». К концу года в стране уже выходили 2150 политотдельских изданий тиражом бо-

лее миллиона экземпляров. Но «Вызов» Дубнинской МТС занял среди них особое место.

Первый номер увидел свет 5 июня 1933 года. Он открывался декларацией редакции, похожей на обращение полководца к войскам перед решающим сражением:

> Наш «Вызов» – вызов пережиткам старого, старому отношению к труду – нерадению, лени, неповоротливости. Вызов лодырю и рвачу, дезорганизатору – подкулачнику и кулаку – вызов всем врагам колхоза. Наш «Вызов» – призыв ко всем честным колхозникам: Теснее ряды вокруг партии Ленина, лучше работать, и мы победим!

Первоначально тираж газеты был 500 экземпляров. Объем – 2 страницы. Стоила газета 2 рубля 25 копеек.

Нужно отметить: в Дальневосточном крае было к тому времени 67 политотделов МТС. Леонид Решетов мог попасть в любой из них так же, как Вадим Павчинский. Но уроженец Владивостока и коренной москвич встретились в селе Михайловка Уссурийского района Приморского края. В этом административном центре, в 13 километрах от Уссурийска, находился командный пункт политотдела. Участок трудового фронта у молодых пропагандистов оказался немаленький. В сферу ответственности Дубнинской МТС входило 19 колхозов. «Михайловка-Уссурийская» или «Михайловка-Приморье» – так помечены первые письма Леонида Решетова с Дальнего Востока в Москву.

Вадим Павчинский вспоминал десятилетия спустя: *«Первый год мы выпускали газету вдвоем с Решетовым. Затем присоединился еще один газетчик. Главными же нашими помощниками были многочисленные селькоры».*

Сначала селькоров у «Вызова» было 13, через год уже 138. Политотдельский фордик без устали гонял по всему Михайловскому району, а в окнах редакции свет горел далеко за полночь. Три молодых человека: редактор Решетов, художник и журналист Павчинский и прибывший через некоторое время к ним на подмогу корреспондент Евсей (фамилия третьего товарища в переписке, к сожалению, не упомянута) самозабвенно трудились, чтобы сделать свою газету лучшей и в самый короткий срок решить все задачи, поставленные перед ними партией.

Они сдружились быстро, как бывает лишь в юности. Ровесники (Решетов старше Павчинского на два года, так что он командир не только по должности, но и по опыту), люди одной веры, одних убеждений. Книгочеи и любители поэзии. Двое отлично рисовали – в этом деле Вадим стремительно становится профессионалом. Все писали – здесь первенство оставалось за Леонидом. Остроумные, полные энергии, неутомимые. И газета, которую они делали, была похожа на них – боевой листок молодой республики, стремительный и дерзкий от названия до шрифта и карикатур.

...Сегодня мы знаем: коллективизация стала величайшей трагедией страны. Она унесла тысячи жизней, разрушила миллионы семей, уничтожила привычный крестьянский уклад. И конечно, журналисты политотдельских газет не могли не видеть того, что происходит. Но многое зависит от точки зрения. Нельзя судить одну эпоху с позиций другой. Редактировали создатели «Вызова» действительность? Да. Верили, что участвуют в большом добром деле? Несомненно. Они хотели лучшего. И были свято убеждены: светлое будущее не за горами. Каждый из них подписался бы под строками Сергея Третьякова:

Одинаковы речи
Станка и деревни.
Мы все – Октябревичи.
Мы все – Октябревны.

Газета быстро приобрела настоящий авторитет. За первый год редакция получила более тысячи писем. С 15 марта 1934 года «Вызов» выходил ежедневно, тираж достиг шести тысяч экземпляров. И дело не только в энтузиазме редакции. Леонид Решетов был прирожденным журналистом. Он прошел отличную выучку. Ускоренную, как в боевых условиях: взлет – посадка! Но он и ловил на лету. Все, что щедро давала жизнь и, не менее щедро, книги. Уроки «Комсомолки». Драматургию и верность фактам Третьякова. Лирическую отвагу и уверенность Маяковского.

Город растет,
а в далекой деревне,
в тихой глуши
медвежья угла

все еще
стынет
в дикости древней
старый,
косматый,
звериный уклад.
Дико в деревне,
и только селькоры,
жизнь
подставляя
смертельным рискам,
смело
долбят
непорядков горы
куцым
своим
карандашным огрызком.
<...>
Труден
и тяжек
путь селькора.
Но славят
и чтут вас
каждый день
все,
кто беден,
все, кто в горе,
все, кто в обиде,
все, кто в нужде!
Враг богат,
изворотлив
и ловок,
но не носить нам
его оков.
Ваш карандаш
вернее винтовок,
бьет
и пронзает
лучше штыков.

«Селькоры» (1924)

Но самое главное – Леонид Решетов был настоящим лидером. Вадим Павчинский потом назовет очерк о нем – «Редактор “Вызова”». Определение абсолютно точное.

Уже через год после начала издания на «Вызов» обратила внимание всесоюзная пресса. 8 июня 1934 года в обзоре печати газеты «Правда» был опубликован материал «На небольшом участке. “Вызов”, ежедневная газета политотдела Дубнинской МТС Дальневосточного края».

Нет плохой земли, а есть плохие хозяева. Нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры. Нет маленьких газет, а есть маленькие редакторы.

Маленький, казалось бы, неудобный участок земли, небольшую короткую роль и крохотную газетную полосу можно при умении, при любви к делу превратить в большое культурное и политическое явление.

И это сделал редактор «Вызова» т. Л. Решетов. Размер двух страниц его газеты – полстраницы «Правды». На этой небольшой площади т. Решетов сумел в далеком Приморье организовать большое интересное и культурное хозяйство.

<...> Газета помнит о читателе. Поэтому она не занимается барабанным боем, не сыплет пустопорожними, малоосмысленными и малопонятными фразами. Она разговаривает с читателем просто, понятно, конкретно. <...> Ни суеты, ни крика, ни общих фраз. В центре внимания – люди. Газета знает людей своего района, связана с ними. Она знает, кого поставить в пример, на кого направить огонь самокритики, кому надо помочь. <...>

8 мая (мая, а не марта!) номер газеты целиком посвящен женщине-колхознице. Тут и о яслях, и о лучших ударницах, и письмо трактористов поварихе Быковой «Спасибо Нюре за вкусный обед».

<...> Известно, как во многих районах и политотдельских газетах плохо обстоит дело международной информации. Или ее вовсе нет, или печатают телеграммы ТАСС в их натуральном, совершенно неудобочитаемом виде. «Вызов» здесь нашел свой язык, свой стиль. Наиболее интересные телеграммы он перерабатывает, делает их понятными и доступными рядовому читателю, причем переработка весьма грамотная и толковая.

Чтобы еще больше оживить газету, редакция «Вызова» завела «Окно сатиры». Все «окно» – строчек двадцать. 5-6 строк –

письмо селькора. Затем маленькая карикатура (линолеум) и четверостишие. <…> Редакция «Вызова» показывает, как на небольшом участке при хорошей работе, при работе без «огрехов», можно собрать лучший урожай, чем на большом, но плохо обрабатываемом поле.

Обзор был проиллюстрирован многочисленными (и убедительными!) примерами.

Вот заметка о трактористе Апхаликове:

> В колхозе имени Ленина пять тракторов. Пять, а работают два-три, нередко один. Но даже тогда, когда работает всего один – это Алеши Апхаликова. Можно подумать, что трактор у Апхаликова какой-то особенный. Что части его сделаны из необычайно твердого материала. Что, когда делали этот трактор, на заводе был объявлен «штурм» и рабочие сговорились: «Давайте, мол, сделаем для Алеши Апхаликова чудо-трактор, который никогда не будет ломаться».
>
> Нет! У Алеши Апхаликова обыкновенный трактор. Старенький «путиловец». И все-таки он не стоит. В чем же секрет?
>
> Секрет в том, что сам Алеша не обыкновенный тракторист. Не такой, например, как Краснов или Патук. Это ударник. И не просто ударник, а лучший ударник. Герой колхозных полей.

Короткие фразы, ясная мысль, подкупающий тон – так рассказывают соседям об общем друге – не о каком-то далеком и важном Алексее, а о своем парне – Алеше.

Обзор «Правды» перепечатали в специальном номере «Вызова». И вскоре Политуправление МТС Наркомзема СССР и Всесоюзный коммунистический институт журналистики издали комплект «Вызова» в качестве учебного пособия для газетчиков. Так что учиться Леониду Решетову не дали, а вот автором практического учебника он стал. В том же 1934-м газета Дубнинской МТС была премирована Наркомземом среди 30 лучших изданий СССР. Хабаровская областная газета тоже поместила заметку «“Вызов” – острейшее орудие в руках политотделов».

19 июля 1934 года. Леонид писал матери: «*Дел было – уйма! <…> На днях отмечали юбилей “Вызова” – довольно торжественно. За “Вызовом” прочно укрепилась слава – лучшей*

в крае политотдельской газеты. В соревновании, объявленном политотделом МТС края по нашей инициативе, мы идем первыми. Словом, дела идут прекрасно. <…> Недавно был во Владивостоке и в Хабаровске (на 1-м краевом съезде писателей). По дороге домой встретил экспресс челюскинцев. <…> Отпуска – не дадут. Может быть – зимой. Но я и без отпуска чувствую себя – великолепно! В Москву и не тянет».

В Москву его не тянуло не только из-за работы. Жизнь была до краев наполнена событиями и впечатлениями. Решетов открывал для себя Дальний Восток, с его простором, разнообразной природой, океаном. Он нашел новых и настоящих друзей. А еще в Михайловке он встретил Нину Павчинскую. Девятнадцатилетняя сестра Вадима – легкая, красивая, веселая – приехала вслед за любимым братом из Владивостока в Михайловку. И тоже начала заниматься журналистикой – сотрудничать в одном из многочисленных приложений «Вызова» – детской газете «Костер».

…В 1967 году журналист Савва Марченко выпустил книгу «Годы и строки», посвященную юбилею владивостокской газеты «Красное знамя». В этом издании впервые за тридцать лет было упомянуто имя Леонида Решетова. Марченко писал о нем: «Кристально-чистая ясность – вот чего всегда требовал от себя и от других Решетов. Это был мастер увлеченно рассказывать о самых обыденных делах». Еще до выхода книги автор прислал рукопись своему другу и коллеге Вадиму Павчинскому с просьбой прочесть и по возможности дополнить текст. В ответном письме Вадим Вадимович написал:

«Лавиной обрушились на меня факты и события давних и невозвратных лет, я снова и снова пережил эти годы, повторил сделанное мною на том скромном участке, на который послал меня комсомол, увидел лица друзей и товарищей, услышал их голос. Говорю без преувеличения: ты своей рукописью перенес меня – духовно и физически – в страну нашей молодости. Спасибо, дорогой друг! <…> И очень хочу тебя поблагодарить за воспоминания о Леониде Решетове. Ты написал хорошо, и мне нечего добавить в написанное. Могу только сообщить некоторые факты, которые помогут тебе увидеть, какую огромную работу в деревне вел этот молодой коммунист с пламенным сердцем, человек кристальной душевной честности, высокой партийной

принципиальности. <…> Кроме газеты “Вызов” мы выпускали: детскую (многокрасочную) газету “Костер”, ежедневные листовки “Даешь 50!” для трактористов, работавших на ремонте 50 тракторов (это был период подготовки к XVII съезду партии); к “Вызову” было много различных приложений – сатирический листок “Овод”, “Литературная вкладка”, страничка для малограмотных “Учись читать”, обзор международных событий “Окно в мир” (страничка), листовки для колхозников, работавших на лесозаготовках на “Тигровой даче” и еще что-то, я уже забыл, а полного комплекта “Вызова” у меня нет, чтобы полистать и перечислить все» (6.02.1967).

Некоторые сведения о приложениях издания Дубнинской МТС сообщает в очерке «Из истории газеты “Вызов”» Анатолий Холуев (материал опубликован в сборнике «Вопросы журналистики и литературы», выпуск Дальневосточного государственного университета и Хабаровской ВПШ. Владивосток, 1972).

Страничка колхозных ребят «Костер», где работала Нина Павчинская, не только просвещала и развлекала юных читателей, но и активно привлекала их к делу. Уже к четвертому выпуску в «Костер» дали 54 заметки 103 юных селькора. Приложение «Окно в мир», которое освещало важнейшие международные события и находило живой отклик: читатели протестовали по поводу ареста в Германии антифашиста Эрнста Тельмана, приветствовали челюскинцев, возмущались провокациями японцев на КВЖД. Страница «Учись читать» прямо – поименно! – обращалась к сельским грамотеям с просьбой помочь односельчанам освоить азбуку, сводила вместе учителя и ученика. В литературной вкладке к «Вызову» печатались отрывки из произведений Шолохова, Горького и других отечественных и зарубежных писателей. Отдел периодической печати и художественной литературы давал отзывы на литературные новинки. «Вызов» организовал настоящий «культпоход» за организацию сельских клубов, изб-читален, кружков по изучению агрономии и зоотехники, а также боролся за чистоту колхозных дворов и личных подворий.

Помимо материалов XVII съезда – «съезда победителей» (февраль 1934 года) – редакция параллельно с выдержками из постановлений и резолюций публиковала «Словарик непонятных слов». А таких слов в партийных документах попадалось

немало. Журналисты объясняли, что такое «юбилей», «аврал», «продемонстрировать», «кризис», «стабильно»... Речи делегатов становились понятнее, а заодно расширялись словарь и кругозор читателей.

И конечно, газета разоблачала «окопавшихся в колхозе кулаков и подкулачников», выводила на чистую воду тех, кто укрыл от обобществления свое добро, освещала общественные суды, отправляла телеграммы в Коминтерн и получала ответы, освещала чистки партячеек и дни скорби по товарищу Кирову, славословила «Великого вождя»...

«Вызов» был хорошо оформлен. Его украшали рисунки и карикатуры Вадима Павчинского, портреты ударников, живые и дерзкие заголовки. Газетчики не боялись выступать против разного ранга руководителей, умели добиваться своего, не оставляли тему, пока та или иная проблема не разрешалась. Недаром в характеристике редактора было сказано: «Можно смело сказать, что Решетов – прекрасный, высококвалифицированный журналист и умелый редактор массовой газеты, это его призвание».

Но призвание призванием, а молодость молодостью. Нина Вадимовна рассказывала сыну, как однажды вернулась из типографии и застала Леонида, Вадима и Евсея за столом. Друзья не трудились, а пили и разговаривали. Посиделки эти, видимо, продолжались уже давно («на столе бутылки, окурки»). Девушку, чтобы не мешала, закатали в одеяло и связали. Она «долго плакала от обиды и уснула».

Молодые люди создавали в районе колхозную коммуну и сами жили коммуной – сумбурно и весело. Дом, где их поселили, стоял на берегу речушки Бакарасевки, возле так называемого куриного брода – только в дождь этот водоем превращался в подобие реки. Работали они много, но не до одури. Наладился быт, появилась даже домработница, она готовила еду и убирала комнату. По вечерам в этой комнате играли на гитаре, пели, смеялись, спорили до хрипоты, читали стихи. Находили время заниматься немецким. Зимой отправлялись на лыжные прогулки. А любовь редактора «Вызова» и журналистки «Костра» стала самой пронзительной и нежной нотой короткой жизни юной коммуны Михайловки Уссурийской.

В набросках к повести, начатой еще в Саратове, Леонид Решетов писал о главном герое – секретаре комсомольской организации завода Андрее, в образе которого легко разглядеть черты автора: «*О! Тот ошибется больше всего, кто представит, что Андрей был “сухарем”, комсомольским старичком, способным одной политработой скоротать свой век! Ничто человеческое не было ему чуждо, я это вам заявляю ясно, как ни пытался обмануть себя и нас сам Андрей. Себя не обманешь и от судьбы не уйдешь*».

3 января 1935 года, когда политотдельская печать доживала последние дни, Леонид написал матери. Татьяна Степановна в письмах жаловалась на одиночество, спрашивала, скоро ли увидит сына. А у сына было множество планов и новостей, в том числе неожиданных.

«Мне и самому очень хочется тебя повидать. Мы об этом частенько беседуем с Евсеем, а особенно с Ниной! <…> Изменений по работе пока еще нет. Проектируется меня в десяток разных мест – от редактора районной газеты до корреспондента “Правды”. Мне хочется больше всего – последнее. Но что выйдет – не знаю.

Снова много стали писать о «Вызове». Вот вчера получили журнал “Рабочая и политотдельская печать” и газету “Правдист”. В них три статьи о “Вызове”. Политуправление Наркомзема и Ком. институт журналистики переиздали комплект “Вызова”. Посылаю газету, где мы об этом сообщаем.

Перемены в личной жизни большие: мы поженились с Ниной. Сообщаю тебе это без всякой подготовки потому, что ты уже кое-что знаешь об этой замечательной девушке и несомненно – если бы ты могла видеть ее – всецело бы одобрила мой “выбор”. <…> Живем мы замечательно дружно, хотя “медовый месяц” давно уже кончился. Дочь твоя будет не хуже, чем сын. Ах, как жаль, что тебя нет здесь с нами! Я много говорил Нине о тебе, и она теперь знает тебя довольно хорошо. Как славно мы будем жить, когда сможем жить все вместе. Я думаю, что это может быть очень скоро. <…> Почему бы не приехать тебе на год-два к нам, а потом всем вместе возвратиться в Москву?! <…> Сейчас я еду дней на 10 в тайгу, где наши колхозники работают на лесозаготовках. Когда возвращусь, наверное, будет кое-что известно о дальнейшей работе».

Так Татьяна Степановна Решетова узнала о женитьбе сына – между сообщением о газете «Правдист» и лесозаготовками. Впрочем, в следующем письме Леонид подробно рассказал матери о девушке, которую полюбил и которая стала его женой. (Правда, официально брак зарегистрирован не был и фамилию Нина оставила свою.)

«Чувствую, что надо бы было тебе описать мою Нинку, но не знаю, что из этого выйдет. Во всяком случае, попробую:

Ей 21 год (исполнится в марте), она невысокого роста, худенькая, стройная, очень подвижная, но не вертлявая, не красавица, но и далеко не дурнушка. Комсомолка. Кончив школу во Владивостоке, училась и немного работала чертежницей, потом работала в горкоме комсомола, потом мы ее перетащили к себе (она сестра нашего массовика и художника Вадима Павчинского). Сейчас она, конечно, продолжает работать – выполняет работу секретаря редакции, машинистки, корректора и везет множество других нагрузок.

Как женщина она представляет прямую противоположность Ады, и до нашей женитьбы оставалась девушкой – чистой и непорочной. Рукодельница и домохозяйка такая, что просто удивляешься, как эти качества счастливо уживаются в ней с любовью к "служебной" работе и к чтению. Вот слабый портрет моей Нинки, слабый, потому что это скорее анкета, а не фотография».

Это письмо написано в момент, когда деятельность редакционной коммуны в Михайловке подходила к концу. В ноябре 1934 года пленум ЦК принял очередное постановление: создание политотделов полностью себя оправдало, но необходимости в этих чрезвычайных органах больше нет. Политотдельские газеты превращали в обычные партийные (райкомовские) издания или сливали с районными газетами. Леонид Решетов, Нина и Вадим Павчинские и Евсей ждали новых назначений и мечтали о будущем.

3 января 1935 года Леонид писал матери: «*"Вызов" выходит последние дни. Уже готовим последний номер. Он будет отпечатан на хорошей бумаге, на 24 страницах. <…> Мы немного смеялись над твоим выводом, что "Вызов" уже слился с районной газетой и не выходит под моим редакторством. "Вызов" так широко известен и, можно сказать, знаменит в крае, что нет такой районной газеты, которая могла бы с ним конкурировать. Так что и после*

слияния газета будет выходить под моим редакторством. Райком и крайком даже настаивали, чтобы она и впредь называлась "Вызовом", но я отговорил. Пусть "Вызов" уйдет в историю как страничка деятельности политотделов».

16 февраля 1935 года последний праздничный номер «Вызова» ушел к читателям, сам «Вызов» – в историю, его слили с районной газетой «Приморский колхозник». Леониду Решетову и Вадиму Павчинскому предложили перейти в редакцию краевой газеты «Тихоокеанская звезда».

Следующие письма Леонид отправлял матери уже из Хабаровска: «*Работа определяется. Мне предложили быть ответственным секретарем редакции, но я отказался и взял себе отдел обзоров печати, библиографии, литературы и искусства. Буду много писать сам.* <…> *Я сейчас еще замещаю зав. промышленным отделом, но как только он приедет – перейду на свое, гораздо более интеллигентное дело.* <…> *Что будет с "коммуной"? Вадим, по-видимому, будет работать здесь же, Евсей хочет переехать в Константиновскую МТС, где директорствует наш бывший директор Веледницкий – наш общий друг*» (2.03.1935).

…В 1979 году Нине Вадимовне Павчинской написал инспектор сектора информации Иркутского обкома КПСС Анатолий Холуев. Во время учебы на «газетном отделении» Хабаровской Высшей партийной школы он делал реферат о Леониде Решетове. Долгое время собирал материал о нем. Сидел в архивах, встречался с разными людьми. Герой студенческой работы все больше занимал несостоявшегося журналиста. *«Я должен (должен!) сделать очерк о Л. Решетове для журнала "Дальний Восток"!* – писал Холуев. – <…> *На Дальнем Востоке должны вспомнить имя Л. Решетова и дать ему подобающее место в истории журналистики ДВ. И это зависит от нас с Вами*». Он задавал Нине Вадимовне многочисленные вопросы, просил ее поддержки. И сообщал, как трудно было разыскать номера политотдельской газеты, отмеченной в 1930-х годах центральной и краевой печатью: «Во Владивостоке "Вызова" нет ни в одном архиве – неполный комплект в Ленинке». Зато в Михайловке Холуев «встретился с десятком людей, знавших Леонида Сергеевича». И убедился: спустя 34 года жители села прекрасно помнили секретаря партячейки Дубнинской МТС, молодого редактора «Вызова».

Нина Вадимовна на вопросы не ответила. Через несколько лет Анатолий Холуев выслал семье Леонида Решетова собранные им материалы о дальневосточном журналисте, поразившем его воображение в студенческие годы.

Глава 8
1935-Й И ДРУГИЕ

Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетный лист, —
умозаключайте смело:
или редактор
или журналист.

Владимир Маяковский. Газетный день

За успешную работу на Дубнинской МТС начальник политотдела товарищ Озеров получил орден, редакция «Вызова» – отпуск. Леонид Решетов мечтал поехать в Москву. Повидать мать, друзей, родных, побродить по знакомым улицам вместе с молодой женой.

Планы дальнейшей работы определились. Талантливого журналиста заметили и оценили. Открывались интересные перспективы.

20 февраля 1935 года (через 4 дня после выхода последнего номера «Вызова») Леонид сообщал Татьяне Степановне:

«Ты уже знаешь из телеграммы, что меня переводят в Хабаровск. Буду работать в краевой газете "Тихоокеанская звезда". Кем – пока не знаю, но редактор газеты Олишев, высоко ценя меня как газетчика, предложил мне выбрать любой пост. Я думаю взять на себя работу разъездного корреспондента. Это даст возможность много ездить, увидеть, узнать наш изумительный край и квалифицироваться как журналисту.

Переброска в "Тихоокеанскую звезду" расценивается как крупное возвышение. Не столько потому, что из политотдельской, МТС-овской газетки я попадаю в большую, краевую, сколько потому, что эта переброска проведена по личному предложению крайкома ВКП(б) Лаврентьева. Он сейчас

в Москве, и, когда был сменен редактор "Тихоокеанской звезды", Лаврентьев дал телеграмму новому редактору: "Немедленно вызови для работы Решетова – он хороший газетчик". Он, редактор, и все остальные рассматривают мой переход в "Тих. Зв." не как повышение, а как укрепление газеты. Вот как высоко оценена моя работа в "Вызове"».

Приглашение Леонида Решетова и Вадима Павчинского в штат «Тихоокеанской звезды» было закономерным. С мая 1934 года в газете регулярно появлялись информации и заметки о жизни колхозов Михайловского района за подписью «Коллективный корреспондент "Вызов"» или просто «Вызов». В двух номерах (от 27 февраля и 1 марта 1934 года) была напечатана корреспонденция Решетова о ремонте тракторов на Дубнинской МТС к XVII съезду партии. После чего Леонид стал постоянным внештатным сотрудником хабаровского краевого издания. (Без отрыва от «Вызова» он находил время сотрудничать и с владивостокским «Красным знаменем» – родной газетой Вадима.)

Работу в «Правде», о которой мечтал Леонид, ему не предложили, но и «Тихоокеанская звезда» – не районная газетка. «Вызов» приходил к жителям десятка сел, «Тихоокеанская звезда» работала для всего Дальневосточного края, который в то время включал нынешние Хабаровский и Приморский края, Амурскую, Сахалинскую, Камчатскую и Магаданскую области. Огромная и совершенно особенная территория. На Дальнем Востоке шли грандиозные стройки, прокладывались дороги и железнодорожные магистрали, создавалась Особая Дальневосточная армия, рос Тихоокеанский флот. На границах было неспокойно, там возводились укрепления, то и дело происходили стычки. Да и центральные газеты доходили сюда суток через 9–10, а значит, нужно было информировать население о событиях, происходящих в стране и в мире. Рай для журналиста. Тем и событий хоть отбавляй.

Однако в бочке меда имелась изрядная ложка дегтя. Свидание с матерью и Москвой откладывалось. Леонид пытался найти выход:

«…Теперь о самом главном: мне предоставляется отпуск, но без выезда из края. Я предпринимаю энергичные шаги, чтобы разрешили выезд. Не знаю, что из этого выйдет, но повидаться с тобой, побывать вместе с Нинкой в Москве

(она не была в ней никогда) очень хочется. А может быть, обсудим вопрос о твоем переезде к нам. Во всяком случае, единственный аргумент приехать в Москву – это за матерью. Я этим и аргументировал. <…> Хотя сейчас из края никого не выпускают, даже не пускают нашего начальника политотдела – за орденом. В крайнем случае придется еще раз прибегнуть к помощи дяди Кости. Ведь это, в сущности, страшная постановка вопроса: отпуск получи – в Москву ехать нельзя. <…> А как хочется обнять тебя, дорогая моя, родная мама!..»

Увы, дядя Костя опять не помог! А секретарь обкома ВКП(б) Лаврентьев, все еще пребывающий в Москве, отбил оттуда новую телеграмму: *«Решетову сейчас ехать за матерью не стоит».*

Это *«не стоит»* – звучит как предупреждение. Однако ничего зловещего в сообщении хозяина края молодой газетчик не увидел, он надеялся в конце лета или осенью побывать в столице. Но все же… *Страшная постановка вопроса* томила душу. Почему граждане не имеют права свободно передвигаться по родной стране? Почему кто-то решает, ехать сыну к матери или нет, и может ли муж показать молодой жене родной город?..

Дальний Восток превратился в крепость, заколдованное место. Тот, кто угодил туда, не мог уже вырваться за пределы.

Раз нельзя было ехать, куда хотелось, Леонид Решетов вовсе отказался от отпуска. В начале марта, сдав дела в Михайловке, молодые люди отправились во Владивосток.

«Живем здесь (у Нининой мамы) восхитительно – все вместе. <…> Своим ребятам – Вадиму, Евсею и Нине – я выхлопотал в Хабаровске отпуск и путевки в дом отдыха под Владивостоком – с 1 марта. Сам пробуду здесь 3–4 дня, отдохну, а потом поеду в Хабаровск».

Это была первая разлука Нины и Леонида. И она казалась бесконечной. Леонид жил в гостинице, со дня на день ждал комнату. Скучал по жене.

«Ниночка еще не приехала. <…> Дважды говорил с ней по телефону (какое удобство: сидишь в редакции в Хабаровске и говоришь по телефону с Владивостоком!). Нина говорит, что отдохнула хорошо, чувствует себя прекрасно, ждет не дождется, когда я приеду за ней. Я тоже жду не дождусь,

<…> *ведь это первый случай, что мы не видим друг друга вот уже полтора месяца!»* (5.04.1935)

От тоски спасала работа. Нового сотрудника редакции загрузили по полной. Он был занят по 12–15 часов в сутки.

Редакция «Тихоокеанской звезды» располагалась в небольшом уютном особняке на улице Калинина. В газете был отличный профессиональный коллектив. Читатели хорошо знали имена журналистов Петра Кулыгина, Епидифора Титова, Александра Фетисова, Ганса Калнива, Петра Житникова. Но людей не хватало. Ежедневно четыре газетные полосы нужно было заполнять материалами о жизни огромного региона. Корреспонденты засиживались в редакции за полночь, не вылезали из командировок. Как вспоминал литсотрудник «Тихоокеанской звезды» В. Королев: *«<…> Командировки в тридцатых годах были сопряжены с большими трудностями, вызванными бездорожьем, примитивными видами транспорта, скудным питанием и бог знает какой одежонкой. Но это никого не пугало. <…> Нам, газетчикам, нельзя было плестись в хвосте событий!»*

В марте 1935-го Леонид Решетов летал в город Свободный. По результатам этой командировки напечатал в «Тихоокеанской звезде» очерк. Среди черновых записей Алексея Решетова об отце есть одна, относящаяся к этой поездке. Озаглавлена она «Как отец относился к органам?».

«Из письма отца бабе Тане: “Недавно летал в г. Свободный, писал о замечательной работе на стройке вторых путей, которую ведет НКВД силами заключенных. Шлю тебе. Почитай”.

А вот отрывок из очерка “Вторые пути”. Восторженные строки!

> …Скалы были отодвинуты в сторону, убраны с дороги. Над речками перекинулись стальные фермы новых мостов, опирающиеся на крепкие плечи железобетонных и каменных быков. Там, где работы были уже закончены, на свежем зеленом дерне были выложены лозунги, а на высокой, 72-метровой скале высечен грандиозный бюст Сталина. <…> Величайшим сооружением древности считалась Хеопсова пирамида. Величайшим сооружением наших дней является Беломоро-Балтийский канал. Так вот, объем

земляных работ, уже проделанных на стройке вторых путей, превосходит в 15 раз знаменитую египетскую старушку и равен двум Беломорстроям.

<…> Кто же сделал все это? Какой исполин проделал такую грандиозную работу в такой короткий срок? Это тот, кто связал Белое море с Балтийским, дал стране Балтийский канал, а вместе с ним тысячи перекованных, возвращенных к честной жизни людей – НКВД.

Как там, на Беломорстрое, так и здесь, на стройке вторых путей, материальные ценности, которые в виде готовых сооружений НКВД передаст стране, – лишь половина дела. Вторая половина – еще более ценный, "самый ценный капитал" – люди. <…> Это прекрасное горение в борьбе за нового человека видно здесь в каждой фаланге, в каждой бригаде, на каждом участке пути. <…> Чекисты не отступаются. Никогда. Ни от одного. С железной последовательностью перенося брань и оскорбления, не наморщив бровей, стоически работают они над каждым.

И чекисты побеждают…

Нашим правосудием мой бедный отец восхищался еще пять лет назад. В 1931 году в Саратовском ОГИЗе "Молодая гвардия" у него вышла книжка "Дело мистера Луниса". (Уже упомянутое дело об избиении чернокожего рабочего Робинсона белыми рабочими того же завода Луньесом и Горауном. – **К. Г.**).

<…> Вот что сказала тов. Радзинская, выступавшая от иностранных рабочих Москвы:

– Лунис и Гораун – худшие представители рабочего класса, созданные буржуазией по образу своему и подобию. Их присутствие грязнит не только нашу территорию, но и наши домзаки, в которых не карают, а исправляют. Выгнать их вон из Советского Союза. Назад в цивилизованную Америку, прославившуюся такими достижениями буржуазной культуры, как суд Линча и электрический стул!

Конечно, и отец верил, что у нас в домзаках не карают… А интересно, слышал ли он песню бойцов НКВД Вас. Лебедева-Кумача "Днем и ночью мы на страже"? Я ее нашел в книге "Цветущая молодость", вышедшей в свет в конце 1938 года, когда отца уже не было.

Нам республика велела
Не смыкать орлиных глаз.
Мы – бойцы Наркомвнудела,
Помним Родины приказ.
Мы от черной силы вражьей
Бережем страну свою.
Днем и ночью мы на страже,
Днем и ночью мы в бою.
Враг умен, мы умней,
Враг силен, мы сильней,
Весь Советский народ нам поможет
Вражьи когти срубить,
Вражьи зубы спилить,
Вражьи гнезда огнем уничтожить!
<…>
Мы – защита миллионов,
Мы – защита всей страны
От предателей, шпионов,
Поджигателей войны.
Диверсантам – нет пощады!
Наш отряд – непобедим,
Кровь по капле, если надо,
Мы народу отдадим!»

Разъездной корреспондент хабаровской газеты не мог не столкнуться с трудом зеков. Как написал в очерке «Журналистская деятельность Л. С. Решетова» Анатолий Холуев: «В напряженном труде осваивается Колымский рай». Но стройки первых пятилеток, поднятые силами заключенных под чутким руководством чекистов, воспели виднейшие представители советской литературы. Даже Максим Горький написал о Соловецком лагере особого назначения: «…небывалый, фантастично удачный опыт перевоспитания общественно опасных людей в условиях свободного общественно полезного труда». А в 1933 году на строительстве Беломоро-Балтийского канала побывало 120 литераторов. Итогом экскурсии стала книга очерков. Сомнительно, что все авторы этого сборника были так же искренни, как 25-летний корреспондент «Тихоокеанской звезды».

Узнать, чего на самом деле стоят бойцы НКВД и советское правосудие, Леониду Решетову еще предстояло.

А пока жизнь молодой семьи в Хабаровске налаживалась. Газета предоставила им квартиру на улице Шевченко. Нину и Леонида прикрепили к лучшей закрытой столовой для партактива. Установился распорядок дня, появились привычки. Обо всем этом сын регулярно сообщал Татьяне Степановне.

«Живем мы прекрасно. У меня работа вошла в норму, работаю, не очень перегружаясь. Рабочий день такой: встаю в 8.30–9, к 9.30–10 иду в редакцию, к 3-м прихожу обедать, потом отдыхаю и снова возвращаюсь в редакцию, домой прихожу в 10–11–12. Ниночка работает в краевой пионерской газете "Знамя пионера" – заведует пионерским отделом. Утром мы уходим вместе, в обед она заходит за мной (обед мы берем в столовой), после обеда ходим гулять в сад, на Амур – сад и Амур у нас рядом, только дорогу перейти. Вечером, не очень часто, но в выходной обязательно, ходим в театр, в кино. Вадим работает в редакции выпускающим» (5.07.1935).

«Мать была в 35 году счастлива», – заметит Алексей Решетов. И тут же продолжит, вписывая жизнь своих молодых родителей в исторический контекст: «Счастливой в том году, но по-своему, была и Евлампия Приходько».

Письмо дальневосточной колхозницы из Москвы, действительно, дает отчетливую картинку времени.

> Сижу я на своем делегатском месте, и мне трудно представить, как это я, простая колхозница, никогда до того не бывавшая в Москве, заседаю в Кремле, в бывшем царском дворце. Поди в старое время простого человека к этому дворцу близко не подпускали. Вот, думаю, поглядели бы на меня сейчас наши колхозники: какой чести удостоилась Евлампия! Но если бы они могли хоть глазком глянуть – увидели бы, что не одна здесь Евлампия. Много на съезде колхозников и колхозниц, рабочих и работниц. А кроме них – красноармейцы, руководители заводов и советские ученые.
>
> Ровно в 5 ч. вечера на трибуну выходит товарищ Сталин. А с ним – товарищи Молотов, Ворошилов, Каганович и другие. Я их сразу же узнала. Смотрю и глаз не свожу. Тут мы все поднялись со своих мест и стали хлопать. Радость такая всех охватила, что

многие не могли слез сдержать. И со всех концов загремело:

– Да здравствует великий Сталин!

Долго гремела эта бурная радость. <…> Много еще было интересного на съезде. Но всего не опишешь. Приеду – расскажу. Расскажу, как бывшая колхозная повариха управляла государством.

С приветом Евлампия Приходько,
делегат 7-го съезда Советов СССР,
член ВЦИКА.

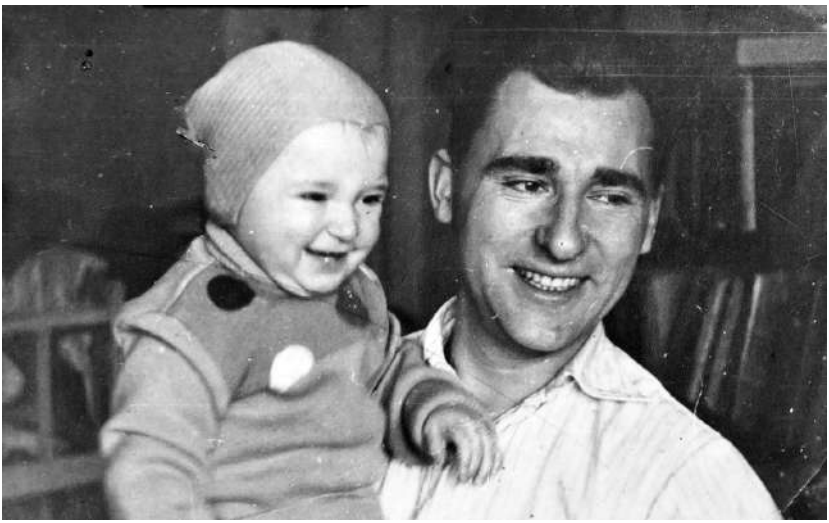
И все же Нина Павчинская была тогда намного счастливее. 6 января 1936 года (в сочельник) Леонид дежурил по номеру. Сидя в редакции, он брался за письмо матери в перерывах между вычитыванием газетных полос. Новостей накопилось много.

«Здравствуй, дорогая мама! <…> Последнее время мы тебе мало писали, это верно. Но дело объясняется тем, что мы оба были очень заняты подготовкой к встрече нового человечка. И вот он теперь появился – малюсенький, розовенький, будто и не человечек, а кукла. Когда родился, он весил 8 1/2 фунта. Он вполне здоров, кричит совсем мало, почти целый день спит. Нина чувствует себя совсем хорошо. Оба мы своего ребенка очень полюбили.

Сегодня 6 января – сынишке уже 11 дней. Назвали мы его Бетал. Имя это кабардинское. Отец – русский, мать – грузинка и полька "напополам", сын – дальневосточник, имя – кабардинское, словом – интернационал».

В автобиографической повести «Ждановские поля» Алексей Решетов объяснял необычное имя брата: *«Бетя старше меня на год и четыре месяца. Перед самым его рождением вышел журнал "СССР на стройке", весь посвященный Беталу Калмыкову. "Есть город Нальчик, где что ни мальчик, то Бетальчик". Так и дали брату моему имя».*

Неосторожно назвали своего первенца Леонид и Нина! Бетал Калмыков – фигура зловещая. В 1919-м – командир партизанского отряда на Северном Кавказе. В 1920-м – председатель ревкома Кабардино-Балкарии. С 1930-го – первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б). В 1937-м (через два года после рождения Бетала Решетова) он стал депутатом Верховного Совета СССР и вошел



Леонид Решетов с сыном Беталом

в состав тройки Особого совещания, той, что заочно, без суда и следствия, выносила бесчисленные приговоры арестованным во время большого террора. («ОСО – две ручки, одно колесо», – мрачно шутили зеки.) Подпись Калмыкова стоит под тремя тысячами приговоров. В 1938-м он сам будет арестован. В 1940-м расстрелян. В 1954-м реабилитирован.

Бетал Решетов родился 27 декабря 1935 года и сразу занял главное место в доме. Здоровый, веселый, активный мальчик. Леонид писал о нем Татьяне Степановне (бабе Тане) с гордостью и нежностью: *«Бетька растет замечательный. Мы с Ниной не нарадуемся. Он уже смеется и говорит “агу”, если хорошенько попросишь. Здоровый, розовый, горластый. Очень похож на того меня, где я снят маленьким (у тебя на коленях)»* (31.05.36). *«Бетька очень приветливый парнишка – все время смеется, только на улице серьезный, – видимо, от избытка впечатлений»* (15.07.1936).

Вторая бабушка приехала из Владивостока, чтобы помочь с новорожденным. Когда родился старший внук, бабе Оле был 41 год. Собственных детей молодая и беспечная Ольга Александровна частенько оставляла на родителей (Нина Вадимовна вспоминает, что их с братом растила

баба Саша). Но для Бетала, а потом и для Алексея баба Оля станет второй матерью. Одним из самых важных и любимых людей в жизни. Непререкаемым авторитетом. Спасительницей *(«Ну и бабка у тебя! Гвоздь – бабка!»)*.

Леонид неплохо фотографировал (часто сам делал снимки к газетным репортажам), да и знакомых фотографов хватало. Фотографии маленького Бетала гордые родители отправляли родным и друзьям. Неизменно веселый здоровый малыш радовал всех. В первую очередь, конечно, бабушку.

«Как хорошо, что ты уже сейчас, по карточкам, так любишь нашего Бетульку, – что будет, когда ты его увидишь. Твои слова буквально повторила Нинина тетушка, которой Нина послала во Владивосток Бетулькину карточку. Она сказала: я сделала рамку для портрета Бетуськи, и когда плохое настроение, смотрю на него, и он заставляет улыбаться.

Итак, через месяц Бетьке – год. Сейчас он уже вовсю ползает и ходит, если его держать за руку. Все время болтает и хорошо выговаривает – "папа". Очень смышленый. <…> *Выражение лица такое лукавое, будто он все понимает, но делает вид, что не понимает».*

Если раньше Леонид просил мать прислать из Москвы табак и книги, то теперь просит отправить посылку с яблоками, которые врач велел давать сыну (фруктов в Хабаровске не было), поискать в столичных магазинах детскую обувь (отправляет мерку – на листе трогательно обведена «Бетулькина лапка»), костюмчик для малыша (только обязательно хороший, нарядный!) или шерсть, чтобы костюмчик связать. Деньги обещает немедленно выслать.

Правда, в материальном отношении молодая семья жила трудно. В письмах Татьяне Степановне сын неизменно оптимистичен, лишь однажды – в ответ на ее жалобы и просьбы о помощи – его прорвало. Это случилось осенью 1936 года, вскоре после единственного совместного отпуска Нины и Леонида.

С самого начала работы в «Тихоокеанской звезде» Леонид Решетов добивался возможности выехать за пределы края. Переговоры об отпуске, начатые весной 1935-го, продолжались до осени 1936 года. Надежда то появлялась,

то исчезала вновь. Наконец, в сентябре 1936-го поездку разрешили (почти три года молодой журналист не покидал Дальний Восток!). Оставив маленького сына с Ольгой Александровной, Леонид и Нина отправились в Крым, в санаторий.

Они отдыхали в Мисхоре. Навестили в Ялте родственников Леонида Ереминых. Гуляли по Алупке и Севастополю. Осмотрели дворец Воронцова и домик Чехова. Купались в Черном море. Над их головами стояло горячее крымское солнце на вылинявшем от жара небе, а под ногами звенели сухие дороги, которые Леонид в юности исходил в одиночку. Он любил Крым и теперь мог подарить его Нине. Это было счастливое, неповторимое путешествие.

На обратном пути они остановились в Москве («на неделю, дней на десять»). Нина, наконец, познакомилась с Татьяной Степановной и другими родственниками мужа. Леонид знакомил жену с друзьями: художником Володькой Костиным, верным товарищем детства. С несгибаемым рыцарем факта Сергеем Третьяковым. Жаль, Маяковского давно не было в живых – шесть лет назад прогремел роковой выстрел. Нина окунулась в атмосферу юности мужа, увидела его любимые места, родные улицы, парки, переулки, лица… Они вместе мерили Москву шагами и мечтали, что скоро, может быть через год, приедут сюда навсегда…

В сентябре 1936-го Леонид Решетов показал жене столицу и солнечное крымское побережье. И это, конечно, стоило жертв. Чтобы путешествие стало возможно, пришлось занять денег. Теперь долг нужно было отдавать.

Здравствуй, дорогая мама!

<…> *Ты пишешь, что очень трудно с деньгами. Я хорошо понимаю, что это значит, так как по приезде из Москвы сам нахожусь в таком скверном положении, что не хочется и описывать. Как ты знаешь, мне пришлось взять в редакции аванс 1000 руб.; 650 послали тебе* (незадолго перед тем Татьяна Степановна потеряла работу. – **К. Г.**)*, а 350 – на месяц житья. Аванс дали на пять месяцев, т. е. по 200 руб. вычитают каждый месяц. Да еще 100 руб. заем* (очевидно, Государственный, т. е. обязательный. – **К. Г.**) *и немного налог и пр. Словом, вот уже 4 месяца я получал через каждые две недели 80-85 руб., т. е. 160-170 руб. в месяц (ставка 495 руб.). Если*

бы не гонорар – пришлось бы совсем туго. Да и так случается, что к чаю нет ни масла, ни хлеба. От получки до получки занимаем. Ведь сейчас нас трое, не считая Бетьки. (Нинина мама живет у нас, помогая Нине ухаживать за Бетькой.) У Нины нет пальто, валенок, туфель. Ходит в моем полушубке, всю зиму проходила в моих огромных валенках, а теперь – в рваных резиновых сапогах. Я имею пропуск в театр, но Нина не может со мной пойти – нечего обуть.

Обо всем этом я никогда не написал бы, если бы не вынудило твое откровенное письмо. Но я думаю, что вскоре все устроится – долг кончится, заем скоро будет погашен – тогда будет легче (6.10.1936).

Леонид делал все, чтобы вытащить семью из кризиса. Работал без остановки, постоянно был в разъездах. Письма матери полны названиями географических пунктов, где побывал ее неутомимый сын.

«Только вчера приехали из Владивостока, где целый месяц провел в командировке. Туда же приезжала Нина с Бетькой, так что мы не скучали друг без друга. <…> Сейчас буду работать над очерком о Тихоокеанском флоте» (31.05.1936). *«Был я недавно в нанайском стойбище, – очень интересно. Встречался с удэгейцами – народ, которого сейчас 1500 человек или меньше. Сегодня должен поехать на серебряные рудники»* (15.07.1936). *«Недавно я был на острове Удд, где сел АН-25 (оттуда 1000 км, летел туда на самолете)»* (13.08.1936).

Это сообщение в письме отца Алексей Решетов прокомментировал: «*Понравилось отцу на острове Удд, в заливе Счастья. В 50 метрах от Японского моря остановил Чкалов краснокрылый Ант. “Сталинский маршрут” – надпись на фюзеляже, Чекал – зовут его нивхи-островитяне*».

Алексей Леонидович не совсем точен, так же как нивхи-островитяне. На острове Удд в июле 1936 года завершилась первая неудачная попытка перелета СССР – США. Валерия Чкалова в составе экипажа тогда не было. Имя летчика-испытателя стало легендарным именно потому, что его самолет дотянул-таки до Соединенных Штатов. Беспосадочный перелет Москва – Северный Полюс – Ванкувер (протяженность – 9130 км, продолжительность – 63 ч 25 мин.) состоялся 18–20 июля 1937 года. Так что жители

острова Удд героических летчиков не видели. Зато президент США Франклин Рузвельт принимал в Овальном кабинете Белого дома командира экипажа Валерия Чкалова, второго пилота Георгия Байдукова и штурмана Александра Белякова.

Об этих событиях Леонид Решетов тоже потом напишет. Но его командировка в августе 1936 года не имела к Чкалову никакого отношения. Зато на остров Удд он и сам летел на самолете (1000 км), и, должно быть, полет доставил ему не меньше впечатлений, чем залив Счастья. В то время обычные граждане не часто отрывались от земли.

Дорога и бездорожье, перелеты и морские переходы продолжались весь 1936-й и начало 1937 года.

«Ночью приехал из Владивостока, был там на учениях Тихоокеанского флота, о которых и писал» (6.10.1936). *«Дома бываю редко. Недавно приехал из Благовещенска, а скоро опять поеду – на побережье Японского моря»* (20.10.1936). *«Совсем собрался ехать в командировку, а машина все не идет, вот и решил начать письмо. <…> Еду в Спасск и Ворошиловск с Иваном Лагодой, который едет сменить брата, которого убили во время налета японо-манчжуры. <…> Ну вот, пришла и машина, еду»* (27.01.1937).

В ноябре 1936 года у озера Халхин-Гол погиб летчик Семен Лагода. На смену брату по разрешению командарма Блюхера прибыл из Куйбышевской области доброволец Иван Лагода, брат погибшего. «Тихоокеанская звезда» отправила Леонида Решетова сопровождать новобранца в часть. Материал об этой поездке печатали с продолжением в трех номерах – 8, 9 и 12 февраля 1937 года.

Положение на советско-японской границе становилось все более напряженным. Во время одной из командировок, зимой 1937 года, Леонид своими глазами увидел боевые действия. За ситуацией следила вся страна. Чтобы создать серию репортажей, на Дальний Восток приехал в качестве корреспондента «Правды» Евгений Петров. Леонид Решетов сопровождал знаменитого писателя в ночном авиарейсе в район погранзаставы и опубликовал в «Тихоокеанской звезде» очерк об этом событии, проиллюстрировав его собственными фотографиями.

Московский литератор и хабаровский репортер, должно быть, легко нашли общий язык. Да и ночной полет на ма-

леньком самолетике над приграничной полосой – чувство опасности, оторванность от остального мира – сближает. О чем они говорили тогда?

…2 июля 1942 года самолет, на котором фронтовой журналист Евгений Петров возвращался в Москву из Севастополя, был сбит немецким истребителем над территорией Ростовской области. Но Леониду Решетову не суждено было узнать о гибели его ночного собеседника.

В очерке о журналисте Решетове Анатолий Холуев пишет: «Работал он неистово, самозабвенно. Писал о хлеборобах Приамурья и о строителях Комсомольска, о рыбаках Камчатки и Сахалина, железнодорожниках и шахтерах Сучана, <…> бойцах и командирах ОКАДА, моряках Тихоокеанского флота, пограничниках». Неутомимый репортер исколесил Дальний Восток вдоль и поперек: Владивосток, Спасск, Комсомольск, Свободный, Бикин, Благовещенск, Куйбышево (Белогорск), Куйбышев (Уссурийск), станция Лазо, деревни, села, станции, переезды… Он выходил в море на торпедных катерах Тихоокеанского флота. Был на тактических учениях ОКДВА (Особой Краснознаменной Дальневосточной армии). Ночевал в воинских казармах и вскакивал вместе со всеми по сигналу тревоги. Добирался до стойбищ кочевников. Наблюдал строительство Байкало-Амурской железной дороги…

Кроме того, публиковал записки из зала суда, выступления на моральные темы, репортажи со школьных экзаменов, материалы о библиотеках и лыжных переходах, рецензии на фильмы и спектакли, критические отчеты о собраниях дальневосточных писателей. Писал о баптистской секте и о летной школе Хабаровского аэроклуба, где инструктором по прыжкам с парашютом работал его друг Вадим Павчинский. Сочинял фельетоны и делал обзоры печати Дальнего Востока. Мастерски освоил жанр биографического очерка. Героями его публикаций стали Тельман, Киров, Маяковский, Горький, Постышев, Долорес Ибаррури, Блюхер.

За время работы в «Тихоокеанской звезде» Леонид Решетов опубликовал более 150 материалов. Ему пришлось поработать в самых разных отделах: обзора печати, библиографии, литературы и искусства, международной информации, промышленном, даже в медицинском!

Кроме того, он давал материалы в газету «Красное знамя». Печатался в журнале «На рубеже» – в 1935 году

опубликовал там рассказ «Вор» и статью «Памяти т. В. В. Куйбышева». Начал работать на радио. В апреле 1936-го сообщил матери: *«В день Первого мая будет организована радиоперекличка четырех городов – Владивостока, Минска, Мурманска и Ташкента. Передачу будут слушать колонны демонстрантов на Красной площади»*. Репортаж из Владивостока готовил Леонид. После первого удачного опыта редакция радионовостей предложила ему продолжить сотрудничество. *«Слушаешь ли ты "Последние известия", там иногда бывают мои коротенькие заметки с Дальнего Востока»*.

Но главным в жизни все же была семья, которая скоро должна была вырасти.

Дорогая мама!

Теперь мы хотим сообщить тебе еще одну большую для тебя новость: у нас скоро будет еще один Бетулька. А скорее всего, сестренка Бетулькина, какая-нибудь Лялька. Это очень хорошо для Бетульки, а то ему одному скучно, он все время со взрослыми. <…> Через неделю-полторы Нина уже уйдет в отпуск. А в мае у тебя будет второй внучонок или внучка.

Вот сейчас мы пишем тебе письмо, а Бетулька бегает по комнате, играет с огромным медвежонком, которого мы ему недавно купили. У Бети есть кроватка с пружинным матрасом, чистенькая, беленькая, с сеточкой.

Бетька растет страшным хулиганом. Все время убегает, нельзя ни на минуту его оставить одного. Залезает под стол, под кровать, если увидит ведро с водой или кастрюлю, обязательно влезет ручонкой. Любит музыку. <…> Вот сейчас, например, передают «Евгения Онегина» из Москвы. Слышно очень хорошо. Бетька обычно передразнивает радио, бормочет что-то ему одному понятное. С утра, как проснется, требует, чтобы ему включили громкоговоритель.

Бетька говорит «папа» («мама» не говорит, хотя любит ее больше всех). <…> Поднимает ручонку вверх и стреляет – «паф-паф». Очень смешно передразнивает лошадь и собаку. Он знает уже почти все предметы, которые есть в комнате, – картинки на стенах, часы, радио, портрет Ленина, Сталина, коврик с грибочками и все свои игрушки. А их у него много – лошадь, корова, мячик, автомобиль, куклы, книжки, резиновые звери и большой мишка. Но больше всего он любит играть со стулом и чайником и потрошить мои книги (1.03.1937).

Молодые родители были готовы к появлению на свет второго малыша. Его ждали бабушки, озорной старший брат, книжки, игрушки, картинки, уютная комната, чистенькая кроватка. И опера Чайковского звучала из громкоговорителя в честь траурного пушкинского юбилея, *«…горел огонь под оранжевым абажурам, из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы "Евгений Онегин". <…> И почему-то невыразимо мучал вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне».* И первый день весны уже наступил.

Через 21 год молодой поэт Алексей Решетов напишет:

Еще не знаешь точно дня рожденья
Цветов, листвы, душистых мягких трав,
Но видишь, как идут приготовленья
В семье полей, полянок и дубрав.
Вот и ручей запел под снегом тонко
О том, что зелень смотрится в него.
Так мама расшивала распашонку
Задолго до рожденья моего.

Глава 9
СТРАШНЫЙ СОН

«Правда» – как-то по-другому надо было назвать эту газету. Кривда, что ли, точнее?

Из черновых записей
Нины Вадимовны Павчинской

Ровно за три месяца до того, как Леонид Решетов сообщил матери о том, что они с Ниной ждут второго ребенка, то есть в первый день 1937 года, «Тихоокеанская звезда» опубликовала его очерк «Елка дяди Тараса».

В комнате тесно от детворы. Пахнет елкой и свечками. Шумно. На стене танцуют причудливые тени. Елка зажжена, и ребята водят вокруг нее хоровод.

Елка, елка,
Зеленая иголка,
Откуда ты, пушистая,
Душистая, пришла?

Тяжелые серебряные нити свисают до пола, жар со свечей оплывает и крохотными янтарными катышками застывает на острие зеленых игл. Хрустальный колокольчик колышется и звенит, и звон его походит на детский смех. <...> Елка! Какое это все-таки замечательное развлечение для детворы! И как это случилось, что, поверив каким-то сухарям, людям с номенклатурным мышлением, мы едва не выбросили из своего обихода такую прекрасную штуку. Спасибо товарищу Постышеву, – он отвоевал у сухарей и Кощеев елку для ребят.

После праздничного вступления автор рассказал читателям о первой советской елке. В 1918 году в дальневосточном селе Шаманка неизвестно откуда появился загадочный дядя Тарас. Он стал школьным сторожем, учил сельских ребятишек любить природу, а под Новый год устроил для них праздник с пением «Интернационала» возле наряженной ели. Вскоре добрый дядя Тарас исчез из Шаманки так же таинственно, как появился, а вернулся в село с партизанским отрядом Ивана Шевчука. Только тогда местные жители узнали, кто он на самом деле – Павел Постышев, председатель Ревтрибунала и представитель Центрсибири (Центрального исполнительного комитета Советов Сибири и Дальнего Востока).

Основа материала, как указано в публикации, – воспоминания жителей села Шаманки, «записанные украинскими комсомольцами, участниками таежного похода по тропам партизан». Сюжет дан в традициях рождественских историй: с тайной, явлением чудотворца, драматической кульминацией и неожиданной развязкой.

Подлинный образ партийного деятеля Павла Постышева не так светел. Именно он во время голода был направлен в качестве особого уполномоченного ЦК в Поволжье, а затем на Украину для «осуществления экстренных мер по выполнению хлебозаготовок». Затем прославился поиском фашистской свастики в разрезе любительской колбасы и профиля Троцкого на этикетках спичечных коробков и обложках школьных тетрадок. Быть может, к концу 1930-х массовая шпиономания поставила дядю Тараса на грань психического расстройства? Однако в советской истории Постышев остался как человек, возвративший детям праздник.

С 1928 года елки в СССР были под запретом – их объявили атрибутом религиозного культа. Юные пионеры двадцатых

выходили на улицу с лозунгом: «Родители, не сбивайте нас с толку, не устраивайте Рождество и елку!» Лозунг, конечно, сочинили взрослые. И вот, в декабре 1935 года «Правда» опубликовала статью кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) товарища Постышева, в которой тот призывал вернуть советским ребятишкам веселые новогодние праздники. Через 11 месяцев, в конце 1936 года, празднование Нового года в СССР узаконили, в московском Доме Союзов был впервые устроен новогодний бал-карнавал для отличников учебы. И 1937 год граждане страны встречали не только с надеждами, но и с новогодними елями, украшенными старинными, новыми советскими или самодельными игрушками. А Дед Мороз и Снегурочка с подарками заспешили к советским детям.

Многие обитатели Дома печати на улице Шевченко в Хабаровске тоже нарядили елки. 6 января 1937 года Леонид написал матери, что сынишка был приглашен на праздник к соседской девочке, а у самого *«Бетульки есть елка, большая, до самого потолка, вся в игрушках и блестках»*. Леонид писал дома, то и дело отрываясь, чтобы взглянуть на сына: *«Милая мама, вот я пишу тебе, а сынулька бегает по комнате, сбрасывает белье с дивана на пол, смотрит с удивлением на громкоговоритель, который только сегодня поставили нам, и что-то болтает»*. Быть может, эта уютная картина немного унимала тревогу от неясных пока перемен, происходивших вокруг.

Тон следующего письма уже совсем не праздничный: «*Дорогая мама! Ты, наверно, читала об изменениях руководства в нашем крае. Тов. Лаврентьев переброшен в Крым, теперь секретарем крайкома тов. Варейкис. Вместе с Лаврентьевым уплыло и обещание отпустить в этом году на учебу. Я, конечно, так просто не смирюсь с этим, буду настаивать. Но надежд мало. Тем более что редактор тоже уезжает*» (27.01.1937).

1937 год Дальневосточный край встретил без первого секретаря крайкома. Старого большевика Л. И. Лаврентьева, который когда-то рекомендовал пригласить журналиста Решетова в «Тихоокеанскую звезду», вызвали в Москву. Вскоре Лаврентьев получил новое назначение – первым секретарем Крымского обкома. 15 января 1937 года Дальневосточный крайком партии возглавил М. И. Варейкис.

Сменился и редактор «Тихоокеанской звезды» – на место отозванного в столицу Василия Олишева пришел Александр Швер. Эти перестановки беспокоили Леонида Решетова: он боится, что они нарушат его собственные планы.

В течение всего 1936 года Леонид Решетов добивался разрешения уехать в Москву учиться. В конце концов, удалось договориться с Олишевым и получить добро в крайкоме: журналисту краевой газеты обещали предоставить длительный отпуск и возможность сдать вступительные экзамены в Институт красной профессуры.

«Я мог бы быть москвичом, если бы отца отпустили (в отпуск в столицу в 1936 г.) и мог бы вообще не родиться, если бы он не порвал матушкину справку», – запишет Алексей Решетов в одной из тетрадей. О какой справке идет речь, неизвестно. (Быть может, по неким медицинским показаниям, врачи уговаривали Нину Вадимовну не рожать второго ребенка?) Так или иначе, отец справку порвал. А вот стань Алексей Леонидович москвичом, судьба, конечно, сложилось бы по-другому. Однако переезд в Москву был для его родителей – словно линия горизонта, черта, за которой все изменится, которая всегда перед глазами и вечно недостижима.

Московские планы часто упоминаются в переписке 1936 года. В 1937-м они становятся едва ли не главной темой писем Леонида Решетова матери.

«…Сегодня я разговаривал с редактором об учебе. Отнесся редактор к моему вопросу в общем довольно благосклонно, но сказал, что в этом году едва ли выйдет. Прежде всего, потому, что я не готов к экзаменам, а они на носу. <…> Посылать же неподготовленных запрещено, чтобы не тратить средства и время. Он предлагает использовать год для подготовки и в 1937 году обещает помощь. <…> На будущий год буду иметь 1–1 1/2 месяца очередного отпуска да плюс к тому двухмесячный отпуск, полагающийся допущенным к испытаниям в ИПК. <…> А вообще, милая мама, не скучай – остался годик, и будем все вместе» (13.08.1936). *«Нина начала работать, а я немного занимаюсь, так что времени стало еще меньше. Но я утешаю себя тем, что есть все-таки надежда, что осенью поеду в Москву – если не на учебу, то в отпуск. Я-то сам, конечно, хочу на учебу и все время веду работу в этом направлении»* (6.01.1937). *«Говорил с редактором об отпуске*

на учебу. Он говорит, что от него теперь мало что зависит. Но тоже говорит не терять надежды. Я ее не теряю, но ее мало!» (27.01.1937) И в одном из последних писем: *«Конечно, я не мыслю себе нашу дальнейшую жизнь врозь, но как скоро удастся съехаться всем вместе – это большой вопрос»* (7.07.1937).

В апреле 1937 года показалось, что все, наконец, устроилось.

«…Теперь о главном: редактор обещал-таки отпустить меня учиться. <…> В связи с этим хотелось бы знать – как ты думаешь – как нам лучше устроить жизнь в Москве, как с жильем (вместе или отдельно), как с твоей работой (будешь работать или нет). <…> Напиши также, где бы мы могли остановиться первое время по приезде. Ведь сразу-то мне не дадут комнату, а жить где-то надо. <…> Из вещей мы возьмем с собой только Бетулькину кроватку и книги, все остальное (а его немного) бросим здесь» (24.04.1937).

Мыслями Нина и Леонид были уже в Москве. Готовились проститься с Дальним Востоком, исчезнуть налегке. Так беженцы покидают дом. Мучило ли их предчувствие, которое так страшно выразил Арсений Тарковский?

…И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами…
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

С самого начала года изменения в Дальневосточном крае набирали обороты. Январский пленум крайкома вскрыл крупные недостатки прежнего руководства края, в особенности в работе с «врагами народа». В феврале и марте на районных, городских и областных конференциях дружно громили троцкистов. Многие из тех, чьи имена были названы, исчезли. Как пишет в книге «Дело краевого масштаба», посвященной годам большого террора на Дальнем Востоке, журналист Александр Сутурин, *«сигналом для разгрома хозяйственных, партийных, советских кадров в крае послужил февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б), а точнее – доклад на нем Сталина “О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации партийных и иных двурушников”. В номере за 30 марта “Тихоокеанская звезда” начала публиковать отчет с собрания Хабаровской городской*

партийной организации, посвященного обсуждению материалов пленума ЦК. <…> Все, кого так или иначе коснулась критика, были арестованы на другой или третий день, а потом расстреляны или забиты в тюремных застенках. Апрель стал началом массовых арестов».

В том апреле у Нины Павчинской и Леонида Решетова родился сын.

«Здравствуй, дорогая мама! Получила ли ты нашу телеграмму? Если нет, то знай, что ты уже дважды бабушка, и у тебя два внучонка. Второй родился 3 апреля. Случилось это не совсем благополучно и в мое отсутствие. Нина сильно заболела и в связи с высокой температурой родила преждевременно – недели на две. Первое время у нее не было молока, и положение маленького было критическое. Кормили его грудным молоком из родильного дома. Я был во Владивостоке, а когда приехал, Нина уже начала поправляться. Был у нее паратиф, температура доходила до 40.2. Бедняжке досталось крепко! Малышка выглядит вполне нормально, только очень маленький. Похож на Бетьку. Ведет себя удивительно хорошо: все время спит, кушает регулярно, кричит совсем мало. <…> Имя малышу мы еще не придумали, зовем Гага – так назвал его Бетька. Он, между прочим, чувствует, что это что-то родное: гладит ручонкой, ластится к нему» (24.04.1937).

Возможно, родители и второму сыну изобрели бы замысловатое имя, но вмешалась Ольга Александровна. Как чувствовала, что судьбу младшего внука надо брать в свои руки! В «Ждановских полях» Алексей Решетов пишет: *«Мне имя искали долго. Баба Оля предложила простое – Алеша. Все согласились назвать так недоношенного из-за материнского тифа второго наследника. Когда наконец принесли меня из больницы, Бетя ткнул мне в глаз и сказал: “Гага”. С тех пор Гагой, Гагочкой я оставался добрую треть жизни. Даже имея паспорт с официальным именем, был для окружающих и своих Гагой. А уж наши школьные детдомовцы потешались надо мной сколько могли: “Гага – северная птица, она мороза не боится…” Из-за этих оскорблений я стал человеком отважным и отчаянным».*

…К слову об именах. Нина звала мужа «Леша». Так же называли Леонида Решетова все дальневосточные друзья. И письма в Москву он стал подписывать этим именем.

Имена отца и сына словно зарифмованы: одно встало в конце строки, другое – в начале.

Если домашнее прозвище возникло сразу, то с официальным именем младшего Решетова не могли определиться долго. Лишь 7 июня 1937 года Леонид вскользь сообщил Татьяне Степановне: *«Младшего сына зовут Алексей. Но мы продолжаем звать его Гага».* Заканчивается это письмо неожиданным известием. *«Сообщили пренеприятную весть – об аресте Митьки Власова как троцкиста. Да, дела!..»*

Как объяснить себе арест товарища, которого хорошо знаешь? Что стоит за страшными обвинениями, выдвинутыми против соседа, друга, учителя? К Дому печати на улице Шевченко в Хабаровске несколько раз за ночь подъезжали черные «воронки». Нина Павчинская вспоминала:

«Наш дом постепенно пустел. Из сорока квартир только три остались нетронутыми. По ночам стоял он темный, и светились лишь несколько окон. Помню, как первым из нашего дома взяли Чугунова – культурнейшего китайца из горкома нового алфавита (Научно-организационный центр разработки алфавитов для языков народов СССР был создан в 1930 году. В результате деятельности этой организации 20 народов СССР перешли на новый алфавит, 50 впервые в истории получили письменность. – **К. Г.**). *Это был безупречно одетый, безупречно вежливый человек совершенно европейского вида. Леша, узнав о его аресте, сказал с недоумением: “Подумать только, вот ведь как маскировался”. А когда <...> он пришел из редакции и рассказал мне, что в Свердловске застрелился, запутавшись с врагами народа, Костя Пшеницын, которого мы, владивостокские комсомольцы, просто боготворили, вид у него был совершенно подавленный, и он сказал, что теперь он уже ничего не понимает...»*

Константин Пшеницын с 1933 по 1934 год был секретарем Приморского обкома. Затем его перевели на работу в Свердловск. 23 мая 1937 года Пшеницын, объявленный «врагом народа», покончил с собой, не стал дожидаться, когда за ним придут.

Обезумевший молот бил все ближе. 22 июня был арестован бывший глава Далькрая Лаврентьев (показания на него дал Павел Постышев, которого возьмут позже – в 1938-м). 25 июля арестовали Сергея Третьякова.

При обыске в его квартире были изъяты и письма дальневосточного журналиста Леонида Решетова. Их переписка длилась не один год. Однажды Леонид даже написал матери (сетуя, как редко приходят весточки от московских друзей): *«Так нелепо вышло, что переписываемся только с тобой и с С. М. Третьяковым»*.

Следователи выбьют из Третьякова показания. Ему припомнят работу в правительстве Дальневосточной республики и объявят японским шпионом. А бывшему главе Хабаровского обкома Лаврентьеву (Л. И. Картвелишвили) предъявят целый ворох обвинений: сочувствие троцкизму, шпионаж в пользу Германии, Японии, Англии и других иностранных держав, участие в заговоре, направленном на свержение советской власти, организация убийства руководителей Советского государства.

Репрессивная машина стремительно набирала обороты. НКВД рапортовало: в Хабаровске раскрыта дальневосточная правотроцкистская шпионско-вредительская сеть, возглавляемая Я. Б. Гамарником, Л. И. Лаврентьевым и другими известными в стране людьми. Организация готовила переворот с целью свержения советской власти и восстановления на Дальнем Востоке капиталистической системы. Вражеским агентам удалось захватить управление партийным и советским аппаратом и важнейшие отрасли хозяйства края.

Первыми взяли бывших партизан, ведь они имели опыт организованного сопротивления. Брали директоров предприятий, железнодорожников, партийных руководителей, военных, моряков, колхозников, ученых, рабочих, представителей творческой интеллигенции… 8 мая 1937 года «Тихоокеанская звезда» напечатала статью о расцвете сталинской демократии в обществе победившего социализма. В следующем номере появилось сообщение о расстреле в городе Свободном 44 «врагов народа». Делегаты XII Дальневосточной партийной конференции, проходившей с 30 мая по 3 июня 1937 года, были арестованы все до единого.

«С чем рифмуется Ежовщина – ну конечно, поножовщина», – запишет через много лет Нина Павчинская.

В редакции краевой газеты тоже было нехорошо. Приказы нового редактора Александра Швера выглядели все

более зловеще: «Члена редколлегии Файна А. Ф., исключенного из партии как двурушника, отстранить от работы в редакции»; «Сизова Б. Ф. уволить с 11 сентября с работы в редакции как разоблаченного врага народа». «Уволить с работы Кужелева за протаскивание в газету ложного материала».

Последний очерк Леонида Решетова появился в «Тихоокеанской звезде» 6 августа 1937 года. Героем его стал маршал Блюхер. Журналист изложил героическую биографию военачальника, воздал должное его заслугам перед армией и советской властью. Заканчивается материал так: *«Нынче – снова черные тучи войны заволакивают горизонт. Ветер с востока явственно доносит до нас запах гари и пороха. Молнии войны уже сверкают в Северном Китае, гроза может разразиться в любую минуту над нами. Ну, что ж? – Если случится новая схватка, у нас нет никаких сомнений в том, что ОКДВА выполнит то обещание, которое дал съезду нашей партии товарищ Блюхер: на удар поджигателей войны она ответит таким ударом, от которого затрещат, а кое-где и рухнут основы капитализма».*

Чтобы написать очерк, журналист не раз встречался с командующим Особой Дальневосточной армии. Между тем «агентурные сведения» о том, что маршал Блюхер – участник заговора, цель которого отделить Дальний Восток от СССР, начали поступать в НКВД уже осенью 1936 года. Быть может, видный советский военачальник подозревал, что находится в опасности (особенно после процесса над Тухачевским и самоубийства Гамарника), но Леонид Решетов был далек от этой мысли. Ему никак не могло прийти в голову, что в момент, когда ветер уже явственно доносит запах пороха, в стране начнется уничтожение верхушки армии и флота.

В начале очерка Решетов разоблачал «измышления врагов» о маршале Блюхере и восклицал: *«Наивны эти сказки! <…> Смешно нам читать подобные сказки»*. Слухи, что Блюхер – бывший генерал царской армии, конечно, наивны. Особенно по сравнению с теми, которые сочинили о Василии Константиновиче следователи. Маршала арестовали 2 октября 1938 года. 9 ноября после страшных пыток он умрет в камере Лефортовской тюрьмы (кстати, в то же самое время в Лефортово содержался и другой узник –

Бетал Калмыков, в честь которого Нина и Леонид назвали своего старшего сына). Практически все окружение Блюхера на Дальнем Востоке было арестовано, верхушка ОДВА уничтожена.

«Блюхер, Блюхер, где твоя улыбка?» – запишет Алексей Решетов в одной из тетрадок.

«Тихоокеанская звезда» все больше напоминала судно, терпящее бедствие. Затонул корабль осенью. 30 сентября 1937 года в «Правде» появилась погромная статья – «Осиное гнездо. Кто редактирует "Тихоокеанскую звезду"». Как пишет в книге «Дело краевого масштаба» А. Сутурин, *«это был донос на журналистов краевой газеты, по которому были расстреляны многие газетчики, сделал это собственный корреспондент "Правды" по Дальнему Востоку Ф. Вигдорович. Он же состряпал донос на руководителей хабаровского завода имени Горького. <…> Позже Вигдорович работал в аппарате крайкома ВКП(б), а потом… в коллективе "Тихоокеанской звезды". Среди прочих "окопавшихся" в краевой прессе "врагов и двурушников" в статье Вигдоровича упоминался и Леонид Решетов. Главная газета страны, которая три года назад так хвалила молодого редактора "Вызова", припечатала: "Очеркистом работает Решетов, которого враги народа окрестили – дальневосточный Радек"».*

Это было прямое указание – брать. Процесс, на котором Радек стал центральной фигурой, прошел в 1936 году и еще не забылся. Карл Радек (Кароль Собельсон) – участник международного социал-демократического движения, советский политический деятель и журналист – был известен своим цинизмом и остроумием. Ему приписывали множество антисоветских острот и каламбуров. Радек среди прочих проходил по делу «Правительственного антисоветского троцкистского центра». Немецкий писатель Лион Фейхтвангер, который присутствовал на открытом показательном процессе, описывал его так: «…надменный, скептический, ловкий, литературно образованный». В 1939 году Карла Радека убьют в Верхнеуральском политизоляторе, где он отбывал десятилетний срок.

С Леонидом Решетовым этого политического деятеля роднят лишь профессия да еще природное остроумие и любовь к литературе. Но клеймо въелось. Да и вся «Тихоокеанская звезда» была обречена.

Уже 4 октября был издан приказ по редакции:

> 1. Бывшего редактора газеты Швера за связь с троцкистско-бухаринскими шпионами и засорение аппарата редакции «Тихоокеанской звезды» враждебно и политически сомнительными людьми уволить из аппарата. <…> 2. Кукуя – заместителя редактора газеты – за связь с врагами народа, за засорение аппарата враждебными и политически сомнительными людьми из аппарата уволить. <…> 3. Лаврова – заведующего отделом международной информации – за проявленный либерализм к зажимщикам самокритики, за примиренческое отношение к засорению аппарата редакции враждебными и политически сомнительными людьми уволить из аппарата. <…> 4. Литературного секретаря редакции Дьякова, приглашенного ныне разоблаченным «Правдой» <…> Швером, с работы в редакции уволить. <…>
>
> Врид. ответ. редактора «Тихоокеанской звезды» И. Володин.

Это был первый из серии подобных приказ. Врид (временно исполняющий должность редактора) Володин был направлен в газету на основании решения бюро крайкома вместо отстраненного от должности и вскоре арестованного Александра Швера. Он должен был провести капитальную чистку редакции и взялся за дело рьяно. Приказы следовали один за другим, подписывал их «чистильщик» красным карандашом. Из газеты были изгнаны журналисты Е. Данишевский и П. Житинков, заведующий сельхозотделом Степанов, корректор Софья Маймистова, будущий автор романа «Сердце Бонивура» Дмитрий Нагишкин, писатели Петр Кулыгин и Елпидифор Титов (Титов владел десятью языками и некогда был соратником В. К. Арсеньева). Часто приказ об увольнении издавался постфактум, уже после ареста человека.

Леонид Решетов не застал самое начало разгрома.

Воспоминания Нины Вадимовны Павчинской записала в начале 1990-х известная пермская писательница Ирина Христолюбова, близкий друг Алексея Решетова. Материал «Мать поэта» был опубликован в 1998 году в книге «Годы террора», изданной обществом «Мемориал». Затем в дополненном виде он вошел в сборник «Друзья расскажут», после – в третий том собрания сочинений Решетова.

В сокращении эта запись печаталась в различных изданиях, включая и «Тихоокеанскую звезду». Даже полвека спустя Нина Павчинская помнила все подробности страшных дней, навсегда изменивших ее жизнь и жизнь ее сыновей.

В конце сентября 1937 года Леша был в командировке. Вернулся он числа 5 или 6 октября, и я рассказала ему о программной статье в «Правде» от 30.09.1937 года.

После статьи «Осиное гнездо» сотрудников редакции по очереди стали вызывать на бюро горкома. Идет заседание, а «воронок» уже стоит у крыльца. Домой никто не возвращался.

Ждали своей очереди и мы. Видя неизбежность происходящего, Леша был так еще наивен, чувствуя свою невиновность, что предполагал самое страшное для себя – исключение из партии, в которой безупречно состоял 10 лет. <…> Чтобы оставить себе хоть частичку самого дорогого, он вынул партбилет из обложки (сохранить ее для себя). Два вечера провела я в страшной тревоге, думая, что он уже не вернется. Возвращался он слишком поздно, совершенно убитый. До него не дошла очередь, а тех, кого уже приглашали и обсудили, при выходе из крайкома приглашали в «воронки» и увозили навсегда.

На третий день к разбору остался один Леша. Его начали обсуждать к концу второго дня, и все выступающие были против него, так что результат был предопределен. Можно понять, с каким чувством я ожидала его. И, несмотря на все, он все же пришел в этот вечер домой. Пришел хоть и взбудораженный, но и какой-то успокоенный или уверенный – не знаю, как определить его состояние в этот вечер…

Итак, все высказались против него, и только когда выступал последний невысказавшийся товарищ, дело приняло совершенно неожиданный поворот. Это был сотрудник редакции Полянский – человек тихий и незаметный, которому Леша не очень симпатизировал. Он сказал только, что если исключать из партии таких, как Решетов, то надо сначала исключить всех остальных. Вы подумайте, что вы делаете.

И вот после этого недавние противники стали снова брать слово и находить в Решетове все положительное и соответствующее моменту.

Короче, резолюция была такая: объявить выговор за потерю бдительности и послать на самый ответственный участок по борьбе с врагом народа.

Предыдущие два дня я мужественно держалась, чтобы поддерживать его, а тут, когда все закончилось так благополучно, – заревела в голос, чем даже, кажется, обидела его. Будто бы не рада была такому благополучному исходу.

За полночь поужинали мы, распили на радостях бутылочку вина и улеглись спать, так как в 10 утра он должен был уже выехать в командировку по выявлению врагов народа.

В эту ночь я видела страшный, вещий сон, который запомнился мне на всю жизнь. В доме шум и крик: пришли злые волшебники и хватают людей. Вижу троих – они хватают жильцов нашего дома и бросают их в воду, всего семь человек. Те тонут, и только один поднялся и пошел по воде, как посуху, сказав: «Ничего, Господь милостив». Я видела его только в спину, с вещевым мешком за плечами (все последующие годы мне хотелось верить, что это был Леша). После этого я увидела себя на перроне какого-то вокзала, забитого несметной толпой женщин, нагруженных мешками, чемоданами, узлами. Я все волновалась, что должен появиться поезд, а мы еще не купили билеты, но меня успокоили, что всех нас повезут без билетов.

10.10.1937 года утром я узнала, что этой ночью в нашем доме было арестовано семь человек.

Мы сели завтракать на кухне. Сидим пьем чай. Еще не верим своему счастью. В 10 часов утра за Лешей должна была прийти машина на вокзал. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мне ответил Павел – наш дворник, попросил наш топор. Я открыла дверь, а там трое чекистов с дворником. Они сразу же: «Ваша комната? Ваша жена?» Я чуть сознания не лишилась, не оттого, что они пришли, а оттого, что этих людей я этой ночью ясно видела во сне: эти люди – все вплоть до одежды.

Обыск делали только в письменном столе, но зато сгребли все подчистую: даже все мои документы и все фото, даже детские; сказали, что потом разберутся и вернут. Забрали все фотоаппараты и две китайские бронзовые вазы ручной работы, которым сейчас цены нет. Поводом для изъятия послужил иероглиф на донышке, напоминающий фашистскую свастику (весьма отдаленно). И они так и записали в протоколе: две вазы с изображением фашистской свастики.

Позднее я узнала у наших китайцев, что этот иероглиф означает нирвану – небытие.

Мама с детьми сидела на кухне, а мне велели собрать Леше необходимое. Он не хотел брать лишнего, считая, что

пробудет там не более недели. Хорошо, что я положила, кроме необходимого набора, теплый свитер и завернула все в двуспальное ватное одеяло. Все же на одну половину он мог лечь, а другой укрыться.

Попрощался со всеми, а в коридоре, у входной двери, еще раз обнял меня, и последние слова его были: «Никогда не падай духом. Перемелется – мука будет». И ушел навсегда.

На улице накрапывал промозглый дождь, он шел ссутулившись, с вещевым мешком, в своем стареньком рыжем бобриковом пальто, не видя, что шагает в никуда…

В 10 утра за ним приехал Фетисов, с которым они вместе должны были ехать в командировку. Когда он узнал, что произошло, – побледнел, как мел, и лишился дара речи. Я села с ним в машину и поехала в редакцию сообщить обо всем Вадиму, но он уже полчаса назад был отстранен от работы. Такая же участь постигла и меня. Дети остались без отца: Бетя – 1 год 10 месяцев, Алеша – 6 месяцев. <…>

Все это время я бегала по всем возможным и невозможным инстанциям в надежде узнать что-либо о Леше, но везде получала один ответ: «Вы враги народа, скажите спасибо, что вас еще носит земля».

Однажды в гастрономе я нос к носу столкнулась с его следователем Красильниковым, главным лицом при аресте. Я подошла к нему и сказала: «Товарищ Красильников, разрешите задать вам вопрос?» – «Слушаю вас», – сказал он и подошел ко мне. А когда услышал мой вопрос относительно Леши, сделал удивленное лицо и сказал: «Вы, гражданка, ошиблись, я не Красильников, а Меер – служащий банка, могу даже показать вам свой паспорт». Мне ничего не оставалось делать, как только с усмешкой сказать ему: «Первый раз в жизни вижу человека, который вынужден сам отказываться от себя». <…>

Буквально все знакомые, еще оставшиеся на свободе, затаились от нас и, встречаясь на улице, делали вид, что не видят нас. На одного, самого близкого знакомого, я была очень обижена за такое отступничество, а вот теперь только узнала, что он позднее тоже был взят и расстрелян. <…>

Расстраивал меня Бетуля: после обеда мы выходили с ним погулять. Выходили за ворота, садились на скамеечку, как раньше, когда встречали Лешу с работы, и он, помня это,

радостно говорил мне: «Скоро папа придет...» Мне так хотелось считать эти слова вещими.

О судьбе мужа я долго ничего не знала. Но однажды увидела: по улице вели колонну арестованных. Мне показалось, что мелькнуло знакомое пальто. Я побежала вслед, но колонна уже вошла в ворота тюрьмы. Потом я узнала: Леша действительно содержался в этой тюрьме. Не обмануло меня сердце. Но увидеться не пришлось.

Была уже зима, и я каждое утро бегала к зданию НКВД. Близко подходить не разрешали, я стояла на противоположной стороне, смотрела на это страшное здание с намордниками на всех многочисленных окнах, над которыми вились в морозное утро клубы пара, и пыталась угадать, над каким же окошком вьется его дыхание, чувствует ли он, что я стою так близко от него и так недосягаемо. <...>

Так нигде и ничего не могла я узнать о Леше. Единственное, что разрешалось женам, – это передавать раз в месяц 50 рублей, вложенные в конверт, и через несколько дней получать конверт обратно с распиской мужа о получении. У них там был ларек, и арестованные могли себе хоть что-то купить.

Эти дни передач были для нас днями надежд и огорчений, и все же ждали их с нетерпением и тревогой. По росписи пытались понять о многом, хотелось что-то прочесть в каждой буковке.

Но не так просто было сделать передачу. Очередь была до двух тысяч человек, стояли дня по три, а мороз был дикий. Чтобы упорядочить эту громадную очередь, одна-две из инициативных женщин раздавали порядковые номера. Раздавались они ночью за два дня до передачи, и получившие их сразу же уходили домой, так как не разрешалось собираться большой толпой, да еще на виду у всех. Но, понятно, все спешили прийти первыми, чтобы поскорее сдать заветный конверт с деньгами. И, конечно, было много злоупотреблений с раздачей номерков: выдающий их старался первые номера оставить для своих знакомых. Учитывая все это, я решила эту миссию взять на себя. И вот на швейной машинке без ниток я прострочила бумажные полосы, чтобы легко было отрывать талончики с номерами, написанными зелеными чернилами, чтобы не было подделок, и, приняв ряд предупредительных мер, взяла раздачу номерков на себя. Правда, первую

ночь приходилось проводить на морозе, а днем прятаться в каком-нибудь укромном местечке. На вторую ночь я отдавала оставшиеся номерки другой женщине и шла отсыпаться домой.

Сдача конвертов с деньгами шла медленно, так как принимавший их сверялся по огромной книге. И мы, подходя к окошечку, трепетали от страха: примут или нет? Если принимали, значит, жив и еще здесь. Если не принимали, значит, ушел на этап или из жизни. А бывали случаи, что прием денег прекращали, чтобы принудить подписать предъявленные обвинения, а потом снова начинали брать. Поэтому, несмотря на отказ, женщины продолжали упорно ходить, пока что-нибудь не прояснялось.

В феврале 1938 года я получила обратно конверт с такой распиской, что и ребенку было бы понятно: писавшему изобразить каждую букву в ней стоило больших трудов…

Однажды у меня конверт не приняли. Сказали: «Выбыл». Куда? Неизвестно. В следующий раз я снова выстояла очередь. Снова отказ. Я продолжала упорно ходить с передачей, пока то ли надоела принимающему, то ли он пожалел меня и сказал: «Не ходи, не ходи больше, вот смотри: выбыл он», – и показал книгу, в которой фамилия Леши была вычеркнута красным карандашом.

С тех пор неотступно мучили меня два вопроса: в чем его обвиняли и где нашел он последний приют?

Все это я узнала только через 52 года.

Глава 10
ПОЛЯРНАЯ ЗЕМЛЯ

Мне снится сон: отец приходит,
В снегу колымском с плеч до ног.
И говорит:
– Я враг народа,
Хочу побыть с тобой, сынок.
– Отец, ужели повторится
На ком-нибудь судьба моя?
И мать мне в дочери годится,
Отец годится в сыновья.

А. Р.

Больше полувека близкие не знали, что случилось с Леонидом Решетовым после того, как за ним захлопнулись ворота тюрьмы. 53 года молчания, уверток и лжи. Государство заметало следы, как преступник после совершенного злодеяния.

Последние официальные сведения о талантливом хабаровском журналисте были зафиксированы в очередном приказе по редакции «Тихоокеанской звезды» от 11 октября 1937 года. Фамилия Решетова в этом приказе упомянута трижды: «Снять с работы в аппарате редакции с 18 октября Л. Решетова как разоблаченного врага народа, снять с работы Г. Виноградова как связанного с разоблаченным врагом народа Решетовым, снять с работы В. Павчинского как связанного с разоблаченным врагом народа Л. Решетовым». Под приказом подпись красным карандашом – врид Володин. Еще имелась тюремная амбарная книга, где фамилия «Решетов» была вычеркнута. И тоже красным карандашом.

Чиновник за окошечком ткнул указательным пальцем в свою пустую ладонь и шепнул Нине Павчинской: «Скорее у вас вырастут вот здесь волосы, чем вы своих мужей увидите».

Время от времени до родных арестованного долетали странные, противоречащие друг другу известия. Что это было? Желание запутать следы? Сознательный обман?

В 1991 году Юлия Еремина писала сыну своего двоюродного брата Леонида: *«Помню, как тетя Таня* (мать Леонида. – **К. Г.**) *один раз получила справку – освобожден, возвращается,*

в другой – умер в 41 году от воспаления легких. Ни тому, ни другому не верю. А за два года до того признавалась в письме Нине Вадимовне, что ей *«часто приходила невероятная мысль, а вдруг он был жив. <…> Но это, к сожалению, видимо, только бред и мечты»* (28.12.1989).

Неизвестность мучает хуже самой страшной правды, воображение порождает чудовищ. О том, что и как произошло, родные узнавали постепенно, в два этапа – в конце 1950-х и в начале 1990-х.

XX съезд КПСС (февраль 1956 года) положил конец сталинской эпохе. Из тюрем и лагерей потянулись освобожденные с фанерными чемоданчиками, с изломанными судьбами, со страшным опытом в душе. Тогда и у семьи Леонида Решетова блеснула надежда: вдруг он вернется?

Смягченный вариант скандального доклада Н. С. Хрущева «О преодолении культа личности и его последствий» был обнародован 30 июня 1956 года. Но уже за неделю до того Нина Павчинская отправила в прокуратуру и КГБ СССР письмо. (В этом документе она называет себя «Ниной Владимировной Павчинской-Решетовой» – так было указано в справке об освобождении, а затем в новом паспорте, выданном в 1949 году. Двойную фамилию Нина Вадимовна назвала специально, чтобы иметь возможность посылать официальные запросы о судьбе мужа. Отчество – ошибка, которую исправили только в 1956 году.)

Генеральному прокурору СССР
Тов. Руденко
Копия: Комитету госбезопасности
при Совете министров СССР
тов. Серову
Павчинской-Решетовой
Нины Владимировны, проживающей
в г. Березники Молотовской
области, пр. Сталина, дом № 8, кв. 4.

заявление.

Обращаюсь к вам с убедительной просьбой навести справки и пересмотреть дело моего мужа – Решетова Леонида Сергеевича, арестованного 10.10.1937 г. в г. Хабаровске (ДВК), Хабаровским НКВД и заочно осужденного Особым совещанием г. Москвы сроком на 10 лет по ст. «изменник Родины».

В течение этих 19 лет я неоднократно обращалась с запросами в различные инстанции, но все мои заявления неизменно попадали в один исходный пункт – Московское МГБ, откуда приходил стандартный ответ: «…Осужден на 10 лет, дополнительных сведений не имеем».

Мне даже не сочли нужным ответить на мой запрос – жив он или нет, а я твердо уверена, что этими сведениями МГБ располагает, ибо ни одно учреждение не существует без учета и, следовательно, человек не может исчезнуть бесследно.

Если же он был осужден на 10 лет, то срок его наказания истек еще в 1947 году и дальнейшее его пребывание в лагерях возможно только при получении дополнительного срока.

Не хочу излишне распространяться, т. к. считаю, что ситуация 1937 года Вам известна лучше моего, но прошу мне поверить, что муж мой был кристально-чистым, высокоидейным коммунистом.

Когда его арестовали, ему было 27 лет, а он уже имел 10 лет партийного стажа. Воспитанный Комсомолом, он отдавал всего себя порученной работе, горел желанием беспрестанно повышать свои политические и культурные знания на благо нашей Родины. Он всей душой ненавидел действительных врагов народа, и, видимо, поэтому они и постарались уничтожить его, а сколько пользы для Родины и народа принес бы такой человек, если бы он был в общих рядах.

Лично моя жизнь и жизнь всей моей семьи искалечена этим жестоким, нелепым обвинением моего мужа, но, несмотря на все лишения и трудности, я вырастила двух хороших сыновей-комсомольцев, прекрасных общественников, отличников учебы, и сейчас, когда они должны вступить на самостоятельный трудовой путь – я не хочу, чтобы они вступали в жизнь с незаслуженным, позорным пятном за своего невинного отца.

Глубоко уверена, что Вы не оставите без последствий мое заявление, в котором я прошу пересмотреть дело моего мужа, невзирая на то – жив он или нет. Если он жив – прошу сообщить мне его местонахождение. Если его нет в живых – прошу выслать мне справку о его смерти. <…>

Кроме меня и двух сыновей у моего мужа есть еще мать-старушка, являющаяся по сей день членом КПСС, проживающая в городе Москве.

Ответ прошу дать по адресу: г. Березники Молотовской области, Управление Калийного комбината, Решетовой-Павчинской Нине Владимировне.

22 мая 1956 года.

Письмо написано смело, даже резко. Из текста ясно, что Нина ни на минуту не усомнилась в невиновности мужа. Она прямо обвиняла власти во лжи. Как могут они не располагать информацией о судьбе человека, которого арестовали и осудили? Она не просила, а требовала правды.

Леонид Решетов был реабилитирован через три дня после того, как написано это письмо, Постановлением Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 мая 1956 года (справка 4н-05388/56).

26 июня Нина Вадимовна писала сыну Беталу, который тогда учился в Москве: *«В субботу* (23 июня 1956 года. – **К. Г.**) *я наконец получила ответ на мое заявление о пересмотре дела папы. Мне сообщили, что <…> его полностью реабилитировали. Ты понимаешь, какая это радость для всех нас? Но плохо то, что из этой справки не видно, жив он или нет. Я сразу же повторила запрос еще в 2 адреса – думаю, что скоро узнаем все. Во всяком случае, я буду хлопотать обо всем до конца, <…> пока не восстановлю его доброе имя».*

9 августа 1957 года Фрунзенский ЗАГС города Москвы выдал семье свидетельство о смерти Л. С. Решетова (II-А № 980341). Документ извещал, что умер он 4 мая 1940 года в возрасте 30 лет. Место и причина смерти указаны не были. (Получали этот документ, очевидно, Бетал и Татьяна Степановна.)

В 1957-м сыновья погибшего отца получили наследство. При аресте Леонида Сергеевича вместе с документами, рукописями и фотографиями были изъяты материальные ценности: фотоаппараты и две китайские вазы с иероглифом «небытие» на донышке. 19 августа 1957 года Хабаровский крайфинотдел определил стоимость конфискованного имущества в 1457 рублей (удивительная точность!). И началась бюрократическая волокита. «Для получения вышеозначенной суммы Вам необходимо предоставить нотариально оформленные документы на право наследства», –

сообщили из Хабаровска. Документы были собраны, заверены и отправлены с Урала на Дальний Восток. До середины октября тянулась переписка между двумя нотариальными конторами (хабаровской и березниковской), Хабаровским крайфинотделом и наследниками. В конце осени *вышеозначенная сумма* была, наконец, выплачена. Нужно отметить: в 1457 рублей государство оценило изъятые фотоаппараты. О китайских вазах (бесценных, по словам Нины Вадимовны) речь вообще не шла – обе они канули в небытие вместе с иероглифами на донышках.

И это было все. Ни информации о случившемся, ни объяснений, ни тем более извинений.

В борьбе за наследство Нине и Татьяне Степановне помогал Вадим Павчинский.

Вадим чувствовал вину перед сестрой и погибшим другом. В первом его письме в Березники – матери, сестре и племянникам – он благодарил за поздравление с новым 1956 годом и признавал: *«Телеграмма ваша меня обрадовала: значит, не очень сердитесь на меня, если вспомнили. А сердиться есть за что. И за молчание, и за многое другое»* (6.01.1956).

Павчинский, уволенный из «Тихоокеанской звезды» за связь с «врагом народа» Решетовым, мыкался без работы больше трех месяцев, но потом добился восстановления в штате редакции. Врид Володин вынужден был не только отменить приказ об увольнении и зачислить Павчинского художником отдела иллюстраций, но и оплатить ему вынужденный прогул.

Не пришлось ли Вадиму Вадимовичу отречься от товарища, чтобы вернуться на работу? В вину Леонида он не верил, но ведь нужно было как-то и самому удержаться на краю. Однако если даже отречение произошло, сестру и племянников Вадим не оставил. Приходил к ним, спал под столом в квартире, полной женами и детьми репрессированных. И позднее, в военные годы, не просто присутствовал в жизни племянников, оставался важным для них человеком. Об этом свидетельствуют семейная переписка, воспоминания Бетала Решетова о жизни в Хабаровске и повесть Алексея Решетова «Зернышки спелых яблок». И Анна Романовна Павчинская находилась рядом с Ниной, когда ту с матерью и сыновьями вышвырнули из Дома печати

на мороз. Она тоже работала в «Тихоокеанской звезде», вышла замуж за опального художника в разгар его травли, по-родственному любила его мать, сестру и племянников.

В письмах Вадима Павчинского Нине часто идет речь о судьбе Леонида Решетова. Впервые он заговорил об этом 29 августа 1956 года:

«О реабилитации Леши я тоже узнал недавно и собирался тебе написать, но получил твое письмо, из которого видно, что ты об этом узнала раньше меня. Еще весной в редакцию приходили по этому поводу, искали старых сотрудников, знавших Лешу, собирали характеристики. Все характеристики и документы были хорошие; я тоже писал большое показание. Недавно мне позвонили и сказали о том, что Москва рассмотрела все эти документы и дело Леши, полностью реабилитировав этого честного и невинного человека. <…>

Чтобы не забыть: ты, вероятно, знаешь, что реабилитирован старый товарищ Леонида – Сергей Третьяков (тоже посмертно). Сейчас в Москве создана комиссия по литературному наследию этого писателя; в комиссию вошла также и жена Третьякова – Ольга».

Решетова и Третьякова реабилитировали почти одновременно, это может свидетельствовать о том, что дела их были связаны. (Хотя в то время комиссии по реабилитации работали без остановки по всей стране!)

Через несколько лет у Вадима Павчинского завязалась переписка с Ольгой Викторовной Третьяковой. В «Литературной газете» за 27 ноября 1962 года появилась статья о Третьякове, написанная писателем и киносценаристом Борисом Агаповым. Павчинский связался с Агаповым, рассказал ему о двух газетах «Вызов» (северокавказской и дальневосточной), о советах, которые Третьяков давал молодым политотдельцам Михайловского района, а главное – о дружбе Решетова и Третьякова. Агапов показал это письмо Ольге Третьяковой.

12 апреля 1963 года Вадим сообщил сестре: «*Получил письмо от Ольги Викторовны.* <…> *Она была очень взволнована: Леонида помнит очень хорошо и была рада узнать, что живы его родные и близкие.* <…> *О. В. прислала вышедший недавно в “Советском писателе” однотомник Сергея Третьякова. Информация подтвердилась: в молодые годы он жил во Владивостоке, на Комаровской улице, рядом с той улицей, где жили мы».*

Третьяков познакомился со своей будущей женой на Дальнем Востоке. В 1937 году Ольга Викторовна (в то время секретарь-машинистка английского издания «Иностранной литературы») была арестована вслед за мужем. 17 лет она провела в лагерях и ссылках и вернулась в Москву в 1954-м. Всю свою дальнейшую жизнь Ольга Третьякова посвятила литературному наследию мужа – в значительной степени утраченному. Ей был дорог каждый человек, связанный с Сергеем Михайловичем. Нина Вадимовна и Бетал однажды побывали у нее в Москве. Ольга Викторовна переписывалась с Вадимом, в 1960-х живо интересовалась творчеством Алексея. То, что сын Леонида Решетова оказался поэтом, вдове Третьякова, должно быть, казалось своего рода провидением.

О возвращении имени Третьякова в литературу Павчинский писал сестре так, как пишут о делах людей близких. Да они и чувствовали себя родными – и по земле, и по судьбе. И если архивом рыцаря факта было кому заняться, поиск конфискованных рукописей и уничтоженных публикаций Леонида Решетова взял на себя Вадим. Он пытался вернуть друга из забвения, мечтал вновь увидеть его имя на газетной полосе или книжной странице. Судьба бумаг волновала его больше, чем украденные вазы. Сразу после посмертной реабилитации Леонида Решетова Вадим писал сестре: «*Если ты будешь хлопотать о возвращении тебе изъятых у Леши вещей, попроси, чтобы вернули все его рукописи. Ведь у него, насколько я помню, были начаты какие-то серьезные работы: повесть, кажется, и т. д. Были у него рассказы, очерки. <…> Если среди других материалов будут завершенные вещи, то ты сможешь их опубликовать, может быть, даже в Хабаровске*» (21.09.1956).

Рукописи, увы, не вернули. Из бумаг Леонида уцелело лишь то немногое, что хранилось в Москве у матери: два очерка 1920-х годов – «Рвач» (о несознательном рабочем, больше озабоченном личным хозяйством, чем пятилетним планом) и «Смерть Думалкиной» (о самоубийстве студентки, развращенной циничными молодыми людьми в московском общежитии – вариация «Бедной Лизы»). Да еще наброски и черновики повести «Барачная жизнь».

Действие повести происходит в двадцатые годы на строительстве большого завода. Главный герой Андрей – бывший

слесарь 7-го разряда московского завода Гужона, ныне комсомольский секретарь стройки. Как и большинство персонажей (а их много), он с семьей живет в бараке, «где ему отгородили небольшую “скворешню” в самом дальнем конце, стоявшем над оврагом». Но энтузиазм строителей, сцены авралов и производственных совещаний не так интересны (они написаны вполне в духе времени). Любопытно другое. Во-первых, текст пронизан, простеган самыми разными литературными ассоциациями автора – не только пламенного комсомольца, но и книгочея. Имена Онегина, Печорина, Рудина соседствуют в тексте с именами героев-строителей Сашки, Маруси, Юрки, Павла… И говорят барачные жители не только о производственных проблемах, но и о любви, скуке, свободе, музыке, театре, конфликте долга и чувства. Они находят время и на рыбалку, и на концерт Тамары Церетели, и на театральную постановку в клубе…

Один из персонажей становится невольным свидетелем тяжелого объяснения Андрея с его молодой женой Еленой, измученной неустроенностью и неуютом. Фон объяснения: обложной дождь, семь верст от города, грязная дорога… Юного свидетеля этой сцены ранит каждое слово, и он думает: «Ты помнишь, лет пятнадцать назад так встречала моего батю моя мать. Неужто семья не стала иной? <…> Но я был на стороне обоих. Упреки были справедливы. Помните Золя “Творчество”? В моих глазах Андрей был Клодом Лантье, а Елена – Кристиной. Что могло примирить Клода и Кристину?»

Кроме явного биографического мотива – воспоминаний о родительских ссорах, поразителен взгляд литературного мальчика, которому легко увидеть в комсомольском вожаке и его жене героев французского романа.

По страницам черновиков, заполненных быстрым небрежным почерком Леонида, разбросаны по-настоящему живые детали: пара тяжелых перчаток для бокса на гвозде в комнатушке Андрея, огромная луна в окне, побеждающая керосиновую коптилку, «всплески храпа огромного рабочего барака». В сохранившемся плане повести «пожар на втором участке» соседствует с раздвоенностью чувств и памятью о какой-то давней трагедии.

Но, увы, «Барачная жизнь» не была дописана. Трудно судить по черновикам о литературной одаренности авто-

ра. Но ясно, что эти разрозненные страницы набросаны внимательным, читающим, непростым и очень молодым человеком. («Мы ушли из клуба, так и не увидев пьесы, и под звонкими каплями ледяного дождя доплелись до станции».)

Более поздние литературные опыты Леонида Решетова пропали. Но ведь у него было множество газетных публикаций. И Вадим Павчинский упорно пытается их разыскать. 29 октября 1956 года он писал Нине:

«После того, как стало в Хабаровске известно о реабилитации Леши, здесь стали вспоминать о том, что это был замечательный журналист, автор блестящих статей, очерков, фельетонов. И вот недавно ко мне обратились товарищи из Союза писателей с такой просьбой. Кто-то вспомнил, что у Леши был, вроде, очерк о Блюхере и очерк о Постышеве. Здесь готовится сборник с материалами о руководителях Гражданской войны, и поэтому разыскиваются все материалы о них, чтобы отобрать лучшие для сборника. И вот меня попросили, чтобы я порылся в подшивках "Тихоокеанской звезды", поскольку мне легче разобраться в газетах того времени: я работал в редакции. Несколько дней я провел в библиотеке нашей редакции, но так ничего и не нашел. Дело в том, что многих газет нет в комплектах, их кто-то вырвал. Придется обращаться в научную библиотеку. Но прежде, чем идти туда, я хочу посоветоваться с тобой, Нина. Может быть, ты помнишь, когда были эти материалы написаны. О Постышеве я помню – "Елка дедушки Тараса", и эту вещь я разыскал было, но она в таком изрезанном виде, что переснять нельзя. Что касается очерка о Блюхере, то я, признаться, не могу вспомнить о нем. Кажется, Леша готовился его писать, и мне помнится, что он даже ходил к Блюхеру домой. Но было ли это на самом деле или это какой-то вывих памяти. <…> Если же его Леша написал, но не опубликовал, давай попытаемся разыскать его. <…> Если очерк есть, и он понравится редколлегии – мы снова увидим имя Леонида в печати».

Вадим Вадимович потратил много сил и времени, но обнаружил лишь несколько публикаций. С горечью он сообщал Нине, что «материалы Леонида во Владивостоке утрачены». И оба они понимали – не утрачены, сознательно уничтожены.

Все, что удавалось обнаружить, Павчинский посылал в Березники – Нине, Беталу и Алеше. Кроме того, он придумал еще один способ воскресить убитого друга: *«Если наберусь сил, закончу маленькую повесть о деревне 30-х годов, о нашей политотдельской молодости. Прототипом героя этой книги будет – Леонид»* (5.11.1961). Осенью 1962 года Вадим сообщал о замысле подробнее: *«Были у меня хорошие планы: написать небольшую повесть о приморском селе 1930-х годов на том материале, который сохранился в памяти. Хотел вывести в этой книге дорогих мне людей – Леонида, Евсея, колхозников, у которых жил и которые выручали и поддерживали меня в трудные дни. Собрал кое-какие материалы, сделал наброски. А работать – сил не хватает. Боюсь, что не доведу дело до конца. А так хочется! И все же буду пробовать, хоть через силу…»*

Не вышло. Повесть о политотдельской молодости, как и повесть «Барачная жизнь», не написана. Вадим Павчинский в то время был серьезно болен, и сил на работу ему не хватило. А ведь для задуманной им вещи героя лучше Леонида Решетова нельзя было и представить. В этом образе время отражалось точно и безупречно. Если бы еще можно было написать правду о его дальнейшей судьбе…

В 1967 году журналист Савва Марченко издал книгу к пятидесятилетию владивостокской газеты «Красное знамя». Там впервые после гибели Леонида было названо его имя. Марченко приезжал в Михайловку во времена «Вызова» и хорошо знал всю редакцию политотдельской газеты. Книгу «Годы и строки», где была страничка о Решетове, Вадим послал в Березники.

А в 1969 году в Хабаровске готовились отметить пятидесятилетие «Тихоокеанской звезды», первый номер которой вышел в свет в 1920-м. Появились юбилейные публикации в самой газете, о выдающихся журналистах, в разные годы работавших в редакции, говорили по радио и телевидению. В числе прочих прозвучало и имя Леонида Решетова. Кроме того, к юбилею был подготовлен сборник. Вадим Павчинский написал для него заметку о Леониде – «Редактор “Вызова”». Фотографию для сборника Нина прислала из Березников. В Хабаровске ни одного снимка Решетова найти не сумели, все следы его существования уничтожили тщательно.

Ни в заметке Павчинского, ни в материале Марченко ни словом не упоминался арест Леонида Решетова. В 1965-м, а тем более в 1969 году, написать об этом было уже нельзя.

Возможность говорить о репрессиях, а самое главное – что-то узнать о судьбе их жертв появилась лишь с началом перестройки. В марте и апреле 1989 года «Тихоокеанская звезда» начала из номера в номер публиковать главы документальной книги Александра Сутурина «Дело краевого масштаба». Журналист собирал материал для своей книги в архивах, разговаривал со свидетелями и очевидцами. Одна из глав посвящена разгрому «Тихоокеанской звезды». Есть там и свидетельство Анны Романовны Павчинской, которая аккуратно отправляла Решетовым (уже в Пермь) номера газеты и сообщала обо всем, что происходило на Дальнем Востоке. *«Хабаровск сейчас заполнен памятью об ушедших и горечью невыносимых утрат. Митинги, сходы… Все это показывают по нашему телевидению, передают по радио»* (12.12.1989). Словно волна фантомной боли захлестнула людей.

В 1991 году Анна Романовна, по совету Сутурина, сделала в КГБ новый запрос о судьбе своего репрессированного родственника. И получила ответ. Только тогда, через 53 года после ареста Леонида Решетова, Нина Вадимовна, Алексей Леонидович и дочь Бетала Ольга узнали правду. Татьяны Степановны Решетовой, Ольги Александровны Павчинской, Бетала и Вадима к тому времени уже не было на свете.

Открытия тех лет – документы, книги, газетные публикации – потрясли Алексея Решетова. Трагедию 1930-х он ощущал как страшный пролог собственной судьбы. Он писал об этом стихи, размышлял, сделал множество записей в черновых тетрадях. Одна из них – почти законченный рассказ, где сливаются в единый поток две эпохи.

Сталин всем принес нам счастье,
Мальчикам и старикам.

Джамбул

В октябре 1990 года в «Комсомольской правде» промелькнула маленькая, со спичечный коробок величиной, заметка. Повторю ее содержание.

Братская часовня

20 октября на Хабаровском кладбище, где в прошлом году были обнаружены массовые захоронения

жертв репрессий 1937–1938 годов, откроется часовня, возведенная на народные деньги. Икону для нее из дальневосточных камней изготовил местный художник Г. Павлишин. Управление КГБ создает Книгу памяти, которая также будет храниться в часовне.
Г. Миронова, наш корр. Хабаровск.

Я не люблю загадывать наперед, все реже и осторожнее мечтаю, но, прочитав эту заметку, подумал: доживу до весны, поеду в Хабаровск. Постою, помолюсь в этой часовне за отца и за тридцать тысяч убиенных и забитых на допросах дальневосточниках. Столько их по статистике органов.

Не знаю, какую Книгу о своих жертвах «создают» сами действующие лица, сами кегебешники, что им подскажет их «лавровый Аполлон» Дзержинский, или кто из них там? Ягода? Ежов? Берия?

Попробую написать свою книгу, буду вспоминать и записывать все, что знаю об отце и матери, о моем брате Бетале, о нашей бабе Оле, о всех нас, кому принес счастье Сталин…

В этом году мы, наконец, получили подробное письмо «оттуда». (Моя тетя Аня обращалась туда, по совету А. С. Сутурина, хабаровского журналиста, и получила эти горькие документы.)

Уважаемая Анна Романовна.

Отвечаем на ваш запрос о Решетове Л. С. Из материалов дела следует, что Решетов был арестован 9 октября 1937 года в Хабаровске за участие в антисоветской правотроцкистской организации, якобы существовавшей в редакции газеты «Тихоокеанская звезда» и ставившей целью свержение Советской власти.

Все обвинения против него носили неконкретный характер и не были подтверждены в процессе следствия никакими фактическими данными. Сам Решетов до самого последнего момента категорически отрицал нелепые обвинения следователей в причастности к антибольшевистской и вредительской контрреволюционной деятельности.

С материалами следственного дела в отношении Решетова работали три следователя УНКВД по ДВ. В 1940 году двое из них были осуждены и расстреляны за фальсификацию уголовных дел и применение физического воздействия к подследственным, один уволен из НКВД.

Несмотря на то, что следователями не были получены материалы и доказательства, компроме-

тирующие Решетова Л. С., 13 апреля 1938 года он был приговорен на закрытом заседании выездной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение в г. Хабаровске в этот же день – 13 апреля 1938 года…

В процессе следствия, проведенного в УКГБ по Хабаровскому краю, необоснованность обвинений, предъявленных Леониду Сергеевичу, нашла полное подтверждение. На основании вновь полученных материалов, а также по заключению Главного военного прокурора Военная коллегия Верховного суда СССР приговор от 13 апреля 1938 года в отношении Решетова Леонида Сергеевича отменила и дело прекратила. <…>

Таким образом, честное имя Леонида Сергеевича восстановлено, хотя это и не может компенсировать трагической и ничем не оправданной его гибели. Примите наши искренние соболезнования и сочувствие.

Начальник подразделения УКГБ
по Хабаровскому краю Бирюков Г. К.

Две мысли лезут в голову при чтении этого письма: следователи, мучавшие отца, загремели под фанфары в 1940 году, а приговор, вынесенный отцу, отменен лишь в 56-м. А сообщили обо всем подробно через полвека. Оперативно же работают в органах!

И вот еще что. Свидетельство о смерти отца прислали. Под колосистым солнечным гербом Советского Союза там записано, что Решетов Леонид Сергеевич умер 13 апреля 1938 года в возрасте 27 лет. Причина смерти – расстрел. Место смерти – Хабаровск. Дата выдачи: 6 марта 1990 года.

Но 10 февраля 1961 г. нам выдали уже свидетельство, но не в Хабаровске, а в московском загсе. По нему выходит, что Решетов умер 4.05.1940 года, причина смерти – прочерк, место смерти – таинственный знак зорро – Z.

Помню, получив это липовое удостоверение московское, мы еще радовались, что хоть война была после смерти отца, не мучился – думали – где-нибудь в лагере в военное время, когда все пухли с голоду.

Ах, как легко мы верим всему, даже документам! А посмотрел свидетельство на свет и увидел водяные знаки в виде множества шестигранных гробов с надписью «СССР»…

Отвлекусь немного. Позволю себе лирическое отступление…

Завтра 7 ноября – любимый когда-то и ненавистный теперь праздник. Сегодня мы с моей племянницей Олей, внучкой двадцатисемилетнего дедушки Лени, рыскали по магазинам, искали чего-нибудь съестного. Сначала были на пермской барахолке. Там мордатая баба продавала кооперативные шарфы и кофты, и какая-то скрюченная, как горелая лучинка, старушка спросила: почем?

– Тебе все равно не купить, проваливай! – огрызнулась торговка.

– Мне не купить? – возмутилась лучинка. – Да я хоть что куплю. Я лучше Горбачева живу, если хочешь знать! У меня огород есть! Я восемьсот веников насушила!

Потом мы ждали, пока поджарятся в раскаленном стеклянном аппарате курочки. Они по шесть в ряд кружились друг за другом, поджав сизые ножки и сложив хрупкие крыльца, орошая друг друга золотыми каплями жира.

Ждать пришлось больше часа. Очередь росла, курочки вращались. Ольга сушила мокрую от снега челку у раскаленного стекла. Пьяненький дядька с затейливыми усами купил полиэтиленовый слипшийся кулек и пытался его расправить, тер костяшками пальцев, своими козонками, как белье при стирке, оказалось – не с той стороны. Порвал донышко кулька, большая дыра.

– Давай мы его тебе починим, – дружески предложили женщины из очереди.

Он им явно нравился. Такой тип: «я все для дому». Рассказал всем, что у него две дочки, все книжки читают… А по сколь куриц дают? Пойду, другой кулек куплю, десять копеек.

– Иди, если у тебя денег много! – сказали ему.

– Да нету уж, два пузырька взял по двадцать пять с рук. Праздник ведь.

– Даст тебе баба праздник!

– Да нету ее у меня. Нас всего трое.

Сердобольные женщины смутились, решили переменить разговор. На спине у дядьки был рюкзак пустой, вот одна и спросила:

– Вы охотник, наверное? – польстила.

– Да нет, – помотал он головой, – не рыбак и не охотник.

Стоявший за мной пенсионер проявил ассоциативное мышление:

– На Дальнем Востоке какой только рыбы раньше не было. И кета, и горбуша, и красная икра. Я вот неделю назад вернулся из Хабаровска. Ничего нет. Куда-то все подевалось.

Из Хабаровска! – сердце у меня екнуло, дыхание стеснило – спросить бы, как там... Я сорок пять лет в Хабаровске родном не был. Сказать бы, что я там родился...

Но тут кур, обрывая обгоревшие крылышки, стали доставать из автомата, и было не до беседы.

– Мне самую маленькую, – робко попросил не рыбак и не охотник.

– Выбирайте сами. Какую?

И он достал самую большую, самую зажаристую...

С порога мама спросила не что мы купили, а читали ли мы вчерашние газеты.

– «Аргументы и факты»? – спросил я.

– Нет, «Литературную Россию». Как там обоих ругают, пропесочили и Горбачева, и Ельцина. Просто страшно читать.

– Ну и правильно, что ругают. Мы из-за них два часа за вонючей курицей стояли. Устроили празднички! Ельцин тоже хороший. В Свердловске до сих пор по ночам окурки собирают.

О двух свидетельствах о смерти отца с разной датой – бессовестной и беспричинной лжи государства – Алексей Леонидович начинал писать не раз. А потом словно подвел итог: *«Но, поразмыслив, пришел я теперь к выводу, что могут выдать и такое свидетельство, что вообще не забирали, не умерщвляли, какая им разница».*

«Прошло 53 года, а я прочла приговор и как будто заново похоронила мужа, – с болью скажет Нина Вадимовна. – Я ходила по городу и не знала, что рядом его могила». Тамара Катаева пишет в «Материалах к биографии»: *«Бумага из Хабаровска, последняя и самая точная <...> о стойкости старшего Решетова во время допросов пришла в то время, когда я в очередной раз приезжала к Алеше. Нина Вадимовна и Алеша плакали, не скрываясь. Но он в то же время гордился: отец никого не оклеветал, не признал предъявленное ему обвинение».*

Леонид Решетов. 1930-е годы

А ведь в 10 часов утра 10 октября 1937 года Леонид Решетов должен был ехать в командировку «на

самый ответственный участок» – бороться с «врагами народа». Только его арестовали прежде, чем прибыла редакционная машина. Можно ли сказать в этом случае: Бог миловал? Времена стояли такие: если не живешь с закрытыми глазами, окажешься либо жертвой, либо палачом. Судьба не ошиблась: Решетов палачом быть не мог. Поэтому погиб. Сын имел горькое право гордиться: отец никого не оговорил, никого не погубил…

В 1988-м Алексей Решетов писал:

Я дни и ночи без конца
Ищу погибшего отца
На Колыме, и в Соловках,
И на земле, и в облаках,
Но Млечный путь,
Но Чуйский тракт
Не говорят, где отчий прах.

В другом стихотворении того же года отец приходит к сыну *«в снегу колымском с плеч до ног»*. В 1991-м Алексей Леонидович узнал: не было снегов Колымы. Через 7 месяцев после ареста его отца убили в Хабаровске. Журналист Александр Сатурин в книге «Дело краевого масштаба» сообщал подробности, приводил свидетельства немногих выживших – жертв и палачей, которые так часто менялись местами.

Во внутреннюю тюрьму НКВД было превращено трехэтажное здание красного кирпича на Волочаевской улице. <…> На первом этаже заседала военная коллегия. Около пятидесяти человек заключенных, давших под пытками «признательные» показания, сидели в предсудебных камерах. После суда их «сортировали»: получивших сроки отводили обратно в камеры, а «расстрельных» спускали в подвал. <…> «Тройка» обычно заседала по субботам. <…> Процесс суда не сложный. На доклад по любому делу, независимо от количества обвиняемых, не больше пяти минут. <…> Докладчики, зайдя в «судилище», прямо от дверей, на ходу, начинали: «Слушается уголовное дело по обвинению Иванова Ивана Ивановича в совершении преступления, предусмотренного статьей 58 УК РСФСР…» <…> Обвиняемые по политическим мотивам, как правило, приговаривались к расстрелу. <…> По существующим тогда правилам подобные приговоры приводились в исполнение немедленно после провозглашения, и места захоронения осужденных

не фиксировались. <…> Казнили арестованных <…> в подвале тюрьмы. Заводили тракторный мотор, чтобы не было слышно, и стреляли залпами. <…> В рот засовывали кляп.

Затем отыскалась и могила, где покоится прах Леонида Сергеевича. Хотя, как сообщали Анне Романовне Павчинской из КГБ: «К сожалению, выяснить, в какой могиле погребен Решетов Л. С., не представляется возможным, так как никаких документов по существующему в те годы порядку не составлялось».

Братскую часовню на старом Хабаровском кладбище (почти в центре города) Алексей Решетов так и не увидел. Не постоял там, не поставил свечу за всех убиенных. 3 октября 1989 года Анна Романовна прислала родным вырезку из «Тихоокеанской звезды» – заметку о митинге, посвященном установке памятного знака на месте захоронения жертв массовых репрессий.

> На городском кладбище асфальтированная дорожка, там, под ней, когда-то был ров: три метра шириной, 130 длиной, так вспоминают. Здесь хоронили тех, кто был расстрелян или забит в тюрьме НКВД по улице Волочаевской – в 1937–1938 гг. <…> После панихиды к гранитной глыбе, утопающей в цветах, поставили тоненькие свечи. Они быстро сгорели в ярком солнечном свете, оставляя на камне черные следы.
>
> Народу на Хабаровском кладбище в тот день собралось много.
>
> – Неужто престольный праздник какой? – удивилась встречная старушка. – Нет, – ответили, – дедов своих идем хоронить.

На полях газеты рукой Анны Романовны написано: «*На этом изумительном митинге называлось имя Л. Решетова. А похоронены они с Вадимом почти рядом. Вот так они встретились!*»

Звучали на митинге имена многих хабаровских газетчиков, вероятно, погребенных в этом месте: Александра Швера, Петра Кулыгина, Елпифидора Титова, Софьи Маймистовой, Житникова, Кукуя… Даже «чистильщик» Иван Володин, обожавший расписываться красным карандашом, не избежал общей участи. Его арестовали в мае 1938 года и в августе того же года расстреляли.

В 1970 году Алексей Решетов написал: *«Отец мой стал полярною землей,/ Одной из многих,/ Золотой крупинкой»*. В 1990-е он уже не искал красивых образов. Делал множество записей в тетрадях, мучился, размышлял…

«Нет госпиталей, где лечат нравственные раны, полученные от сталинщины. Куда подашься. <…> В храм божий – одна дорога, но с первого до последнего вздоха у нас все делалось, чтобы мы не верили».

«Богата наша русская земля драгоценными рудами, горючим камнем и златом, нефтью и газом! Но больше всех в мире у нас белка невинно расстрелянных сталинских жертв, пробуришь метровую скважину в Перми и Казахстане, на Соловках и в Хабаровске – и получишь богатейшие пробы».

И одна из самых страшных:

«Я люблю своего отца больше, чем живого. Но не идут из головы жуткие строчки Юрия Кузнецова: “Отец! – кри-чу, – Ты не принес нам счастья!..”/ Мать в ужасе мне закрывает рот».

Часть II
ЗОЛОТЫЕ ВРАТА

Глава 1
ЧИЖИК

Весна красна, нам говорят.
Но как суров ее рисунок:
Вот-вот беззвучно догорят
Огарки черные сосулек.
Играет щепками река.
А в небе серый гусь-салага
Летит, отстав от косяка,
Куда-то в сторону ГУЛАГа.
А. Р.

«Дети остались без отца. Бетя – 1 год 10 месяцев, Алеша – 6 месяцев», – говорит Нина Вадимовна. Ей самой в то время было 24 года.

10 октября 1937 года машинистку «Тихоокеанской зведы» Нину Павчинскую уволили с работы «за связь с разоблаченным врагом народа Решетовым». С этого дня и до конца жизни заботы о семье легли на ее плечи. В этой хрупкой женщине обнаружился неисчерпаемый запас стойкости.

Оставшись один на один с судьбой, она проявила решительность и отвагу. И еще неизвестно, кто, по большому счету, выиграл в неравной схватке…

Первые полгода этого противостояния подробно описаны в воспоминаниях Нины Вадимовны.

Нина Павчинская. 1934 год

<…> мы с Вадимом сделались безработными, и на работу нас никуда не брали. Я не могла устроиться, даже уборщицей, хотя всюду висели объявления. Так было полгода, до марта 1938 года (в марте Нина Вадимовна начала работать техническим редактором Хабаровского отделения Бланкоиздательства. – **К. Г.**). А жить-то чем-то надо. Вот и стала ходить на барахолку, продавать все, что-то из тряпок, кроме Лешиных неприкосновенных вещей. Продала письменный стол с креслом, Алешину коляску, свои наручные часы (единственные в моей жизни – больше уже не завела). Кроме того, что нужны были деньги, – боялась, что опишут последнее, как это было принято.

На второй день после ареста Леши пришел комендант редакции и потребовал казенные вещи – кушетку и старый канцелярский шкаф, служивший нам шифоньером: боялся, что враги народа захватят социалистическую собственность.

В нашей полупустой комнате остались только полуторная кровать, детская кроватка, этажерка с книгами и письменный стол. <…>

В конце декабря мы с мамой затеяли генеральную стирку. Ванна была доверху заполнена замоченным бельем. Часов в 12 пришел мужик в коричневом кожаном пальто до пят и назвался комендантом Морозовым. Он безапелляционно заявил, чтобы к четырем часам мы были готовы с вещами, уже будут куда-то вывозить, а куда – нам как врагам народа знать не положено. Вывезем – тогда и узнаете.

Что делать? Можно с ума сойти от неизвестности. На улице мороз страшный, ребята маленькие. Куда вывозят – в Соловки, на высылку – полная неизвестность, а тут еще укладывать ничего нельзя – белье мокрое.

Может быть, выручило то, что в таких непредсказуемых ситуациях я не теряю присутствия духа. Наоборот, у меня проявляется особая энергия и сила. Думая, что вывозят из города, побежала в сберкассу, забрала деньги. Хотела телеграфировать Калинину (дура набитая!), да не успела по времени. Прибежала домой, а там к нам пришла мамина приятельница Катя Любомудрова. Вот мы все и впряглись в работу. На всей кухне натянули веревки, нагрели докрасна плиту, наталкивая в нее сочинения Ленина (дров не было); я стираю, мама сушит, Катя гладит. В общем, справились со стиркой, уложились и стали ждать машину с комендантом.

Явился он под хмельком, только в 10 часов вечера, и милостиво разрешил ложиться спать до утра. Утром соблаговолил сказать, что нас просто выселяют из дома и перевозят в новое жилье. Уговорила его разрешить оставить детскую кроватку (одну на двоих) в общей кухне, чтобы мама с детьми побыла там, пока я устроюсь на новом месте. Согласился с трудом, до следующего утра.

Машина со мной и барахлом заехала во двор соседнего Портового переулка (в ста метрах от нашего дома), подъехала к какой-то развалюхе, утонувшей в снегу по самую крышу, шофер сбросил вещи прямо на снег и укатил.

Вместе со мной прибыла и семья Халфина из нашего дома, которых постигла та же участь, как и нас, из-за отца, работавшего в редакции.

Разгребли снег, сбили амбарный замок с двери и вошли в помещение – комната метров 40 со множеством окон, заколоченных досками из-за полного отсутствия стекол. Несмотря на утро, в комнате совершенно темно. Пол под ногами прогнил, доски качаются, посредине комнаты полуразрушенная плита, стены по углам отошли друг от друга, и в отверстия навалило снега. В общем, вид – хуже не придумаешь. Достаточно сказать, что сын Халфина, взрослый человек, сам отец, упал в свое кресло, закрыл лицо руками и заплакал чисто по-женски. Я же, поручив всем утепляться и обживаться, побежала кормить Алешу.

Алешка насосался досыта и сладко уснул у меня на руках, а я стала рассказывать маме о нашем новом жилье. Вдруг дверь в кухню распахнулась, и ворвалась молодая жена Халфина. Она только крикнула: «Ниночка, мы горим!» Я передала Алешу маме и, как была раздетая, бросилась бегом по лютому морозу спасать пожитки. Перед нашей хибарой стояла толпа народа

и две пожарные машины. Я заметила у входа несколько чекистов.

Морозов бежал и кричал: «Сволочи! Враги народа! Нарочно подожгли!» А беда случилась из-за того, что интеллигентный Халфин понятия не имел о топке плиты, да еще разрушенной, а согреться было необходимо. Искры попали на чердак, и там загорелось, но настолько непригодно для жилья было это помещение, что пожарник, находившийся на чердаке, вдруг по пояс провалился через потолок и повис…

И все же нашелся и среди чекистов сознательный человек, он подозвал Морозова, отчитал его за издевательство над людьми и велел утром устроить нас по-человечески. Халфины получили где-то комнату и уехали, а нас поселили в этом же дворе в бывшую квартиру Арсеньева.

Квартира: две комнатки по 6 квадратных метров, одна метров 20, общая кухня, маленькая застекленная верандочка. Никаких удобств, ни воды, ни канализации – все во дворе…

В квартире уже жили семьи арестованных. В одной комнатушке – жена работника посольства в Харбине Тося Сердюк с маленькой дочкой Идой. Во второй комнатушке – жена военного Ефросиния Карачаевская с сыном Олегом, учеником 10 класса. В большой комнате – хозяйка всей квартиры (в прошлом) Евдокия Хохлова, жена работника Хабаровского НКВД. С ней жил сын Борис, хороший, красивый парень 17 лет. Маленькую годовалую дочурку Дуся увезла к родным в деревню, боясь своего ареста.

Вот эту комнату мы перегородили занавеской и стали жить на новом месте. Там уже стоял хозяйский обеденный стол, и мы смогли поставить только свою кровать, на которой спали вчетвером: с одной стороны – мама с Бетей, с другой – я с Алешей. Когда приходил Вадим (мой брат), ему стелили под столом, больше места не было.

Дом в Портовом переулке опишет Бетал Решетов на нескольких страничках воспоминаний. А затем Алексей Решетов нанесет его на литературную карту. Но первые месяцы жизни там братья, конечно, помнить не могли. Мать и бабушка справлялись тогда сами. Польский гонор, грузинская страсть, русское терпение – и никаких национальных противоречий! Увы, прав Некрасов, и еще больше прав Наум Коржавин:

...Она бы хотела иначе,
Носить драгоценный наряд,
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

...К слову, о нарядах. Стихотворение «Тулуп» не вошло в трехтомник Алексея Решетова. И кажется, вообще не печаталось ни в одном сборнике. А напрасно! Речь там не о наследстве, а о наследии.

– Умру, и останешься голый,
За тридцать, а все еще глуп! –
Сказала мне мать и тяжелый
Овчинный купила тулуп.
В таком хоть на Северный полюс.
Такого мне хватит на век.
Наденешь – и матушку вспомнишь.
Она у меня человек!
Я шляюсь по белому свету.
Она моей весточки ждет...
А вы говорите: поэту
Овчинный тулуп не идет.

Что может быть проще тулупа? Разве что ватник. Алексей Решетов всю жизнь настаивал: он – простолюдин. Простая одежда, простая еда, простой быт – только жизнь очень непростая. И не важно, кто кого по одежке встречает. Там, где весь народ, к несчастью, был – место поэта не метафорически, а буквально. И раз на родине тулуп – обычная одежда и для мужчин, и для женщин, поэту сам Бог велел натянуть его на плечи. Тулуп – это тепло. Он прочен (до конца дней хватит!) и надежен в зимние холода и суровые времена. Это не просто материнский подарок, это материнская защита. Сын принимает на плечи тяжесть овчины, и теперь он спасен и от мороза, и от любых невзгод. Мелькает тут и заячий тулупчик Пугачева-Гринева, только этот – материнский – надежнее. И наконец: сын убитого отца переворачивает гамлетовское: «Он человек был в полном смысле слова» и говорит о матери: «Она у меня человек!»

...Полгода безработная молодая женщина с двумя детьми на руках металась по хмурому Хабаровску – пыталась что-то выяснить о муже, искала пропитания, терпела

унижения, узнала, что такое предательство, стояла в бесконечных тюремных очередях…

Через много лет Алексей Решетов расскажет в одном из интервью, какое оглушительное впечатление произвела на него поэма Анны Ахматовой «Реквием»: «Ходил с дрожащими руками». Ведь это и о его родителях, о его матушке, зимней ночью раздававшей номера женщинам, пришедшим с передачей к страшному зданию на Волочаевской улице.

Как умудрялась Нина Вадимовна выстаивать эти очереди: ведь она еще кормила младшего сына? Тамара Катаева писала: *«Когда-то давно на мой вопрос, каким был Алеша в младенчестве, Нина Вадимовна ответила, улыбаясь: “Жуткий обжора и соня – с трудом отрывала его от груди. Он как чувствовал, что нас разлучат, наедался впрок. И когда за мной пришли, мне пришлось обвязать грудь вафельным полотенцем, чтобы не было грудницы. Так и ушла из дома аж на восемь лет! Оставив двух малышей…”»*

Пришли за ней 17 июля 1938 года. Анна Павчинская сказала об этом времени журналисту Александру Сутурину коротко и просто: «А потом начались аресты женщин». Жен брали за мужей.

Следствие было коротким. Да и что расследовать? Суда как такового не было вовсе. Уже 31 июля Нина Павчинская была заочно осуждена Особым Совещанием города Москвы по статье ЧИСР (член семьи изменника Родины) сроком на 5 лет.

Ирина Христолюбова записала с ее слов.

Меня арестовали в июле 1938 года. Я поняла: значит, следствие по делу мужа закончилось, его признали изменником. Два моих малолетних сына остались с бабушкой – Ольгой Александровной.

Под тюрьму, где сидели женщины, был переоборудован какой-то старый заводик. Потолок был стеклянный. Солнце страшно нагревало, в камере духота, падали в обморок. Камера была рассчитана на 40 человек, а в ней помещалось 500 арестованных. Нары в два яруса. Новенькие занимали место под нарами, а там вообще не пошевелиться.

В тюрьме я пробыла около месяца. В августе нас посадили в товарный вагон и повезли из Хабаровска в Казахстан.

Мы тогда сами не знали, куда нас везут, что с нами будет. В тюрьме нам сказали: «Собирайтесь с вещами!» – и все. Перед отправкой я стала думать, как бы сообщить домой, что меня увозят по этапу. Нас предупредили, что если кто-то попытается передать на волю письмо, то это будет расцениваться как побег и добавят еще два года к сроку. Всех тщательно обыскивали.

И все-таки я рискнула. Написала записочку огрызком карандаша, который у кого-то тайно хранился. У меня был конверт. На нем я написала: «Кто найдет конверт, отправьте по этому адресу». Но как его выбросить на волю?

Привезли на станцию. Тут пришел поезд, который привез уже освобожденных. Один из них смотрит на меня и говорит: «Сейчас ты ягодка, а когда освободят – вот будешь!» – и показал скрюченный палец. Я говорю: «Возьми у меня письмо!» Он пообещал, сказал, что даст знак, когда передать. Нас посадили в вагон, поезд тронулся. Я на ходу бросила письмо. Но оно не долетело, упало на перрон. Переполох начался, поезд остановился, собаки залаяли. Я ни жива ни мертва. Потом все же решилась в окошко взглянуть. А тот парень стоит, будто газету читает, а сапогом закрыл письмо. Охранники побегали, ничего не нашли. Уже после освобождения я узнала, что мама то письмо получила.

Привезли нас в Карагандинский лагерь – 6,5 тысячи женщин только с Дальнего Востока.

А нас, 400 человек, отправили через год снова по этапу. В Соликамск.

Рассказывая про арест матери в повести «Я себя не прощаю», Алексей Решетов пишет: *«…В телячьих вагонах с решетками на крохотных оконцах везли в неизвестном направлении тысячи жен, в том числе и мою матушку. <…> О том, что осуждена и на какой срок, она узнала только по прибытии в лагерь – в Казахстан, где отбывала срок и жена Багрицкого, где сидел Николай Заболоцкий».*

Багрицкий и Заболоцкий – два известных литературных имени. А сколько тысяч безвестных было в том же лагере! Кто их назовет?

Рассказ Нины Павчинской, опубликованный в сборнике «Годы террора» (1998), Ирина Христолюбова заканчивает так: *«Когда по центральному телевидению прошел фильм*

об Алексее Решетове “Белый лист”, неожиданно для Решетовых на него откликнулись старые знакомые из Новосибирска, Киева. Пришло письмо из Рязани. “Дорогая Нина Вадимовна! Помните ли Вы Розову? Наверное, уже забыли. Это пишет ее дочь Наташа…”

– Помню ли я? Вместе в лагере сидели. Красавица была. Помню ли я? Еще как помню!»

Она не просто помнила. Среди бумаг Нины Вадимовны сохранились три тетрадные странички, исписанные в столбик женскими именами. Где-то имя и фамилия: *«Спицына Люся, Казакова Феня, Лордкипанидзе Маро, Ткач Валя, Каган Сарра, Леонова Оля…»* Где-то только имя: *«Матильда, Зося, Ляля, Стеша, Эльза, Груня…»* Или только фамилия: *«Сафонова, Несмеянова, Шахбейзи, Васильева (переводчик), Старикова…»* Что это за список? Сопоставление с другими черновыми заметками дает ответ: Нина Вадимовна вспоминала женщин, с которыми жизнь столкнула ее в тюрьме, на пересылках, в лагере, на поселении. Подобный вывод позволили сделать несколько имен: Лиза Маргулис, Зина Сметанина, Покровская – их Нина Вадимовна упоминает в более развернутых черновых записях. Есть в перечне и те, с кем сама она в лагерные годы не встречалась, но знала, что эти женщины были арестованы: Третьякова (Ольга Викторовна, жена Сергея Третьякова), Нина Фохт – родня тетка Нины Павчинской, урожденная Нина Александровна Нижарадзе (ее взяли вслед за мужем – блестящим хирургом Карлом Фохтом, потом арестовали и их сына Валентина, двоюродного брата Нины и Вадима). В конце жизни Нина Вадимовна окликнула тех, с кем ее роднила *тюремная азбука сердца*, и сохранила для нас их имена.

Да и можно ли забыть такое?

Запись Ирины Христолюбовой: «*Крысы закрывали весь пол, они на нас не обращали внимания. И мы на них тоже. Помню, сижу, что-то штопаю, мне подруга говорит: “Нинка, у тебя на валенке крыса, сбрось хоть ее”. Сбросила, надеваю куртку, а в рукаве опять крыса».*

К опубликованным воспоминаниям можно (и нужно) добавить несколько страниц – черновиков, беглых записок, тюремных песен.

* * *

В Спасске среди нас была одна очень маленькая, худенькая женщина – Зина Сметанина. Она всегда была печальна и тиха – тосковала о маленькой дочке, оставшейся с бабушкой. Она посвящала ей множество своих стихов. Мне запомнился только кусочек одного из них; обращенного к матери:

Расскажи ей что-нибудь про вечер,
Постарайся грустную развлечь,
Помоги ей маленькие плечи
От большого горя уберечь…

А вот наше общее:

Пойдем же пока по дорожке,
Сияющий солнечный свет.
Давай помечтаем немножко
О доме, которого нет.

Вскоре Зина сошла с ума, и ее положили в больницу, где уже таких, как она, лежало 11 человек.

* * *

На пересыльном пункте «Карабас» пожилая тихая женщина – Покровская – потихоньку читала нам свои стихи, все в патриотическом духе. Вот одно их них:

Очнись, очнись, наш мудрый Сталин!
С орлиных глаз завесу сбрось,
Не на врага ты гнев направил,
Не по врагу удар нанес.

Не заметили, как в комнату заскочил комендант, выхватил бумажку со стихами и увел поэта. Больше мы ее не видели. Прошел слух, что ей добавили восемь лет.

* * *

В женском лагере мужиков не было. Начальник лагеря от заключенных – Лиза Маргулис – ходила в полувоенной мужской одежде. И дети говорили: «Есть у нас один дядя. И тот тетя Лиза».

* * *

Сушите свои хархары от начала до кончала (зековское бельишко на веревке).

* * *

Мои прозвища: Царица Тамара (комендант пересылки Карабас), Чижик (друзья), Арфистка (в конструкторском бюро все

высокопоставленные чины: маркизы, баронессы, графини – были разобраны), Доходевич (пом. бригада).

– Вы бригадира не обижайте, он у вас худенький, рябенький (старший на барже, которую мы грузили солью).

Алексей Решетов тоже записывал рассказы матери, к сожалению, коротко, конспективно: *«Рассказывала в лицах <…> несколько ночей подряд, спокойным голосом, как по книге».*

* * *

– На тарелках играете! – такой маленький казах, челюсть у него все время дрожала. <…> А это я по всему лагерю спиритизм пустила (с нашего барака началось). – Лагерный режим нарушаете!

* * *

– Ниночка пуховики свои сбивает! – стелила телогрейку, ватник, шмотки.

* * *

Топили огарками угля, просеивая шлак от медеплавильных концессий, в Спасске.

* * *

Мать с дочкой сидели, ей 14 лет было.

В черновиках Решетова есть страничка, которую он озаглавил «Вопросы к матушке» (именно так сын чаще всего называл Нину Вадимовну). Вопросов много: *«Сколько раз отец бывал в Крыму? Где был с мамой? Были ли в отпусках, в какие годы, а в 37-м? Кто донес? Как первый раз летал отец? А ты? Не боялись? Со скольки лет отец курил? Взял ли табак и трубку в тюрьму? Как мама закурила в первый раз, как добывала в лагере?..»*

Нина Павчинская в Крыму

На некоторые вопросы он получил ответ, на не-

которые, очевидно, не успел. И не мог простить себя за это. Любая мелочь жизни родителей – трех лет, когда они были вместе и счастливы – казалась сыну важной. Быть может, в те несколько ночей, когда Нина Вадимовна рассказывала о лагере, упомянула она и о трубке. Сын записал.

Дело табак

Шуршит по крышам снеговая крупка,
На Спасской башне полночь бьют часы.
Знакомая негаснущая трубка,
Чуть тронутые проседью усы.

Алексей Сурков

Отец курил с малых лет в Москве <...> из розового индийского дерева, ромбиком, с гнутым мундштуком, с каемочкой из слоновой кости, заморскую трубку. К его бороде ржаной и усам она очень шла (Шмидт). Нами оставляются от старого мира только папиросы «Ира». Нигде кроме, как в Моссельпроме.

Однажды мама привезла из Владивостока несколько пачек «Пушки» и забросила на высокий запечек голландки. Запас (НЗ) провалился весь между печью и стеной. Ни проволокой проткнуть и вытянуть, ни достать рукой. Взяли вазочку с донышком темного литого стекла в виде четырехугольника, помазали дно медом и часа четыре рыбачили.

В другой раз прислала баба Таня из Москвы «Золотое руно» в плоских баночках. <...> Откроешь баночку, и по всей комнате благородный (настоящий табак!) дух.

Отец:

– Спрячь. <...> Ровно год я курить не буду.

Спрятала (в одной комнате – куда?) на бачке в ванной. Он (табак) за год превратился в мох и плесень. <...>

...Отца когда уводили, он трубку в карман положил и матери сказал:

– Ничего, перемелется – мука будет. <...>

Леонид Сергеевич Решетов. 1936 год

Что успела сказать матери Нина Вадимовна, когда ее саму увели из дома?

Друзья называли ее – веселую, тоненькую, подвижную – Чижик. Комендант пересылки стал звать Царица Тамара (грузинская кровь, решительный характер). Лагерное прозвище было – Доходевич… Выжила чудом. Сердце разрывалось от страха за сыновей. И неотступно мучила мысль: увидятся ли они снова?

Глава 2
БАБА ОЛЯ

За окошком вечер зимний.
Сорок третий год.
И стучит машинка «Зингер» –
Баба Оля шьет.
Шьет соседке-продавщице
Платье-кимоно.
За работу будет пища –
Хлеб или пшено.
Слабо тлеет керосинка.
Пальцы сводит хлад.
Но стучит машинка «Зингер»:
Внуки есть хотят!
Крест. Могильные былинки.
Тьма средь ясных дней.
Но стучит машинка «Зингер»
В памяти моей.

А. Р.

Хабаровский детприемник НКВД находился на улице Московской. Это был деревянный дом за высоким забором с колючей проволокой наверху. Дом этот в 1938 году был переполнен – туда ежедневно привозили детей «врагов народа», обезвреженных доблестными органами.

Беталу шел третий год, он был старше и сильнее, но и для него шансы выжить в таком заведении (а после в детском доме) почти не существовало. Младший брат – слабый

болезненный Алеша, которому еще и двух лет не исполнилось, был обречен.

За мальчиками пришли в тот же день, что и за матерью, – 17 июля 1938 года. Явился управдом (комендант Морозов, выселивший Нину Вадимовну из комнаты на Шевченко?). Но баба Оля, сорокачетырехлетняя Ольга Александровна, встала на его пути с топориком для рубки мяса и тихо сказала: «Не подходи». Сделать шаг управдом не решился, отступил, махнул рукой на внуков сумасшедшей женщины. И больше уже не вернулся. Бетал и Алеша остались с бабушкой.

Ольга Александровна с внуками. 1943 год

«О Люлюсеньке, моей бабушке Ольге Александровне Павчинской, я мог бы исписать не одну страницу», – сказано в повести «Я себя не прощаю». На самом деле в этой короткой автобиографической вещи о бабе Оле – меньше странички. Нина Вадимовна в своих воспоминаниях тоже сообщает о матери немногое.

<...> Старшая дочь Александры Георгиевны Нижарадзе и Александра Дмитриевича Петрова. <...> Мама (баба Оля) больше любила моего старшего брата Вадима, а меня – так... Вообще она была очень общительная, веселая. Легким она человеком была, легко с ней было, беспечный, что ли, характер... Она с любым человеком могла тему для разговора найти, со всеми была приветливой. Когда мы были маленькими, она была еще очень молодая, интересная – хотелось пожить для себя. Так что нас воспитывала в основном баба Саша.

В 1938 году на ее руках остались два маленьких внука – после ареста их родителей... До 1945 года она жила с внуками в Хабаровске. <...> До этого жила во Владивостоке, часто наведывалась в Хабаровск.

В некоторых статьях, посвященных Алексею Решетову, говорится, что Ольга Александровна сразу после ухода

управдома подхватила детей и уехала из города. Кто-то даже сообщает, что несколько лет она, боясь ареста, без документов жила в Рязани. Однако ни сам Решетов, ни кто-либо из его друзей, ни его мать этой версии не подтверждают. Быть может, какое-то время баба Оля с внуками и скрывалась, но потом все трое вернулись в Портовый переулок. Иначе как нашло бы их письмо, выброшенное Ниной Вадимовной из окна вагонзака и отправленное в Хабаровск неизвестным парнем?

Дом в Портовом, двор и его обитателей описали оба брата Решетова.

Однако прежде чем пройти по переулку, стоит, справедливости ради, вернуться к одному замечанию Нины Вадимовны: «Мама <…> больше любила моего старшего брата Вадима, а меня – так…» Дочери, конечно, виднее. Но если Ольге Александровне и был в молодости дороже сын-первенец, то потом всю свою жизнь она посвятила семье Нины: оставила Владивосток, приняла на себя заботы о внуках, навсегда покинула Дальневосточный край… Если это не любовь, то что?

Люлюсеньку, дочку офицера и выпускницы института благородных девиц, никто не готовил к той жизни, какая ей предстояла. Ее обожали родители, баловали грузинские дед с бабкой. Во времена ее детства дом в Кутаиси – богатый и щедрый – был полон гостей. Жизнь – полная чаша. Беспечная, общительная, веселая девушка рано вышла замуж и стала матерью. А дальше: Первая мировая, разлука с мужем, развод, гражданская война, советская власть… В 1920-е, как сказано в автобиографии Вадима Павчинского, Ольга Александровна работала официанткой, упаковщицей на парфюмерной фабрике, портнихой. Алексей Решетов в «Зернышках спелых яблок» добавит: костюмершей в театре. Оставшись с детьми на руках, с 1937 до конца 1945 года, она переменила много занятий: служила ночным вахтером в тресте «Приморзолото» (в документах того времени значится: «швейцар»), трудилась в артели «Женское искусство» и пошивочной мастерской, была портнихой-надомницей. Ольга Александровна прекрасно шила, вышивала гладью и крестиком – это в прямом смысле был хлеб: те, кто тогда мог позволить себе новые наряды, расплачивались за них продуктами. Внуки засыпали под стук швейной машинки.

В автобиографической прозе Алексей Решетов сообщает о бабе Оле немногое, но порой одной детали достаточно, чтобы образ стал законченным.

Она умела гадать на картах, не брала ни копейки, и к ней часто заходили жены и матери красноармейцев. Десятку пик, обозначающую в ее гадании болезнь и смерть, она всегда прятала под клеенку на столе, чтобы та никому не выпала. Бабушка постоянно читала нам наизусть стихи: «Князь Курбский от царского гнева бежал…», «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» или пела ариетки Вертинского – «Минуточку», «Попугая Флобера», «Лилового негра». Может быть, поэзия от Пушкина до стихов Петра Комарова «Этот день по-осеннему мглист…» и стала мне родной благодаря бабе Оле.

Кстати, хабаровский поэт Петр Комаров упомянут в тексте не случайно, не только для противопоставления: единственный гений – типичный советский литератор. Комаров одновременно с Вадимом Павчинским работал в хабаровской газете «Набат молодежи» (впоследствии – «Молодой дальневосточник»), печатался и в «Тихоокеанской звезде». В годы Великой Отечественной он возглавлял Хабаровское отделение ТАСС, где публиковал сатирические стихи и фельетоны. Там же тогда же трудился Вадим – рисовал антифашистские плакаты и карикатуры. Павчинский и Комаров были не просто друзьями, они составили творческий тандем: один создавал карикатуру или плакат, другой тут же сочинял стихотворную подпись. Так что вполне возможно, что Бетал и Алеша могли не только видеть в доме дяди выпущенный незадолго до войны сборник «У берегов Амура», но и встречать его автора.

Есть слово древнее — хабар.
У русских воинов сначала
Оно удачу означало.
И от чертогов до хибар
Был славен воинский хабар.
Пусть я удачу назову
Сегодня как-нибудь иначе,
Но сам я в городе удачи —
В родном Хабаровске живу.

Легко запоминается, ничего не скажешь. Хотя Комаров, скажем прямо, не Пушкин…

Бабушка и внуки тоже жили в «городе удачи», но сама удача обходила их стороной. В черновой записи, озаглавленной «О ярлыках», Решетов расшифровывает страшные аббревиатуры: АСА – антисоветская агитация, КРА – контрреволюционная агитация, ПШ – подозрение в шпионаже… И затем пишет: *«Самое хорошее сокращенное слово – УДП – усиленное детское питание, но нам, детям врагов народа, его не давали».*

Ольга Александровна честно и просто объяснила мальчикам, что произошло с их родителями. Об этом сообщается в самом начале «Ждановских полей» (а начало у повести определенное, это дальнейшие главы остались в черновиках и были подготовлены к публикации уже после кончины автора).

Все время перед нами витал образ матери, – да и что было в этом странного? Бабушка никогда нас с ней не разлучала, наоборот, выбрала верный довод:

– Пришли злые, подлые люди и увели вашу маму. Сначала отца – он был святой человек. Я никогда не забуду его спину, когда он навсегда уходил. <…> Я его грешным делом недолюбливала, но когда увидела, как он уходит, прокляла себя на всю жизнь! Он был настолько близорук, что, стоило нам переодеться в одно и то же платье, синее с горошками, он страшно негодовал, смущался. Вообще этот человек не любил никакого околпачивания. В восемь лет он подвозил пассажирам на саночках вещи… Потом стал большим человеком. Потом его не стало…

Это не только начало повести, но и начало памяти.

Детство всегда виделось Алексею Решетову волшебной порой. Он ясно помнил не только людей и события, но и собственное детское ощущение мира. Для ребенка реальность неотделима от фантазии. Страшная сказка прекрасна. Ее жестокость проявляет характер героя. Потому такой чистой и цельной получилась первая повесть Решетова, такой несентиментальной и честной.

Напрасно спустя десятилетия после публикации автор сетовал: *«Военное детство, бабу Олю я описал в своей повести “Зернышки спелых яблок”. Жаль, что дух соцреализма помешал мне показать все, как было на самом деле без умолчаний и экивоков»* («Я себя не прощаю»).

В «Зернышках» духом соцреализма и не пахнет, там слышится сказочный дух. Два брата живут с бабушкой

(в сказке она должна быть непременно дряхлой старушкой) в холодном военном городе, словно в зачарованном царстве. Почему бабушка тянет внуков одна, не сказано, но для читателя это и так ясно – потому что война! Правда художественная перевешивает правду конкретного факта.

В «Стихах о военном детстве» тоже все не совсем так, как было в жизни поэта. Но именно так было в жизни людей его поколения.

Никогда не забуду,
как во время войны
из картошки из мерзлой
мать пекла деруны.
Деруны на олифе
и сластят, и горчат,
но и этому рады
я и старший мой брат.
Мы сидим в одеялах,
за окошком мороз.
Письмоносец соседке
«смертью храбрых...» принес.
И она прибежала
к нам – белее стены.
Мать ее утешает...
И горят деруны.

Картинка отчетлива и точна в каждой детали. И не имеет значения, что в реальности не мать, а баба Оля жарила деруны и утешала соседку Маришу, потерявшую на фронте сына. Впрочем, в раннем детстве Алеша и называл бабушку «мамой». Пермский поэт Михаил Смородинов приводит в своих воспоминаниях слова Решетова: *«<...> Нас растила бабушка. Так получилось, что я до восьми лет, а Бетя до девяти с половиной называли бабу Олю мамой».* («Бабенькины сыночки», – дразнят братьев в повести соседские мальчишки.)

В другом стихотворении цикла тоже есть серьезная биографическая неточность.

...И несет почтальон
на потертом ремне
безотцовщину черную
брату и мне.

Братья Решетовы осиротели до войны, многие их ровесники – из-за нее. Разница в том, что отцами, которые пали смертью храбрых на поле боя, гордились, отца «изменника родины» скрывали, как клеймо. Но общая беда перевешивает. Здесь не фигура умолчания, а обобщение – сироты есть сироты, безотцовщина – это безотцовщина. С высшей точки зрения – все правда.

Как они вообще выжили? Каким чудом Ольге Александровне удавалось справляться? Растить двух маленьких внуков, зарабатывать, устраивать какой-никакой быт.

Дом, где прошли самые ранние годы Алексея Решетова, значился на плане города Хабаровска по адресу: Портовый переулок, 9. Двухэтажный кирпичный с лиственничными перекрытиями и перегородками, с двумя балконами, он был построен незадолго до Первой мировой. После Гражданской войны четыре квартиры превратили в восемь, балконы снесли, приставили к основному зданию деревянную одноэтажную пристройку, так что дом в плане стал напоминать букву «Т». В пристройке разместились две квартиры. Одну из них и занимала семь лет Ольга Александровна Павчинская с внуками (до 1940 года жила с ними и постаревшая баба Саша – Александра Георгиевна Петрова).

Дом одиноко стоял в конце переулка, у края крутого спуска к речке Чердымовке, в окружении сараев и огородов. Был он солнечным и холодным, без водопровода, печное отопление, удобства во дворе. Но это неуютное жилище осеняло легендарное имя. Во втором этаже неказистого домика с 1914 по 1918 год снимал квартиру путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930).

В «Зернышках» рассказано: *«Говорили, что когда-то <…> жил в нашем доме знаменитый краевед и писатель. <…> Тогда все ночи напролет светилось угловое окошко, и за ним сухощавый седой человек что-то быстро записывал в маленькие блокнотики».* И вот, дворник Коляда, которого заставили навести порядок на чердаке, *«ворча что-то о “гнилой интеллигенции”, выбросил из круглого слухового окна большой фанерный ящик с запыленными книжками и рукописями. Их сразу растащили на растопку».*

Этот эпизод перекликается с одним из самых известных стихотворений Решетова.

Когда отца в тридцать седьмом
Оклеветали и забрали,
Все наши книги под крыльцом
Свалили, место подобрали.

И рыжий дворник, подпитой,
При всех арестах понятой,
Сонеты Данте и Петрарки
Рвал на вонючие цигарки.

Осколок солнца догорал.
Из труб печных летела сажа.
И снова Пушкин умирал.
И Натали шептала: – Саша…

Наречие «снова» есть прямое и точное указание времени: 1937 год – столетие гибели Пушкина. А гибель *оклеветанных молвой* родителей (разрушение семьи) соединяется с уничтожением книг, то есть лучшего, что существует в мире: культуры, знаний, любви, поэзии. Так она и пропала – отцовская библиотека, тщательно, по крупицам собранная, не менее драгоценная для сына, чем, скажем, Александрийская.

Теми же руками, тем же невежеством и недомыслием уничтожены бумаги знаменитого писателя и краеведа. Ведь автора книги «Дерсу Узала» тоже оклеветали. Арсеньева уже после смерти объявили резидентом японской разведки на Дальнем Востоке. Его жену и дочь арестовали, архив был конфискован. Часть наследия великого путешественника бесследно исчезла. До сих пор не найдены ни карта Уссурийского края, вычерченная его рукой, ни рукопись монографии «Страна Удеге» – итог тридцатилетней этнографической работы. Не ее ли пустили на растопку жители домика в Портовом переулке?

В повести братьям Петьке и Леньке достается одна тетрадка из фанерного сундучка. И бабушка читает мальчикам изумительные рассказы, которые отвлекают всех троих от голода и переносят в волшебный мир.

В «Зернышках» баба Оля – просто бабушка, соседка Мариша называет ее по отчеству: Александровна. Для внуков бабушка – центр вселенной, защитница и волшебница. Она ходит в телогрейке с завязками или укрывает этой

телогрейкой «своих малюток». Мальчики слышат сквозь сон ее разговор с Маришей.

«– *Чуркина вчера – тоже язва порядочная – сдай ты, говорит, детей в приют. Ну, я ей ответила! Так ответила, что она готова была сквозь землю провалиться. Если, говорю, вы не хотите на всю жизнь стать моим врагом, не троньте моих детей! Чтоб я их кому-то отдала! Да там и одеялка вовремя не поправят. Там и без моих пруд пруди!* <…> *Были бы у ребят родители (это бабушка говорит шепотом, остальное опять громко). Отец сам пеленки гладил, я даже обижалась. Знал бы он, как все получится!*»

Такой разговор был. Или мог быть. Для внимательного читателя в нем есть загадка – что же произошло с родителями Петьки и Леньки? Почему собеседницы переходят на шепот? Чтобы не травмировать детей или дело в другом?.. В повести это единственный намек на судьбу отца и матери братьев. А еще в этих словах слышны интонации живой бабы Оли. «Ну, я ему ответила!» – так же воскликнула Ольга Александровна много лет спустя, рассказывая о милиционере, усомнившемся, что на свете есть город Озургети. И дальше совершенно интеллигентское: «Если вы не хотите на всю жизнь стать моим врагом!..» И резкое, отважное – как управдому, явившемуся за Бетей и Алешей: «Не троньте моих детей!»

…С годами Ольга Александровна стала резкой и вспыльчивой, за что получила в семье прозвище Бисмарк. В ней проявилось наследственное «паникерство». Она все сильнее беспокоилась о близких и чрезмерно их опекала. Но для внуков баба Оля до конца жизни осталась второй матерью – заступницей и надежной опорой.

Бабушка в повести поет мальчикам «много непонятных и грустных песен». Спасает от ночных кошмаров. С ней в дом входят уют, свет и тепло: *«Синее и розовое вспыхивает пламя. Крышка у чайника начинает подпрыгивать, как живая».* В житейских делах она беспомощна, и ее нетрудно провести: *«Бабушка забыла очки, и на рынке ей вместо манки подсунули казеин – клей для фанеры».* Но плачет она только раз – от обиды, когда все тот же дворник Коляда обвиняет ее в обмане: будто бы взяла котелок с углем, а хлебную карточку, обещанную за это, стянула со стола. В момент незаслуженной, немыслимой обиды баба Оля кажется совсем молодой.

«Она вбежала в комнату и лицом вниз бросилась на кровать. Плечи ее вздрагивали.

– Ребята, – с трудом выговорила она, – пылинки чужой… ниточки не взяла… какие бы вы голодные ни были…»

Для дворника все просто: «Мир на обмане держится». Для бабушки все еще проще. Она говорит соседке о тех, кто ловчит и наживается на горе ближних: *«– А я так думаю, Мариша, – бедные это все люди.* <…> *Все они достанут, всего накупят, а честности где возьмут? Самое-то большое богатство! Помню, мама моя еще говорила: мы люди бедные, но честные…»*

Внуки слушают эти разговоры, и слова бабушки входят в их сознание так же незаметно и навсегда, как чудесные рассказы из коленкоровой тетрадки великого путешественника. Младший потом напишет:

Бедные люди – все те же они
В наши прекрасные, светлые дни?
Дуня с гусаром умчались в метель.
Двое с Башмачкина сняли шинель.
Холодно, голодно бедным зимой.
– Варенька, маточка, ангельчик мой!

Ни холода, ни голода Решетов не забыл. В этих строчках читателя окликают не только Пушкин, Гоголь и Достоевский, но и баба Оля, уверенная, что бедность – не нужда в деньгах, а отсутствие совести.

Да с бабушкой и не поспоришь. Она может ответить на любой вопрос: «Кто такая Жаме? Когда на нашей улице будет праздник?» Она добрая и щедрая, но умеет быть непреклонной: «Отойдите, у человека горе» – и дети отлипают от двери нищей и таинственной Маришиной комнатки. «Вот Каин так же обижал Авеля. А я-то думала, что вы уже взрослые. <…> Братья не должны ссориться. Иначе какие же они братья». И старший перестает толкаться, а младший хныкать.

Кульминация повести – чудо. Любимый на всю жизнь праздник – Новый год. *«В нашей комнате на тумбочке стоит елочка. Не целая, а только верхушка. У кого-то не влезла в комнату большая-пребольшая елка – вот и отрубили от нее верхушку».*

Решетову и взрослому было важно, чтобы нарядная елка в новогодние и рождественские дни украшала дом.

Тамара Катаева вспоминает, как во времена, когда купить елку было трудно, они с Алексеем Леонидовичем несколько раз – в последний момент, волшебным образом! – находили елки, оставленные кем-то на улице, словно специально для них. Однажды так же, как в повести, принесли домой верхушку, срезанную с пышной ели, установленной в пермском клубе УВД на Сибирской.

Детская любовь к Новому году с его чудесами – не память ли это о «Елке дяди Тараса», о первой усыпанной блестками елочке Бети, под которой собрались вместе бабушка, маленький брат, отец и мама, ожидавшая Алешу? Но, должно быть, ни одна елка не приносила большей радости, чем та, украшенная вырезанными из журнала мод моделями, что поставила баба Оля в комнатке дома № 9 по Портовому переулку под новый –1945! – год. И самым дорогим стал бабушкин подарок – два красных яблока. Яблоки не могли оказаться в пайке, и посылочки было ждать неоткуда. Братья не видели яблок много лет. Алеша, возможно, вообще их не видал.

«– Баб, а правда, где ты яблоки достала? <…>

– Знаете что… – говорит бабушка. Голос у нее таинственный, будто она хочет рассказать сказку. – Я ведь у вас ведьма. Я Баба-Яга. <…> *Вы вчера спали, а я раз-раз на метлу, в трубу и полетела* <…> *в Москву!»*

Два яблока бабушка доставила внукам прямо из Кремля. Или купила «за баснословную цену на базаре». И то и другое чудо. Зернышки от этих яблок братья закопали в горшок и поливали, но – «так холодно, разве они уцелеют».

Холодина-дина-дина…
Светит лампа Аладдина.

Это первое Алешино стихотворение. Он сочинил его в ледяной комнатке в Портовом. И это чистый реализм.

А когда потеплело – кончилась война. И беда, нависшая над семьей, тоже словно отступила. Нашлась мама. «Нежданно-негаданно она оказалась у нас жива и здорова». Баба Оля с внуками начала собираться в дорогу – «с милого севера в сторону южную» – на Урал.

«Перед отъездом из подарочного американского одеяла нам с братом сшили роскошные шаровары, причем рисунок расположили так, что он выглядел, как генеральские лампасы.

Но разве только мы с братом любовались друг другом, нашим обмундированием и иногда баба Оля. Остальным попутчикам было недосуг» («Ждановские поля»).

Машинка «Зингер», как и другое имущество, осталась в Хабаровске.

...В 1950-е годы Портовый переулок переименовали в Арсеньевский. К тому времени путешественник загадочным образом превратился из диверсанта в выдающегося исследователя Дальнего Востока. В 1966 году дом № 9, как и другие строения в переулке, снесли. Они остались стоять лишь в повести «Зернышки спелых яблок», писать которую Бетал и Алексей Решетовы начинали вместе.

Глава 3
ЭСКИЗ

Вообще надо подумать о главных героях. В центре – мы с тобой, <...> баба, Вадим, Генка, Аня – в общем, две наши семьи. <...> Остальные – второстепенные. <...> Вадима, Аню и Генку переселить в Портовый, 9.

Бетал Решетов. Черновые записи

Весной 1959 года братья Решетовы затеяли писать о своем детстве. Что навело их на подобную идею? Детские годы обычно вспоминают не в юности, а ближе к закату. Быть может, незаконченная повесть отца вспомнилась? Бетал учился в Москве и отыскал в квартире бабы Тани чудом сохранившиеся отцовские черновики. А может, подействовали письма Вадима, который постоянно сообщал родным о своем романе – сперва о замысле и работе, потом об отзывах и планах публикации. Или просто: братья принадлежали к семье, где все *или писатели, или художники, или музыканты* – не сочинять они не могли. Обоим хотелось

Бетал Решетов

вернуться в недалекое еще время и сохранить его навсегда. А лучший способ сохранить – описать.

Братья уже несколько лет жили в разных городах: старший – в Москве, младший – в Березниках. Но в апреле 1959 года Бетал надолго вернулся домой: он проходил в Березниках преддипломную практику. Совместный творческий замысел был апофеозом встречи и еще больше сблизил братьев. В архиве осталось 11 страниц, исписанных рукой Бетала: начало и план первой главы, черновики разных эпизодов, заметки, описание будущих персонажей. Некоторые из этих набросков вошли в окончательный текст – почти полностью или мотивом, упоминанием. Старший брат, как и отец, работу до конца не довел. Младший завершил ее один. В память брата. Как дань их общей памяти.

Бетал предполагал начать повествование с весны 1943 года. Алексей передвинул действие повести на 1944-й. Это естественно. Он должен был опираться на свою память, а в апреле 1943-го ему только исполнилось шесть. В раннем детстве год имеет огромное значение. Хотя Решетов и писал:

Лет с семи, но не боле,
А быть может, и в пять
Радость сердца от боли
Я устал отличать.

Но главный герой-рассказчик – другое дело: он должен быть уже совсем большой – лет семи. Да и с точки зрения композиции последний предвоенный год предпочтительней, ведь за ним – Победа!

«Зернышки спелых яблок» были закончены в 1959 году, изданы в 1963-м и впоследствии не раз публиковались. Так что сейчас интереснее заглянуть в наброски старшего брата.

7 мая 1959 года

Глава 1

Шла весна… Люди два раза в день сушили опорки. Люди уже задумывались, где дадут нынче участок под картошку – за аэропортом или на Красной речке… Шла весна… Ветреная, краснофлажная, военная. Ветер сворачивал тонкую пленку воды, покрывавшую асфальт, вода падала в приямки. Земля выпивала ее всю, без остатка, а потом, к июню, дарила малышне вкусный черный паслен.

Весна не обошла и наш Портовый переулок: шалым дождем вымыла синие эмалированные таблички на домах, проскользнула по водосточным трубам, заголубела лужицей и пошла качать «понарошные» канонерки. И блестят на шершавой стене нашего дома фаянсовые ролики. Мы, мальчишки, самоуверенно называли их «кроликами». Впрочем, сейчас нам не до них. Мы сидим на крыльце и разглядываем Индуса. Индус – это собака, тощая и голодная, как все собаки. Он спит и вздрагивает, наверное, ему снится коза Марта, которая его недавно избодала.

Однако расшифровать собачий сон нам не удается… unserer Beobac hunden (наш сторожевой пес, искаж. нем. – **К. Г.**) настораживает уши, и сейчас же с самозабвенным криком «на кобыле! на кобыле!» во двор врывается верхом на дранке пацан, совсем незнакомый и рыжий. У него пограничная фуражка и штаны на лямках. Круто осадив мнимого коня и переведя дух, он представляется:

– А я Витька Майоров! А мы с отцом приехали!..

– Ну и что? – ответили мы. – Ну и иди отсюда.

– А вы че – купили это место?

– Иди, пока не перепало…

Витькин рысак мгновенно превратился в шашку, а наши кулаки сами собой сжались. Но баталии не последовало. Витька опять шмыгнул носом и совершенно неожиданно сказал…

В повести Витька Майоров сообщает Петьке и Леньке потрясающую вещь: он знает имя убийцы Пушкина! И рассказывает, как было дело: оказывается, Дантес попросился к Пушкину переночевать и убил его, спящего.

«Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили», – писала Марина Цветаева в повести «Мой Пушкин». Так и тут. Пушкина ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все младенчество и детство братьев Решетовых – никуда не денешься от проклятого траурного юбилея! Возможно, потому в стихах Алексея Леонидовича веселое имя Пушкина часто соседствует с темой смерти, одиночества и холода. *«Стучит, стучит мне в сердце пепел твоих златых черновиков…»* – это сказано не только о черновиках Александра Сергеевича, но и обо всех сожженных (пущенных на растопку) беззащитных рукописях. И пепел отца стучал в сердце сына.

…Бетал начал первую главу с описания весны, от которого в окончательном варианте не осталось ничего, кроме распределения участков под картошку – *за аэродромом или у черта на куличках.* Впрочем, Бетал сам черкнул на полях: *«А вообще описание весны дать Алешке!»* – так что младший брат имел право решать. Но Витька Майоров точно так же появляется в повести – с шашкой на лихом коне. И пес Индус – тощий и черный – так же вздрагивает во сне. А образ козы Марты даже развернут: бодливую козу боится не только Индус, но и сами мальчики. Два против одного – это все реальные персонажи детства.

Главное, что роднит текст повести с черновиком, – единство братьев. Это самое «Мы»: «*“Ну и что”, – ответили мы… Наши кулаки сами собой сжались… Только тут мы его разглядели».* Двое едины и действуют слаженно, как один человек. И рассказ идет от имени обоих.

Оборвав текст, Бетал прикидывал «примерный» план первой главы. Брат должен был прочесть и одобрить.

Объем 4-5 страниц.

Весна, Амур. Портовый, 9 и его обитатели. <…> Обычное стандартное описание весны, но изложить несколько оригинальнее (f.b. Ильф и Петров).

(…лед на Амуре почернел и набух… Как эта фраза, пойдет? Может, дать историю лучше?)

Лужа в тоннеле двора, мало чем отличающаяся от миргородской. Удобная для пуска бумажных и пробковых кораблей. Кочегарка (или жилой дом), подвальное помещение. Потоп. На стене «принцесса Ютта» и «Два бойца». Сырые, сочащиеся влагой стены, гулкая пустота (БУХТА ВОДА!). <…>

В 1 главе дать общую картину весны, двора и обитателей, упомянуть (вскользь) о войне. Год это будет 43-й. <…> Главы кончать не рассусоливаньем, а резко, как бы не совсем ожиданно. Правда, не все, нельзя бить на это всегда.

Но что же делать дальше с 1-й главой? Дается весна, Амур, двор и люди. Ага! Закончим 1-м днем войны.

Младший брат первый день войны не запомнил (возможно, потому в повести его нет). Старший в черновиках этот день описал.

<…> Мы играли в тот день в войну на Шевченко. Потом нас с Алешкой зовет баба и тут и говорит о войне. У нас сидит Аня и плачет.

Дать упор на наше НЕПОНИМАНИЕ важности этого события. Нам было только весело, хотя мы и не могли, конечно, не заметить, что взрослые сразу как-то посерьезнели и посуровели. И мы продолжили играть, только “разбойники” стали “немцами”, а “казаки” превратились в “наших”.

Если уж давать эту картину (игра в войну), то упомянуть о улице Шевченко, очень удобной для этой игры. Улица полого спускалась к Амуру, а по одной стороне – краеведческий музей и Парк КиО с его “рыба-кит” и пушками. Пушки торчали из центра листвы деревьев, как замаскированные (выше забора). Как мы качались на пушках.

Значит, Ольга Александровна и тетя Аня (Анна Романовна Павчинская) трагический день 22 июня 1941 года встретили вместе. Аня плакала. А баба Оля, сообщив внукам о начале войны, отпустила их играть: горя не переживешь – не поймешь. Она-то знала, что такое война. Пушки-зенитки в Парке культуры и отдыха стояли, должно быть, со времен приграничных конфликтов, и дети залезали на них, а потом, сразу же, перебирались на рыбу-кита. (Алексей Решетов в черновиках упоминает пушки возле Хабаровского музея, на которые они с братом взбирались.)

Рассказ про коварное убийство Пушкина среди бумаг Бетала не сохранился, но вот обсуждение этой истории там есть. Кстати, в черновиках Бетал никак себя не именует, а младшего брата называет, как в жизни, – Алешкой. В окончательном тексте старшего брата будут звать Петька, а младший получит имя Леня, словно отец незримо присутствует на страницах повести рядом с сыновьями.

19 мая 1959 года

<…> – Вот смотри, – говорил брат, когда мы, отыграв положенное за день и чувствуя зуд в ногах, сидели на крыльце, где и произошла знаменательная встреча. – Дантес – кто? Он…

Я уже знал (из предыдущих рассуждений), что Алешка сейчас опять скажет, что Дантес – француз (он узнал об этом вперед меня и страшно этим гордился).

– … и потому он и убил Пушкина, потому что он был ему враг. Ведь русские воевали с Францией, да? Там еще Наполеон был. Ведь знаешь, Пушкин любил всех людей и не подумал,

что Дантес что-нибудь с ним сделает, хоть он и француз! Вот. А Дантес взял и убил его. А французы – они тоже фашисты!

– Ну да, фашисты! – огрызнулся я. – Ты слушай больше, что тебе бабка говорит! Думаешь, она <…> понимает, да? Дядя Вадим говорит, что они прислали нам самолеты и сами немцев бьют на фронте. Тоже мне, нашел фашистов!

Лешка, однако, ничуть не смутился.

– Ну и что же? – спокойно ответил он. – Те не фашисты, а Дантес был фашист, как немец. Факт! А то бы разве он сделал так?

Споры эти, конечно, ни к чему не приводили. Но все же мы признали, что Дантес поступил «не по правде». Ну, пускай бы один на один, а то ведь в кровати… Мы с Алешкой день и ночь грызлись (по любому поводу), и просто ссорились, и часто решали сложные вопросы с помощью кулаков, и бабка называла нас Каин и Авель – а ведь они тоже были братья. Но мы всегда спали на одной кровати, и эти часы были, почитай, самыми мирными в нашей жизни.

Алексей Решетов не включит в текст повести эти споры с братом. К чему лишний раз поминать Дантеса, не говоря уж о фашистах? Вадим в «Зернышках» переберется, как хотел Бетал, в Портовый переулок, но превратится из родного дяди мальчиков просто в художника. Звать его будут Вадимом Петровым (вместо сложной польской фамилии отца девичья фамилия матери – простая и русская). Однако о том, каким предстает художник в «Зернышках», после.

Более подробно описал Бетал холодную зимнюю ночь, когда бабушка (вахтер треста «Приморзолото») ушла на работу и братья остались одни. Алексей Решетов вообще избегал пространных описаний – в повести все построено на действии. Но благодаря рассказу Бетала легко представить, каким был мир двух одиноких детей – реальная военная зима и жуткая сказка одновременно.

Дров не было. Топили углем – но не каждый день. Стены белые, мохнатые, покрытые веточками инея, превращали комнату в сказочный, волшебный ледяной грот «Снежной королевы» – а в таком гроте всегда страшно. <…> Страх и холод таились в каждом из четырех углов комнаты, а раскаленная в темноте «буржуйка», дающая крайне мало тепла, казалась красным глазом страшного дракона совсем из другой сказки. Комната была

пуста, и потрескивание мороза в оконных стеклах отдавалось гулким эхом, заполнявшим все пространство.

Мы лежали, боясь пошелохнуться. Выбегали из углов мыши, нюхали ножки стола и, дрожа кончиком хвоста – тоже, наверное, от холода и страха, – скрывались с недовольным писком в своих норках. Взять им было нечего – сухие вкусные хлебные корочки отошли в область предания, крошек не было, картофель бережно хранился в непробиваемых алюминиевых мисках, заботливо укрываемых хозяйкой чем-нибудь тяжелым сверху. И мыши убегали «к себе домой», где не было еды, но было сравнительно тепло и сухо. Было жалко их.

«А ведь, может, у нее есть детки», – заботливо-жалостливым тоном говорил Алешка, провожая взглядом очередного зверька, возвращавшегося с неудачливого поиска.

Бабка была на дежурстве. Кровать стыла от холода. В окне горел синий месяц, и его свет, смешиваясь с ярко-желтым пламенем «керосинки», дрожал таинственными отсветами на стенах и потолке. Ночи были холоднее дня. Мы лежали, прислушиваясь к звукам ночи. Попискивали мыши – теперь уже где-то далеко внизу – под полом, жалуясь, очевидно, на негостеприимство нашей комнаты, а мы не могли им ничем помочь. Не шел сон. Было страшно. Вдвоем, правда, не очень. Только бы Леха не заснул. А он уже был готов к этому. Тогда я вставал, (засовывал в печурку) несколько кусочков угля и, переминаясь с ноги на ногу на холодном полу, тормошил Алешку, который уже издавал носом первые сладостные храпливые звуки. Глупо улыбаясь и косясь в дальний угол, где по-прежнему возились мыши, я предлагал ему сыграть в «свинью». На столе валялись старые карты. Алешка соглашался всегда неохотно, но все-таки забирался, наконец, с ногами на стол, и мы, завернутые в одеяла для тепла, резались до утра в эту нехитрую игру. Когда окна начинали синеть и светлеть, а стрелка на ходиках приближалась к шести, игра надоедала.

– Бабка скоро придет!

Дежурство у нее кончалось в семь. Мы гасили лампу и бегом пробирались к кровати. Она казалась совсем остывшей, но теперь мы уже засыпали без всякого промедления. Мышей давно уже не было слышно. Тепло двух тел отдавалось не только одеялу и подушкам, но и друг другу. Утром бабка находила нас слишком крепко спящими, прижавшись друг к другу, и удивлялась, почему нас так трудно разбудить.

А солнце уже заливало ярким светом всю комнату, и казалось гораздо в ней теплее и уютнее, и ночные страхи проходили, и новый день с его новыми заботами вставал перед нами во всей своей неповторимой малиновой краске.

Мыши, нюхающие ножки стола на покинутой даче, появятся в стихах Алексея Решетова 1968 года. В 1990-е мыши выбегут вновь. Воспоминания о холодной военной зиме в нищей комнатке и жалость к голодному зверьку, у которого, *может быть, есть детки,* пронзит с новой силой. *Жизни мышья беготня* идет по кругу. Только в новые времена мышке было бы чем поживиться.

Вино на столе – и в душе утешенье:
Мы еще живы и не пропадем!
Ежели выглянет мышка из щели –
Мы и для серенькой корку найдем!
Нам еще рано невзгодам сдаваться,
Рвать нашей жизни суровую нить!
Мы еще можем сестрицу и братца,
Рядом живущих, позвать, накормить.

Сестрица и братец – тоже из детства. Память об игре: Аленушка и Иванушка с разбитой стеклянной картинки плыли друг к другу по волнам скомканного ватного одеяла (в повести картинка бумажная, разорванная). Братья придумывали эти игры в мороз: у них не было теплой одежды, и они не могли выйти из дому до самой весны.

На других страницах Бетал напоминает Алексею про игры летние.

Кто из ребят не любил воду, реку. Мы целыми днями пропадали на Амуре... <...> На Амур же мы бегали и ловить рыбу. Удочки были самые примитивные. Ловили преимущественно косаток (Косатка-скрипун – пресноводная рыба. – **К. Г.**) и «малявок». «Малявки» – это уже здесь, на Зырянке, но можно перебросить на Амур. Напишем про моего хариуса, который «закричал», только вместо хариуса надо поставить кого-нибудь другого, а то я не уверен, водятся ли они на Амуре.

Вспоминал он и бабушкины сказки: «Мойдодыра», «Сказки дядюшки Римуса».

<...> Насчет сказок можно упомянуть еще и про «Прибежали в избу дети...». Там самые страшные были слова:

Вдруг он слышит,
Вдруг он внемлет,
Кто-то там в окно стучит!..

А вообще эта сказка была «вся страшная», поэтому мы ее не любили. Однажды я нарисовал этого «утопленника» (так можно связать с «привидением» или, как ты говоришь – это там на месте посмотрим!).

Последнее замечание – отголосок совместной работы братьев. Их споров, попыток выстроить сюжет, расставить по местам действующих лиц. Из героев, что вошли в повесть, в тексте Бетала есть только бабушка, два брата, Вадим, Витька Майоров и дворник – в повести Коляда, в жизни – Фадиль (еще пес Индус и коза Марта). Зато там упомянуты некоторые реальные обитатели Портового переулка, которые в «Зернышки» не попали.

Обитатели двора: Американец. Парень лет 17-19, одет роскошно для того времени (надо придумать костюм – современный стиляжный, вероятно, не пойдет). Была у него зажигалка в виде пистолета. «Пришел к нам и говорит...» (Алешкино). Откуда он взялся? Не помню.

Увидел у нас книжку, повертел в руках и говорит: «За борт ее!» Я не понял, но испугался, что он не отдаст. Но посмеялся и отдал. Потом он еще что-то хотел выбросить «за борт», и мы боялись, что он отнимет у нас все игрушки.

<...> Купаться ходили через парк, на пляж, и еще на «косу» – через Чердымовку. Рыбу на «косе» не ловили – разве что твои селедки. С нами иногда ходил отец Фимки – Давид Гилярыч (надо это обыграть как-то). В общем, дать его как «человека в футляре», девиз которого: «Никогда не знаешь заранее, что может случиться!» Он ведь такой и был.

Вообще образ Д. Г. у меня самый расплывчатый, но внешне я его хорошо помню. Черный, носатый – типичный еврей, а ходил, кажется, в морском кителе и фуражке. Надо расспросить бабу о нем. <...>

Мелешкевичи. Валька и Генка. Генка по прозвищу масон был бандит. Валька добрый, приносил нам марки (мать его работала на почте). Вообще к нам относился хорошо. Давал бумагу и огрызки карандашей – мы могли рисовать. Генку потом забрали, судили, но, кажется, все обошлось. Он и Вальку втягивал в шайку. Однажды Валька дал мне кусочек хлеба и объяснил,

как сделать слепок с ключа в такой-то квартире. Я согласился охотно – это было что-то таинственное и интересное. Хлеб положил в карман, но потом забыл о «деле». Когда я вспомнил – хлеб зачерствел, и я, поняв, что слепок все равно не получится, съел его.

Жили они безбедно, отец и мать работали на ответственных местах. В квартире у них было очень красиво. Однажды Валька привел меня к себе в комнату. Над кроватью висел плакатный портрет Багратиона, украшенный перьями какой-то красивой птицы. (В смысле – красивыми птичьими перьями.) Мне это понравилось. Валька сказал, что это перья от сойки, а убил он ее в парке.

В то время мы увлекались охотой на птиц. У каждого была рогатка – это варварское оружие детства. Били в основном воробьев и желтопузых синиц. А потом торжественно хоронили птиц на огородах. Было там целое кладбище с веточными крестами и кирпичными памятниками. В центре возвышался прекрасный обелиск из белого силикатного кирпича – здесь был похоронен безымянный котенок, зверски замученный соседней улицей.

Вот еще что. Надо помнить, что птиц мы подбивали редко – и в этом наше счастье, мы ведь просто не попадали в них. Но каждый трофей считался событием, и для похорон его сходился весь двор. Если бы мы были чересчур меткими – сколько птиц мы загубили бы зазря. Увлечение это прошло неожиданно. Можно сделать так – или мы увидели плакат «Охраняйте птиц!» – ну, что-нибудь в этом духе. Или привести в пример сойку дяди Вадима, мол, мы полюбили ее и т. д. и т. п. В общем, с птицами надо сделать – это будет полезно для детей – и понравится критикам. А ведь дети в таком возрасте все заражены этой болезнью, наивно считая, что птицы приносят вред, выклевывают «зернышки в колосках», и поэтому хлеба не хватает.

Тема птиц, которых стреляют мальчишки, через много лет – в 1997 году – оживет в стихах Алексея Решетова. Только уже не в назидательно-пионерском, а в более глубоком смысле – как вечное противостояние слабых и сильных. Стихи о мужестве быть собой и о первой, робкой, любви.

Я птиц не стрелял из рогаток,
И кошек любил, и собак.
За это другие ребята
Меня называли «слабак».

Я прыгал с того же сарая,
Курил тот же самый табак,
Но, дружно меня презирая,
Они повторяли: «Слабак».

Лишь девочка в штапельной форме,
С нектаром на темных губах,
Ни разу! – уж я это помню! –
Не молвила слова «слабак».

И стало мне вдруг безразлично,
Что сильные мира сего
Меня оскорбляют публично,
Не приняли за своего.

Понимание, что нельзя идти за стаей, пришло к мальчику, но сформулировал его взрослый человек. Двадцатичетырехлетний Бетал, конечно, не мог бы этого сделать. Впрочем, он и вообще был более компанейским.

Наиболее яркая фигура в воспоминаниях Бетала – дворник Фодиль.

Апрель 1959 года

<…> Служил он сторожем на железной дороге (ночным). Таскал уголь со станции и продавал ведрами. Бабка наша отдавала ему свою хлебную карточку за месяц, а он обязывался ставить ей каждый день по ведру угля. Карточка 600-граммовая, рабочая.

У этого человека было великое множество побочных промыслов. Ходил на Амур (во время тревоги) ловить рыбу (штрих). Одно время дошел до кражи чужих собак. Своя собственная – Тюлька – давно была съедена. <…> Однажды привел на двор красивую и жирную собаку, но затем явился хозяин, и был великий скандал.

Самое достопримечательное в Фодиле – его борода, огромная, грязно-седого цвета, вечно всклокоченная. Ел он страшно безобразно, подметая бородой хлебные крошки. Взглянешь на бороду – и сразу видно, что́ сегодня он ел. Однажды в бороде его затерялись два талона на хлеб, и немало было хлопот, прежде чем их отыскали. Мы, мальчишки, боялись его, но по-своему любили. Когда он появлялся на улице, длинный, худой, в широкополой соломенной шляпе и рваном пиджаке, со связкой удочек – он шел на Амур – мы бежали следом и кричали: «Фодиль идет! Фодиль идет! Фодиль Тюльку убил!» Этого –

убийства собаки – мы ему простить не могли. Но его злила больше всего кличка Фодиль. Кто и когда назвал его так и что она означала, мы не знали, но никто из нас не знал и настоящего его имени. Фамилия его была Наталин. Иногда мы бросали в него камушками, комками грязи – но больше так, для виду, не стараясь особенно-то попадать. Он свирепел и гонялся за нами, бормоча под нос какие-то ругательства. Если кто-нибудь «ловился» – Фодиль жестоко надирал ему уши и удовлетворенный шел дальше. И все-таки он был чем-то привлекательным для нас, и мы никогда не избегали встреч с ним, а, наоборот, стремились чаще попадаться на глаза.

Реальный дворник – жутковатая, но притягательная для мальчишек личность. Дворник Коляда – пожалуй, единственный отрицательный персонаж повести «Зернышки спелых яблок». Это из-за него (вернее, из-за хлебных карточек, пропавших в его бороде) плачет бабушка. Он рушит в комнате мальчиков печь, оставляя их на волю холода. Он спит во время собрания, когда жители Портового переулка собирают вещи для бойцов Красной армии. Он сбрасывает с чердака сундучок с рукописями и книгами умершего писателя.

Образ седобородого дворника из дома № 9 по Портовому переулку слился с образом рыжего дворника из Дома печати на улице Шевченко – понятого при всех арестах. Того, что постучал в дверь и попросил топор (словно зарубить кого-то собирался), когда арестовали Леонида Решетова. А уж этот дворник в глазах автора повести – чистое зло, не человек, а судьба. Потому и бабушка – истина в последней инстанции – *«терпеть не могла Коляду и за глаза называла его то пóклятым, то проклятым».*

Некоторые темы, лишь обозначенные в записях Бетала, превратятся в повести в целые эпизоды. Например, детские рисунки или «бульонные кубики».

Записки Бетала – эскиз, повесть Алексея – картина. В отрочестве младший Решетов мечтал стать художником, как Вадим. Дядя поощрял его, посылал кисти, давал советы: *«Пусть ребята рисуют больше. Рисунки очень интересные у Гаги. Он хорошо передает характеристики “героев” и настроение. Но надо, чтобы в рисунке было больше тщательности (не смешивать с “зализанностью”). Просто больше аккуратности, избегать лишних, ненужных штрихов, линий, пятен, если они ничего не рассказывают, а лишь*

загромождают рисунок. Очень хорошо было бы пользоваться натурой. <…> Сначала сделать эскиз, набросок рисунка. А потом, по этому эскизу, рисовать каждое действующее лицо с натуры. А когда глаз "насмотрится" на этих натурных рисунках, можно уже их делать "из головы", умозрительно» (15.12.1950).

Эти слова можно отнести не только к живописи, но и к литературе. Алексей Решетов так и работал. В его прозе и стихах нет небрежности и лишних штрихов – все точно, каждая деталь работает, краски подобраны верно.

Вадим Павчинский быстро в этом убедился. Он прочел первую прозаическую вещь племянника и восхитился его изобразительным мастерством: *«Повесть потрясла всем: содержанием, прекрасным языком, грустным юмором. Ты, Алеша, должен (не в ущерб поэзии, конечно) писать прозу. Обязательно! И приступай к фундаментальной вещи. Ты ведь уже накопил достаточно жизненного материала, хоть и молод по возрасту. О чем будет твоя следующая повесть (или роман) – мне судить трудно, но думаю, что будет обязательно»* (11.04.1964).

В этом же письме печальный привет от жителей Портового переулка: *«В тот день, когда пришла твоя книжка, Арсеньевский переулок (бывший Портовый) хоронил Маришу; она умерла от рака печени. Человека нет на земле, но он остался жить в книге…»*

Через много лет Анна Романовна Павчинская еще раз перечитала «Зернышки спелых яблок» и написала племяннику: *«Не осталось тех людей, о которых ты писал, давно уже нет Портового переулка, исчезли дома, которые в нем были. Их лихо разрушили, снесли начисто, а в первую очередь тот островок со строениями, что значился под номером 9. Сейчас на этом месте высится четырнадцатиэтажная гостиница "Интурист". Важная и красивая, она дает приют благополучной и разноязычной публике, и ничего уже не напоминает о той неправдоподобной жизни, что здесь когда-то шла. На всем участке остался только бывший наш дом на ул. Шевченко. Жильцов из него выселили, здание красиво реконструировали, и теперь в нем размещается какое-то учреждение. Я живу в полутора кварталах от этого дома, и если случается проходить мимо, сжимается сердце и не верится, что это правда и что все когда-то было по-другому и было вообще».*

Глава 4
КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ

Золотые врата, мелодично звеня,
Пропустите в далекое детство меня.
Там я был одуванчику каждому рад,
Там со мной разговаривал старший мой брат.
<…>
А чужие отцы, возвращаясь с войны,
Были с ним и со мной, как с родными, нежны.
Золотые врата,
Золотые врата,
Пропустите меня – моя совесть чиста.

А. Р.

В 1936 году на берегу Камы рядом с Усть-Боровским солеваренным заводом начали строить сульфито-целлюлозный комбинат. Проложили железнодорожную ветку от станции Соликамск (город был в восьми километрах), поставили бараки на месте частично сведенного соснового бора. Новый населенный пункт получил название Боровск. Но это был не просто рабочий поселок, а спецпоселение, подчиненное комендатуре НКВД. Рядом находилась лагерная зона, туда в 1939 году и попала Нина Павчинская.

Алексей Решетов писал:

«После Казахстана мать досиживала в лагерях Соликамскстроя, в поселке Боровск. Там был номерной завод взрывчатых веществ, лесоповальные участки и КДС – комбинат стройматериалов по-официальному и Косой Степан Данилович – по народному красноречию. Он, кроме горбыля на дрова, чурок для газогенераторных машин, опила для клоповных матрацев, кроме тоненьких планочек для простых и химических карандашей, кроме неподъемных еловых гробов с выпавшими сучками-глазками, вырабатывал и синий древесный спирт Б «4», незаменимый при встрече красных дней календаря.

Мать определили на «чурку». Зимой надо было вырубать вмерзшие в камский лед бревна, ошкуривать их буквально по рыбьей чешуйке и пилить двуручной пилой на диски, отмеряя их толщину спичечным коробком. Диски распиливались на конические части и в тачках везлись в сушилку. За миску

баланды – не один кубометр древесины “на рыло”. Лагерное начальство не было уж очень покладистым. Один грозил всем зэчкам поставить клизму из битого стекла, другой так обожал тишину, что даже издал приказ: “Ходить всем абсолютно на когтях, руки держать в заду”. Работали все время с дровами, а в бараках была стужа. По ночам волосы у зэчек примерзали к нарам». («Я себя не прощаю»)

В военные годы и на воле жилось тяжко, что уж говорить о лагерях. Не случайно Нина Вадимовна, получив первое свидетельство о смерти мужа, утешалась мыслью, что ему не довелось голодать в лагере во время войны. Как это было, она знала на собственном опыте.

В воспоминаниях сообщала кратко: *«Я была бригадиром. С севера сплавляли лес по Каме. Бревна вмерзали в лед. Мы их вырубали из льда. Работали вместе с уголовниками, они нас не обижали. Но надо было и к ним относиться “уважительно”. Например, сидим у костра. На всех одна цигарка. Она идет по кругу. Противно брать эту цигарку в рот, но надо, иначе наживешь себе врагов»* (Запись Ирины Христолюбовой).

Несколько сдержанных, осторожных строчек. Но есть одна вещь, которая меняет картину. Само ее существование удивительно. Это свидетельство любви и надежды, которая остается, даже когда все несчастья вырвались в мир. Речь о книге. Точнее, о самодельной детской книжке. Стихи напечатаны на машинке, текст много раз дополняли и переделывали – на полях множество карандашных пометок. Картинки нарисованы яркими детскими красками: цветы, деревья, пряничные домики, забавные зверюшки, гномы в красных колпачках. На обложке заголовок: «Дорогим сынишкам Бетульке и Гагочке от мамы Нины 1940–1941». И рисунок: два румяных карапуза в коротких штанишках с любопытством глядят на белку, сидящую на пеньке. А внизу домик с двумя окошками и пышным крендельком вместо крыши.

«Все время перед нами витал образ матери, – да и что было в этом странного? Бабушка никогда нас с ней не разлучала...» – пишет Алексей Решетов. Образы сыновей тоже витали перед Ниной Вадимовной. Она сочиняла им колыбельные, описывала в стихах их приключения. Заговаривала зубы судьбе. На ее рисунках Бетулька и Гагочка

кудрявые и толстенькие. У них много игрушек и сладостей. Они спят в чистеньких кроватках в уютной комнате, в окошко которой из-за легкой кружевной занавески заглядывает месяц. Дети в безопасности.

По поляне голубой
Ходит месяц золотой.
В небе звездочки горят,
Бетя с Гагой сладко спят.
Сладко спать в своей кроватке,
Рядом куклы и лошадки.
Рядом бабушкина сказка,
Рядом бабушкина ласка.

Картинка безмятежного детства, созданная материнским воображением, была далека от действительности. Нина Вадимовна это знала. Но знала и то, что ее мальчики слушают бабушкины сказки и бабушкина ласка окружает их.

В набросках к повести Бетал описывает именно это.

«Вспомни, как в долгие зимние вечера, когда мы забирались втроем под одно одеяло, чтобы согреться, бабка рассказывала нам сказки, где все было – и солнце, и море, и прекрасные сады, где можно сколько хочешь есть яблок, и никогда не бывает холодно. <…> В нетопленой комнате стыла вода в ведре, рамы покрывались густым инеем. А мы слушали сказку».

Мать ничем не могла помочь. Не могла прогнать ночные страхи и защитить сыновей от холода и голода. Она сама в это время стыла на камском льду, пилила промерзшие до сердцевины бревна за миску баланды. Но продолжала сочинять, а в редкие минуты отдыха тайно рисовала сыновьям идеальное детство. Делала книжку, которую надеялась когда-нибудь подарить своим мальчикам. Такой же немыслимый подарок описан в стихах.

Как-то мама с бабой Олей,
Чтоб порадовать ребят,
Подарили им полянку,
Домик пряничный и сад…

Стены домика из пирожных и печенья, крылечко шоколадное, а дверь-коврижка и леденцовые окошки – открыты целый день (что очень важно для мамы, которая всегда под замком!). Но и этого мало. Вокруг домика – фруктовый сад,

дорожки там посыпаны сахаром, а ветки деревьев ломятся от чудесных плодов.

...А в саду поспели груши,
Яблочки и виноград –
Это Гагочки и Бети
Тоже привлекает взгляд.

На рисунке – яблоня с неправдоподобно красными огромными яблоками, которые два мальчика собирают в корзину.

В повести Алексея Решетова яблок всего два. Баба Оля слетала за ними в Москву на метле или купила на базаре за бешеные деньги. И то и другое чудо. Но румяные яблоки, которые придумала Нина Вадимовна, еще большее чудо. Не с ее ли наивной картинки, нарисованной в лагере под Боровском, перенеслись эти плоды в первую повесть сына? Это их косточки все-таки проросли и дали щедрый урожай – повесть о военном детстве.

Потом сыновья пролистают страницы книжки-самоделки и узнают, как без них жила их прекрасная матушка.

«Бревна ломом выколупывались из Камы, ошкуривались топором. Это была ювелирная работа, самую вредную рыбу гораздо легче чистить. Топор срывался, попадал по пальцам. За ночь, порой в пятидесятиградусный мороз, женская бригада пилила эти чурки кружочками по 6 см в ширину 3,5 кубика на пару, чтобы транспорт утром вез их по обычному маршруту.

В 1944 году, 17 июля, отсидев от звонка до звонка свои пять лет (детский срок, как считалось), мать была освобождена, но без права выезда в другое место. Освободившись, мать устроилась копировальщицей, переснимала на кальку чертежи с ватмана, копила деньги нам на дорогу из Хабаровска. Недоедала, только курила вдосталь и была как ивовый прутик» («Ждановские поля»).

Среди черновиков Нины Павчинской есть план воспоминаний – они задумывались гораздо масштабнее, чем получились. Один из пунктов такой: «Когда освободилась, была 1 подушка и 1 иголка, и больше ничего не было».

Уехать домой она не имела права, должна была постоянно отмечаться в комендатуре: на месте, никуда не сбежала. Мечтала поскорее увидеть мать и сыновей, но вызвать их к себе стало возможно только после войны.

Захотелось Гаге с Бетей
Знать, что есть на белом свете.
В разных странах побывать,
Зной и холод испытать.
Посмотреть весь шар земной,
А потом – к себе домой.

Так Нина Вадимовна писала в книжке.

Само путешествие – поезд, полный молодых бойцов, возвращающихся с японского фронта, – Решетов описал в «Ждановских полях»: *«Я не видел ни одного солдата, который бы к детям относился плохо. За окном верблюды, синева Байкала...»* Судя по тому, что с последнего места работы в Хабаровске Ольга Александровна уволилась 15 октября 1945 года, в путь они пустились поздней осенью. Баба Оля так торопилась к дочери, что бросила весь свой небогатый скарб и даже не успела толком собрать еды в дорогу. *«Из всех богатств у нас была литровая банка смальца, множество лепешек на американском яичном порошке и две книги: я положил "Сказки" и "Волшебные сказки". <...> Лепешек и смальца нам на дорогу не хватило. Наши любимые книжки мы через три дня поменяли на еду у соседки по купе – очень приятной военной врачихи»* («Ждановские поля»). Так что кормили их в пути Маленький Мук и Стеклянный человечек, герои сказок, утверждавших: добрый бедняк лучше, чем богач с холодным сердцем.

Перед встречей Нина Вадимовна очень волновалась. Сыновья ее совсем не помнили. Она оставила их малышами, теперь старшему было 10, младшему – 8 лет. За много месяцев она начала готовиться к их приезду. Об этом еще один набросок воспоминаний.

«Ждала детей с бабой Олей; взялась чертить. Скопила деньги. <...> Копила продукты. Первые деньги баба Оля спустила, пришлось накапливать сначала. Собирала грибы, ягоды, сахар, муку, крупы. Питалась 1 раз в столовой, дома ничего не ела, голова кружилась иногда от голода. Ни кусочка сахара оттуда не взяла. Половину талона отоваривала в столовой, половину брала продуктами. Приехали – и сразу к кладовке – там такие запахи – нюхать! Изголодавшиеся. Все очень быстро съели.

С утра на работу, потом домой – в барак – перекусишь, отдохнешь часок и опять на работу – чертеж делать – под-

рабатывала часов до 11-12, и так каждый день.

Во время войны тоже подрабатывала – чертежи, открытки. В течение 11 лет спала по 3-4 часа. Нервное расстройство, руки тряслись.

– Павчинская, вы стали как зубная щетка.

Врач: "Как вы, интеллигентный человек, могли довести себя до такого состояния?!"»

Нина Вадимовна Павчинская-Решетова

Эти конспективные записи страшно читать. Особенно примечателен вопрос врача. Впрочем, он был задан уже после того, как Ольга Александровна с мальчиками приехала на Урал.

Нина Вадимовна встречала ночной поезд из Хабаровска на вокзале Пермь Вторая. Солдат Миша, опекавший Ольгу Александровну с детьми всю дорогу, передал сонных детей в руки матери.

«– Это кто?

– Гага, – мама поймала меня на подножке вагона и прижала к себе.

– А кто это?

– Это Бетя.

<…> Так и приехали мы в окаянную Пермь».

Приехали они, собственно, в город Молотов (так с 1940 по 1957 год именовалась Пермь). Но имя пункта назначения все равно казалось странным. Вот другие станции назывались понятно. *«В поезде я всю дорогу глядел в окно и думал, что все большие города и станции называются одинаково "Кипяток", именно такая надпись сразу бросалась в глаза на каждой остановке. А читать печатные буквы мы с братом Бетей умели еще до пяти лет. Брат уже прочел мне Тома Сойера, Гека Финна, "Черную курицу", всего почти Лермонтова и множество приказов Верховного Главнокомандующего».*

Настоящая встреча с окаянной Пермью произошла потом. В ту ночь главной была встреча с матерью. Алексей Решетов неоднократно говорил, что мама показалась ему удивительно красивой. Любовь возникла сразу, словно их

и не разлучали. Напрасно тревожилась Нина Вадимовна. С той самой встречи на холодном перроне семья сплотилась раз и навсегда. Стала нерасторжимым целым.

Мать усадила сыновей на свою телогрейку, открыла банку свиной тушенки, изрезала целую буханку хлеба (не зря экономила и отказывала себе в кусочке сахара!). Так они сидели: Нина Вадимовна и Ольга Александровна на «вещах», мальчики – на материнском ватнике, отделенные от остального мира счастьем. Ждали поезда на Соликамск. Алеша все любовался матерью, даже голод словно отступил.

Вокруг кипела бессонная жизнь. Сновали цыгане и демобилизованные. Инвалиды с медалями на груди пели песни. Спекулянтки сидели на мешках с крахмалом и луковицами. Торговали хлебом и сахаром. Тормозили и отправлялись составы. Доносились неясные голоса из селектора. А милиционеры и железнодорожники были умильно-вежливы, «несмотря на ежесуточный окружающий хаос. Редко кто в сердцах огрызнется».

Таким запомнил Решетов тот вокзал. «Многие люди были тогда такими неправдоподобно хорошими, как их описывают в книжках», – напишет он. Впрочем, все зависит от взгляда.

В жизни получилось, как в детской песенке-игре:

Золотые ворота
Пропускают не всегда.
Первой мать пройдет,
Всех детей проведет…

Золотые врата отворились и вслед за матерью пропустили на Урал, в другую пору жизни, Алешу и его старшего брата.

Через много лет Решетов огорчался, что в стихотворении о детстве в строчку не поместилось полногласное – «ворота». Но здесь имеется одна тонкость. Ворота могут открываться и во двор, и в крепость. Ворота в песне сами решают, кто в них войдет. Но в ад или в рай могут пропустить лишь врата. Возможно, ритм не случайно повел за собой поэта.

Глава 5
ДВА БАРАКА

Лишь потом, вовсе состарившись, постиг я, что вся наша жизнь есть надежда, что вот так и проживем мы, чего-то ожидаючи, а чего именно – неизвестно. <…> Мы все время ожидаем жизни. Вот она и есть Ждановские поля, а там, за ними…

Алексей Решетов «Ждановские поля»

Когда в начале 1930-х Леонид Решетов задумывал повесть «Барачная жизнь», он и предположить не мог, что в конце 1940-х его собственная семья хлебнет этой самой жизни полной мерой. На одной из открыток Бетала, отправленных в Москву бабе Тане, указан адрес: город Соликамск, Лесной поселок, 4 барак, 13 комната. Текст открытки дает ясное представление о том, как Нина Вадимовна, Ольга Александровна и мальчики жили в Боровске.

«…Баба Таня, я с мамой недавно ездили на огород. Мы вышли в 8 часов и пошли к Торготделу. Там дождавшись машины, мы поехали на огород. Мама боронила землю, а я таскал навоз. Мама получила 10 соток, но успела заборонить всего соток 7 или 8. <…> Баба Таня, я пошлю тебе в этом письме рисуночков и стихотворений. Баба Таня, я читал очень интересную книжку Р. Киплинга "Кошка, которая гуляла сама по себе" и книжку уральского писателя П. П. Бажова "Голубая змейка". <…> Мама вчера уехала за картошкой на машине № 105. <…> Крепко целую тебя, дорогая, желаю здоровья, счастья и успеха в твоем будущем» (29.05.1947).

Четвертый барак Алексей Решетов описал в маленькой поэме «Сентиментальная история» (1962–1963).

Мы жили в таежном поселке.
Поселок – двенадцать бараков,
Поставленных криво и косо
На земляничной земле.
И на следах лосиных
Стоял магазин в поселке,
И выходил детсадик
Окнами в глухомань.

Я помню из всех бараков
Яснее всего четвертый,
Похожий на все бараки
И крышей, и писком крыс.
В нем жили почти все немцы,
А русских раз-два и обчелся:
Раз – я да братишка с бабкой,
Безногий сапожник – два.

Барак в поэме – место одновременно прекрасное и ужасное. (Таким почти всегда предстает детство в произведениях Решетова.) Он стоит криво, но на *земляничной земле*. Неизвестно, кто там хозяйничает – люди или вездесущие крысы. И все же нищету и ненависть побеждают любовь и доброта.

В «Ждановских полях» барачная жизнь описана подробно, и там-то сентиментальности нет (это проза поздняя и жесткая), но тема человеческой доброты звучит еще отчетливее. Без доброты было не выжить. Как и без красоты.

Первое впечатление Решетова на Урале – прекрасное лицо матери, заслонившее суету и нищету вокзала. Первое впечатление о Боровске – сосны и огромная река за ними.

В своем последнем интервью Решетов рассказал: «*Когда приехали на Каму – я еще не видел ее, а мы только шли к ней – впереди были густые сосны, они закрывали реку. Но на меня, семилетнего, что-то нахлынуло. И я как рванул на эти сосны!.. Долго бежал, минут десять, а потом мне открылась Кама, распахнулась передо мной… Вот такое у меня было предчувствие воды*».

Лесной поселок, куда Нина Вадимовна осенью 1945 года привезла мать и сыновей, примостился возле лагерной зоны. Вышки, лай овчарок, окрики часовых, колонны заключенных в серых бушлатах. А вокруг золотой сосновый бор, кроны которого возносились в поднебесье…

Однако прежде чем говорить о Боровске, необходимо сделать одно уточнение. Повесть «Ждановские поля», где описаны первые уральские годы Решетова, впервые опубликована журналом «Урал» в 2003 году, после смерти автора. Текст к публикации готовила вдова поэта Тамара Катаева по черновикам мужа. Какие-то записи она обнаружила в архиве позднее, и они вошли в корпус текста, напечатанного в трехтомном, на сегодняшний день самом полном, издании

Решетова. Нет (да и не может быть) уверенности, что опубликованный вариант соответствует авторскому замыслу и в повествовании не нарушена последовательность событий.

Разобраться в рукописях непросто. Черновики написаны от руки, в них много исправлений и вставок, некоторые отрывки существуют в нескольких вариантах. Решетов переносил эпизоды с одного места на другое, что-то дописывал, что-то вычеркивал. Восстановить хронологию этой работы почти невозможно – дат на листах нет, не все они даже пронумерованы.

Нужно добавить, что черновой текст разбит на главы, каждая из которых имеет название: «Детские неурядицы», «Беня-гимназист», «Серебряные открытки», «Сашка Беляев», «Старая лодка». В опубликованном варианте главы отсутствуют, отдельные сюжеты переходят один в другой. Поток воспоминаний действительно трудно упорядочить и разбить на части (тем более что у Решетова время обозначают детали, а не календарь). Можно лишь определить направление этого потока.

Чтобы хоть приблизительно восстановить авторский замысел (который, возможно, не до конца сложился), нужно вчитаться в текст и соотнести содержание отрывков повести с документами, выловить даты и факты из других источников (интервью, воспоминаний, писем). Если сделать это, становится ясно: в опубликованном тексте произошли смещения – хронологические и топографические. Прежде всего, там смешаны два места: Боровск соединился со Ждановским полями. (Возможно, отчасти потому, что «Ждановские поля» – название безупречно точное.) В результате перепутались географические точки: лесной поселок и поселок горняков, два разных барака, два периода.

В бараке № 4 в лесном поселке (Боровске) неподалеку от Соликамска семья жила первые два года после того, как Ольга Александровна привезла детей на Урал. В 1947 году строителей Соликамскстроя, в числе которых была и Нина Вадимовна, перебросили в Березники, тогда-то мать, сыновья и бабушка поселились на Ждановских полях. В 1951 году Вадим Павчинский писал родным по адресу: г. Березники, ул. Карла Маркса, Калий-Рудник, барак № 10, кв. 3. Лишь в 1952-м семья, наконец, получила квартиру.

В одном из набросков к повести Решетов пишет: «У нас в бараке была первая большая комната с большой печкой, в других этого не было. Около нее и конвой перед шестью часами грелся, и любовник с телефонного завода оставлял сушить свои калоши, и табор из Самарканда (хотя они и не цыгане) с удовольствием грелся».

Это сказано о первом из двух бедных жилищ – боровском. Именно там находилась кладовка, где Нина Вадимовна копила к приезду детей продукты. Там кишели огромные крысы, клопы и «безобидные» тараканы. Там Бетя и Алеша читали Киплинга и Бажова, собирали марки и рисовали картинки для бабы Тани. (При первой же возможности Нина Вадимовна наладила переписку с матерью мужа, благо та жила по прежнему адресу.) А в сарае рядом с бараком соорудили качели. И каждое утро до развода заключенных, то есть до шести часов, когда по радио передавали гимн, к единственной в здании печке тянулся народ. Так что комната Нины Павчинской мало чем отличалась от того же вокзала. И все же обитатели этого ковчега – в основном женщины – пытались наладить какой-то быт, из ничего создать подобие уюта.

Вымыты половицы,
Выскоблены на совесть.
Пахнет смолой в бараке,
Солнышком и травой.

В лагерной зоне уже на памяти Решетова сменились несколько категорий заключенных: «Были малолетки, толстомордые власовцы, “русские соколики” – бандиты и падающие от слабого дуновения ветра подростки». В поселке по другую сторону забора тоже жили люди подневольные: недавние зэки, переселенцы, трудармейцы. Это был симбиоз – ни зона без поселка, ни поселок без зоны существовать не могли. Жизнь перемешала людей, создавала странные союзы. Соединила, например, доктора Расковского, медицинское светило из Ленинграда, с Дусей Гольмель, богиней общепита. Так же потом в поэме Решетов соединит сапожника Глушкова, оставившего ноги в Берлине, и ссыльную немку Шарлотту.

Из четвертого барака Алеша пошел в Зырянскую школу – сразу во второй класс (первый школьный год из-за воен-

ной нищеты пропустил). Читал он уже хорошо, а вот считать не умел. Пришлось догонять сверстников.

Приведем несколько фрагментов чернового текста «Ждановских полей». Тех, где речь несомненно о самом первом – боровском – периоде уральской жизни Решетова. (Одни эпизоды в другой редакции вошли в опубликованный текст повести, другие – нет.)

* * *

Что я помню о той поре?.. Каждая передача местного радиоузла по черной тарелке в барачной комнате, где мы вчетвером теперь жили в тесноте, заканчивалась словами: «Начальник оперотдела полковник Карасев».

* * *

Наш барак стоял у самой зоны, у самых ворот, у самой вспаханной земли, где ни одного семечка не прорастало. На ней должны отпечатываться следы убегающих, летом, когда отпускает Зеленый прокурор, т. е. плоды огорода и леса. Зимой отпечатки ног оставлял снег.

– Разряжай! – звучала команда, и стрелки вынимали обоймы из винтовок (охранники? конвоиры?). Однажды раздался выстрел. То ли кому-то что-то показалось (они все оступались и шатались), то ли беглец получил по заслугам, то ли это была шальная пуля. Как были шальными и сами годы.

* * *

«И кто в нашем крае Челиту не знает?» – как мясорубку, крутили с утра до вечера патефонную ручку у нас в бараке. Правда, зимой уходили в школу раньше, до этой песни. В 6 утра разводили женщин-заключенных – вскоре со всех сняли судимость, а потом и реабилитировали за отсутствием состава преступления. <...> Это был синий холодный час, нехотя рычали овчарки. Охранники забегали погреться (все люди хорошие – считали и свою воинскую повинность как общечеловеческую несправедливость). Так же коротали свой срок, как и зэки. Мальчишками ведь были по возрасту. <...>

* * *

Когда мы ехали в кузове грузовика в лес по ягоды и дружно пели «Там, через дорогу, так же одиноко...» или «Очи карие», нас в пути то и дело останавливали, искали власовцев.

Солдаты из засады, изъеденные паутами, все же по-детски улыбались красивым женщинам, работницам оперотдела, где был начальником полковник тов. Карасев.

* * *

Так вот. Я-то ходил в школу. Из-за военных передряг и переездов я упустил свой школьный возраст. Пришлось идти сразу во второй класс. Я списывал по букве у всех. Учительница Ефросинья Селивестровна сразу меня раскусила. (Я не умел обороняться, я совершенно естественно мог назвать ее Виктором Ивановичем, привычным именем соседа по бараку) (Учитель физики Виктор Иванович тоже упоминается в повести. – **К. Г.**).

Людмила Селивестровна все-таки не отправила в первый класс мальчишку, у которого даже по рисованию было три с минусом. Спасло умение читать и почти дословно пересказывать прочитанное. Учительница растрогалась и решила: «Мы будем тебя общими усилиями вытягивать по остальным предметам». Вытянули. Не общими усилиями, конечно, скорее усилиями старшего брата. *«Когда в конце учебного года мне выдали табель с одними тройками, я долго плакал от неведомого счастья».*

Позднее в зоне появились пленные немцы. Жили они намного лучше, чем обитатели поселка (политические

Зыряновская школа. Класс Алеши Решетова (он в верхнем ряду, 3-й слева)

соображения) и намного чище (в силу национальной традиции). Аккуратно побеленные бараки, маленькие елочки под окнами, дорожки, посыпанные песком, поразили восьмилетнего Алешу, когда военнопленный, немецкий хирург, вынимал из его ладони обломок стрелы с карандашным наконечником.

Семья Решетовых-Павчинских. Конец 1940-х годов

В 1947 году из лесного поселка семья перебралась в поселок горняков. *«Они назывались Ждановские поля, те места, на которых мы потом и жили»,* – пишет Решетов.

Лагерная зона осталась позади. Вокруг появились приметы цивилизации: почта, общежитие для учащихся горно-химического техникума, детдом, кожно-венерологический диспансер, маленький магазин, где продавец Карл Карлович отпускал продукты в долг. Десять двухэтажных бараков, набитых до отказа, ходили ходуном. Их обитатели тяжело работали, недосыпали, недоедали, ссорились, помогали друг другу, все друг о друге знали, ставили брагу к празднику, пели любимую «Что стоишь, качаясь...»

А в незаконченной автобиографической повести Решетов писал: *«На месте вырубленных лесов голодные люди сажали картошку, калегу, турнепс, что-нибудь съедобное. А вместо этого появилась сурепка, полынь и ковыль даже – будто от начала казахстанского (зимнего) этапа он добрался через несколько лет до Урала, опутанного колючей в те годы проволокой. Ну что ж, Уралу железа не занимать! Всякие новостройки теснили, сжимали огородные участки. Но чего же люди ожидали от этих Ждановских?»*

Название «Ждановские поля» не имело никакого отношения к члену Политбюро, депутату Верховного Совета СССР Андрею Жданову. Происходило оно просто от слова

«ждать». Ждали весны, ждали письма, ждали урожая, ждали праздника, ждали перемен и возможности уехать…

Участки под огороды на Ждановских полях стали давать березниковцам еще в годы войны. Земля была скудная, но многим она помогла выжить.

Нина Вадимовна вспоминает: *«Жили в бараке. Под окнами был небольшой кусочек каменистой земли. Мы просили, чтобы нам ее отдали. Своими руками расчистили, вскопали, разбили огород. Этот огород нас и кормил».*

Владимир Михайлюк, один из ближайших друзей Алексея Решетова, писал о той поре: *«Они не жаждали благосостояния и карьеры, а дорожили тем, что имеет смысл и значение. Главное – они вместе, и еще важно, что им на так называемых Ждановских полях выделили участок под картошку. Теперь все держалось на маме, на неунывающей Нине Вадимовне, еще молодой, умной, красивой. Ей, прошедшей три круга ада, теперешняя жизнь казалась сущим раем».*

Раем не раем, но это была жизнь. Можно было подрабатывать, писать родным, можно было посадить маки под окном, можно было вечером почитать или посмотреть в клубе «Авангард» кино, можно было летом отправить сыновей в пионерский лагерь в Половодово, где шумели огромные кедры, а детей кормили несколько раз в день…

Бетал и Алеша с мамой и бабушкой возле барака. Ждановские поля

В своих воспоминаниях Нина Вадимовна пишет: *«Маслята прямо рядом росли. На ужин собирали, их можно без масла. С ребятами ходили в лес за грибами. Черника, хлеб, вода из родника».* (В конце лета мать с сыновьями всегда приносили из леса веточку рябины и ставили в воду – любовались яркими гроздьями.)

Среди отдельных записей Нины Вадимовны, разбросанных по разным листкам, тоже есть те, что относятся к Ждановским полям.

* * *

Эрика с семейством. Арнольд такой худой, что, когда поднимал руки, с него сваливались штаны. Музыка.

(Сосед по бараку трудармеец Арнольд Фердинандович Ребер был строителем, его жена Эрика преподавала музыку).

* * *

За стеной у соседей: мать, мужеподобная решительная женщина, работает тапером в кинотеатре. Дома четыре сына-лоботряса, каждый под особой фамилией, все от разных отцов. А дома нужда. Каждый вечер можно слышать, как за стеной мать, вернувшись с работы, вопрошает своих сыновей: – Хлеба оставили? – Какого хлеба? – Какого, какого, черного, белого, рыжего – опять все сожрали, ироды.

* * *

Во время драки: – Я тебя сейчас так разделаю, что тебя по чертежам не соберут!

* * *

Тетки, тетки, не ссорьтесь! Играйте марш жизни.

* * *

А еще Алешенька нарисовал жутко красивую картошку.

* * *

Сидорыч – страсть плодовитый мужик! Все рыжие девки на Зырянке – его работа.

* * *

Фильм «Большой вальс». Коляска со Штраусом и Кларой Доннер въезжает в лес… В зале торжествующий возглас: – Сейчас он ее оформит!

* * *

– А кем ваш сын работает? – Да гимназистом на строительстве (геодезистом).

Так что: «Жили хорошо: одна рука в меду, другая в патоке».

16 февраля 1949 года с Нины Вадимовны сняли судимость. Она получила чистый паспорт, правда, с неправильным отчеством – Владимировна, и на двойную фамилию (Павчинской-Решетовой ее записали после ареста, поскольку своей статьи у нее не было – взяли за мужа). Ходатайствовал о снятии судимости политотдел Березниковского строительства МВД, где Нина Павчинская в то время работала. «Это женщина самостоятельная», – говорили о ней в поселке. «Выше этого звания в мире Ждановских полей не было». Но «самостоятельная» – еще и синоним слову «одинокая».

В окна пахнуло душистой смолой.
Выглянул – вот тебе на! –
Женщина пилит двуручной пилой
Толстые бревна одна.

Послевоенный женский мир возникает во многих произведениях Решетова. «Задумываясь сейчас о том времени, я мало кого могу вспомнить, кроме детей и женщин. Были, конечно, и мужчины, но как плотники, суфлеры, парикмахеры, осветители жизненной сцены», – пишет он в повести.

Как жили женщины в бараке
У нас в поселке горняков,
Как смело вмешивались в драки
Парней и взрослых мужиков.

Как тонко чистили картофель,
С трудом добыв у куркулей.
Как ворожили на крестовых
И на червовых королей...

Эти стихи тоже о Ждановских полях. Лишь хрупкая Нина Павчинская способна была утихомирить Сашку Беляева, срывавшего спьяну зло на жене и пасынке. Лишь Ольга Александровна положила конец жестокой забаве детей, которые вваливались в комнату больного беспомощного мальчика Юрки и наслаждались его страхом. Она же, баба Оля, как и в Хабаровске, гадала желающим на картах и по-прежнему прятала десятку пик, означающую смерть или нежданный удар. Нежданных ударов и без того хватало.

Среди соседей Решетовых-Павчинских по-прежнему было много немцев – трудармейцев, высланных на Урал во время войны. Некоторые из них возникают на страницах повести.

Ждановские поля

Худой высокий Арнольд Фердинандович одним своим видом разогнал пацанов, швырявших камни в лошадь, которая забрела на картофельное поле. Он успокоил и приласкал лошадь, такую же голодную, как люди вокруг, а потом посадил на нее чахлого Бену Руфа, единственного, кто не кинул камень (Бене-«гимназисту» посвящен отдельный сюжет). В другом эпизоде рахитичный малыш Рольф Ребер бежит по ледяному полу в комнату к Бете и Алеше, забирается под лоскутное одеяло и шепчет: «Где ботяника!» И рассматривает яркие картинки в учебнике ботаники, пока за ним не придет мать – Эрика.

Пожалуй, один из самых пронзительных эпизодов «Ждановских полей» – поход на базар. В черновиках этот рассказ назван «Серебряные открытки».

Мать взяла с собой младшего сына, когда отправилась менять пальто на мешок картошки. Торговцы, наперсточники, закусочная, три фотоателье, мотогонки, блеск и нищета, гул и голос этого базара описаны не только в повести. Все это оживет в одной из лучших поэм Алексея Решетова «Колокольный глагол». В прозе же эпизод кончается так:

...Мать чудом нашла меня в этой дикой толкучке, на спине у нее был большой рюкзак с картошкой. Она больно дернула меня за руку и уже потом, в самом конце базара, проситель-но-ласково сказала:

– Хочешь, я куплю тебе открытку? <...>

Открытки на базаре продавали, конечно, не новые. Каждую из них уже кто-то отправлял, кто-то ждал, кто-то читал.

И бог весть, что стало с отправителями и адресатами… Мать сразу схватила две яркие открытки: курочка везет тележку с разноцветными яичками, два взрослых медведя несут на носилках раненого медвежонка с перевязанной лапкой. Потом купила еще две – с цветами.

Все остальные открытки были с каким-то тусклым, однообразным серебристым орнаментом. Мать их долго перебирала, будто мешок с картошкой не утомил ее. «Роза, скоро меня отпустят насовсем, и мы будем опять вместе. И наша маленькая Лисси, и Оскар, и Ральфик», – успел я прочесть на обороте одной из открыток.

– Нет, это нам не подходит, – сказала мама.

И мы ушли к выходу от этих серебряных открыток.

Тусклое серебро, тоскливый голос беды, тень надежды.

15 сентября 1956 года Нина Павчинская была реабилитирована. Многие обитатели Ждановских полей тоже – дождались воли и разъехались кто куда.

…В конце 1980-х на пермский адрес Решетовых пришло письмо. *«Дорогая Нина Вадимовна, мы часто Вас вспоминаем, и Ольгу Александровну, и Бетю, и Алешу…»* – писала Эрика Ребер, учительница музыки на пенсии. С 1975 года она жила в Германии. Целая пачка листков была исписана мелким почерком. Бывшая соседка по бараку подробно рассказывала, как сложилась судьба ее семьи. Писала о муже – Арнольде Фердинандовиче, строителе, о сыне Рольфе – выпускнике Ленинградской консерватории, известном скрипаче. О гибели в автомобильной аварии еще одного сына – Оскара. О дочках Лисси и Флер. О своем большом доме неподалеку от Гейдельберга… Одну из внучек Эрики, дочку Флер, назвали Ниной…

Пожалуй, такое письмо больше говорит об адресате, чем об отправителе. Какой же была в *шальные годы* семья Нины Павчинской, если бывшие соседи помнили о ней спустя сорок лет в сытой, благополучной стране?

Глава 6
ЖИВОПИСЬ

Нам в детстве было очень плохо,
Добро – солдат сухарик даст.
Однако Незнакомка Блока
Нисколько не чуралась нас.

И Неизвестная Крамского
Смотрела грустно со стены.
И что ж тут странного такого,
Что мы в искусство влюблены?

В прихожей снег лежал, не тая,
Одна на всех была кровать,
И все же Тучка золотая
У нас любила ночевать.

А. Р.

Картинки на базаре мать и сын купили не просто так. Нина Вадимовна сама рисовала открытки – один из способов заработка. Для такого ремесла нужны были образцы – скопировать, позаимствовать идею. Спрос на самоделки имелся. Людям не хватало ярких красок и самых обычных полиграфических изделий. Открытка считалась отличным и недорогим подарком к любому празднику. (Более сложный и трудоемкий процесс – изготовление самодельных карт, на них спрос был еще выше, в архиве Решетовых сохранилась одна такая колода.)

И Бетал, и Алексей рисовали хорошо, и скоро начали помогать матери. Особенно младший, более усидчивый. Тем более что он собирался стать профессиональным художником.

В автобиографическом повествовании «Я себя не прощаю» Решетов пишет:

«Писателем я быть не собирался. В детстве, в отрочестве мечтал стать художником. Таким, как Шишкин или хотя бы Левитан. Что за сосны росли в Боровске! Что за кедры шумели, как море, неподалеку в деревне Половодово!

Рисовал я одержимо, на любом клочке бумаги, на любой фанерке. Рисовал даже на продажу акварельные пасхальные

Алексей рисует

и новогодние открытки – вербочки, хвойные лапки. Кисточкой из "рысьего уха" аккуратно раскрашивал каждый лепесток, обведенный тушью. Ювелирная работа – фальшивые деньги, наверное, рисовать легче. Зарабатывал я за ночь рублей 6-9 по теперешнему курсу. Чтобы, засыпая, не клюнул носом, меня привязывали за грудь к стулу. Акварельные краски мы покупали у военнопленных немцев в Березниках».

Дядя Вадим поощрял увлечение племянника, присылал из Хабаровска рисовальные принадлежности, давал советы. Потом подключился и старый друг отца, художник Владимир Костин. В 1950 году, когда один из рисунков Вадима Павчинского был опубликован в журнале «Крокодил», Костин написал ему, спрашивая о судьбе Нины и мальчиков. С тех пор они старались не терять друг друга из вида.

Оба наставника советовали учиться – осваивать технику и ставить руку. Юный художник послушался. *«Я месяца два посещал даже изокружок при Дворце культуры. Но застрял на учебном рисунке, на шарах и призмах, не добравшись до безрукой богини. Скучно было рисовать по правилам, "строить рисунок", стыдно было, что пацаны в два раза тебя младше уже рисуют гипсы, бюсты и маски. Теперь-то я знаю, что мне просто не хватило настойчивости».* Он продолжал работать для себя. Часто, закончив рисунок, тут же стирал его. Ему просто нравился процесс.

Первыми ценителями работ Решетова-художника стали дворовые приятели. Он устраивал для них целые выставки в сарае. Мальчишки восхищались: «Мастак! Здорово! Давай пошлем в Москву». В Москву, конечно, не посылали. Разве что Костину. А тот был сдержан в оценках.

Увлечение продлилось долго и закончилось внезапно – как отрезало. В своем последнем интервью Решетов рассказал: *«Масляные краски при Сталине были дешевле, чем сейчас. Гуашь так совсем дешевая. Приехали мы как-то с ма-*

мой в Ленинград и купили там настоящий этюдник, палитру и кисточки изумительные, очень дешевые. Когда ехали обратно, мне хотелось выпрыгнуть и толкать этот поезд, чтобы поскорее попасть домой и дорваться до красок… И вот приехали мы, и я этот этюдник задвинул под стол и больше не вытаскивал. Даже на черновиках перестал рисовать. <…> Но ходить с этюдником по лесу – прекрасно».

Брат Бетал. Рисунок Алеши

Когда произошла поездка в Ленинград, Алексей Леонидович, по семейной традиции, не сообщает. Скорее всего, в конце 1950-х. В эти годы главным увлечением для него стала литература. Возможно, купив этюдник, он понял, что из всех цветов мира предпочитает белый, а живопись не единственная возможность передать фактуру, настроение, игру света, оттенки жизни.

Хотя, в общем-то, детская мечта сбылась. Алексей Решетов – незаурядный художник. Его прозу и стихи вполне возможно рассматривать как галерею живописных работ, выполненных в разной технике. Есть у него карандашные зарисовки («Невечный сон», «Голод. Очередь-резина…»). Есть акварели («Дворик после войны», «Я жил далеко на Урале»). Есть гравюры («Шахматы», «Михайловское», «Чаша»). Изредка он писал маслом («Хозяйка маков», «Костер»). Он не относился свысока ни к одному материалу или сюжету. *«Анилиновые краски делают заурядный, непридуманный мир волшебным»,* – сказано в «Ждановских полях». В конце концов, в темные времена потребность людей в радуге и гармонии выше.

…И подвыпивший мазила
Жить пытался для людей,
И свинцовые белила
Не жалел на лебедей.

Любая работа Алексея Решетова индивидуальна. Даже подписи внизу листа или холста не требуется, чтобы понять: это Решетов.

Он любит писать пейзажи («На траве золотистые блики», «Промчались тяжелые льдины…») и жанровые картины

(«Точильщик», «Памяти товарища»). Иногда создавал портреты («Мама», «Ты легким светом вся озарена…», «Друг работал в кочегарке…»). Делал автопортреты («Сверчок», «В гостинице, в номере люкс…»). Порой появлялась серия офортов («Голоса ночных незнакомцев», «Монологи стариков») или рисунков пером («Натурщица», «Стихи о военном детстве»). Изредка возникало большое полотно («Колокольный глагол», «Невыдуманная поэма»). Но и миниатюры (4 строки) – уголь, бумага или картон, детские цветные карандаши – закончены и выразительны («Звенят снегири на опушке», «Станция Жизнь…»). Часто в этих простых и лаконичных работах есть загадка. Некая неправильная деталь, которую глаз не сразу улавливает, тонкий штрих, способный изменить изображение. Это лишает рисунок гладкости и делает его многомерным. Простота Решетова обманчива. Его картины оживают и не влезают в рамки. Сразу и не заметишь, как обычная синичка в зимнем лесу оборачивается синей птицей.

Я ведь знаю, что птичка-синичка
Защитит меня синим крылом.

Тем более что у Решетова любая синица когда-то тихо за морем жила…

О цветовой палитре его стихов писали не раз.

Александр Старовойтов в эссе «Тень при божественном свете» сравнивает палитру Решетова с палитрой Пушкина (на основе анализа 594 стихотворений Александра Сергеевича и 383 Алексея Леонидовича). Подсчет показал, что Пушкин использует 24 цвета и оттенка, а Решетов – 53. «Замечу, – пишет автор эссе, – что такой палитры нет ни у Блока, ни у Есенина, ни у многих других великих русских поэтов. Этим могут похвастать только прозаики: Тургенев, Катаев, Шолохов, Бунин… Каково? Я уж не говорю о том, что додуматься до *кофточки застенчивого цвета* Пушкин, мне кажется, вообще не мог».

Кроме того, Старовойтов определил, какие краски два поэта используют в своих произведениях чаще всего. *«Пушкин – цвета осенние (золотой, румяный, багряный, желтый), черный и синий. Решетов, читатель и сам уже догадался, – конечно же, белый. В этом “виноват” прежде всего лист бумаги, цвет которого из примитивного эпитета превращается у Решетова в метафору. Часто встречаются в стихах цвета осени (красный, желтый, золотой…), черный, серый и седой».*

Количественный показатель не бог весть какой аргумент, но наблюдение любопытное. Конечно, сравнивать по такому принципу поэта первой трети XIX века с поэтом второй половины века XX не совсем честно. В искусстве, как известно, прогресса нет – произведения античных мастеров не уступят в совершенстве произведениям современным, однако техника, приемы, направления живописи, да и представления о прекрасном с течением времени меняются. Иным становится способ зрения художника. От общего плана («Роняет лес багряный свой убор») поэты пришли к плану крупному, стали рассматривать блики на траве или отражение леса в воде. Нельзя забывать, что Пушкин, в отличие от Решетова, никогда не видел ни импрессионистов, ни супрематистов…

Однако *кофточка застенчивого цвета* – находка и правда незаурядная. Этот неназванный блеклый оттенок (розового-серого-голубого?) виден сразу и точно характеризует не только героиню стихотворения, но и время.

Белый цвет – сам по себе метафора. В нем уместились (зашифрованы) все цвета спектра. И Решетов выбирает белый чаще всего. Это цвет беды – больничной постели, смертельной бледности, снега, рухнувшего от рокового выстрела. Но белый и цвет начала – листа, на котором нет ни единой буквы.

О белый лист, поэту ты претишь,
Так белый флаг немыслим для солдата.
Так белой ночи давящая тишь
В рыданиях девичьих виновата.
Но полон чуда, веры, торжества
Тот миг, когда естественно и просто
Приходят вдохновенные слова
На лист, необитаемый, как остров.
О белый лист – как белое чело,
Как белые больничные постели,
Как белый снег, что рухнул тяжело
От выстрела на пушкинской дуэли.

Позднее Решетов обыграл тему иронически: *«Сапожник допился до белой горячки,/ Поэт дописался до белых стихов…»*, но в последней строке вновь посерьезнел:

И белый наш свет называется белым –
Не черным, не розовым, не золотым.

А еще белый – цвет позднего часа раннего лета. Для жителя северных широт белая ночь – не оксюморон, а нормальное явление природы (*«И опять в мой вешний город в белом платье ночь пришла»*). Поэт с брегов Камы так же как поэт с брегов Невы, знает, как *одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса*. Оба вздрагивали под взглядом *белой ночи*.

На белом (снегу, листе) все виднее. Антитеза белому, конечно, черный. Об этом пишет Надежда Гашева в очерке «Белый лебедь нашего предместья».

Аскетический мир пейзажа, быта, людских судеб в поэзии Решетова – его осознанный выбор. *Я – поэт из черни*...<...> – Алексей на этом настаивал всю жизнь, несмотря на свое родство по крови с грузинскими князьями. Он знал черно-белую жестокую графику жизни Отечества:

Я из черного теста, из пепла войны,
И стихи мои, как погорельцы, грустны...

В стихах Решетова разных лет постоянно обозначен контраст: черные «маруси» и «воронки» у подъезда, черный «мессер» – знаки гибели; черные птицы возле Иудина древа – знаки предательства. Но всему этому противостоят белый лист и белая ночь, снега белая холстина и вообще весь белый свет. А еще – милые акварельные краски детства в скупом их российском наборе сороковых годов: крылья красной бабочки чердачной, свет алой герани, зеленоватые глаза золотой кошки, красный пламень лесов, синее крыло синички, лазурит знакомой речки, синие цветы горького цикория у тюряги, багровая рубаха костра...

Зная о вечном противостоянии Добра и Зла в этом мире, Алексей Решетов твердо помнил, какова миссия поэта в нем. *Правда – моя королева,/ Я – ее старый солдат.* Поэт не путал белое с черным. Завещал это и нам.

Белая лебедь над нашим предместьем
Вдруг высоко поднялась.
И превращается в траурный крестик,
Все недоступней для глаз.
О, до чего наши очи нечетко
Видят далекий предмет.
Вечно мы белое путаем с черным,
Будто и разницы нет...

В повести «Зернышки спелых яблок» с помощью всего двух цветов рассказано и о войне, и о беде, и о конкретном человеке – соседке Марише, получившей на сына похоронку.

«…Как сейчас я ее вижу, и домик ее помню. Был домик белый – закоптился, почернел. Известки не достать, да и не все ли одно, в каком доме дожить? Были волосы у Мариши, как смоль, черные – враз побелели: не то еще от горя бывает… Тихо жила беловолосая в черном домике».

А когда мальчишки разбили в комнате окно, Мариша не пошла жаловаться, а поступила просто. *«Заложила окно подушкой, вот и все. Яркая поначалу, как кусочек луга, была подушка. <…> Только Мариша приладила ее к раме – пошел дождь. Первые капли дождя шлепнулись на алые розы и зеленые листья наперника. Он сразу стал темный. Потом выглянуло солнце, поводило желтым мизинцем по мокрым лепесткам».*

В конце концов, из жизни Мариши краски вообще уходят: *«Ложка, зола, подушка в окне – все было одного цвета».*

Потеря цвета приводит к сенсорному голоду, к снижению чувствительности. В результате у человека искажается картина мира. Мир ведь не черно-белый. Не однозначный. Свет, конечно, *называется белым*, но мир Решетов обозначил как *зелено-голубой*: прозрачная вода, ясное небо, земля, покрытая садами, а над садами летят влюбленные…

Однако в его богатой палитре особое место занимают не акварельные нежные оттенки, а определенный и сочный красный.

Красная комната. Красный квадрат.
На Богородице красный наряд.
Красного в речке купают коня.
Красные маки глядят на меня.

Красную краску я очень люблю.
Даже Всевышнего часто молю:
Только бы серый не съел ее цвет –
Красную Шапочку – волк-людоед.

В одном четверостишии, как на одной стене – русская икона и три знаменитые картины: «Красная комната» Матисса, «Красный квадрат» Малевича, «Купание красного коня» Петрова-Водкина. Возможно, еще и «Красные маки» американской художницы Мэри Кассатт, но, скорее всего, маки не нарисованные, а живые, те, что *из магмы*.

Стихотворение «Живопись» дает переизбыток красного во всех возможных стилях и сюжетах. Но радостный красный, так любимый детьми, легко может стать цветом страшным. *«И горят осины на юру, красные, как гибель на миру».* Красный – цвет крови, пожара, воспаленных от слез и бессонницы глаз, знамени, с которым идут на смерть и под сенью которого творят черные дела… Красную Шапочку глотает не сказочный Серый Волк. Волк-людоед Решетова вышел на тропу вслед за веком-волкодавом Мандельштама (образ повторяется не раз).

В общем-то, краска не виновата, виноваты люди, которые ее используют. Они сами выбирают значение и назначение цвета. Как в «Зернышках спелых яблок»: *«Петька увидел снегиря, хотел его изобразить, старательно вывел крылышки и головку. И вдруг горько вздохнул – не было красной краски. Вся она ушла на кровь и пламя, и снегирь так и остался с белой, нераскрашенной грудкой».*

В 1961 году Вадим Павчинский писал повзрослевшему племяннику о его первой поэтической книге: *«Стихи твои напоминают мне акварельные миниатюры. Нежные, прозрачные краски, скромный, словно бы застенчивый рисунок. А всмотришься, вдумаешься, и акварель превращается в звучную, добротную живопись словом и чувством. <…> Голос у тебя свой, без чужих интонаций. Душа – чистая, открытая всем человеческим бурям, радостям и горестям. Глаз – художественный, отлично видящий форму, цвет, умеющий отбирать для рисунка главное, отбрасывать несущественное. Рука – уверенная, умелая».* Художник говорил с художником.

Вечный страх перед белым листом знают все пишущие. В искусстве каждый раз все начинается с начала. На чистом листе могут таиться и победы, и поражения. Заранее не угадаешь. *«…Только глажу новую тетрадь – белую голодную ворону».*

А белая ворона – птица, отличная от других, отдельная от всей стаи.

Тамара Катаева рассказывала о муже: «Долгое время ему не давал покоя вопрос: такой ли он, как все, или, не дай Бог, не такой». Он и был не такой. Жалел огоньки, дрожащие в осенней реке. Думал, глядя на пепельницу, отлитую в виде сложенных ладоней: «Даже если они не настоящие, все равно же им больно!» Выбрал себе герб: «…на фоне облаков четыре перышка Икара». У Решетова был удивительный взгляд.

Отрешенный и внимательный одновременно. Это передают даже фотографии. Не случайно Анна Бердичевская назвала свои воспоминания о нем «Взгляд Блока». Дело даже не в том впечатлении, которое этот взгляд производил на окружающих – видит насквозь, запоминает каждую деталь! – это не всегда и не все замечали. Дело в фокусе. Поэт видел окружающий мир без прикрас, но с неизменным изумлением наблюдал, как:

...Из-под минного завала,
Из пробитого хребта
Поднималась, расцветала
Неземная красота.

Решетов забросил этюдник, но от живописи никуда не ушел. (*«Художник может и не рисовать...»*) По свидетельству Владимира Михайлюка, он мог с закрытыми глазами по запаху определить цвет краски. Но главное в другом. Темные светы Алексея Решетова близки осенним сумеркам Левитана. А вся его поэзия в большей степени продолжает традиции передвижников, чем, например, есенинскую традицию. *«Приходит Саврасов седой, грачи, говорит, прилетели».*

Глава 7
ХУДОЖНИК

Кому теперь до моды? Никому.
Лишь дедушка-художник
без сорочки
Не может белоснежной обойтись –
Крахмаль ему в неделю раз
манжеты!
И то подумать: стоит-то крахмал,
Пожалуй, больше, чем его картинки.
Я, говорит, заметьте, как на смерть,
Хожу в рубашке белой на этюды.

А. Р.

Алексей Решетов мечтал о живописи, потому что умел видеть красоту. И еще потому, что художником был дядя. Правда, совсем не таким, как Шишкин или Левитан.

Писатель Андрей Ивенский вспоминал:

«В середине 1930-х в Хабаровском Доме Красной Армии было созвано одно из первых собраний дальневосточных писателей. <…> Шло обсуждение только что вышедшей из печати в Дальгизе книги стихов Семена Бытового “Граница”. <…> Я заметил, что по рукам участников собрания ходит какой-то лист с рисунком. Позже он попал ко мне. На рисунке был изображен молодой кудрявый человек, а на нем огромный красноармейский шлем. Подпись под рисунком гласила: “Не по Сеньке шапка”, а далее следовала эпиграмма:

Есть в ней все: деревья, птицы,
Нет лишь пограничников.
Оттого его «Граница»
Очень ограничена.

Слева от трибуны сидел молодой человек в коричневом джемпере. На его голове красовалась целая шапка черных кудрявых волос. Молодой человек ровными четкими мазками заносил в свои альбомы шаржированные портреты участников собрания. Это был художник и журналист Вадим Павчинский. Он, словно фотограф-моменталист, делал десятки молниеносных остроумных зарисовок. <…> Уже после собрания мне удалось познакомиться с этим альбомом. Он меня поразил лаконичностью рисунков, их убийственной меткостью».

Вадим Павчинский называл себя просто «газетчик». Гордился своим делом – очень трудным, если делать его честно. Геннадий, сын Вадима Вадимовича и Анны Романовны, вспоминал:

«В нашем доме всегда стоял неповторимый запах гуашевой краски, смешанный с запахом краски типографской, произносились слова “гранки”, “подвал”, “передовица”, “летучка”. <…> Когда я начинал свои первые журналистские попытки, отец охотно помогал и в первую очередь требовал самой тщательной проверки фактов, фамилий и так далее: раз что-нибудь напутаешь, говорил он, потом тебе веры уже никогда не будет. Любил свою профессию самозабвенно, был предельно требовательным к себе и к другим. Как-то один из его сотрудников сказал ему: “Слушай, Вадим, ну что ты так уродуешься над каждым рисунком, все равно завтра в эту газету селедку завернут”. Отец внимательно, очень серьезно

посмотрел на него и ответил: "Если ты действительно так думаешь, я бы на твоем месте сию минуту ушел из газеты"».

...Когда в 1937-м Павчинского уволили из «Тихоокеанской звезды», он добился восстановления в штате (трудился в отделе иллюстраций, потом руководил оборонным отделом), но проработал там недолго. Появляться в редакции, где не было больше друзей, где все изменилось до неузнаваемости, оказалось слишком больно. Вадим перешел в молодежную газету «Тихоокеанский комсомолец», а затем в военную «Тревогу». В 1941 году работал в КрайТАСС как художник и журналист – писал очерки и фельетоны. В то время он был уже очень болен – серьезные проблемы с легкими, и его сократили из агентства. Но именно в годы войны Вадим Павчинский стал по-настоящему известен в Хабаровске, доказав себе и другим: дух сильнее плоти.

А ведь до войны он был отличным спортсменом.

Тамара Катаева вспоминает, что Решетов как-то особенно, по-мальчишески гордился тем, что его дядя – парашютист. Наверное, эта гордость сохранилась в душе с детства.

В 1930-е годы аэроклубы открывались по всему Советскому Союзу. Многим из тех, кто совершал свои первые прыжки с парашютных вышек, через несколько лет предстояло прыгать с самолетов в тыл врага. В Хабаровске вышку соорудили на территории заводского стадиона «Арсенал». Там тренировались, а набравшись опыта, выезжали на Матвеевский аэродром, откуда парашютистов поднимали в воздух легкие самолетики.

Однако Вадим Павчинский был не только страстным парашютистом, он стал инструктором парашютного спорта, отвечал за безопасность прыжков – за жизнь людей. Занимался с членами аэроклуба (даже выезжал на длительные летние сборы), а по вечерам руководил кружками в рабочих коллективах, школах, в медицинском и педагогическом институтах.

«Учителем Вадим Вадимович был превосходным, – вспоминала одна из его воспитанниц, врач Александра Акимова. – Мы с интересом слушали его увлекательные беседы об авиации и парашютном спорте. После его рассказов хотелось побыстрее подняться в небо». В 1937 году «Тихоокеанская звезда» напечатала заметку «Ученики Вадима», где сообщалось, что «общественник-инструктор

парашютного спорта Павчинский за хорошую работу был премирован именной винтовкой и полевым биноклем».

Около тысячи его учеников сражались на фронтах Великой Отечественной. Сам Павчинский по состоянию здоровья на передовую не попал, но все военные годы он работал, не щадя себя.

В войну в Хабаровске затеяли выпуск серии сатирических плакатов «Удар по врагу» (по примеру знаменитых Окон РОСТА). Далеко за полночь горел свет в окнах дома на Комсомольской улице, где располагался хабаровский Союз писателей. Каждый вечер здесь собирались литераторы и художники, обсуждали события дня, сводки Совинформбюро, составляли планы выпусков, работали.

Тогда началось творческое содружество художника Вадима Павчинского и его давнего друга поэта Петра Комарова (упомянутого в повествовании «Я себя не прощаю»). Только что переданное сообщение Совинформбюро «В последний час» обычно подсказывало очередной сюжет. Короткий разговор художника с писателем, выбрана тема, и замысел без промедления начинает разрабатываться: Павчинский рисует, Комаров пишет. К концу дня, после того, как перепробованы десятки вариантов, редакция «Окна плаката и сатиры» («Агитокон») принимает готовый плакат или сатирический рисунок. А наутро он появляется в специальной витрине, возле которой немедленно собирается множество людей.

Во время войны Павчинский вновь начал работать в «Тихоокеанской звезде» (в должности выпускающего, часто сам становился к верстальному столу) – большая общая беда вытеснила из души все личное. Сотрудничал также с изданием «Суворовский натиск». При этом свой текст (фельетон или политическое обозрение) он часто сопровождал карикатурой, а карикатуру – собственной стихотворной подписью.

В годы Великой Отечественной в Хабаровске прошли первые персональные выставки Вадима Павчинского. В 1942 году его приняли в Союз художников. Но беспощадная болезнь, голодное время, крайнее напряжение сил валили с ног. Часто он не мог выйти из дома, приходилось работать лежа.

В повести «Зернышки спелых яблок» дворник Коляда говорит художнику: *«“Доходишь, Петров, а все через интеллигентское твое телосложение костей”. А потом на Индуса кивнул: вон твое лекарство бегает, зарезать его да по кусоч-*

ку съесть. Так дядя Вадим аж затрясся весь, так разозлился. И здороваться перестал с Колядой».

Это единственный эпизод повести, где художник злится. Для него, как и для братьев Петьки и Леньки, невозможно убить ласковую дворовую собаку, верного сторожевого пса, даже ради надежды выздороветь. Интеллигент! Слово «интеллигентское» дворник употребляет в привычно уничижительном смысле, для автора повести (как и для главных ее героев) – это высокая оценка. Она означает лучшие человеческие качества: доброту, самоотверженность, глубокие знания, преданность своему делу…

В художнике нет ни капли снобизма, он полон уважения и сочувствия к людям. Он единственный, кто по-настоящему внимателен к чудаку-фотографу и называет его коллегой. Он – в мороз, больной! – отдает свою ушанку, когда жители Портового переулка собирают вещи для фронтовиков. (*«Знаете, бойцу она нужнее»*.) Именно он отнес на руках в госпиталь Ленку-маленькую, когда осколок стекла от разбитой банки перерезал девочке сухожилие на запястье.

И, несмотря на занятость, художник останавливается во дворе, чтобы исполнить просьбу девчонок, которые шьют кисеты для раненых.

<…> – Дя-а-дя Вадим, дядя Вадим… Нарисуйте!

– Мне уточку!

– Мне лодочку!

– Васильки! Васильки!

– Кремль, Кремль, Кремль, Москву-у!

– Нарисуйте, дядя Вадимчик, миленький. А мы вышьем и раненым в госпиталь отнесем.

Дядя Вадим хмуро взглянул на часы, задумался, махнул рукой:

– Так и быть, красные девицы. Сослужу вам службу верную. Будут и Кремль вам, и подражая длинной Лильке, неожиданно тоненько выкрикнул: – И васильки, васильки!

Девочки засмеялись, захлопали в ладоши. <…>

Он начал с васильков. Лилька от счастья так и порозовела.

Закачались на карандашных волнах уточка и парусник… Кремль получился лучше всего – со звездой, с часами – как настоящий. Над Кремлем сияло солнце.

Дядя Вадим дорисовал последний лучик и вдруг закашлялся. Упал и покатился по земле карандаш. Девочки присмирели.

<…> Когда приступ кашля прошел, на втором Лилькином лоскутке дядя Вадим сделал несколько резких штрихов. И получилась трубка. Из нее вылетала прядка дыма, извивающаяся в буквы.

– Выкури фрица! – прочитал Петька. – Вот здорово!

– Дядя Вадим, – защебетали девочки, – спасибо!

А художник уже крупно шел со двора, придерживая рукой борта своего серого поношенного пальто.

В этой короткой сцене образ Вадима становится отчетливым и определенным. Понятен характер, виден профессионал. Никто не знает, как долго художник сможет сопротивляться недугу. Но карандаш падает из его пальцев лишь после того, как дорисован последний солнечный лучик. А потом дети вновь с восхищением следят за быстрыми движениями руки художника, за мгновенной импровизацией уже не на заданную, а на собственную тему.

…Павчинские жили рядом с Портовым переулком, в том самом доме на Шевченко, где до осени 1937 года занимал комнату Леонид Решетов с женой и детьми. Бетя и Алеша бывали у дяди. Бетал вспоминает сойку Вадима, которую они с братом полюбили, его книги: «Жизнь животных» Брема в роскошном довоенном издании, «Крылья Родины» и «Через Северный Полюс в Америку». (В «Зернышках», где речи о страстном парашютисте нет, упоминается книжка о фарфоре.) Еще Бетал пишет о двоюродном брате – Генке.

«Если мы начнем с 1943 года, то он четырехлетний. <…> Что я о нем помню? Больше всего он любил машины (всякие), будь то грузовик или печатный станок (ротация). “Ротацию”, кажется, принес ему Вадим, и она была сломана, но Генка хвалился, что будет на ней печатать. <…> Любил рисовать – это от Вадима. <…> Вообще был страшно обидчивый и плакса. <…> Потом Вадим сделал ему граммофон с бумажной трубой, и Генка играл на нем целый день, а потом сломал».

Вадим и Анна Павчинские

С будущей женой Вадим Павчинский познакомился в редакции «Тихоокеанской звезды». Они начали

работать там одновременно – в 1935 году. В Хабаровск Анна Романовна приехала из Красноярска, где получила профессию токаря по металлу. Как и Вадим, в газету она пришла с производства. Анна Павчинская трудилась в «Тихоокеанской звезде» вплоть до выхода на пенсию – была заместителем заведующего отдела писем, членом редколлегии. Удивительно, но ее девичья фамилия не сохранилась даже в редакционных документах, как будто семья мужа полностью поглотила жизнь этой женщины.

Геннадий Павчинский

Единственный сын Анны Романовны и Вадима Вадимовича Геннадий родился в 1938 году. Он был младше двоюродных братьев, и общались они мало. (Из-за болезни отца Гена жил обособленно, Вадим очень боялся заразить кого-то из близких.) Вот потом дружба могла бы возникнуть. Геннадий Павчинский – в Хабаровске легенда. После школы он поступил в педагогический институт (каждый день спешил на занятия мимо сквера, где стоит памятник Пушкину). Окончив вуз, преподавал литературу и русский язык в районной школе, а затем пошел по стопам родителей – начал заниматься журналистикой и стал одним из основателей Хабаровской телестудии. Жители города помнят его как блистательного диктора с удивительно красивым голосом, талантливого журналиста, остроумного и широко образованного собеседника.

Когда-то Вадим мечтал, что его сын станет художником. В школьные и студенческие годы Геннадий не расставался с альбомом и карандашом, публиковал рисунки – одну из его карикатур напечатал даже журнал «Крокодил». Однако профессиональным художником стал внук Вадима. Его и назвали в честь деда.

Анна Романовна с гордостью сообщала родным: *«Внук Димка (Вадим) <…> способный, склонен к графике и карикатуре, как и дедушка»* (2.02.1987). *«Чем-то повторил Вадима и во внешности. Такие же темные, волнистые, хорошие волосы и веселый нрав. Рисует вовсю карикатуры. Жизнь продолжается. Димка окончил Владивостокское*

художественное училище, получил диплом с отличием, и его оставили работать во Владивостоке. Ему очень понравился город» (5.04.1989).

Семейная традиция не прервалась. Композиция закольцевалась: внук вернулся в родной город деда, по которому тот тосковал всю жизнь – к океану, к порту, огням кораблей на рейде, к Орлиному гнезду.

…Вадиму Павчинскому все же удалось на время победить болезнь. В 1947-м, к тридцатилетию Октябрьской революции, он создал серию рисунков «Кого мы били» (в сотрудничестве все с тем же Петром Комаровым). В послевоенные годы стал участником нескольких больших выставок в Сибири, на Дальнем Востоке и в Москве. Его плакат «Развязать не дадим», представленный в мае 1950 года на Московской выставке «Борьба за мир, против поджигателей войны», был опубликован в нескольких центральных изданиях, а сама экспозиция объехала многие страны мира.

В 1949 году Вадиму довелось принять участие в значительном историческом событии. Пять дней, с 25 по 30 декабря, в Хабаровске проходил процесс над японскими военными преступниками. Группу военнослужащих Квантунской армии обвиняли в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Павчинский был единственным художником, который присутствовал на процессе. В зале суда он сделал массу зарисовок, которые потом превратил в серию карикатур. На суде звучали страшные свидетельства. Вадим вглядывался в лица тех, кто проводил бесчеловечные опыты над людьми, и, должно быть, вспоминал, как в 1918-м туманным апрельским утром маршировали по улицам Владивостока солдаты микадо, гремели по мостовой грубые ботинки и бил в уши тревожный звук сигнального рожка… Точными острыми штрихами художник набрасывал на бумаге портреты. После приговора работа продолжалась не один год. Павчинский менял композицию, бился над цветовой гаммой, иногда делал по три десятка вариантов одного рисунка.

30 мая 1952 года газета «Известия» опубликовала заметку:

> В Хабаровске, в кинотеатре «Совкино», открыта выставка работ талантливого карикатуриста-графика В. Павчинского на тему «Преступники бактериологи-

ческой войны». Выставку карикатур посетили тысячи зрителей. В ближайшее время она будет демонстрироваться в других городах Дальнего Востока.

Рисунки Павчинского увидели тогда не только на Дальнем Востоке. Созданная им серия была представлена в Москве на Всесоюзной выставке советской сатиры. Вадим надеялся, что сможет сам поехать на выставку, ведь дорога в столицу лежала через Урал – это была возможность увидеться с родными. Но болезнь вновь заперла художника дома. Он лишь читал в прессе отзывы о своих работах. Радовался, что критики и публика приняли его рисунки хорошо. И продолжал прежнюю, слишком размеренную, трудовую жизнь. *«В редакции я работаю на литературной правке. Рисунки же делаю “для себя” – на свой страх и риск. О них много пишут, хвалят, но они не накопили мне и рубля»,* – писал он сестре летом 1952 года.

Хабаровский процесс над японскими военными преступниками известен не так широко, как Нюрнбергский трибунал. Почти не осталось зримых свидетельств судебных заседаний. Из того немногого, что сохранилось, самое поразительное – работы Вадима Павчинского. Сегодня они хранятся в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Двенадцать карикатур серии художник сам передал в музей еще в начале 1950-х.

За свою жизнь Вадим Павчинский создал около двух тысяч рисунков, карикатур, плакатов, гравюр. Бóльшая часть его работ находится в собрании Дальневосточного художественного музея. А еще, как говорилось раньше, Павчинский написал роман о родном Владивостоке – «Орлиное гнездо». Добился успеха как литератор. В 1964-м (за год до племянника) вступил в Союз писателей РСФСР.

В повести «Зернышки спелых яблок» почти нет взрослых серьезных разговоров на отвлеченные темы. Ведь мир дан глазами детей. И все же один из важнейших эпизодов связан с искусством. Во дворе дома в Портовом переулке играет на гитаре цыган – артист приехавшего из Москвы на гастроли театра. Музыку, замерев, слушают все обитатели двора – большие и маленькие.

«Ветер это гудит или сирена?.. Ноги чугунные ходят по пустой комнате. Почему плачет женщина? Нет, это девочка. <…> А кругом тревога! Окна закрывают наглухо.

Одно стекло вылетает и вдребезги разбивается. А человек с опухшими ногами не может подойти к окну. И в комнату врывается ветер и вой сирены. Вой… Вой… Вой… Он с каждым мигом близится, растет и – взрываются струны! Девчонка уже не плачет. <…> – Знаете, – наклонился фотограф к дяде Вадиму, – все это в нас уже было, все это мы сами видели, испытали… и все-таки сегодняшняя музыка… Мне кажется, что до нее я как-то не совсем чувствовал войну, как-то получувствовал, что ли? Вы понимаете, что я хочу сказать?

И художник отвечает: "…Я думаю, что музыка, да и вообще всякое настоящее искусство, нам словно говорит: 'Тебя ранило!'. И мы слышим свою боль. Или, в другом случае, радость, грусть – смотря что нам было сказано"».

Многие годы Вадим Павчинский тяжело болел. В 1960-е не мог уже работать в полную силу. Рисовал все меньше – задыхался, трудно было держать карандаш. Он правил и переделывал свой роман, но на новую повесть о 1930-х, героем которой должен был стать Леонид Решетов, сил не хватило. Он вышел на инвалидность. Перенес множество мучительных процедур. Периоды ремиссии становились все короче. Анна Романовна, приходя из редакции, выводила мужа во двор, они садились под деревом на скамью, сделанную соседом специально для Вадима – его все любили.

Больше двадцати лет шла переписка Вадима Павчинского с сестрой, матерью и племянником Алексеем. Вадим писал регулярно, ответа иногда приходилось ждать слишком долго. Он мечтал увидеть родных. *«Медленно, с муками я иду к этому и – кто знает? – может, в мае-июне побываю в чудесных ваших краях, о которых даже по двум узеньким фотографиям, присланным мне в твоем втором письме, можно судить в пользу Урала»* (07.1950).

Вадим Павчинский. 1969 год

Не довелось. Вадима приковала к месту болезнь.

Нина, Ольга Александровна и мальчики в Хабаровск так и не собрались. Они больше не встретились.

В 1971 году в Березники прилетела горькая телеграмма: *«13 июня умер Вадим. Аня».*

Только через три года Анна Романовна нашла в себе силы возобновить переписку с родными мужа. Первое письмо почти все посвящено Вадиму. *«Судьба так щедро наделила его многими талантами, чутким, добрым сердцем и так незаслуженно жестоко обошла здоровьем. Думаешь об этом, и сердце сжимается от боли…»* По какой-то случайности написано это 3 апреля 1974 года, в день рождения Алексея – младшего племянника Вадима.

А 2 февраля 1987 года Анна Романовна сообщила родным об еще одном удивительном совпадении. *«К сорокалетию победы над милитаристической Японией наш Союз художников организовал выставку карикатур Вадима. Она имела успех. <…> О выставке много писали, рассказывали по радио, по телевидению. Рецензию по телевидению вел искусствовед, и одновременно в передаче были использованы стихи. Потом ведущий объявил, что читались стихи Алексея Решетова. Так встретилось творчество дяди и племянника. Я разволновалась и позвонила автору выступления. Им оказался Виктор Козлов. Он рассказал, что с тобой познакомился в Москве, что у него есть томик стихов, подаренный тобой, что твои стихи ему очень нравятся».*

Едва ли автор программы знал о родственной связи поэта и художника, просто интуитивно почувствовал их внутреннюю связь.

…В «Зернышках спелых яблок» фотограф всегда выбегает во двор, когда «скорая» в очередной раз приезжает к художнику, и, волнуясь, расспрашивает врача о его здоровье. А в тот день, когда художнику становится лучше, просит врача передать больному свои фотографии: *«– …Это его выставка, я снимал во Дворце труда. “Удар по врагу” – десять плакатов, нарисованных в постели. Кровь с натуры. Со своей собственной… Люди смотрят и плачут, сжимают кулаки. Пусть он их увидит. Это его подвиг…»*

«В доме поэзии остается только то, что написано кровью. И впитывается оно прямо в кровь», – сказал Пабло Неруда. Эту истину Алексей Решетов знал хорошо. Можно перефразировать монолог художника из повести: поэзия,

да и вообще *всякое настоящее искусство, нам словно говорит: «Тебя ранило!» И мы слышим свою боль.*

Да, чистой кровью пишутся стихи,
Да, вечно словотворчество людское
И с красной начинается строки,
И красной завершается строкою.

Это стихотворение Алексея Решетова не только о поэтах. Оно о художниках в самом широком смысле слова. В том числе и о его родном дяде.

Глава 8
БЕТАЛ

Как там Алешка? А? Позови его к телефону. Алеш, это ты? Здравствуй! Ты почему ж это не отвечаешь мне на письмо? Что? Уроков много? Ха – тоже мне новость, у меня у самого... Что? Да я-то сдам, не бойся! Да! А ты тоже постарайся.

Из письма Бетала Решетова родным
(12.12.1954)

Братья Решетовы были очень дружны и очень непохожи. Бетал – отличник, спортсмен, комсомолец – надежда и утешение матери, гордость бабушки. Высокий, красивый парень, душа компании. Он увлекался фотографией и собирал пластинки. Как все в семье, много читал и отлично рисовал, научился играть на гитаре, вел дневник. Старшего Решетова уважали дворовые пацаны, он нравился девочкам и радовал педагогов, а для младшего брата был идеалом, авторитетом и самым близким человеком.

Бетал

Алеша много болел, был скрытным и застенчивым (стеснялся своего детского косоглазия), учился средне, часто попадал в нелепые ситуации. Через многие годы он выразительно показывал жене, как баба Оля «наказывала»

за это – *стучала костяшкой среднего пальца по его голове, приговаривая: «Тетеря, тихая сапа, урод косоглазый».*

Алексей

Неизвестно, о ком из сыновей больше беспокоилась Нина Вадимовна – о блистательном старшем или о застенчивом младшем. Обоих было страшно выпускать из поля зрения. Тем более что в анкете мальчиков имелось пятно: отец – «враг народа». Вадим Павчинский убеждал сестру, что мальчишкам не всегда будет нужна домашняя опека, они должны окончить десятилетку и получить высшее образование. *«А техникум – это не для таких башковитых и одаренных ребят, сама понимаешь»* (15.12.1950).

В 1952 году для Решетовых-Павчинских закончилась, наконец, барачная жизнь. Березники активно строились, и бараки на Ждановских полях стали расселять. Нина Вадимовна, которая работала в отделе оборудования калийного комбината, получила квартиру в центре города по адресу: проспект Сталина, дом 8, квартира 4 (в 1961 году проспект получит имя Ленина.) Дом был отличный – трехэтажный, теплый, стены чуть не в метр толщиной, просторные светлые квартиры с высокими потолками и балконами. Правда, без горячего водоснабжения, колонку установили лишь в 1954 году. Здание было выстроено буквой «П», в центре имелась арка, через которую обычно попадали во двор. Окна квартиры Решетовых выходили на небольшой уютный скверик, где шумели деревья, играли дети, а летом мужики резались в домино и переставляли шахматные фигуры. После пяти лет в бараках собственное жилье было счастьем – второй этаж, три комнаты, большая кухня, два балкона, где Нина Вадимовна разбила цветник.

У мамы цветы на балконе –
Душистый табак и левкои;
Бубенчики, чашечки, звезды:
Сынок обещается в гости…

Это стихотворение написано в 1975-м. В 1952 году оба сына еще жили дома. Это был, возможно, самый счастливый для семьи период. Появилась возможность обустроить собственный мир. Запереть входную дверь и распахнуть

Березники, проспект Ленина, 8

балконную, чтобы в комнаты вливался сладкий запах душистого табака. Поставить в квартире стеллаж и заполнять его книгами. Приглашать гостей и угощать их сладкой «шишкой», пирожками или бражкой. Они мечтали все вместе поехать в Хабаровск, навестить родных, вновь увидеть Амур. Ольга Александровна в конце 1951 года уволилась с последнего места работы в библиотеке. Теперь она занималась хозяйством, а в свободное время вышивала (Вадим присылал матери нитки-мулине), вышивками украшали стены. Жили по-прежнему бедно. Нина Вадимовна подрабатывала по вечерам, недосыпала, экономила каждую копейку. Но молодость и природная веселость брали верх. Побеждала склонность выхватывать из потока жизни юмористические моменты. В блокнотах и на отдельных листках она записывала разговоры в очереди, смешные реплики, забавные эпизоды. Этакий профессиональный писательский сундучок с примечательным скарбом – вдруг пригодится!

* * *

Каждый вечер после работы в отдел, как в лес за грибами, приходил парень и искал на полу окурки.

* * *

На Дальнем Востоке во время НЭПа влюбленных называли сухариками. Говорили: они сушат сухарики.

* * *

В ожидании кометы в 1911 году: – Налетит комета – тут тебе и конец света, все погибнем... – А мне не страшно, я в Челябу уеду.

* * *

– Опять сварила картошку в обмундировании!

* * *

В магазине: – А что вы материтесь? – А с получки.

* * *

Главный инженер комбината Воробей. Напечатано: главный воробей комбината.

* * *

– Клади картоху на бок. – Викочка, это что – агрополитическая формула?

* * *

Давай обманем железную дорогу – купим билет и не поедем.

Однако серьезные вопросы нужно было решать. И один из самых главных – будущее детей. Леониду Решетову так и не удалось получить настоящее образование, и Нина Вадимовна хотела восстановить справедливость. Но материальное положение семьи не позволяло обоим братьям учиться одновременно (ведь между ними был лишь год разницы). Кто-то из них должен был поскорее начать зарабатывать. Приходилось выбирать. Перспективы отличника Бетала на поступление выглядели более надежными, и семейный совет принял решение: Бетал оканчивает десятилетку и поступает в институт. Алексей после семи классов идет в техникум, образование он сможет продолжить потом, когда выучится старший брат.

Нину Вадимовну эта ситуация мучила. Брат успокаивал ее: *«Что касается твоих сомнений насчет судьбы Алеши, то я думаю, что эти сомнения напрасны. В конце концов: техникум – это ведь не конечная инстанция. Закончит его, а там, глядишь – после практики в институт документы подаст. Так что пусть пока учится, а будущее покажет. Беталу же надо обязательно завершить десятилетку, раз уж он начал это. И я нисколько не удивлюсь, если он окажется в Московском университете, где-нибудь на 32-м этаже. Парень, судя и по письму, и по твоим рассказам, – молодец!»*

Школа им. М. И. Калинина

В 1952 году Алексей Решетов окончил в Березниках школу-семилетку имени М. И. Калинина. Школа была новая, открылась в 1949 году, он проучился там лишь последний класс. В аттестате выпускника новенькой школы четыре пятерки: по чтению, истории, Конституции СССР и черчению. По физике и физкультуре – тройки, остальные четверки. Из березниковских учебных заведений он выбрал горно-химический техникум (ныне – политехнический). Свой выбор, как оказалось, судьбоносный, потом объяснял просто: *«Пошел я туда из-за большой стипендии, которая была как половина матушкиной зарплаты: у нее около 600, а у меня около 300 рублей, и еще прельщала бесплатная горняцкая форма: шинель, петлицы с молоточками, фуражка с мощным козырьком. Мы-то до этого ничего, кроме арестантских бушлатов, не носили! Я подавал заявление на геологоразведку* («Потянуло на романтику!» – прокомментирует он в интервью 1982 года березниковской газете «Соль земли»), *но туда набрали одних десятиклассников. И пришлось мне стать горным механиком».*

Техникум открыли в 1929 году. Это было первое на Урале среднее специальное учебное заведение, которое готовило кадры для химической промышленности. Когда Решетов поступил туда, техникум располагался на Институтской улице (ныне ул. Циренщикова). Этот дом эпохи конструктивизма снесли в 2004-м после пожара. В 1954 году учебное заведение переехало в новое здание – на Советский проспект, 17.

Учили в техникуме хорошо, среди преподавателей были замечательные люди. Младший Решетов почувствовал себя взрослым: он осваивал азы эксплуатации и обслуживания

БХМИ им. Коновалова

электрического и электротехнического оборудования, приносил домой стипендию, а во время производственной практики спускался под землю, в глубины древнего Пермского моря.

Зато старший оправдывал надежды семьи – шел на медаль. Правда, в десятом, выпускном, классе он влюбился.

Из детского дневника Бетала сохранились лишь несколько страниц – три записи. Первая из них обозначена так: *«14 марта 1954 года, воскресенье, день выборов в Верховный Совет СССР. <…> Сходил проголосовал за кандидатов от блока коммунистов и беспартийных – короче, исполнил гражданский долг. <…> Единственно, что меня сейчас очень радует – это то, что все это время у нас с Людой все очень, очень хорошо. <…> Милая, милая Людушка, я думаю о тебе, о нашей хорошей любви и чувствую себя очень счастливым, самым счастливым на свете, потому что нет более благородной душевной силы, как сила Любви. <…> Бывает, правда, иногда тяжело, но стоит вспомнить о тебе, и сразу чувствуешь, что жизнь, несмотря ни на что, все-таки вещь хорошая. И хотя нам осталось (не много дней) быть вместе в этом году (а разлука будет, я думаю, хорошей проверкой нашей любви), я думаю, что мы вообще встретились не случайно, мы не могли не встретиться, потому что самой судьбой, если таковая есть, предназначены друг для друга».*

По дневнику видно, восемнадцатилетний Бетал Решетов был очень хорошим мальчиком: чистым, романтичным, пылким. Девочку, которую он полюбил, звали Людмила Рассказова. Ее мать работала врачом в поликлинике, отец был учителем. Жили Рассказовы по соседству с Решетовыми. Людмила училась на класс младше Бетала. Они вместе слушали пластинки, ходили в театр, в кино, на каток. Людмила сочиняла стихи, и Бетал подбирал к ним гитарный аккомпанемент. *«О нашей любви уже знает весь город, все учителя говорят, но нам это еще и лучше. Нехай говорят… Пусть учатся у нас, как любить и дружить надо».*

А разлука, действительно, приближалась. У отличника Бетала была возможность вернуться в родной город отца и осуществить его мечту – поступить в столичный вуз. Тем более что в Москве было где остановиться. Баба Таня – Татьяна Степановна Решетова – жила в коммунальной квартире в Хамовниках: улица Малые Кочки, дом 7, квартира 27. Центр столицы, рядом Москва-река и Новодевичий монастырь. (В 1960 году Малые Кочки переименуют в улицу Доватора, в честь героя Великой Отечественной войны.)

Бетал, по крайней мере раз, в Москве уже побывал – в июле 1951 года (поездка описана в письме домой). Было ему в ту пору 15 лет, на год больше, чем его отцу, когда он в одиночку отправился в Крым. Но побродить самостоятельно по столице юноше не дали. На вокзале его встречали. *«Вчера, т. е. 19 июля, я приехал в Москву. Бабы Тани я сразу не увидел. Я стоял у дверей, и вдруг ко мне подошел кто-то и спрашивает: “Бетал, да?” Я сразу узнал, что это Костин».* Бетала, привыкшего к баракам Ждановских полей и невысоким березниковским домам, поразили здания в 26 и 43 этажа, сверкающие станции метро, эскалаторы, квартира отцовского друга в Ермолаевском переулке (*«Это недалеко от Пионерских прудов (или Патриарших*)» с ванной и горячей водой, с многочисленными картинами и книжными полками. Бетал рассматривал рисунки отцовского друга и его жены, отвечал на вопросы, слушал рассказы (наверное, и об отце, о котором потом Владимир Костин скажет Алексею Решетову: «Ты не можешь себе представить, что это была за личность!»). Сына погибшего друга Костин принял, как родного: они ходили на рыбалку, в зоопарк, в планетарий и, конечно, в мавзолей. А еще юношу водила

по Москве бабушка: на Москву-реку, в Новодевичий монастырь, на стадион «Химик». Но с бабой Таней близости не возникло. Ее расспросы казались ему странными. *«Что баба Таня спрашивала: сколько у нас подушек, из чего они, сколько кроватей, сколько столов, стульев, есть ли у нас крупы, что мы покупаем, есть ли у нас второе на обед, какой чай мы пьем, как здоровье нас всех и почему мы не ответили на какое-то давнишнее письмо, как выглядит баба Оля и т. п.».*

Отвечать на это было неинтересно. Так что перспектива уехать от семьи и любимой девушки и поселиться в одной комнате с бабушкой не вызывала восторга у будущего абитуриента. Пожалуй, для Нины Вадимовны поступление сына в московский вуз значило больше, чем для самого Бетала. Мать готова была сделать для этого все возможное. Она и приняла твердое решение – ехать!

В повести «Я себя не прощаю» сказано: «*Брат мой Бетал с серебряной медалью окончил ту же березниковскую школу им. Пушкина, у той же классной руководительницы Хониной, что и наш президент Ельцин*». Золотую медаль сыну «врага народа» в 1954 году было не получить.

Аттестат об окончании школы Беталу Леонидовичу Решетову выдан 28 июня 1954 года. Видимо, получал его не сам Бетал, потому что уже 29-го он находился в Москве, откуда 1 июля он писал родным. Судя по тексту письма, он был включен в какую-то экскурсионную группу (может быть, выпускников-медалистов, награжденных поездкой в столицу?). Жили экскурсанты в здании школы № 187. Впрочем, Бетал не был полноправным членом группы. Он держался особняком, питался самостоятельно (*«шляюсь по закусочным»*). Побывал, правда, в Музее реконструкции Москвы, на эстрадном концерте в Зеленом театре ЦПКиО им. Горького, видел в Музее революции выставку подарков Сталину и вместе со всеми катался целый день на теплоходе «Ляпидевский». К бабе Тане или другим родичам не спешил. Но деньги (мать выдала на поездку 170 рублей) таяли, а главная задача решена не была. В конце письма Бетал бросает небрежно: «Поступать в Москву, видно, не буду: город дрянь. К 7-му вышлешь денег, если дам телеграмму, может быть, немного задержусь, если будет охота. В общем – напишу».

Но не такова была Нина Вадимовна. В ответ на декларацию сына она сообщила, что сама едет в столицу.

5 июля Бетал получил почтой свои документы, 7-го проводил остальных членов группы на вокзал и перебрался на Малые Кочки. 8 июля рапортовал: *«6-го, 7-го и 8-го, т. е. сегодня, я бродил по институтам, побывал в Горном, Нефтяном, Геолого-разведочном, Стали, Хим. машиностроения, Железнодорожном и Инженерно-строительном и др. В некоторых из них (в большинстве) прием медалистов давно прекращен, в некоторых свободны только те факультеты, на которые никто (и я в том числе) поступать не хочет, вроде инженерно-экономического, в третьих – предметное собеседование и строжайший медосмотр и т. д. <…> Тогда я пошел снова в МИИГА и К (факультет – инженерной геодезии). Там я был и раньше, и мне сказали, что документы можно будет сдать и на другой день еще. Я так и сделал: тут же написал заявление, автобиографию. <…> Собеседование назначили на понедельник 12 июля в 10 часов утра. Я спрашивал у некоторых серебряных медалистов, как и что? – говорят, что почти ничего не задают, не спрашивают. Но я все равно готовлюсь (в основном по математике и физике). Результаты телеграфирую в понедельник (или вторник). Общежитием на первом курсе в Москве не обеспечивает ни один институт: его получают только направленные на учебу из союзных республик, из демократических стран, дети погибших фронтовиков, ну и часть по блату. Так что с этой стороны – дело швах. Но я думаю первое время пожить у Татьяны Степановны, затем подыскать где-нибудь жилое место».*

МИИГА и К – Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (сегодня Московский государственный университет геодезии и картографии) был основан еще при Екатерине. С 1873 года (по сегодняшний день) он размещался в бывшей городской усадьбе Демидовых в Гороховом переулке. Бетал был принят на геодезическое отделение. В институте ему нравилось, хотя заниматься приходилось много. Вставал в 6–7 утра, ложился после полуночи, засиживался до вечера в чертежной, в воскресенье ехал в Ленинскую библиотеку, правда, иногда вместо томов основоположников марксизма читал там «Золотого теленка». *«Дня-то божьего и не вижу: туда еду – темно, обратно – тоже. Так дни и проходят»* (2.03.1955).

В самом начале первого учебного года Бетал писал брату.

Алексей – студент техникума (справа)

«Здравствуй, брательник! Повинуясь своим родительским чувствам к тебе, пишу тебе еще письмо. Из документальной переписки я узнал, что ты умудрился где-то нахвататься вирусов, микробов, бацилл также и заболеть. Эх, ты, Кирюха! Мне тебя здорово жалко было, особенно потому, что ты… не поехал на уборочную. Мне матушка написала. Ты, Алеша, молодец. Так должен поступать каждый комсомолец. Сообщи <…>, сколько ты кубических километров дров напилил и какие ты меры принял для внедрения на подответственном тебе производстве новых методов соц. труда! В общем – напиши все!

Ну, как я учусь, ты узнаешь из более общего письма. Это не то, что ваш БГХТ, это МИИГА и К. "Здесь вам не страна Лимония!" <…> Занимаюсь до черта, а все мало. Черт возьми!

А вообще, знаешь, я рад за свою специальность, чего и тебе желаю. Хорошая вещь. Между прочим, когда я заполнял анкету, то написал там про тебя. Решетов Ал. Леонидович родился 3 апреля 1937 года в городе Хабаровске ДВК. Учится в Березниковском горно-химическом техникуме на 3-м курсе электромеханического факультета. Проживает в г. Березники и т. д. и т. д. Так что ты в Москве человек известный!» (10.09.1954).

В первое время Бетал очень скучал по дому, особенно по Людмиле. Считал, сколько писем получил от нее и сколько отправил ей, представлял, что они одновременно слушают по радио одну и ту же музыку – он в Москве, она в Березниках, просил ее получше учиться, надеялся, что на будущий год любимая тоже сможет поступить в московский вуз. Дни до встречи тянулись невыносимо медленно. Письма Бетала к Людмиле Рассказовой – чистая романтическая лирика.

«Я теперь целые дни ношу с собой твою фотокарточку, где ты у дерева. Знаешь, как она мне нравится! Ее бы следовало назвать "Ожидание", всмотрись внимательно: лес, сосны, вечер, а у дерева стоит девушка, всматриваясь в темноту и улыбаясь предстоящей встрече.

<…> Вчера до твоего письма – я его получил часов в 9 вечера – у меня было очень грустное настроение. Вечер оказался свободный, и я, чтобы скоротать время, поехал в ГУМ за струнами и посмотреть пластинки. Послушал наши старые, знакомые. <…> Помнишь "Руки", танго? Я, когда слушал, вспомнил тебя, вообще все самое хорошее, что было у нас с тобой, и чуть не заплакал. <…> Домой пришел часа через два и хотел поскорей лечь спать, чтобы забыться. Вдруг бабка сообщает, что мне есть письмо. Знаешь, как я обрадовался? Ты даже представить себе не можешь! Бабка хотела заставить меня сплясать, я ей взамен сыграл на гитаре. Она все не дает, говорит: перестань называть меня Татьяной Степановной, тогда отдам. Я пошел на это, только бы скорее получить письмо. (Теперь называю ее баба Таня и на «ты».)

Убежал на кухню и стал читать и перечитывать твое письмо. Бабка выходит и что-то мне говорит, а я ничего от радости-то не понимаю и только смеюсь в ответ да смотрю на твою фотокарточку!» (3.09.1954).

Отношения с Татьяной Степановной не ладились. Девятнадцатилетнему студенту и пожилой женщине, привыкшей к одиночеству, трудно было жить в одной комнате. Баба Таня ворчала, что внук по ночам жжет свет (*«Не понимает она, что свет – это волновое движение и глаз резать не могет!»*), не помогает, не отвечает на вопросы, и обзывала его «дикарем» и «деревяшкой». А Бетал по молодости лет не умел быть милосердным. Нина Вадимовна пыталась сгладить углы, уговаривала сына быть внимательнее, уверяла, что бабушка по-своему любит его, отправляла в Москву посылки и ежемесячно переводила деньги, сперва 200, затем 300 рублей. Стипендии Бетала на жизнь в столице не хватало.

Он хорошо понимал, что близким трудно и они во многом себе отказывают. Его грызла совесть.

«Вы обо мне не беспокойтесь. Я здесь "материально" очень хорошо обеспечен. И думайте лучше о себе, ибо я один, а вас трое, и жить вам тяжелее, чем мне. <…> А то мне очень неловко, я ведь знаю, как нам всегда туго приходилось, а теперь, наверное, и того хуже. <…> Ну, ничего – будет и на нашей улице праздник, кончу я институт и буду зарабатывать, дай боже, вот увидите!» (12.12.1954).

Надежды на будущее поддерживали дух. Тем более что дорога младшего брата тоже начала определяться.

Глава 9
УЧЕБНЫЙ ПОЛЕТ

Главной дорогой для Алеши должна быть проза: очень уж она у него хороша. Да и возможностей у матушки-прозы куда как больше, чем у поэзии.

Из письма Вадима Павчинского Нине Павчинской
(21.08.1959)

Братья Решетовы скучали друг по другу. Оба были заняты, писали редко и ругали за это один другого.

Алексей – Беталу: *«Дорогой братишка, почему ты не пишешь? Просто это свинство, раз в две недели можно вырвать время на письмо».*

Бетал – Алексею: *«Алешка, керя, почему ты не пишешь ничего, а? Я тебе посылал письмо, но до сих пор не получил ответа. <…> Хам ты и больше все! Ясно?»*

Конечно, Бетал приезжал домой на каникулы, а Алексей наведывался в столицу. Впервые он увидел родной город отца в июле 1955 года. Брат в это время проходил практику в Подмосковье (*«Работаем с 8 утра дотемна, “пока рейку в трубу видно”, как говорят геодезисты»*), появлялся только в выходные. После окончания практики братья собирались вместе «прошвырнуться по Москве», а потом отправиться домой. Пока же Алексей исследовал столицу самостоятельно. В основном осматривал художественные собрания. Мать и бабушка получали отчеты: *«Был в Новодевичьем, в Третьяковке, в Музее Ленина, на выставке китайской графики и гравюры и выставке московских художников, в Александровском саду, завтра пойду в Дрезденскую, если только достану билет* (В то время собрание Дрезденской галереи, вывезенное из Германии в 1945 году, еще хранилось в Пушкинском музее. – **К. Г.**). *А в мавзолей и Кремль попасть можно только по пропускам. Впечатлений много»* (1955).

Бетал сообщал Людмиле, что Алешке Москва понравилась. Но сам Алешка, правда, уже в 1957-м, писал домой: *«Я уже в Москве. Ну, особенно не испытываю никакого чувства радости. <…> Вчера ходили по городу, в кино. А вообще Березники лучше, и я думаю, что не пробуду здесь больше 10 дней»* (13.10.1957). Возможно, юный провинциал чувствовал себя

неуютно в огромном городе, или просто та конкретная поездка вышла иной, чем планировалось.

Летом 1957 года Москва впервые принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Событие эпохальное – знамение новых времен. Толпы иностранцев из 130 стран мира заполнили город – джинсы, кеды, рок-н-ролл, дружба, спорт, борьба за мир… На две недели, с 28 июля по 10 августа, столицу захлестнула волна невиданной любви и свободы. Алексей мечтает оказаться в Москве в дни фестиваля, но с работы его не отпустили и поездку пришлось перенести на октябрь. Жаль, что ему, двадцатилетнему, не удалось окунуться в праздничную неразбериху. Кроме всего прочего, он мог бы прислать в родную газету репортаж из взбудораженной столицы. А в кино ходить можно было и в Березниках…

К моменту открытия легендарного фестиваля Решетов-младший уже несколько лет публиковался. В черновиках повести «Я себя не прощаю» он рассказывает об этом иронически: *«Я буквально засыпал местную газету “Березниковский рабочий” своими заметками, очерками, рецензиями, видно, отцовские гены заговорили. Однажды редактор Жуков при мне сказал своему заму Иванову: – А что, возьмем Решетова работать в нашу газету? – У меня захолонуло от счастья сердце. Но Иванов выразительно поморщился, будто жевал козью какашку, и я так и остался активным рабкором, не став журналистом – к счастью ли, к сожалению? Теперь не знаю».*

Так, волею не взявшего его в штат редактора, Решетов не превратился в газетчика. На пути отцовских генов встала отцовская биография – к работе на идеологическом фронте людей с такой анкетой не очень-то допускали. И все же несколько лет семья надеялась именно на такое, логичное, развитие событий. Особенно Вадим Павчинский, которому сестра присылала публикации Алеши. *«Страшно интересно почитать и полюбоваться успехами еще одного газетчика в нашей семье (я глубоко убежден, что в скором времени Алексей будет работать в газете)»* (21.09.1956).

Вадиму казалось, что Алеша повторяет путь отца и его собственный путь. Для Нины Вадимовны это было своего рода восстановлением справедливости. Для Алексея

Газета «Березниковский рабочий».
Среди рабкоров – А. Решетов

Решетова само понятие «газета» было частью отцовского наследия. Он словно прикасался к делу жизни Леонида Решетова, к его судьбе.

...Однажды в детстве увидел на базаре маленькие круглые зеркала с именами на обратной стороне. И когда прочитал: «Леня», имя отца, не удержался – схватил зеркальце и бросился бежать. Продавец чуть не догнал мальчишку, пришлось бросить добычу. Но сам порыв... Ни до, ни после Алеша ничего не мог стянуть с прилавка, в отличие от других голодных детей.

В 1982-м Алексей Леонидович говорил журналисту издания «Соль земли»: *«Если бы меня взяли работать в газету, я бы стал просто журналистом. Но уж тогда бы наездился по свету. <...> И, может быть, тогда и характер был бы у меня другим».*

Едва ли. Скорее, характер помешал бы надолго удержаться в редакции. К фальши и официозу у Решетова была идиосинкразия. От природы он не был ни боевит, ни деловит. Соответствовал не времени, а лишь самому себе.

При помощи слов ему пришлось решать не сиюминутные задачи.

Литературную деятельность Алексей Решетов начал одновременно с журналистской, в шестнадцать лет. Об этом коротко рассказано в повести «Я себя не прощаю»:

«Писать я начал не со стихов, а с прозы. В 1953 году пермская молодежная газета "Большевистская смена" напечатала мой первый рассказ. Каждый год она объявляла конкурс на лучшее прозаическое произведение, и я несколько раз откликался на их зов рассказами, сентиментальными и неуклюжими. За четыре года опубликовали четыре рассказа и за два даже дали премии».

Рассказы были не то что неуклюжие, они были детские – правильные, назидательные, очень во времени и, должно быть, мало отличались от произведений прочих конкурсантов. Печатать их можно было бестрепетно.

В рассказе «Пропавшая сумка», например, семиклассник Сеня Ложкин мечтает, как скоро поступит в ремесленное училище, станет токарем, придет на завод и начнет приносить домой зарплату. А пока, подняв сумку матери-почтальона, удивляется, какая она тяжелая, и сам отправляется разносить почту по адресам. В тексте есть только одна наивная, но живая деталь: на одном из почтовых ящиков вместо обычного «для писем и газет» мальчик видит надпись «Привет почтальону!» и радуется, что в этом доме живут добрые и приветливые люди. Да еще вот эта жалость к уставшей матери, на плечи которой лег непосильный груз, – личная…

В рассказе «Штанга» главный герой тоже школьник – Сережа Лаврентьев. Он «слабосильный» и неуклюжий. Одноклассники смеются над ним (злосчастная тройка по физкультуре в аттестате автора!). И Сережа решает тренироваться: мастерит себе самодельную штангу – два колеса от тачки, насаженные на палку. В общем, начинает работать над собой. Должно быть, советы Бетала регулярно заниматься спортом аукнулись. Правда, иначе, чем старший брат рассчитывал. Алексей не стал сам поднимать штангу, а доверил это своему герою. В рассказе занятен образ Сережиной бабушки: она считает тренировки внука блажью и лишь беспокоится, что он болен, голоден или замерз… Так баба Оля тревожилась за Алешу.

Бетал гордился литературными успехами брата и всех вокруг знакомил с его творчеством. Сохранился его отзыв на рассказ «Штанга». *«Кстати, еще раз поздравляю тебя с напечатанием твоего рассказа. Мне он понравился до чертиков! Стильно написано. Если у тебя так и дальше пойдет, получится из тебя сильнейший писатель. Я тебе серьезно говорю! Главное – работай – и все будет прекрасно»* (30.10.1954).

Рассказы начинающего автора нравились брату и его институтским друзьям, бабе Тане, Володе Костину и даже Вадиму Павчинскому, который писал сестре: *«<…> Пользуясь терминологией авиационной (все-таки шесть с лишним лет я имел дело с воздухом) – теперешние опыты Алеши я расцениваю как самостоятельные полеты на учебном самолете, но полеты настолько оригинальные и умелые, что можно с учебного пересаживать на большой самолет. Уже не страшно: крылья крепкие и рука крепкая. Говорю это не из желания польстить или бездумно похвалить, не сознавая ответственности за подобные похвалы: можно ведь сбить с толку человека. Но в данном случае речь идет о подлинном таланте, и вы это сами отлично понимаете»* (7.10.1958).

Разница между ранними прозаическими опытами и первой повестью Решетова «Зернышки спелых яблок» – как между копией чужого рисунка и настоящей картиной. Едва молодой автор перестал изображать целеустремленных учеников советской школы и заговорил о себе, все встало на свои места, текст на белом листе обрел жизнь и объем. Недаром повесть понравилась Виктору Астафьеву и с его подачи была напечатана Пермским книжным издательством. Сам автор утверждал, что повесть не сочинил, а «записал ее под диктовку еще молодой, еще очень ясной своей памяти. Так бывает: кто-то в тебе сидит и рассказывает».

В интервью 2002 года Алексей Решетов скажет: *«Сложность прозы в том, что первую фразу напишешь, а она уже начинает тебя коробить. Уже видишь – не то. Первый писатель в Березниках – он музеем нашим заведовал – учил меня главному в прозе секрету. <…> Главное в том, чтобы не было этой вычурности, а была простота и ясность в изложении».*

Первый писатель, которого он встретил на своем пути, – Андрей Ромашов, и совет явно пошел впрок. Решетов всю жизнь избегал вычурности и красивости. Слишком хороший

вкус порой даже мешал – заставлял отказываться от слишком ярких, на его взгляд, образов…

В конце 1950-х проза и поэзия еще боролись за него. Проза выглядела дорогой более надежной. Но поэзия владела душой.

По формуле Марины Цветаевой: «Все поэты делятся на поэтов с развитием и поэтов без развития. На поэтов, имеющих историю, и поэтов без нее». Первые – пешеходы, вторые – столпники. Поэты с историей постепенно обретают голос, у поэтов без истории голос поставлен от рождения.

Алексей Решетов – поэт без истории. Он почти сразу нашел себя. Уже к 1958 году написаны «На траве золотистые блики» и «Кофточка застенчивого цвета», в 1959-м обозначилась вертикаль – «Земля» и «Небо». К стихотворчеству периода ученичества он относился потом иронически, но не делал вид, что его не было.

Стихи Решетов начал писать после рассказов. Их публиковали там же, где рабкоровские корреспонденции. Он вспоминал: *«С еще не просохшими чернилами я таскал свои опусы в “Березниковский рабочий”. Там журили за подражание Есенину, говорили, что газета должна быть читабельной и боевитой, как сказал Ленин, и все же снисходительно печатали.* <…> *Выдавливая из себя “есенинщину”, я переключился на книжность:*

Без Изольды Тристан умирает от ран
И в бреду Дон-Кихот Дульсинею зовет.
Я не знаю, не знаю, какая судьба
Ждет меня, если рядом не будет тебя.

От этих стихов скоро пришлось отказаться. Слишком часто и громко мои друзья-приятели по двору и техникуму просили прочитать про Дристана».

Первым ценителем творчества юного поэта вновь стал Бетал. Приезжая на каникулы, он слушал Алешины стихи, листал тетрадку, куда брат аккуратно переписывал новые произведения, сопровождая каждое собственноручной иллюстрацией, и ставил за стихи оценки. За басни – 4, за лирику – 5. Ниже четверки с минусом в тетради отметок нет. Тема Алешиного творчества постоянно звучала и в письмах Бетала домой.

«Стихиры твои я читал, понравились и даже очень. Как-то были у меня ребята, прочитали, говорят: “Здорово пишет!” Так что считай, в широких народных массах ты уже

признан. <…> Теперь, когда почин сделан, тебе будет легче писать дальше. Конечно, Пушкина из тебя не выйдет, но поэтом-лириком А. Решетовым вполне стать можешь. Тем более что данные, по всей видимости, у тебя есть. В общем, Леша, рубай по всем углам. Я скоро стану (?!) известным геодезистом-новатором вроде Красовского, а брат – поэт – шикарно! Учти, что поэтом трудно стать, но легко оставаться в дальнейшем. Так что валяй!» (9.04.1955).

Любопытно, что слово «поэт» Бетал сперва поставил в кавычки, но затем зачеркнул их. Упомянутый в письме Ф. Н. Красовский, заведующий кафедрой высшей геодезии МИИГА и К, в 1936 году определил новые размеры земного эллипсоида (названного эллипсоидом Красовского). Впрочем, судя по вопросительному знаку в скобках, Бетал не слишком уверен в своей будущей научной карьере.

Отношение остальных членов семьи к поэтическому творчеству Алексея было не так однозначно. Баба Оля, подобно бабушке штангиста Сережи, хотела лишь одного – чтобы внук был здоров. Про отношение матери Решетов сказал в последнем интервью: *«Ее не удивляло, когда я писал стишки к праздникам. Потом их стали печатать в газете, но она относилась к этому без восторга. Поэзия – это было так далеко от того, где мы жили, как мы жили».*

Пожалуй, ситуацию он упрощает. Мать гордилась литературными успехами младшего сына и регулярно сообщала о них старшему: *«Алешка ездил в творческую командировку в Пермь и Свердловск. <…> Скажу только, что из всей области отметили троих, и он в том числе. В Перми вышел альманах с его стихами»* (28.09.1958); *«Алешенька-гад продолжает расти; вчера получил письмо из “Комсомольской правды”, что приняли два стихотворения: “Песня” и “Сон солдата” – следи»* (22.11.1958).

Нет, Нина Вадимовна чувствовала поэзию. Именно поэтому ей гораздо проще было поверить, что сын – журналист, чем в то, что он поэт. Это ведь все равно что марсианин, а как марсианину жить на Земле? В детстве она обожала Фета, в юности – Есенина (всю жизнь помнила, как услышала о его смерти: лежала тогда с высокой температурой, и ей казалось, что жар вызван болью утраты). Более того, Нина Павчинская точно знала: поэзия способна

помочь в самую черную минуту. В конце концов, увлечение Есениным Алексей унаследовал именно от нее.

«После Пушкина и Лермонтова я страстно любил Есенина. Многие его стихи я слышал от матери. В лагере она по памяти собрала целую книжечку его стихов, сделала страницы из оберточной бумаги, а на переплет пошел черный толь, которым покрывали крыши бараков. Книжицу берегли пуще хлебной пайки, прятали от вертухаев под лифчиком, но и ее умудрились по уголкам обгрызть крысы» («Я себя не прощаю»).

Нина Вадимовна и сама сочиняла стихи. Ее литературный дебют состоялся уже после первых публикаций сына. В 1955 году стихотворения для детей, написанные Ниной Павчинской, опубликовали в «Березниковском рабочем», и на несколько лет она стала постоянным автором этой газеты. Затем подборка ее стихов появилась в коллективном сборнике в Свердловске.

30 ноября 1955 года Бетал писал родным: *«Ну, дорогие, вы меня очень обрадовали своими литературными успехами. Ну, Алеха, так сказать, уже не новичок в этом деле, а вот ты, мама, только вступаешь на лит. поприще, и я тебя поздравляю с первыми творческими успехами! Обязательно пришлите мне свои стихи, ладно? Этот, как его… авторский экземпляр, ну?»*

Но стихи стихами, а производство производством. В 1956 году Алексей Решетов защитил дипломный проект (тема была связана с шахтенным подъемом), окончил техникум и пришел работать на Березниковский калийный комбинат. С этого момента братья окончательно поменялись местами. Младший взял на себя роль старшего, стал опорой семьи. Бетал им гордился. *«Как Алеха наш вкалывает? Давай, Леша, жми на всю железку! А ты, мама, наоборот, поменьше работай, особенно с чертежами»* (21.10.1956).

Алексей работал горным механиком, зарабатывал и даже, что трудно себе сейчас представить, занимался общественной работой – возможно, опять сказались гены отца. Нина Вадимовна объясняла Беталу, почему брат давно ему не пишет: *«Алеша 5 дней пролежал, а потом с больничным пришлось выйти на работу. <…> Сейчас он перегружается общественной работой, как вол. В его отсутствие его избрали в комитет комсомола, агитатором по выборам, и редакция завалила работой – вот и мечется он, как угорелый, так что ты уж на него не обижайся. <…> Праздники мы тоже провели более чем скромно. Алеша все дни работал,*

а 7 ноября даже две смены подряд – с 8 утра до 12 ночи» (22.11.1957).

Учебный полет проходил нормально, в штатном режиме. И цель была ясна. *«Мне думается, что Алеше надо серьезно решать вопрос о Литературном институте. У него есть на это все основания. Надо собрать все напечатанное и написанное и переправить это туда как свидетельство о возможностях и талантах человека. Я считаю, что главный экзамен уже выдержан»,* – писал Вадим Павчинский 7 октября 1958 года.

Опытный газетчик, прочитав первые произведения племянника, успокоился относительно его будущего и наметил план: подкопить опыт на производстве и переходить в газету, а еще лучше – поступать в Литинститут. Очевидно, план был принят. Оставалось лишь дождаться, когда Бетал окончит учебу и сможет помогать семье.

Глава 10
БЛУДНЫЙ СЫН

До чего же печальна картина
«Возвращение блудного сына», –
Он гордыню свою превозмог.
Он теперь даже глаз не поднимет,
Он питался дождем и полынью,
Он вернулся на отчий порог.
Но какие-то дальние зовы
Появляются в небе суровом
И зовут день и ночь без конца.
Вот и к свадьбе уже все готово.
Вот и жить бы, как люди, толково,
А на мальчике нету лица!
До чего же все это знакомо –
И удары весеннего грома,
И земли отмерзающий пласт.
И на камне сыром аксиома:
Вы в гостях еще, мы уже дома,
Не судите, помилуйте нас.

А. Р.

К концу второго курса Бетал почувствовал прелесть студенческой вольной жизни, привык к Москве. Появились новые друзья, шумные веселые компании, новые увлечения, главным из которых стал альпинизм.

Он заболел горами в 1956 году, и это привело к серьезному конфликту с близкими. Мать считала, что сын легкомысленно тратит время и деньги. Бабушка боялась, что внук свалится с вершины или его накроет лавиной. Людмила обижалась, что Бетя не торопится, как прежде, домой, а планирует поездку в альплагерь, ревновала его и наказывала, подолгу не отвечая на письма. Алеша старался держать нейтралитет.

Бетал уверял близких, что «альпинизм не роскошь, а необходимый минимум», и пытался логически обосновать, почему должен продолжать занятия. Однако сквозь доводы рассудка прорывалась настоящая страсть.

«Многих после окончания посылают работать в горы на геологические изыскания, на строительство электростанций, дорог, горных мостов, наконец, просто на топографическую съемку. А какой я, к черту, буду работник, если не буду владеть элементарными навыками альпинизма? У нас занимаются очень многие, кто не дурак, ясно, и это в будущем скажется только положительно.

Я тоже тренировался с ребятами последние два месяца и уже научился кое-чему. Тренировки у нас были в Царицыне, на остатках екатерининского дворца. Там настоящие вершины (для новичков, конечно). Занятия проходят очень интересно. Потом мы сдавали зачет по теории (кстати, сдал на отлично). <…> *19-20 мая был альпинистский слет.* <…> *Первое место взяли бауманцы – у них самая сильная команда в Москве, и тренирует их лучший советский альпинист Виталий Абалаков – ему уже 50 лет, но еще никто не взял столько вершин, сколько он.* <…> *Кстати, 31 мая в Москве, в ЦКПиО Горького, будет альпинистский фестиваль (25-летие советского альпинизма), и я увижу самого Абалакова – он будет выступать в Зеленом театре.* <…> *Значит, летом поеду в альплагерь. Там будем сдавать зачет на значок “Альпинист СССР 1 степени”. А для этого надо взять две вершины категории 1-а и 1-б.* <…> *Оттуда сразу махну домой. Смена всего 20 дней, не считая дороги, и дома я смогу пробыть почти целый месяц, еще останется, если я, как всегда, опоздаю дней на 6, 7, 8, 9, 10 и т. д. Так что все будет хорошо»* (5.05.1956).

Бетал уже не обсуждал планы с родными, а строил собственные. Жизнь, которая его манила, была очень далеко от Березников. Если прежде он убеждал мать не присылать

денег помимо оговоренной суммы, даже грозился отправить перевод обратно, то теперь, мучаясь и стыдясь, просил помочь – занять сумму, нужную на путевку, обещал все вернуть со стипендии и подъемных, которые должен был получить для поездки на практику. *«Знаю, мам, что достать очень трудно, да и неприятная это вещь, но знаешь, как хочется в лагерь!!!!!»*

Это детское – «так хочется в лагерь» с пятью восклицательными знаками – надрывало сердце матери. Нине Вадимовне казалось, что сын изменился: *«Ясно видно, что отрицательное влияние Москвы начало тебя засасывать. Неужели же ты никогда ни о чем глубоко не задумываешься? Неужели не понимаешь, с каким трудом и лишениями нам удается давать тебе возможность пробиться в жизни?»* (19.11.1956). Она называла Бетала пустым, взбалмошным мальчишкой-фантазером, обвиняла в эгоизме, приводила разумные доводы, грозила, что он потеряет Людмилу, но посылала деньги. А баба Оля, скрепя сердце, вязала внуку шерстяные носки и шила заказанные им шекельтоны – высокие брезентовые сапоги на меху с двойной подошвой, незаменимые в горной местности.

Альпинизм завершил образ. Бетал так же безупречно соответствовал концу 1950-х, как его отец – эпохе первых пятилеток. Он любил петь с друзьями у костра и спать в палатке, везде возил с собой гитару, обожал шумные сборища, его обуяла охота к перемене мест. Горы овладели душой, даже учеба, любовь и семья отошли на задний план.

Юноша и сам чувствовал какой-то непорядок во вселенной: споры с матерью, участившиеся ссоры с Татьяной Степановной, размолвка с Людмилой… Но отказываться от любимого занятия не собирался. В конце концов, Нина Вадимовна написала, что сыну придется выбирать между альпинизмом и близкими. Под близкими она подразумевала Людмилу (родители девушки негодовали, сама она плакала, дело шло к разрыву), но и собственная обида в этом ультиматуме прорвалась. Хотя и мать, и сын отлично знали: что бы ни сделал Бетя, семья не перестанет его любить и всегда поможет. И тут студент-геодезист предложил неожиданный выход: *«В общем, так: я сдаю эту сессию, и мы делаем отпуск. До весны я дома, летом – в лагерь,*

осень – опять дома. Заметь, как хорошо – осенью можно поработать, скопить деньжат на учебу <…>, и тогда от вас помощи потребуется меньше. <…> С будущей зимы – продолжаю 3-й курс – стипендию мне сохранят, если я сдам хорошо сессию – а к этому я приложу все усилия» (2.12.1956).

Аргументы «за» были такие: за время академического отпуска наладятся отношения с Людмилой, сам Бетал соскучится по институту и с новыми силами возьмется за учебу, а ко времени его возвращения освободится, наконец, место в общежитии. Правда, без согласия матери совершить подобный шаг сын не решался. В нескольких письмах (не мог дождаться ответа на первое!) он уговаривал мать, успокаивал и по-детски шантажировал одновременно.

«Я очень мало питаю надежды на твое согласие, мама, хотя отказ твой перенести мне будет очень тяжело, да и это закроет мне дорогу домой теперь до конца института, что, конечно, тяжело для всех нас. <…> Теперь все мое будущее зависит от тебя» (2.12.1956). *«Если мне закрыта дорога в горы только потому, что мы с Людмилкой любим друг друга, то какая же это, к черту, любовь, которая мешает осуществлять лучшие планы и мечты? <…> Но если ты считаешь все-таки, что я должен выбирать – то я выбираю альпинизм»* (4.12.1956).

Семья пришла в ужас. После первого из этих посланий Ольга Александровна выехала в Москву на переговоры. В результате ее «дипломатических» усилий удалось добиться сомнительного компромисса: Бетал остается в институте, но в лагерь едет. Утешать и успокаивать обиженную Людмилу выпало Нине Вадимовне. В конечном счете, виновника переполоха это вполне устроило.

Деньги нашлись, и в феврале 1957 года Бетал отправился в «Алибек», один из старейших альплагерей в СССР. Место было знаменитое – именно вершины Альбекского ущелья изображали Анды в советском фильме 1936 года «Дети капитана Гранта» («А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер!»). Через четыре года Юрий Визбор напишет в хижине «Алибека», жилище лесников и биологов Тебердинского заповедника, знаменитый «Домбайский вальс».

…Нас провожает с тобой
Гордый красавец Эрцог,
Нас ожидает с тобой
Марево дальних дорог.

Вот и окончился круг,
Помни, надейся, скучай,
Снежные флаги разлук
Вывесил старый Домбай.

Зимой 1957 года альпинисты пели другие песни, но так же задушевно. И гитарист Бетал отлично вписывался в дружный хор. Вокруг был почти марсианский пейзаж: красноватые скалы, острые шпили гор. На высоте около трех километров проходила граница живого и неживого – та черта, за которой ничего не растет. Начинающие альпинисты преодолели эту невидимую, но отчетливую границу. Бетал со своей группой совершил восхождение на вершины Сулахат и Кругозор Семенов-Баши (3400 м) и переход через Джаловчатский перевал. Шел замыкающим в связке (*«очень опасно и очень почетно»*). Атмосфера лагеря – веселое братство, возможность испытать себя, горные тропы, снежные гребни, бурные реки – очаровала Бетала. В конце смены он получил справку: *«Решетов Б. Л. проявил себя способным и сильным спортсменом. Имеет все данные для дальнейшего занятия альпинизмом. Вполне освоил элементы горнолыжной техники».*

В письме Людмиле он пытался описать свои впечатления: *«От базы ехали 120 км на машинах – по горной дороге, очень красивой, через кубанские станицы, Клухори, Теберду. Дорога идет вдоль правого берега Кубани, а слева – стенки гор. Краски просто бесподобны – вода в Кубани ярко-зеленого цвета, лед – ярко-голубого, а скалы – черные. Все это вместе создает неповторимую картину»* (22. 02.1957). Однако не закончил письмо, отступился, отделался обычным: приеду – расскажу.

Бетал пропустил 14 дней учебы и, вернувшись в Москву, лихорадочно ликвидировал «хвосты», но был переполнен радостью и чувствовал себя новым человеком, представителем лучшей в мире касты. *«Это было настоящим счастьем для меня. Большое спасибо вам всем, а особенно тебе, мама, за то, что дала возможность мне побывать в горах. <…> В институте встретили меня хорошо. <…> У нас альпинистов очень любят, т. к. это самые законные ребята, которым все “до лампочки”»* (28.03.1957).

В конце 1957 года Бетал, наконец, выбрался из коммуналки на Малых Кочках. Ему удалось получить место

в общежитии. Для этого, по совету секретаря деканата, он несколько исказил картину жизни семьи. *«Конечно, в заявлении пришлось наговорить три короба: бабка превратилась в мелкособственнического хищника, сдающего “угол” за 150 руб. в месяц, переводы из дома я снизил до 150 руб. в месяц, а Алешеньку пришлось снять с работы и бросить на 3-й курс техникума»* (21.10.1956).

От общаги на Лефортовском валу до института было 20 минут на троллейбусе – больше не приходилось ездить через всю Москву. К бабе Тане Бетал теперь наведывался изредка. Он все больше уходил из поля зрения семьи. *«Мне в общежитии нравится,* – писал Бетал родным. – *И в смысле занятий – очень удобно, 2 рабочие комнаты, где сиди хоть всю ночь. <…> Новый год буду, очевидно, справлять в общежитии, у нас будет новогодний бал человек на 200-300»* (22.12.1957).

1958 год, который начался так весело, – последний, который зафиксирован в семейной переписке. Писем за 1959-й в архиве нет. Поскольку все бумаги Бетала (от детских рисунков до зачетной книжки «Альпинист СССР») родные бережно сохранили, можно предположить одно из двух. Или письма были сознательно уничтожены, чтобы никто не коснулся незаживающей раны, или Тамара Катаева не передала их музею (последнее менее вероятно).

С семьей Вали Фохта. Томск. 1958 год

1958-й был удачным годом. Летом Нина Вадимовна отправилась в командировку в Новосибирск и завернула в Томск, навестить любимого двоюродного брата Валентина Фохта. Они не виделись много лет, вся семья Фохтов была репрессирована. Валентин после долгих мытарств обосновался в Сибири. Еще на поселении он женился, и теперь у него подрастали двое детей. Встреча, на которую еще несколько лет назад брат и сестра не могли надеяться,

оказалась светлой и счастливой. Для Нины Вадимовны эта поездка стала настоящим отпуском, первым за долгие годы.

Алеша радовал семью творческими успехами. Правда, он по-прежнему часто болел, но и это неожиданно обернулось положительной стороной – 22 августа его по состоянию здоровья сняли с воинского учета. Полная отставка от армии очень утешила мать и бабушку.

В доме заполнялся книгами уже второй стеллаж: семейная библиотека потихоньку восстанавливалась. Книги присылали Бетал, Вадим и Владимир Костин, азартно покупали Алексей и Нина Вадимовна.

Но старший все реже приезжал домой. Летом 1958 года он в Березниках не появился. Вернувшись с военных сборов под Калинином, тут же сорвался в альплагерь «Дугоба» (горная система Памиро-Алай, 75 км от Ферганы). Осенью в тех местах ему предстояло пройти производственную практику по высшей геодезии.

19 июля путешественник писал родным: *«Билеты взяты на 21-е <…>, поезд прямой “Москва – Ашхабад”. <…> В дорогу! В дорогу! Надоело мне здесь до чертиков! В лагерях мечтал о Москве, о том, что буду сытно жрать, спать, сколько захочу, и вообще быть свободным. Не то! Явное не то! Уже все надоело. Я жду с нетерпением 21-го. Нет – видимо, я неисправимый бродяга!»*

В лагере дни летели незаметно, один был интереснее другого. Бетал совершил восхождение на вершину Урожай (4000 м), переход через хребет Калькатуш, затем покорил вершину с тем же названием (категория сложности 3б). И сразу началась практика. Письма домой были полны радости, романтики и экзотических названий. *«Коротко – работаем в высокогорном районе Памира, точнее – Алайский хребет, на границе Ферганской и Ошской области. Здесь лишь небольшой участок принадлежит Узбекистану – районы Шахимардана и Иордана, а наши все пункты расположены в Киргизской ССР. Так вот и кочуем из республики в республику. <…> В горы мы уходим караваном с вьючными лошадьми, много времени уходит на походы – они здесь очень трудные. <…> На вершине ставим палатку и сидим 3 дня, пока не отнаблюдаем пункт. <…> Посылаю вам снимок, сделанный с вершины Улутур на Алайский хребет. Сидим выше облаков!..»* (6.09.1958).

В дневнике производственной практики Бетал дал волю своим литературным наклонностям. Описывал пейзажи, погоду, окружающих людей. Писал весело: лихо вставлял в текст киргизские и узбекские слова, стилистически был раскован. В результате руководитель практики дал отчету студента несколько ироническую оценку. Похвалил за дисциплинированность и добросовестность, но заметил, что «большая часть материала не имеет никакого отношения к прохождению производственной практики. В отдельных случаях дневник превращается в записную книжку (русско-киргизский словарь) или в личный дневник, повествующий о лирических переживаниях автора. При изложении русский язык подвергается тяжким испытаниям – обилие разговорных сорняков повсюду». Преподаватель счел неуместными словечки вроде «рванул», «усек», «камералка» и «пацаны», но в целом оценил работу студента положительно.

Практика закончилась 1 октября. В ноябре Бетала, наконец, ждали дома. Приезд этот был особенный. Еще летом Нина Вадимовна всерьез заговорила с сыном о его женитьбе. *«Имей в виду, что лучше Люды ты никогда не встретишь никого. Да и сколько можно заставлять ждать человека и ради чего? <…> Время для этого подошло, и если это так, то в твой приезд и свадьбу сыграем»* (28.08.1958).

Бетал избегал прямого ответа, тянул, просил позволения объясниться с Людмилой при встрече. Но мать настаивала. Дело в том, что в личные планы молодых вмешались обстоятельства непреодолимой силы, а именно загадочные планы государства. 22 сентября Нина Вадимовна отправила сыну тревожное и очень решительное письмо.

«По не известным никому причинам Людмилу сделали военнообязанной. Сегодня она уже получила военный билет. <…> Есть предположение, что ей придется уехать, да так, что вряд ли скоро вы встретитесь. Брали только незамужних, не связанных семьей, так что делай выводы сам. Есть слухи еще, что сначала их пошлют учиться, но отсюда выезжать им пока не разрешают. <…> Вот мы и решили, что единственный выход – это срочно пожениться. <…> Неужели же ты будешь еще раздумывать? Это будет хорошо во всех отношениях, тем более что свадьбы в мае мы бы не допустили, как хошь! Примета верная (мой пример налицо). Все

уже спорят, обсуждают предстоящую свадьбу. <…> Напиши Люде “официально”. Целую, мама».

Отступать было некуда. Откладывать свадьбу непорядочно. 15 ноября 1958 года в Березниках был зарегистрирован брак Решетова Бетала Леонидовича и Рассказовой Людмилы Павловны.

Людмила Рассказова

Семья вздохнула с облегчением. Бетал вернулся в Москву, но уже весной приехал в родной город надолго. С 16 апреля по 30 сентября он проходил преддипломную производственную практику по инженерной геодезии в Бюро Генплана Березниковского магниевого завода: в качестве техника проводил инженерно-геологические изыскания на площадке производственной базы треста СУТС (управления «Березникихимстроя»). Впервые за несколько лет он больше полугода провел в родном городе. Именно тогда братья и затеяли сочинять повесть о своем детстве.

Осенью Бетал отправился завершать учебу – впереди были госэкзамены и защита дипломного проекта. Жизненные перспективы определились окончательно: работа по специальности и семейная жизнь в Березниках – Людмила ждала ребенка. Блудный сын возвращался домой.

21 августа 1959 года Вадим Павчинский, слегка обиженный тем, что сестра вернула денежный перевод (он хотел разделить с родными гонорар за первое издание своего романа), все же от души восхищался семейной гармонией: *«Я очень рад за всех вас, за ваше отличное душевное самочувствие, за дружбу и мир, царящие в вашей семье, за Бетьку, ставшего отныне тоже человеком семейным, за Алешу – человека изумительно одаренного, талантливого, которого ждет – я уверен в этом – прекрасное литературное будущее».*

А 15 февраля 1960 года Нине Вадимовне доставили транзитную телеграмму: *«Немедленно выезжайте по поводу вашего сына Решетова Бетала. Директор института Закатов».*

Глава 11
НОЧЬ. 15 ФЕВРАЛЯ...

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем
И не забыл, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать.
Убитым хочется дышать.
Лежат бойцы в земле глубоко.
И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
Глоточек воздуха бы им
На все их рты,
На все их части,
Они бы плакали над ним,
Они бы умерли от счастья!

А. Р.

Нина Вадимовна и Алексей выехали в Москву. В ожидании вестей металась в Березниках Ольга Александровна. Людмила, которой скоро предстояло рожать, угодила в больницу. Они терялись в догадках, сходили с ума, надеялись на лучшее и уже понимали, что случилась беда. Но какая?..

Вечером 14 февраля 1960 года Бетал зашел к Татьяне Степановне, дома ее не застал и оставил записку. *«Баба! Был у тебя в воскресенье. Ждал до 9 ч. 15 мин. Взял деньги (200). Теперь приду нескоро. Очень много работы. Будь здорова. Бетя».*

Едва ли эти несколько строк могли кого-то встревожить.

На следующий день – 15 февраля – Бетал Решетов покончил с собой, ему было 24 года. Тамара Катаева пишет: «Бетя повесился в общежитии в день рождения отца, перед самым рождением дочери Олеси, накануне получения диплома».

Шок был страшен. Никто не мог объяснить матери и брату, что произошло. Им нужно было держать удар, заниматься делами житейскими (в первые минуты трагедии это иногда помогает). Они разговаривали с руководством института и представителями властей, получали бумаги, хлопотали о погребении, известили о случившемся друзей и родных. Впрочем, сообщили лишь о гибели Бетала, не о

причине, которая в свидетельстве о смерти указана так: «асфиксия, сдавливание шеи петлей». Свидетельство получили 17 февраля, на следующий день тело кремировали.

Владимир Михайлюк рассказывает о том, как это было:

> Чтобы доставить тело Бетала в цинковом гробу в Березники, у Решетовых не хватало денег, и они вынуждены были прибегнуть к кремации. В очереди в крематорий наслушались всего, но что особенно глубоко их задело – подвыпившие исполнители кремации, мол, перепутать могут и выдать урну с чужим прахом. Однако есть страшное окошко, глядя в которое, можно проследить: ваш ли покойник идет в печь. Алеша отважился смотреть в это окошко и... потерял речь на три месяца. Он совсем онемел, не в силах был ни с кем разговаривать. Близкие думали, что он уже не вернется в реальный мир. И потом, когда Алеша пришел в себя, он никому никогда не рассказывал, что в том окошке увидел.
>
> Говорят, что при сжигании покойных корчит, они могут даже принять позу «танцующего Шивы». Об этом Алеша ни разу не заикнулся, но огонь и костры в его стихах с тех пор будут гореть и гореть.
>
> **«Вход свободный». «Звезда», 25 сентября 2003 года**

Кремация состоялась 18 февраля. В тот же день в Березниках родилась дочь Бетала – Ольга. Ужас происходящего превышал все возможные пределы. Урну с прахом везли домой в поезде. Алеша молчал. В сердце Нины Вадимовны тревога за младшего сына боролась с болью утраты.

В небольшом городе вести разносятся быстро. Друзья и знакомые сочувствовали Решетовым. «Березниковский рабочий» поместил некролог. Кроме того, Бетал оказался первым умершим, которого хоронили в Березниках в погребальной урне, и на похороны собралось множество людей. Народ заполнил площадь перед домом. Любопытствующая толпа, не желая того, усугубляла горе родных.

Блудный сын вернулся домой навсегда. А его брат никак не мог понять, почему он жив, когда Бетя умер. Как такое возможно? Алексей уходил на кладбище, проводил на могиле дни и ночи. Нина Вадимовна и Ольга Александровна боялись, что потеряют и второго своего мальчика. В конце концов, Алексея поместили в психиатрическую клинику.

Один из врачей сказал, что необходимо заставить пациента заплакать, иначе он не очнется от горя. Из Перми приехали друзья – писатели Алексей Домнин и Авенир Крашенинников. Сутки они, сменяя друг друга, сидели возле окаменевшего Решетова, говорили с ним, пытаясь пробиться к сознанию. И добились: из глаз его покатились слезы. Произошел перелом.

Решетов заново учился жить. Боль его изменила (до смерти Бетала в любом застолье Алеша поражал всех веселым остроумием). Он заново учился говорить. За три месяца молчания произошла мутация поэтического голоса. Когда стихи вернулись – это были стихи взрослого поэта. Юность закончилась, вернее, ощущение времени стало иным.

Ты молода, мой друг, а я – поэт,
И стало быть, мне много тысяч лет.
Я много раз рождался и старел
И на высоком пламени горел.

Он написал это в 28 лет. И это не метафора, а фиксация возраста души, опаленной страданием.

Тамара Катаева пишет: *«Это событие (смерть Бетала) повлияло на всю остальную жизнь Алеши. Время надежд на будущее рухнуло, планы на учебу в Литинституте ушли в прошлое. <…> Вскоре мать Олеси, Людмила Павловна, вышла вторично замуж за хорошего человека и родила еще одну дочку – Леру. Олеся осталась в доме Решетовых. Вся любовь, ранее изливавшаяся на Бетала, теперь оказалась обращена на его дочь. <…> Долгое время в семье запретной была тема смерти Бетала. Одной из важнейших тревог было – не передалась бы Олесе от отца тяга к суициду в трудных житейских обстоятельствах».*

Гибель брата действительно стала для Алексея Решетова событием переломным. И не только (не столько) потому, что рухнули планы дальнейшей учебы – отпали все возможные варианты судьбы. Он их просто отбросил. Убедил себя, что должен оставаться рядом с матерью и бабушкой, растить племянницу, зарабатывать на жизнь, заботиться о тех, кто уцелел. А Нина Вадимовна и Ольга Александровна просто не в силах были отпустить его от себя. Страх за него их ни на минуту не оставлял. Счастья такая ситуация не могла принести никому.

В Советском Союзе о самоубийстве упоминать было не принято. Настоящую причину гибели Бетала знали лишь самые близкие. Оле (в семье ее звали Олеся), видимо, долго преподносили романтическую версию. Как в стихотворении «Золотые врата»: *«Он еще не погиб на скале-крутизне...»* Вадим Павчинский в письме старому другу Савве Марченко писал, что старший сын Леонида Решетова умер от болезни.

Олеся Беталовна Антипьева (Решетова)

Тайна гибели Бетала мучила Нину Вадимовну и Алексея до конца их собственных дней. Нужно ли строить версии?

В юношеском дневнике Бетала есть запись: *«Лондон* (прозвище приятеля. – **К. Г.**) *говорил что-то вроде: жизнь – это игра, из которой никто не выходит победителем. Жизнь приносит человеку горе и страдания. А ведь смерть добрая – это только жизнь приносит мучения»* (4.04.1954). В свете его судьбы слова эти звучат зловеще, но какой подросток не задумывается о жизни и смерти?

Алексей Решетов говорил жене и нескольким близким друзьям, что Бетала вызывали в КГБ. Так ли это? И если да, то чего добивалась от юноши зловещая организация? В одном из писем Нины Вадимовны старшему сыну проскользнула загадочная фраза: *«Беспокоит весь твой быт и устройство, и то, что ты попал в окаянные лапы по своей дурости»*. Чьи лапы Нина Павчинская могла назвать *окаянными* – вездесущего Комитета госбезопасности? Но написаны эти слова 28 августа 1958 года, задолго до трагедии.

Следствие, очевидно, не проводилось. Об этом можно судить по письму Владимира Костина, отправленного Нине Вадимовне вскоре после похорон. В тексте много неясного. Костин был осторожен в тоне и выражениях, и свою корреспондентку призывал к тому же – убеждал ее не продолжать дело. Он считал, что даже если Беталу угрожали или кто-то втянул его в некие «махинации», виновные уже замели следы. Костин был готов помочь отчаявшейся матери, на что бы она ни решилась, но у него имелась своя версия произошедшего: *«Лично я думаю, что смерть Бети все же*

произошла от сильного опьянения, которое на него действовало психически-угнетающе уже не один раз».

Какие именно подозрения существовали? На кого мать возлагала вину за гибель сына? Можно строить предположения. Или, как того хотели родные, не прикасаться к ране.

Нина Вадимовна, очевидно, послушалась совета благоразумного друга. Едва ли из страха, просто у нее не было сил. Она тоже изменилась. Все реже писала родным и друзьям. Иногда годами не отвечала на письма. «Нинуша, родная! Наверное, наш письменный большой разговор так и не состоится. Мне кажется, что за долгие годы ты привыкла к молчанию и никак не можешь его нарушить», – писала ей в 1980-е одна из давних подруг.

В повести «Я себя не прощаю» Решетов подведет итог мучительным размышлениям о судьбе брата: «На этом свете мне не узнать причины. Самый мой любимый человек на свете!»

Речь вернулась к нему через три месяца. Стихи – года через два. О смерти брата Решетов смог написать через три года. В 1963-м появились стихотворения «Убитым хочется дышать» (опубликованное в сборнике «Белый лист») и «Мой брат» (напечатанное лишь в 1981-м в книге «Чаша»).

Мой брат, твой адрес –
кладбище, бурьян.
Земля сырая, мир потусторонний.
Когда тебе из наших дальних стран
Снесут письмо усталые вороны?
Когда расскажут липы на ветру,
Что ни одна звезда не почернела,
И теплый хлеб нас будит поутру,
И нет у жизни края и предела?
Мой милый брат, ты – дома,
я – в гостях,
Мне здесь, в гостях, то весело,
то грустно.
Когда же я тебе о новостях
Поведаю не письменно, а устно?

В стихотворении «Картина» (1987) продолжается разговор того, кто дома – в вечности, с тем, кто в гостях – в заботах короткой земной жизни. Только теперь слышен голос из-под земли: *«Вы в гостях еще, мы уже дома, не су-*

дите, помилуйте нас». За библейским сюжетом тихо возникает тень Бетала.

Разговор братьев никогда не прерывался. Просто они оказались в разных местах. Так уже случалось. *«Сейчас слушаю гитару по радио. А дома у вас, конечно, как всегда, выключено. Хотя у нас сейчас 12 ч., ну, а у вас, соответственно, 2 ч., и радио так и так молчит. <…> Кстати, достал в Москве настоящую "Бесаме мучо", трио "Лос-Панчерс". Приеду – послушаем… Целую тебя. Твой Бледнолицый Брат».*

Теперь время текло иначе, и ехать никому никуда было не нужно. Самые невинные слова из писем Бетала звучали теперь иначе. *«Рад за тебя, что <…> никуда не едешь. <…> По-моему, дома тебе будет лучше, чем где-нибудь»* (9.04.1955).

В поздних стихах, когда встреча приблизилась, голос старшего брата стал отчетливее. Поэт различал слова: *«Ты мне говорил, что не надо смиренно сдаваться судьбе…»*

Эта строка из стихотворения, написанного 18 февраля 2000 года, ровно через 40 лет после кремации Бетала. (В пермском сборнике «Избранное» 2005 года ошибка в датировке, так как указано, что текст создан в 1960-м, в день кремации.)

У Решетова много стихов о смерти. В одном из поздних стихотворений печаль ухода отступает перед радостью – скоро он, наконец, встретится с братом.

– Здравствуй, здравствуй, мертвый брат! –
Я кричу тебе за Лету, –
Как я счастлив, как я рад,
Что вот-вот к тебе приеду.
Никакой животный страх
Мне, поверь, не помешает
Превратиться в тлен. И прах
Твой и мой перемешает.
Сей таинственный состав,
Распылившись по Вселенной,
Уж совсем не нами став,
Сохранится неизменно.
Как цветочная пыльца,
Пчелам милая сегодня –
Он для Сына, и Отца,
И для Матери Господней.

Боль потери никогда не отпускала. Вину за уход Бетала Алексей Решетов принял на себя. В конце своей итоговой книги он пишет: «Я не могу простить себе, что в самые черные мгновения меня не было около брата». Эта вина прорвалась в одном из самых мучительных его текстов.

Среди черновиков есть множество вариантов этого стихотворения. Под одним из наиболее законченных вариантов стоит дата – 15 февраля 1996 года (36-я годовщина со дня гибели Бетала, 86-я – со дня рождения отца).

Ночь. Пятнадцатое февраля.
Перемерзшие тополя.
Вьюги пьяные вензеля.
Вой соседского кобеля.

Мать вздыхает, постель стеля:
– Как там братец твой без жилья?
Как без теплого он белья?
Нищих выращу, знала ль я.

<...>

Снилось давеча: издаля
Вижу будто бы журавля
У барака из горбыля
Жду его, а в руке земля.
Наша лагерная земля,
Я-то думала – конопля!

– Ладно, мама, кончай ля-ля,
Почитай своего Золя...
Завтра мне на работу, бля,
Удобрения ждут поля!
Буду в шахте, шпуры сверля,
В них закладывать капсуля.
И от взрыва бежать, моля:
Пусть придавит, но опосля.

...Я сижу, табачок смоля,
И ко мне не придет мысля,
Что, не балуясь, не шаля,
Брат мой скажет: finita la –
И гортань пережмет петля.
Ночь. Пятнадцатое февраля.

Не решетовский ритм, стиль, голос. Рифмы на -ля он длит бесконечно. Словно бред, накрывший в страшной боли. Обычный зимний вечер врезался в память навсегда, потому что стал последним вечером жизни. Короткой жизни Бетала. Счастливой жизни Алеши, у которого был старший брат – неотъемлемая часть души.

…Спустя несколько месяцев после похорон Владимир Костин выполнил поручение Нины Павчинской: заказал в московских мастерских фото на керамике и надпись с черной эмалью по латуни для памятника Беталу.

Алексей тоже создал памятник брату. Он закончил повесть о детстве, которую они начали сочинять вдвоем. А в 1960 году в Пермском книжном издательстве вышла первая поэтическая книга Решетова «Нежность».

Вадим Павчинский, прочитав ее, писал племяннику: *«Дорогой Алеша! <…> Стихи мне страшно понравились, взволновали до слез, заставили многое вспомнить, о многом задуматься, о многом взгрустнуть. Но сказать-то и не умею. Беден язык, когда речь заходит о лирических чувствах. Только сердце способно выразить их… Я читал твою книжку и думал с болью в сердце, что ее никогда не увидит ни Бетал, которому она посвящена, ни отец, чей прекрасный талант и горячее сердце возродились в сыне. Пусть эта прекрасная книжка будет памятником твоему отцу и твоему брату. Памятником вечной любви к ним»* (21.02.1961).

Часть III
ГОРНЫЙ МАСТЕР

Глава 1
РАБОЧИЙ ПОЭТ

Я, можно сказать, на ощупь помню тонкую обложку «Нежности». С серо-желтым рисунком – уральский ландшафт, над ним птицы и облака. Вполне достаточно, чтобы помнить всю жизнь, если под этой обложкой – настоящие стихи.

Анна Бердичевская
«Взгляд Блока»

Печататься Решетов начал в Березниках, но первой заметила и полюбила его окаянная Пермь (в 1957 году город, 17 лет именовавшийся Молотовым, получил назад свое законное имя).

В конце 1950-х стихи молодого горного механика появились на страницах пермских газет «Молодая гвардия» и «Звезда», затем его подборка была напечатана в альманахе «Прикамье». В 1960-м в Пермском книжном издательстве вышла первая поэтиче-

ская книга Алексея Решетова «Нежность» (тираж – 3 тысячи экземпляров, цена – 60 копеек). Бумажная обложка цвета уральского неба в пасмурный день, на серо-голубом фоне скользят ласточки, облако закрывало месяц. Оформляла книгу Маргарита Тарасова, которая недавно приехала на Урал и начала работать художественным редактором Пермского издательства. Редактором сборника стал Савватий Гинц.

Анна Бердичевская (сегодня московский писатель и издатель, а в 1960-е – студентка мехмата) рассказывает:

«Савватий Михайлович Гинц, редактор Пермского книжного издательства, замечательный литературовед и критик, гордился, как находкой, молодым поэтом из Березников. Он говорил моей маме (художнице Галине Михайловне Якубовой. – **К. Г.**): "*Наконец-то я издаю книжку настоящего большого поэта*". *И вот однажды принес и торжественно подарил маме эту книгу, она называлась* "*Нежность*". *Не дословно, но помню дарственную надпись: "Не перевелись еще поэты на земле русской". А надо сказать, что Гинц был человек чрезвычайно поэзии не чуждый. Он и сам писал, и знал наизусть практически всю русскую поэзию, включая то, что не печатали. Ему можно было доверять».*

Вкусу и чутью Савватия Михайловича доверял и Решетов. В фильме Светланы Миралевич «Вечность нас пригласила в гости» (1994) Алексей Решетов вспоминал своего первого редактора:

Савватий Гинц

«Гинца я очень любил. Редактор он был удивительный. Я перед ним был пацан, в три раза младше, а он мне говорил: "Давайте, Алексей Леонидович (называл по имени-отчеству), уберем стихи или менее сильные, или более слабые. Выбирайте, как вам самому удобнее"».

Рассказал Решетов и о том, как Савватий Михайлович с ним простился. Историю можно было бы счесть мистической, если бы речь не шла о поэте. Осенью 1974 года Решетов

поехал за грибами (*«куда-то к черту на кулички, на Сылву»*). Три дня пропадал, ночевал на полу в каком-то доме, где не только радио, но и электричества не было. И вот, в последнюю ночь ему приснился Гинц, мелькнуло перед самым пробуждением его лицо.

Владимир Радкевич

«Он вообще был красивый: такая чистая седина, обаятельнейший человек. Прихожу домой, мама говорит: “Ты где столько пропадал? Ты же ничего не знаешь… Беда какая!” Я говорю: “Знаю, Савватий Михайлович…” Накануне передали по радио или по телевидению, что умер Гинц. Говорите, нет каких-то волн, неизвестных еще науке?.. Нет, что-то есть. Потому что, проснувшись, я совершенно точно знал: что-то произошло».

…Первый отзыв на книгу начинающего поэта появился в областной газете 30 августа 1959 года, то есть еще до того, как сборник увидел свет. Написал рецензию (первую в жизни Решетова) Владимир Радкевич.

> «Земля в заботе» – так озаглавил двадцатидвухлетний березниковский техник свою первую книжку стихов, работа над которой еще не закончена. <…> Алексей Решетов умеет видеть необыкновенное в обыкновенном.

Коллега по цеху отметил особенность взгляда, которую Решетов сохранит на всю жизнь.

Стоит сказать, что одна из первых рецензий самого Решетова, опубликованная «Березниковским рабочим» (31.05.1955), была посвящена книге Владимира Радкевича «Разговор о счастье». Но когда младший восхищается старшим – это нормально. Вот когда старший отдает должное младшему… А Радкевич сразу оценил *двадцатидвухлетнего березниковского техника* и полюбил его стихи. В одной из предсмертных записок Владимир Ильич написал: «Чертовский талант у Леши Решетова…»

Собственно, благодаря поэту Радкевичу и прозаику Давыдычеву стихи Решетова и попали в Пермское книжное издательство, сам он едва ли решился бы их туда послать.

Однажды, в конце пятидесятых, Лев Давыдычев и Владимир Радкевич были в командировке в Березниках и случайно увидели в местной газете подборку молодого автора. Выяснив в редакции, кто такой этот Решетов, будущие мэтры пермской литературы отправились знакомиться, а познакомившись, привезли произведения березниковца в Пермь. С их подачи стихи Решетова были опубликованы в областной газете и легли на стол редактора художественной литературы Пермского издательства Гинца, который тоже, говорят, поехал лично знакомиться с молодым горным техником.

К моменту выхода из печати «Земля в заботе» превратилась в «Нежность». И все же в первых печатных откликах подчеркивалось: автор книги – рабочий паренек. Газета «Березниковский рабочий» известила читателей:

> В канун Нового года в Пермском книжном издательстве вышла книжка стихов Алексея Решетова, начальника смены солемельницы рудника. <...> Легко и с интересом читаются стихи Решетова. Поэту свойственны раздумья, мечты. Хорошо удаются романтические образы из партизанской жизни.

Информационный повод был серьезный – никто из березниковцев раньше не издавал книги стихов. И время для дебюта было идеальное. «Оттепель» отпустила слово на волю. В СССР гремел поэтический бум. Ни до, ни после в стране не выходило столько поэтических сборников. Поэты собирали стадионы и огромные залы, давали автографы, как кинозвезды, становились кумирами молодежи. Провинция подтягивалась за столицей.

Шахтер Алексей Решетов

Однако к Решетову это не имело особого отношения. И не потому, что он жил далеко от Москвы. Просто биографически он принадлежал к своему поколению, а по сути – выпадал из него. Решетов не был шестидесятником. *«Все*

любили Хемингуэя, пели про Париж, все куда-то спешили, летели, ехали – коль не в Париж, так на Сахалин или на Колыму, на коктебельские пляжи или на Рижское взморье… А Решетов "от кирпичного завода на кожевенный завод". <…> Человек на все времена – всегда человек не ко времени», – сказала о нем Майя Никулина.

Противостоять времени трудно. Это может себе позволить лишь тот, кто готов стоять на своем и принять не только победу, но и поражение.

Анализируя конфликт поэта с эпохой в книге «Пермь как текст», Владимир Абашев отмечает «некоторые внешние совпадения со временем, его эстетикой и пафосом», но делает вывод: *«Внутренне, по существу своего художественного созерцания, Решетов скорее расходится с популярными стилистическими вариациями поэзии шестидесятых, чем совпадает с ними. В то время как шестидесятников больше волновало общественное, национальное, историческое, в поэзии Решетова с неподдельной глубиной выразилась тяга к экзистенциальной проблематике человеческого бытия. Один из многих, он не поддался двусмысленности, скрытой в эпохе, обнаружив всем своим творчеством тихое, но упорное сопротивление соблазну той неизбежно фальшивой общественности, которую только и могли предложить те годы вне откровенно диссидентской стратегии поведения».*

Однако это станет ясно спустя годы. В шестидесятые про экзистенциальную проблематику поэзии Решетова и речи быть не могло. Зато многие сразу услышали спокойный голос, который выделялся из общего хора. Хотя хор был большой и дружный.

Надежда Гашева пишет в очерке «Собеседник сердца»:

<…> Шестидесятые годы только начались, и поколению еще не присвоили их имя. Не знаю, как другие шестидесятники, а я тогда еще не успела понять, какого поколения мы люди, что за история там, за нами, тем более – там, перед нами. Но Алеша окликнул нас, и как-то сразу историческая даль, совсем еще недалекая, стала проясняться.

…И умещались двести хлебных граммов
На сводке с фронта в двадцать строгих строк…

Сердце дрогнуло. Это же про нас. Это мы с братом, маленькие, посреди военной зимы в городке Березники, в очереди

за хлебом. А отец на фронте. А черный репродуктор-тарелка громыхает маршами. <…> Стихи сразу ложились в память, но именно потому, что сначала вздрагивало сердце. <…>

Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем.

Это ведь он о себе, – узнаю я после. Это погиб его любимый старший брат. <…> Это ведь он обо всех, – понимаю я. О своем горе, о твоем. О своем брате, о любом брате. О своем отце, о миллионах отцов, не вернувшихся к родным с войны, расстрелянных по тюрьмам, погибших в лагерях ГУЛАГа. <…> Он, как и все мы, рос на барабанной, по большей части лживой, советской поэзии 40-х и 50-х. Правда, была классика прошлых веков, чья-то память хранила иную речь писателей и поэтов, находившихся под запретом. Существовала иная музыка, иная живопись – искусство все-таки вечно. И Алеша догадался на берегу своей дороги дальней, как ему придется жить и писать.

Валерий Виноградов в очерке «Встречи на перепутьях» описывает, как в 1958 или 1959 году стал одним из первых слушателей стихов Решетова. Однажды в мастерской позади кинотеатра «Художественный» (прежде и ныне – «Триумф»), где по вечерам собирались молодые художники, появился симпатичный глазастый поэт из Березников. Никто даже имени его не знал.

<…> Его попросили почитать стихи, и он, не выпендриваясь, сразу же стал их читать. <…> Стихи были удивительные. Но еще удивительнее было то, как ему удалось не подпасть под влияние фрондирующих, хлестко пишущих последователей Маяковского – Рождественского и Евтушенко. Его стихи были не столько стихами, сколько то карандашными или пером сделанными черно-белыми рисунками, то насквозь пронизанными светом и цветом акварелями, то пастельными снами-сказками в стиле Чюрлениса. И потому березниковский поэт в мастерской сразу же стал своим в доску парнем.

В тот вечер, вдохновившись то ли внешним обликом кучерявого, лобастого и глазастого поэта, то ли его стихами, мой друг Генаша начал писать его портрет, и, когда тот кончил читать стихи, портрет вчерне уже был готов.

Выглядел он так. Хаос клубящихся форм, объемов, цветовых пятен. И из этого хаоса струящихся потоков цвета и

А. Решетов в 1960-е годы

света глаз вдруг выхватывает написанное, как через стекло «времени», лицо поэта. Сочетание натурального письма с попыткой Генаши изобразить неизобразимое, не поддающееся тактильным ощущениям – Время в предельно сжатом Пространстве холста – вызывало какое-то жутковатое ощущение.

Решетов долго разглядывал свой портрет. Похоже, он ему нравился.

Молодые художники дружно выпили за молодого поэта.

– Слушай, как хоть звать-то тебя?

– Алексей... Решетов.

– Вот и славно, что ты Алексей, божий человек...

Сборник «Нежность» заставил читателей – и профессионалов, и любителей – запомнить имя автора. А когда появился «Белый лист», стало ясно, что предсказание опытного издателя Гинца сбылось – появился новый поэт. О нем мало что было известно: живет в Березниках, работает на солемельнице – простой рабочий парень. Он вызывал большой интерес. Наиболее любопытные поехали знакомиться и, оказавшись в доме Решетовых, увидев его маму, послушав рассказы бабушки, начинали понимать: Алеша Решетов не совсем рабочий поэт.

В 1966 году из печати вышел пятый номер альманаха «Молодой человек» (в Перми тогда возникло немало литературных изданий) с большой статьей Семена Гравина «Молодость стиха». Гравин, по профессии врач, был известен в Перми как знаток литературы и авторитетный рецензент. В статье он анализировал изменения, произошедшие в пермской литературе за последние пять лет: «Возможно, когда-нибудь грядущие историки пермской литературы назовут это время переломным». Началом перелома Гравин считал рубеж 1960–1961 годов, а первым свидетельством начала новых времен – книги «Нежность» и «Белый лист».

Критик выделял Решетова из созвездия молодых стихотворцев, уже не привязывая его к Березниковскому

калийному комбинату, а перемещая в поле подлинной культуры.

Решетов в поэтической цельности своей поднялся сейчас выше всех и «перекрыл» и молодых, и опытных. После «Нежности» стихи его регулярно печатались в «Молодой гвардии», всех выпусках «Молодого человека», «Современниках», но главное – вышедший в 1965 году «Белый лист». Книга эта совершенно определенно означала, что период «набирания сил» в молодой пермской поэзии окончился; достигнут рубеж, с которого уже нельзя судить о ней как о «местном явлении». <…> Самый веский довод в признании поэта принадлежит, как всегда, читателю. Его реакция известна: «Белый лист» был распродан за несколько дней – случай с местным изданием в пермской книготорговле невиданный.

Гравин отмечал зоркость художественного зрения поэта, его *«экономный, энергичный стиль, психологическую достоверность образов и, наконец, его неповторимую поэтическую индивидуальность, без которой поэзия – будь она стократно правильной идейно – не поэзия».*

Настоящий поэт всегда создает свой собственный, им одним построенный и осмысленный мир. Создал его и Решетов. В этом мире по-человечески тоскуют старые портреты и чистой поэтической кровью пишутся стихи, взрывается в канун гибели звезда и белые – неначатые – бумажные листы подобны капитулянтскому белому флагу. Решетовской Вселенной нет ни на географических, ни на звездных картах – и она совершенно реальна: обыкновенное поэтическое чудо…

Критик утверждал: *«Столь цельного и чистого <…> поэта в Перми до Решетова мы не знали».*

Поэт не любил Пермь, а Пермь сразу попала под его обаяние. Решетов для Перми, как Пушкин для России, – первая настоящая любовь. После появления «Белого листа» в окаянной, деревянной, проклятой Перми прошли его первые литературные вечера.

Один из них вспоминает Анна Бердичевская:

«Было это, кажется, году в шестьдесят шестом, и, скорее всего, в Доме журналистов, “домжуре”… Этот дом на Сибирской (тогда Карла Маркса) очень памятен мне. Там столько сердец разбилось, такие появлялись восхитительные

Приглашение на литературный вечер

лица, такие звучали речи, голоса. <…> Решетов стоит у стены, с узким, бледным, безошибочно узнаваемым лицом поэта. В берете, в шарфе вокруг шеи. Его дымчатые глаза прикрыты веками, смотрит неведомо куда. Туда, где нет никого из нас. Взгляд Блока, тот самый. <…> Он читал стихи, и каждый в зале, в точности как я, понимал, что это читает настоящий поэт. Берусь утверждать, что молодой Решетов, читающий глухо, в одну дуду, как бы и не для народа, был абсолютно всем народом сразу и целиком понимаем и принимаем. Более того, слово "народ", когда читал Решетов, приобретало тот самый смысл, который из обиходного сознания почти исчез. Совестно как-то после множества лет проживания на своей территории, но в ссылке и в зоне, при начальниках, чувствовать себя и своих соседей русским народом… Когда читал Решетов, переставало быть совестно. Приходили в себя».

В зале на втором этаже Дома журналистов собралось в тот вечер человек 150 – много для этого маленького зала. Люди, замерев, стояли вдоль стен, сидели в проходах. А молодой поэт читал глухим голосом, с еле уловимой мелодией:

Кофточка застенчивого цвета,
Под косынкой – золотая рожь.
Женщина, тиха, как бабье лето,
Протянула запотевший ковш.
Ничего она мне не сказала,
Просто поспешила напоить.
Петь устала, говорить устала,
Только нежной не устала быть.

«И у меня перехватило горло», – говорит Анна Бердичевская.

Был на том вечере и молодой геолог, тоже поэт, Семен Ваксман. Он тоже не забыл чувство, охватившее его тогда.

«Зал умолк, и голос, глуховатый, замирающий на концах строк, стал слышен и в коридоре, где тоже теснился народ. Он читал так, что в зале наступила полная, какая-то космическая тишина, и каждое слово его было слышно.

Когда прощально кружат журавли
Над отдаленным призрачным строеньем
И лесом, лиловеющим вдали,
Я полон журавлиным настроеньем.
Мой серый взор стремится в синеву,
И тяжело, и слабо машут веки,
И сам, подобно журавлю-калеке,
Я падаю в осеннюю траву.
Я припадаю к матери-земле,
И вместе с ней горюю и мечтаю,
И привыкаю к медленной зиме,
И самообладанье обретаю.
Так славься та великая печаль,
Которая на лике человека
Стирает безмятежности печать
И мужеству предшествует от века.

Что поразило меня? Строение! Какое это строение, что за строение? Амбар? Какая разница, какая разница! Это не имеет значения. Просто – строение. И лес лиловеет вдали... Вот тут что-то такое случилось со мной, и в других стихах я запомнил лишь некоторые строчки. Карандаша у меня с собой не было, а жил я тогда на Коноваловских пашнях (ныне Садовый). На улице неразбериха, транспорт не ходит... Я шел от Дома журналистов пешком через весь город и повторял то, что сумел запомнить. Повторял затем, чтобы добраться скорее до дома и записать эти слова».

Глава 2
ВИКТОР И ВЕРА

О, женщина! Что за натура!
Нарочно является к нам
Одним волоском белокурым
Связать по рукам и ногам.
Чтоб мы моментально привыкли
И выли, как волки, потом
На лунки от детской прививки
Под строгим ее рукавом.

А. Р.

«Нежность» – юношеская книга, в нее вошли стихи, написанные в конце 1950-х, большую их часть Решетов в последующие издания не включал. Некоторых даже стыдился. А вот стихи, составившие «Белый лист», почти полностью попали в корпус классических текстов поэта. Два первых сборника разделяют всего четыре года, но за это время случилось многое. Гибель брата перевела регистр – изменила не только интонацию, но и всю *концепцию вселенной.* Большая любовь добавила миру красок и света. Обретение друга-единомышленника помогло принять собственное назначение. Появившаяся литературная среда – молодые товарищи, веселые собеседники – дала душе радость и утешение. Ведь как писал Давид Самойлов:

Нам смолоду нужна среда.
Серьезность и белиберда
В неразберихе поздних бдений,
Где через много лет поэт
Находит для себя сюжет
Или предмет для размышлений.

Средой творческого обитания стал литкружок при газете «Березниковский рабочий». Место это многое дало Решетову, хотя в «Ждановских полях» он высказался о нем иронически:

«Кроме прочих, на кружок приходит Иван Иванович – он пишет очерки то под Джека Лондона, то под Мамина-Сибиряка – хорошо пишет. Милиционер Рассудихин – ни гугу

о милиции, а носит стишки детские. <…> Или песни. Его печатают охотно для “субботнего чтения”. Еще одна старая учительница ходит. Пишет повестушки, все они заканчиваются на вокзале таким образом: “Паровоз набрал скорость и радостно свистнул”. Про что еще у нас пишут? Про родной город на Каме – там, где сосны и ели да песни».

Собственно, это не литературный кружок «Березниковского рабочего» образца 1950-х, а любое литобъединение. Однако знакомство с произведениями товарищей по перу привели Решетова к важному выводу.

«И впервые я подумал: и что мы все выдумываем, чего с нами не было, чего и вообще не бывает на белом свете? Стыдимся себя? Боимся показаться скучными и глупыми? Подонки. Почему же никто не скажет, что писателем надо родиться?

Китайцы говорят, что женщина – не женщина, если в ней нету “поди сюда”, магнитной, притягательной силы. В литературе тоже должна быть эта сила – “поди сюда”. Можно писать “читабельно и боевито”, но “поди сюда” – это от Бога! Повод и материал для писания должна поставлять сама жизнь наша, когда невозможно другим способом уйти от своих чувств, разобраться в своих мыслях. Все мои стихотворения – из жизни, навеяны жизнью и в ней коренятся. Стихотворения, что называется, взятые с потолка, я ни в грош не ставлю. Смешно говорить, что действительная жизнь лишена поэтического интереса: в том-то, наверное, и заключается талант поэта, что позволяет ему и в обыденном видеть интересное».

Жизнь, как ни странно, дает человеку возможность равновесия. Следом за страшным горем посылает любовь. Выбив почву из-под ног, помогает обрести опору.

После смерти старшего брата судьба послала Алексею Решетову друга. Конечно, не одного – именно в первой половине 1960-х он встретил нескольких людей, которые остались ему дороги до конца жизни – но сейчас речь об одном. Правда, для того, чтобы начать этот рассказ, нужно процитировать воспоминания другого близкого Решетову человека – Владимира Михайлюка.

В очерке «Тогда в Березниках…» Михайлюк описывает знакомство с Решетовым. В 1961 году молодой журналист

«Молодой гвардии» приехал в Березники, чтобы подготовить целевой номер газеты, посвященный местной комсомольской организации. Одним из героев номера должен был стать поэт, недавно выпустивший в Перми книгу.

Ю. Марков, В. Михайлюк, А. Решетов

«Встреча наша произошла возле Дворца культуры калийщиков, рядом с его домом. Алеша показался мне застенчивым и робким. Когда я попросил у него стихи для газеты, он ответил:

– А вы лучше напечатайте Витю Болотова. У него стихи – не то что мои, а не печатают… И зря. Он учится на третьем курсе Литинститута и работает в многотиражке титано-магниевого комбината».

Предложение напечатать – лучше! – стихи другого поэта – типично решетовский поступок. (Кто еще так бескорыстно воплотил в жизнь утверждение Блока, что поэты – не тенора, чтобы состязаться?) Решетов и потом был убежден, что Виктор Болотов пишет лучше его. Говорил: «Я что, я дедушка Крылов, вечно у меня какая-то мораль вылезает, а вот Витя – настоящий поэт!»

Болотов был младше на три года. Он родился 6 января 1941 года в Казахстане (город Балхаш Карагандинской области). В этом факте Решетов видел знак: их с Виктором судьбы сплелись с самого начала. Ведь недалеко от тех мест, где родился его друг, Нина Павчинская начала отбывать лагерный срок. Можно добавить, что в 23 года Болотов попал на флот и служил на острове Русском, где родилась матушка Решетова.

Виктор был четвертым ребенком в семье. Две старшие сестры и брат рано научили его читать. Так же, как Алексей, он не помнил отца: Мартын Болотов ушел добровольцем на фронт и погиб в самом начале Великой Отечественной. Мать Клавдия Григорьевна была из староверов, родом

с Алтая. Получив похоронку на мужа, она забрала детей и перебралась в родные места – в деревню Неводская Михайловского района. Там прошло голодное сиротское детство, о котором Болотов в своих стихах почти не упоминал. Но 6 мая 1964 года он писал другу о его первой повести: *«“Зернышки” твои еще раз прочел с радостью и грустью – грустно оттого, что там столь много дорогих моему сердцу деталей детства, далекого, но живущего нетленно в нас – глубоко-глубоко. Радость – за тебя, грусть – по человечеству».*

Когда Виктор окончил начальную школу, сельский учитель Павел Иванович Ищенко убедил Клавдию Григорьевну, что у ее младшего сына большие способности и ему необходимо учиться дальше. Мать отвезла Витю в село Михайловское, где была десятилетка… Судьба или география подбрасывает такие аллюзии? В школе районного центра с пушкинским именем Болотов редактировал стенгазету, записался в литературный кружок, начал читать серьезные книги и сочинять стихи… Да и в названии родной деревни матери слышится – *в третий раз закинул он невод*… К 1958 году, когда Болотов окончил школу, главным для него раз и навсегда стала Поэзия (это слово он писал с большой буквы).

Первое стихотворение Виктора опубликовала районная газета «Под знаменем Ленина», автору было 15 лет. В этой же районке он проработал после школы год, а потом уехал в Новосибирск. Был грузчиком, аппаратчиком, лаборантом на заводе редких металлов, принял участие в освоении целины, за что получил свою единственную в жизни медаль. Занимался в местном литературном объединении при газете «Молодость Сибири».

В 1960 году Болотов успешно прошел огромный творческий конкурс в Литературный институт. Его зачислили на заочное отделение в семинар поэта Дмитрия Ковалева, который заведовал в то время редакцией прозы и поэзии в издательстве «Молодая гвардия». (Тут надо отметить неточность в воспоминаниях Михайлюка – в 1961-м Виктор Болотов учился не на третьем, а лишь на первом курсе Литинститута.) Ковалев, рецензируя стихи ученика, дал любопытное заключение: «Автор слишком талантлив». Это не было похвалой, скорее диагнозом – девятнадцатилетний студент из провинции не укладывается в заданные рамки.

В результате чрезмерности таланта печатать Болотова в Москве не стали. Заочник вернулся в Новосибирск, но там не сложилось с работой и жильем, и он уехал в родную деревню, где и затосковал, как всякий молодой поэт в Михайловской (Неводовской) ссылке. Мать придумала выход: отправить сына к своей сестре Клавдии Григорьевне. Та жила в Березниках (на Урал тетку Болотова занесло в годы коллективизации).

Виктор приехал в небольшой промышленный город и как будто начал с чистого листа, скомкав черновики. Огляделся, устроился на работу в многотиражку титано-магниевого комбината, пришел на литобъединение «Березниковского рабочего». Обстоятельства первой встречи Решетова и Болотова нам неизвестны, но не познакомиться в Березниках они не могли. Встреча без преувеличения оказалась судьбоносной. И что удивительно – два молодых поэта искренне полюбили стихи друг друга.

Все мемуаристы упоминают, что Алексей Решетов ценил творчество друга выше своего, но, кажется, никто не говорит, что восхищение было взаимным. Болотов был более критичен, склонен к анализу, жесток, но, как он сам утверждал, за поэзию не врал никогда. Он не раз называл стихи Решетова классикой и тоже, бывало, признавал его превосходство. *«Меня, старик, зависть гложет – я-то понимаю, что до такой пластики, такой обнаженности мне далеко. Но больше радостно – когда читаешь настоящие стихи, кажется, что понимаешь смысл жизни. <…> Старик, ты меня еще раз спас, ты мне истину вернул»* (15.07.1966). В его устах это дорогого стоит!

Или, например, такое. *«Я веду здесь пропаганду насчет тебя (с эпитетами “великий”, “гениальный” и т. п.). То есть, говоря на полном серьезе и откровении, я к тебе отношусь с – ну, как это выразить? – благоговением, что ли? И я скажу почему. Ты – редкость, ты большой тонкий талант. Вот я, например, никогда не смог бы увидеть такое: “а уж она впадает в Лету, кружа опавшие сердца”. Понимаешь, чтобы сказать “опавшие”, нужно обладать качественно иным – и зрением, и мировосприятием. <…> Это я говорю отнюдь не для успокоения твоего. Предела-то нет на нашей дороге. Но ты должен понять свою необходимость как поэта, должен расковаться и работать не по наитию, не только по*

наитию, а работать много, до белой горячки. <…> И вот где критерий самобытности – у тебя нет случайных, не "твоих" стихов. А у меня, к сожалению, есть. Тут уж ничего не попишешь» (24.01.1967).

Здесь не просто похвала. Болотов точно знает, за что хвалит, что и почему его восхищает. А слова о том, что надо «работать до белой горячки», иронически перевернутся потом в строчках Решетова: *сапожник допился до белой горячки, поэт дописался до белых стихов…*

В поэзии Решетов и Болотов стали не соперниками, а соратниками. Некоторое время дальнейший творческий путь им виделся общим – этакая малая литературная группа из двух человек, которая заявит о себе, пробьет себе дорогу. Даже шутливое название у этой группы имелось – «Дети лейтенанта Шмидта»: Болотов был братом Васей, Решетов – братом Колей (впрочем, иногда они менялись именами).

Для Алексея, недавно потерявшего родного брата, обретение брата духовного (которого можно лишь узнать, чудесным образом встретить) имело большое значение. Влияние Болотова на него в начале 1960-х огромно. Не поэтическое влияние (Решетов никогда не пытался, да и не смог бы копировать поэтику младшего друга), а человеческое, личное. Прямое признание в этом звучит в одном из писем: *«Я тебе так благодарен за вбитое мне в башку и в душу желание высшего, ощущение неудовлетворенности как единственно возможного состояния. Тоску собаки, тягу перелетных птиц… Словом, ты вышиб из меня остатки самодовольства»* (27.07.1964).

Виктор Болотов

Алексей Решетов, уже замеченный издателями и критиками, тут же начал помогать другу. Сделал для него то, чего никогда не сделал бы для себя – отправил рукопись Виктора в Пермь. И – невиданное дело! – из областного центра, чтобы познакомиться с Болотовым, приехали главный редактор книжного издательства Александр Граевский и набирающий силу писатель Виктор Астафьев. Пермские ценители поэзии недоумевали: что происходит в Березниках? Почему именно оттуда

доносятся самые сильные и поставленные голоса? Второй раз за короткое время в центре химической промышленности объявлялся самобытный поэт!

Однако дружба литературных братьев подверглась вскоре испытанию, которое почти невозможно пройти. Соперниками в литературе они не стали, зато стали соперниками в любви. В городе, где одновременно живут два молодых поэта, не может не появиться юная красавица. Закон жанра.

Первым увидел ее Алексей Решетов. Это случилось в 1963 году. Владимир Михайлюк пишет: *«Алеша познакомился с ней в своем родном горнохимическом техникуме, куда его пригласили на встречу с учащимися и где училась Вера. Было ей в ту пору 18 лет. Тогда же увидел я ее и у себя в деревне, куда она приехала вместе с Алексеем. Красивая».*

«Красивая» – первое, что говорили и думали о Вере Нестеровой все, кто ее видел. Большие зеленые глаза, густые волосы, лицо, которое не пропустишь и не забудешь. А еще она была немного странная. С годами эта странность станет болезненной, трудной, но в юной девушке она была восхитительна. Через 36 лет после первой встречи Вера писала Решетову: *«С детства я была немножечко не от мира сего. <…> Мой отец был по паспорту русский, а его мать, бабушка моя Устинья, была из народа эрзя, у меня ее овал лица, длинные пышные волосы были. <…> Мой дед Федор любил бабушку всю жизнь и никогда ее не обижал. <…> Я родилась под созвездием Девы 30 августа 1945 года».*

Относительно обстоятельств знакомства существуют версии. Михайлюк считает, что Вера была на встрече поэта с учащимися техникума. Юрий Марков утверждает, что с Верой Нестеровой познакомил Решетова он, так же, как через десять лет познакомил его с Тамарой Катаевой.

Известно, что Вера приехала в Березники на практику – собирать материал для дипломного проекта, она заканчивала химико-механический техникум в Закамске. Учеба ее почти не занимала – нужно же было получить какую-то специальность. Отец Веры Нестеровой был учителем литературы, поэтому она стала страстным читателем и начала сочинять стихи. В Березниках дипломницу поселили в общежитии на улице Фрунзе (дом 20). Там же в это время

жил еще более юный Юрий Марков. Бывший детдомовец учился на токаря по той же причине, что Вера на химика, и сочинял стихи и песни. Марков и привел Веру в литературный кружок, познакомил с творческой, как сказали бы теперь, тусовкой города.

По совету Юрия Вера пришла к Алексею Решетову домой. Принесла единственному в Березниках автору настоящей поэтической книги свои сочинения. Юрий предупредил девушку, что в доме Решетовых-Павчинских не особенно принимают посторонних женщин. Но, как он пишет, «с ней, как ни странно, все обошлось».

Решетов потом рассказывал жене про этот первый визит. В мемуарном очерке Тамара Павловна передает его рассказ: *«Алеши не оказалось дома, дверь открыла баба Оля. Когда Алеша вернулся домой, бабушка с порога сказала ему: “Где тебя носит? К тебе приходила такая красивая девушка!” Рассказывая об этом, Алеша подчеркивал, что Ольга Александровна редко какую из женщин хвалила за красоту».*

Можно не сомневаться, Алексея удивила реакция Ольги Александровны на явление юной незнакомки. Когда же он наконец сам увидел Веру Нестерову, то влюбился сразу и без памяти.

Они говорили о ее стихах (впервые Решетов выступил в качестве литконсультанта) и о поэзии вообще. Он помогал Вере делать чертежи и писать диплом. Показывал любимые места (возможно, с его подачи она тоже навсегда полюбила Березники). Знакомил с друзьями. Как пишет Тамара Катаева: *«Многих из того березниковского богемного окружения Вера притягивала не только внешностью, но и чистотой молодости в сочетании с открытостью, редким для того времени независимым характером, загадочно-непонятным восприятием мира».*

Владимир Михайлюк вспоминает, как однажды в середине лета (1963 или 1964 года) Решетов привез Веру к нему на Круглый Рудник. Владимир Максимович в то время работал в бригаде проходчиков вертикальных стволов на строительстве Второго калийного рудоуправления и снимал угол в этой деревне, *«состоящей из одной улицы и двух переулков».* Слева деревню огибала речка Зырянка, справа тянулся овраг с бурлящими ключами, за оврагом – колхозные поля и березовые склоки.

Деревню эту Решетов очень любил и не раз приглашал туда гостей – Льва Давыдычева, Юрия Маркова. Они читали стихи, пили, пели, спорили до утра. А хозяйка дома, приветливая Фекла Степановна, угощала друзей своего постояльца пельменями, солеными грибами и окрошкой с хреном. Она прониклась уважением к молодым людям, которые так складно и хорошо говорили, а когда Михайлюк прочел ей напечатанный в «Звезде» рассказ Льва Давыдычева, даже всплакнула и к его приезду готовилась особо.

Веру Решетов тоже привез в это заветное, заповедное место. Михайлюк описывает тот визит в подробностях: жару, родник, возле которого они сидели, разговоры, первые за лето жареные грибы, букет васильков, который собрала Вера (*«на все общежитие, в каждую комнату»*). Он слегка поддразнивал гостью, просил ее почитать свои стихи, сам декламировал первые строки. Вера смущалась и отказывалась. В конце концов *«произошло неожиданное. Вера внезапно приняла неведомо для чего красивую позу и, вскинув руку ладонью кверху, направив ее в нашу сторону, взволнованным голосом произнесла:*

– Поймите ж вы, в дождливых городах и в золотых окрестностях столицы мне не помогут желтые тюльпаны.

Печаль была в интонациях ее голоса. <…> А ведь перед ней в ту пору была возможность иной жизни. <…> Это был последний эпизод нещедрого к молодому Алеше счастья. Тут оно лишь коснулось его и прошло мимо».

Насмешливый Решетов прощал Вере склонность к красивым жестам и экзальтацию. Эта любовь вышибла из него такие стихи, что можно благодарить судьбу за то, что встреча состоялась. Вот только счастливая любовь стихов не требует.

Когда Алексей и Вера познакомились, Виктор Болотов уезжал в Москву на сессию. Вскоре он вернулся, и Решетов тут же представил любимую девушку лучшему другу. На этом идиллия закончилась, и начался чистый Достоевский.

Глава 3
РОМАН В ПИСЬМАХ

Попытка душу рассказать
Небезопасна:
Что в ней
Творилось миг назад –
И то неясно!
Пока я что-то бормотал,
Она молчала,
И я лишь смутно различал,
Что в ней звучало.
Глубоким голосом грудным,
На чистой ноте,
Который, лишь припав к родным
Губам,
Поймете.

Виктор Болотов

Болотов полюбил Веру сразу, со всем пылом двадцатидвухлетнего гения. Прав Борис Пастернак: *«Любимая, – жуть! Если любит поэт, / влюбляется Бог неприкаянный. / И хаос опять выползает на свет, / как во времена ископаемых».* А если любят два поэта? А если они лучшие друзья? И каждый в душе убежден, что соперник достойнее его?.. Это был не нормальный любовный треугольник, а заколдованный круг. «Психбольница на выезде» – так описал ситуацию Лев Давыдычев.

Юная Вера Нестерова оказалась в эпицентре бурных страстей. Жизнь ее наполнилась вещами гораздо более увлекательными, чем подготовка дипломного проекта. Она стала Прекрасной Дамой. Почувствовала себя необыкновенной. Да и была, должно быть, необыкновенной в тот, самый яркий, период своей жизни. В обществе поклонников – умников, говорунов и стихотворцев – больше помалкивала. Решетов уверял: *«Вера – сфинкс». (*Сама Вера потом объясняла: *«Любовь – полунема. <…> В молчании кроется чудо!»* 11.03.1999.) Удивительная девушка казалась воплощением вселенской тайны, к тому же она бредила стихами. Все трое оказались на общей – крутой и высокой – волне.

Роман со всеми его мучительными тупиками и завихрениями отразился в переписке. В то время друзья были страшно откровенны друг с другом. Общая муза, казалось, еще больше сблизила их.

Зелены твои глаза,
Словно рощи Родины,
И родных лесов роса
В них навек заронена.
Ты легонечко идешь
По тропинкам города,
Как идет легчайший дождь –
Озорно и молодо.

Виктор Болотов

* * *

Ты легким светом вся озарена,
Ты вовсе не такая, как другие,
Ты у меня, как Родина, одна –
Жизнь без тебя страшна,
как ностальгия.

Алексей Решетов

Виктор был решительнее, шел напролом, готов был достать луну с неба. Или хотя бы прокатить с ветерком по Каме. Один из подвигов описан в письме Решетову: *«Рассказать, как мы с Верой уезжали из Березников? Юмор. В один день мы не смогли – не хватило билетов на “ракету”. На второй – тоже. Вера рвет и мечет. Что делать? Я вспомнил, “кто я такой”. Иду к начальнику вокзала (речного) говорю: “Я Виктор Болотов. У меня сегодня вечером лекция в Перми. Так и так…” “Хорошо, – говорит начальник, – я поговорю с капитаном “ракеты”. Подходит “ракета”. Я начальнику: – Ну, что? Он: – Идите с черного хода, ради бога. Я в кассу. С черного меня не пускают. Я в окошко. Толпа (человек 50) начинает меня терзать: стань в очередь! <…> Я, понурясь, прислонился к стенке – опять не везет. Два билета ждут меня – и не могу взять. Бежит, высунув язык, дежурный: – Кому тут два билета? – Это ко мне, я отдаю деньги – и: Вера потрясена, я великолепен, жму руку капитану и еду в Пермь… Ничего?»* (21.10.1963).

Что мог ответить Решетов? – «Ничего». Сам он едва ли прорвался бы к начальнику речного вокзала, чтобы

объяснить тому свою значимость. Он и себе-то не всегда мог ответить на вопрос: кто он.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Виктору не пришла повестка в армию. В сентябре Болотов был уже в дороге – поезд шел на Дальний Восток, на родину Решетова. А перед глазами новобранца крутился фильм про любовь, который брат Вася и описал верному брату Коле. *«Я в дороге. Кругом суета в 1000-й степени. Отвратно. Суть не в этом. Видел Веру. Как в кино. 1 кадр. Шагают 1000 человек строем. 2 кадр. Я с гладиолусом. Подаренным Ею. 3. Она (в толпе): "Витя!" 4. Я (выскакиваю из строя): "Вера!" (у меня на глазах слезы и т. д.) <…> Ой, знал бы ты, что сейчас в душе у брата Васи! Но – помимо всего – счастье: люб-лю, люб-лю… Бывает же такое»* (13.09.1963, ст. Тайшет).

Служить предстояло четыре года – Болотов попал на флот. Он засыпал Веру страстными ревнивыми письмами, и в каждом из них упоминал друга-соперника. *«Вера, почему б тебе не выйти замуж за Решетова? Ведь он так одинок и любит тебя. <…> А я – я как-нибудь перезимую…»* (19.01.1964). *«Верочка, прошу тебя, держись ближе к Лешке Решетову. Он <…> человек кристальной ясности. Не обижайся на него, пойми его. Он поможет тебе разобраться в этой путаной жизни»* (17.02.1964).

Алексею же Болотов рассказывал, как тоскует без любимой, и просил: *«Да! Черкни все-таки Верочке. А? Ей сейчас тяжко. Я чую. Ой, скоко на свете Достоевского! Бог мой!»* (26.09.1963). И посылал другу новые стихи, они хлынули потоком от смятения и одиночества. *«Дорогой Лешка! <…> Как я? Так же. Тихо и темно – как между ладонями. Просвета душевного нету. Сотворил тут несколько стихов – легче как-то. Что делать без Матери-музы! Послушай стихи»* (6.12.1963).

Всегда – «послушай стихи» – словно они сидели рядом на кухне или где-нибудь в Треугольном сквере.

В Перми вышли из печати «Зернышки спелых яблок». Готовился к изданию «Белый лист». Первый сборник Болотова тоже был включен в издательский план 1965 года (вышла книга в 1966-м). Поскольку автор находился далеко, его обязанности – обсуждение с редактором состава книги, чтение гранок, организацию рецензий – взял на себя Решетов. Он же посылал стихи Виктора в журналы, пристраивал в коллективные сборники. И уверял друга, который

порой начинал сомневаться в себе: *«Витя! Твой дар от бога и неподсуден».* (В 1966 году и стихи Веры Нестеровой были опубликованы благодаря Решетову – сперва в «Молодой гвардии», затем в сборнике «Молодой человек».)

Практика у Веры давно закончилась, она вернулась домой. Оба поэта писали ей. Болотов – чаще. Зато Решетов находился ближе и мог иногда видеть любимую. Но в его стихах расстояние от Березников до Закамска казалось непреодолимым. Он потихоньку приучал себя к прощанию, готовил душу к потере.

Я встреч с тобой боюсь,
а не разлук.
Разлуки нас с тобой не разлучают;
Во тьме ночей и путанице вьюг
Мои глаза твой профиль различают.

Но вот мы рядом. Листья и цветы
На легком платье у тебя весною.
О как чиста, о как прекрасна ты,
Какая даль между тобой и мною!

Какая даль – без края и конца!
О, снежная жестокость расстояний –
Ни огонька, ни милого лица,
Ни наших встреч,
ни наших расставаний.

Неизвестно, как реагировала на эти строки их героиня. А вот Болотов был в восторге: *«Жму тебе руку – от души – за стих сестре Вере. Он, по-моему, чудесен. Может быть, я так воспринимаю его по своей эквивалентной чувствительности, но стих этот – из области открытий – психологических. И он – ко всему прочему очень – по-пушкински! – объемен»* (20.10.1963).

В письме «сестре Вере», написанном в это же время, Виктор сформулировал предельно откровенно: *«Ты, собственно, символ. Символ, понимаешь? Символ того, что весьма редко встречается в жизни – красоты, непосредственности, ясности»* (18.10.1963).

Быть символом красоты, конечно, лестно, но ни одну девушку эта роль не согреет. Юной Вере Нестеровой предстояло сделать выбор между тем, кто боялся с ней встреч, и тем, кто встречи жаждал. Она была не только красивой,

но и доброй девушкой и очень жалела обоих. Кого из двух молодых людей она любила больше – вопрос, на который не так-то легко ответить.

Через много лет она написала Алексею Решетову: *«Я не могу без любви. Это для меня всегда был некий способ существования. <…> У меня всегда было две любви – к Вите (любовь – дар божий, так мать любит своего ребенка) и к тебе (любовь-нужда, где я сама ребенок). <…> Для чего писала стихи? Я писала всегда только для одного Человека – для тебя. Это было совсем бескорыстно»* (11.03.1999). Впрочем, это сказано через тридцать с лишним лет. Одно правда: Вера не могла без любви. Возможно, ей казалось, что Виктор любит сильнее. Что он не выживет без нее.

5 июля 1964 года Болотов решился поставить все на карту: *«Я выписываю тебе пропуск для приезда в г. Владивосток. <…> Ты будешь моей женой. <…> Пойми, как это серьезно. От твоего ответа зависит счастье – твое и мое»*. И через три дня честно («как брату») сообщил Решетову, что сделал Вере предложение.

Ожидая ответа любимой и реакции друга, Виктор сходил с ума. Боялся потерять обоих. Наконец, Вера сообщила, что приедет. А Решетов написал длинное письмо, суть которого выражала приписка на полях: *«Витя, я не могу дать Вере счастья – вся надежда на тебя!»* (27.07.1964). И вскоре сделал подарок на помолвку. *«Как ты смотришь, если я тебе посвящу какой-нибудь стих? <…> Выбери сам, что-то, может, запомнилось»*. Болотов выбрал точно: *«Если можно – я б хотел “Белый лист”. Этот стих как бы всегда живет во мне»* (08.1964).

Вторая книга Алексея Решетова вышла осенью. Над заглавным стихотворением стояло посвящение Виктору Болотову. Сам Болотов еще 6 мая 1964 года прислал в Березники стихотворение, посвященное Решетову, – «Высокая душа». (Позднее он посвятил другу еще один стих – «Река и женщина».)

Виктора кидало из тоски к счастью. Для творчества состояние идеальное – он писал по 20 стихотворений в месяц, фиксировал каждый пейзаж, каждое движение души. И стихи, и душевные терзания, не раздумывая, делил с названым братом. *«Вот сейчас полшестого утра (у вас – полпервого ночи). И я знаю, что через два часа, когда пойду*

с дежурства через город к себе, задохнусь от радости ощущений – что живу, что есть люди, что гремят трамваи, что приморское серое небо, что в пролетах улиц и домов белеет море (море светлее неба – потому общее ощущение белого моря). В прозе как-то, видишь, не звучит. Но приблизительно так ощущается мир. Временами. <…> Относительно этого чуда – Нестеровой (люблю называть ее так в письмах к ней). Я определенно знаю, что свихнулся, ибо брежу ею. Недели полторы назад говорил с ней по телефону – вел себя как мальчишка, спазмы в горле, слова не мог сказать… Вера пишет: "Болотов, Вы плакали?" А откуда я знаю… <…> Мой бог, я как подумаю, что она будет здесь, ходить по этим улицам, холодок ужаса проникает в душу: а не дерзок ли ты, моряк, с богами? Не искушаешь ли ты судьбу?» (4.08.1964).

Наконец Вера выехала во Владивосток. Решетов ее не проводил. Простился в письме. Самая нежная поэзия переплелась с грубой прозой жизни.

«Вера! Есть страна, где мы теперь будем встречаться. Эскимо дети там лижут даром, солнце растет у каждого в огороде, и нет ни белых ночей, ни черных дней. Страна эта поэзия. Откуда-то я почувствовал число твоего отъезда – 10-е. Потом действительно оказалось, что это так. <…> Я не приеду. Дело вот в чем. Нам обоим будет от этого еще хуже. <…> Мы встретимся когда-нибудь, чтоб уже не расставаться. <…> Будет зима. Я буду есть желтые, написанные тобой, сливы, и морозы будут стрелять в меня. Помнишь – холодно, магазин согревал нас, какие-то заборы, сугробы, поле, карусель?

<…> Больно, Вера! Ну, ладно. Стало быть, я остановился на причинах, мешающих встретиться. <…> Тут в Березниках против меня началась кампания. На машине с красной полосой по синему фону (о яркость мира!) меня везли в храм Фемиды после поклонения Бахусу. Думали, что я убил какого-то фраера у забора, я к нему наклонился, чтобы узнать, живой ли. В милиции мне дали несколько спортивных зуботычин, мы обменялись в любезностях и предупредили друг друга, что не оставим это дело между нами. И они начали – газета, "пусть горит земля под ногами" и т. п., потом административная комиссия в горсовете. <…> И когда ты будешь лететь (ты на самолетике?), я буду сидеть в конторе и давать объяснения. Горком комсомола решил меня воспи-

тывать. В понедельник начнут. <…> Очевидно, все пройдет. Очевидно, с работы не выгонят. Ты за меня не бойся. <…> (Кстати, у меня есть предчувствие, что все закончится хорошо <…>.) Перст судьбы, что ли?

Милая, милая, милая, милая. <…> Езжай с легким сердцем. Я хочу, чтобы ты радовалась. Это светло – быть не одинокой. И не придумывайте там себе с Витькой мелочных досад. Не омрачайте себе жизнь. Скажи ему, когда приедешь, что я очень прошу его любить тебя. Будьте счастливы. <…> Еще скажи Вите, что я рад за него. Что если напишу нечто хорошее, то это он мне помог своей дружбой.

Черти! Вы там меня не забывайте. <…> И еще не тоскуй там по Уралу. Люби Дальний Восток – мою Родину. <…> Долгие годы я мечтал съездить в Хабаровск. Постараюсь приехать туда летом. (Мне даже с письмом этим расставаться не хочется, а с тобой тем более.) Все это письмо можно заменить одним словом Люблю.

Скоро выйдет «Белый лист», пришлю – и буду завидовать маленькой глупой книжке, что она-то с вами.

На полях: *Обязательно возьми с собой теплые вещи»* (5.10.1964).

С письмом он отправил три стихотворения «на счастливую дорогу»: «Уходят женщины, но эта потеря женщин дорогих…», «Уж если я умру и не воскресну…», «Нет детей у меня, лишь стихи» и «Ах, до чего же осень глубока…».

13 ноября 1964 года Вера Нестерова вышла замуж за Виктора Болотова. Они начали создавать собственный мир. Даже календарь семейных праздников утвердили свой: 10 апреля – день рождения Ахмадулиной; 4 июля – день Встречи, 9 сентября – день, когда Болотов ушел в армию, 13 сентября – просто сентябрьский праздник, 19 октября – «день приезда Веры во Владик», 13 ноября – официальная регистрация брака, 3 апреля – день рождения Решетова.

Счастливый Виктор писал матери Веры: *«Я проникаюсь глубокой благодарностью к Вам, Екатерина Сергеевна, за Вашу прекрасную Веру, за мою прекрасную Веру. <…> И знайте: мы с нею счастливы, как никто в этом мире. Иногда мне кажется, что все это сон…»*

Увы, сон продлился недолго. В 1965 году Вера вернулась в Пермь. Причиной были не только денежные трудности,

Вера Болотова

но и семейные неурядицы. Они часто ссорились. Виктору казалось, что молодая жена холодна и сожалеет о своем выборе. А потом он влюбился, без взаимности (как сообщил в письме другу), в замужнюю женщину старше себя и намного старше Веры. Веру при этом любить не перестал и после ее отъезда не находил себе места от чувства вины. Вера ждала ребенка.

Вскоре у Болотовых родилась дочь, которую назвали в честь Ахмадулиной – Беллой (не Сонечкой, как предполагал Решетов). А в 1966 году вышла первая книжка стихов Виктора – «Наедине с людьми».

И тогда случился кризис. На третьем году службы Виктора охватили душевные сумерки. Книга, о которой он так мечтал, больше не радовала. Рецензии на нее раздражали. Семейное счастье казалось потерянным. Но главное – он опять усомнился в своем таланте, а без поэзии ничто не имело смысла. *«Нету моих сил ни духу продолжать эту игру в солдатики и бирюльки. Да и, собственно, дело не в этом, а вообще. Что такое жизнь? Как говорил Ильф: пойдемте, нам здесь уже ничего не покажут. <…> Болит душа моя, старик. Дай мне бог продержаться пару-другую дней – уж слишком тянет туда, где ни аванса. Веду себя как 17-летний, даже письма заготовил»* (4.05.1966).

Решетова эти слова должны были привести в ужас. Его опять не было рядом с братом в черную минуту. Он пытался успокоить Виктора, но письма на Дальний Восток шли долго, а страшное решение – это он знал слишком хорошо – дело мгновенное. 1 сентября 1966 года в 2 часа дня Болотов написал завещание: свои черновики и записные книжки передавал Алексею Решетову (*«Попробуй издать вторую книгу. Для меня сейчас особенно звучит ее заглавие: День бесконечный»*). Ему же поручал жену. В письме армейскому начальству (написанному красными чернилами, как кровью) просил никого в его смерти не винить.

К счастью, самоубийство не состоялось. Матрос попал на губу и провел под надзором около недели. Затем отправил в Березники телеграмму: *«Все нормально брат мой*

спасибо твое письмо жди ответное мерцает душа ожидании позднего чуда». 6 сентября он уже благодарил Решетова за рецензию в «Урале» и хвалил новые Верины стихи…

Не прояви бдительность отцы-командиры, случись новая трагедия, неизвестно, что произошло бы с братом Колей. Бог миловал.

Вера Нестерова долго оставалась для Решетова большой любовью и недостижимым идеалом. Болотов – лучшим другом. Каждый сделал выбор, и переиграть что-то было невозможно.

В 1968 году Решетов объяснял Владимиру Михайлюку: *«Вере только что написал витиеватое письмо, что можно поделать? Она не хочет предать Витю, как предал ее я. А что делать было, как не предать, когда со мной она бы мучилась побольше, чем с ним, когда добрые мои качества нарисовало ей ее воображение, а на самом деле их нету. Мудрость заключается в том, что не надо подпускать к себе людей, чтобы больно их мучить, избегать близости: скорлупа и чтение – вот средства. <…> Веру я люблю. <…> А что я ей дам, тело мое донкихотовское? А душа у нее в сто раз богаче и тоньше, ей нужны люди высшего духа. И скучно ей будет. Тысяча и одна сказка про белого бычка…»*

Он был уверен в собственном несовершенстве так же, как в совершенстве любимой. И нашел выход – скрыться. Уехать на край света было невозможно, оставалось духовное странствие. Нужно было заставить петь бродяжью струну. *Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют.*

В конечном счете, прекрасная женщина ушла к Болотову, поэзия осталась с Решетовым.

Глава 4
НАЕДИНЕ С ЛЮДЬМИ

Умру я странным образом. Для вас
Все так же буду выходить на люди.
Средь ваших слов и жестов, лиц и фраз
Я лишь свое лицо навек забуду.
Меня не будет вот таким, как есть,
Худым и хриплым, нудным и строптивым.
А – точно отзвук позабытых мест
Или жилья сгоревшего стропила.
Я был – когда-то!
Противоречив
И странен...
Счастлив и врагу, и другу.
А вы прошли, меня не различив,
Настолько я похож на всю округу.

Виктор Болотов

В начале 1960-х Виктор Болотов ворвался в пермскую литературу, как беззаконная комета. «Стихи его сразу же вызвали столько же упреков, сколько и похвал: одних радовала свежая, своеобразная интонация, других немного коробила некоторая резкость тона», – писал Семен Гравин в рецензии на первый сборник Болотова. Рецензия была опубликована в газете «Звезда»» и называлась точно – «Счет времени».

Двадцатичетырехлетний поэт не мелочился и задачи ставил глобальные.

Замыслил я – хоть вскользь, хоть не спеша
Определить особенности века.

С себя он требовал по гамбургскому счету: *«Завтра мне 24... А что сделано для бессмертия!!»* (5.01.1965).

У Болотова имелась своя концепция вселенной, он мыслил категориями. Его волновали первопричина и первооснова, космос и хаос, ход времени, тайны природы и человеческого разума, «предел и нагота вещей». Такой уровень разговора поэт и предлагал читателю. Разговор оказался своевременным. Многие сверстники узнали в Болотове собеседника, которого им не хватало. Его тексты были способны примирить лириков с физиками. Стих был резкий,

жесткий, что называется, крепкий. Первая книга поэта попала в свое время, как в яблочко.

Болотов и в жизни не терпел пустой болтовни. Свернувшую не туда беседу решительно прерывал. Широким жестом обводил собеседников и произносил: «Я вас закрываю!» Друзья, то ли в шутку, то ли всерьез, называли его «начальник вселенной».

На появление сборника «Наедине с людьми» откликнулся не только Гравин. Виктор Астафьев отправил хвалебную рецензию в «Литературную Россию». Алексей Решетов напечатал статью в «Урале» и «Молодой гвардии». Он писал о друге: *«Его стихи доверчиво адресованы читателю сильному. <…> От истинных поэтов он не отличен. Он ихнего роду-племени».* А в письме поздравлял автора *«с книжкой – волшебной, просветлившей мне мозги и душу!»* Спешил порадовать: *«В Перми сборник идет очень хорошо. Какой-то студент даже конференцию проводил по поводу твоей манеры – "путь размышлений" самый благородный и т. д.».* И каялся: *«Меня в Союз приняли – жаль, наперед тебя пролез, совестно отчасти».*

К моменту возвращения из армии у Виктора Болотова была написана вторая книга. Он заехал к матери на Алтай и до Перми добрался к Новому 1968 году. Поселился в Закамске у Веры, в Березниках бывал лишь наездами.

Год сулил большие надежды. Название второго сборника демонстрировало доверие к миру – «Вот вы – а вот душа моя». Книга была готова к печати. После ее выхода молодого поэта собирались принять в Союз писателей. Новый сборник был сильнее и ярче первого. Стихи говорили о стремительном росте мастерства и расширении поэтической палитры. В лирике Болотова стало больше энергии, больше конкретики, больше иронии. Читатель должен был прочесть стихи «Мой дед был деревенским мудрецом», «Политика», «Слепящий снег на бухте Новак», «Над Русским островом луна…» и поразиться мастерству автора.

Но луна над Русским островом светила не к добру.

Книгу уже оформили и подписали в печать… Но кончалась «оттепель» шестидесятых. Начавшееся в стране «завинчиванье гаек» докатилось до провинции. Строки только-только отслужившего срочную моряка насторожили цензоров.

И снова ночь.
И вновь – она
Лучи рассеянно бросает.
Над Русским островом луна
Сверхстратегически свисает.

Русский остров был стратегическим объектом, и упоминать его в печати не следовало. Молодой поэт выдал читателям военную тайну! Конечно, будь дело лишь в этом, стихотворение просто исключили бы из сборника, но весь тон книги, интонация… В Болотове почуяли чужака, он не попадал в ногу.

Рукопись отнесли в обком партии, и уже готовый набор по указке сверху был рассыпан.

Десять лет Виктора Болотова не публиковали. Любую попытку напечатать стихи пресекали грубо и решительно, вплоть до того, что областная газета громила врезку к маленькой подборочке в газете молодежной. Оставалась газетная поденщина.

Каждый день у меня
Умирают стихи.
От великой любви умирают,
От высокого горя,
От подлой тоски, –
От всего,
От чего умирают…

Это написано в 1960-е, словно в предчувствии будущего.

Стихотворение «Над Русским островом луна» появилось лишь в 1984 году в сборнике «Река и женщина», но и там название «Русский остров» заменено неопределенным – «Наш остров». Возможно, впервые слово «русский» по цензурным соображениям было изъято из стихов русского поэта! Но ирония – ненадежное убежище…

Второй сборник Болотова вышел из печати не в 1967-м, как планировалось, а лишь 1977 году. Автору было 36 лет. Книгу он назвал просто – «Вечернее поле». Поэт больше не распахивал душу людям, предпочитал наедине говорить с природой. И чтобы вокруг – никого! В 1978 году Виктора Болотова приняли в Союз писателей.

Десять лет без права переписки с читателем обошлись дорого. Болотов постоянно нуждался в оценке и знал это за

собой. Каждый раз, отправляя Решетову стихи, он просил: *«Пишу самым серьезным образом. Черкни рецензию. <…> Мне необходимо. Заблудился в тумане»* (6.07.1964). Он постоянно сомневался в себе: *«Мучает извечное – как все не то, как не хватает чего-то волшебного, нет ощущения воли, простора. Невидимые, но осязаемые шоры стемнеют душу и мысль»* (1964). Без отклика и поддержки у него душа была не на месте.

Болотов производил впечатление человека, уверенного в себе, даже высокомерного. Но близкие знали, насколько он раним. «Витька, что ты такой беззащитный?» – горько восклицал Решетов в одном из писем.

Начинающего поэта выбросили из литературного процесса, и его жизнь пошла по кругу. *«В моей жизни теперешней ничего не происходит. Словно кружит в кино один и тот же замедленный кадр. Происходят только стихи»,* – жаловался он Решетову (24.01.1967).

У него отняли главное. В молодости Виктор написал Вере: *«<…> Единственное святое в жизни для меня – поэзия, и в ней я всегда “честен”, к ней я отношусь как к самому большому и дорогому. Все остальное – суета, трын-трава. Так что, когда я говорю о поэзии – я всегда “по-честному” и всерьез».* Говорить о поэзии Болотов продолжал и в оценках никогда не снижал планки. Но за границы Перми разговор не вышел. В Пермском издательстве были изданы все его книги: кроме уже упомянутых, «В XX веке, в сентябре» (1989), «Осенняя дорога к дому» (1991) и посмертная «Море и поле» (название ей дал Алексей Решетов). Только в Перми и знали, что есть такой поэт: кто-то его ценил, кто-то побаивался. Он был широко известен в узких кругах. В общем-то, обычная биография провинциального литератора. Но масштаб у Болотова был не провинциальный. И амбиции не провинциальные. Потому все и обернулось так горько.

Виктор Болотов был человеком трудным и неудобным. Не раз они с Верой оказывались на грани разрыва, но расстаться так и не смогли. Решетов, сам того не желая, зримо, а чаще незримо, присутствовал в их отношениях. Оба ревновали. Виктор – Веру к Алексею. Вера – Алексея ко всему миру. Она плакала, узнав, что Решетов увлекся другой женщиной и, тем более, посвятил этой женщине стихи.

Писала прощальное письмо, потом еще одно… Не могла отпустить ни Алексея, ни Виктора. Ей хотелось, чтобы вся любовная лирика обоих была адресована ей. Но постепенно Вера Нестерова перестала быть героиней стихов Решетова. Его последнее письмо ей датировано 1976 годом. Решетов влюблялся в других, потом встретил Тамару Катаеву. Узнав об их свадьбе, Вера не могла успокоиться несколько дней.

Дочь Болотовых Белла вышла замуж за немца и уехала в Германию. Потом заболел Виктор. В последний раз друзья увиделись в июле 1994 года. Решетов пришел навестить друга с Тамарой. Виктор был рад их видеть, но встреча вышла тяжелая. Оба понимали, что это не встреча, а прощание. На следующий день, 11 июля, Решетову позвонила Вера: Виктор умер ночью. Ему было 53 года.

Все, что омрачало их отношения, ушло навсегда. Решетов пытался уговорить Веру написать воспоминания о Болотове. Она считала, что сделать это должен Алексей. Не написали ни он, ни она. А больше было некому.

После смерти мужа Вера чувствовала себя одинокой. И привычно ухватилась за Решетова. Ее странности с годами усилились, перешли в болезнь. Неуверенная в своем таланте в юности (Решетов сформулировал: *«У нее есть безверие в себя»*), стала утверждать, что была настоящим поэтом. Когда-то молчаливая, теперь писала письма на многих страницах – не могла остановиться. Однажды, в 1999-м, в очередном письме Алексею у нее вырвалось: *«Ни тебе, ни ему (В. Б.) я ведь счастья не дала. Через вас я была счастлива-несчастна. Искренне хотела вам блага, но не получалось»*. Впрочем, они тоже не принесли ей счастья.

В жизни все меняется. В поэзии остается. Когда-то Виктор Болотов заявил: «Леша + Вера + Витя = будет всегда. Святая троица! Триумвират?» (18.09.1964). Дружбу двух молодых поэтов из истории пермской литературы не выкинешь. Так же как любовь обоих к юной чудесной девушке. Живы их голоса.

«Витя, дружище! Это верно, и черных и серых дней много, да есть и солнышко. В прямом хотя бы смысле. Верю в тебя, милый, что скажешь свое магическое “ничего-ничего” и снова воспрянешь духом».

«Милый мой Лешик! Все напеваю твое волшебное “Нету милее напева...”»

Болотов придирчиво выбирал читателя-собеседника, вел разговор лишь с избранными. Решетов спокойно говорил со всеми. Болотов был поэтом своего времени. Решетов – вне времени. Решетову стоит памятник в родных Березниках. Болотов почти забыт. Но если лучшие стихи Виктора Болотова собрать в одну книгу – читатель поймет, какой незаурядный дар был у этого поэта, какой своеобразный голос!

В 2007 году к семидесятой годовщине со дня рождения Алексея Решетова газета «Пермские новости» заказала Ирине Христолюбовой воспоминания о поэте. Ирина Петровна перевыполнила задание. У нее получился небольшой рассказ. Об одном эпизоде молодости, о двух друзьях-поэтах. Этим забавным, грустным и трогательным текстом и хочется завершить историю дружбы-соперничества «брата Васи и брата Коли», литературных отпрысков «Лейтенанта Шмидта».

Ирина Христолюбова

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ

Документальный рассказ

С другом поэтом Виктором Болотовым мы ехали в Березники. Дело мы сами себе придумали, и с большим скрипом редакция газеты «Молодая гвардия» нам выдала командировку. Но главным нашим делом было повидаться с Алексеем Решетовым.

Поезд в Березники приходил рано утром, часов в шесть. Куда деваться в такую рань?

...еще не пали росы,
Еще лежит на трех китах
Земля без всякой оси!

Витя поморщился:

– Перестаньте читать стихи Решетова, Ирина Петровна! – сказал он. (Он любил называть по имени-отчеству, из сибирской семьи староверов, он свою мать всегда называл на «вы».)

– Тебе что, не нравится?

– Нравится – не нравится! Примитивное отношение к поэзии!

Витя критиковал нещадно всех поэтов, включая Пушкина. Его близкому другу и сопернику Решетову тоже доставалось. А Леша любил Болотова, всегда говорил, что он пишет лучше его. Если Витя был придирчив в своих оценках, то Леша мог и перехвалить с удовольствием. Того, кого действительно хотел похвалить.

По утоптанной тропинке мы с Витей шли к калийному комбинату. Витя жил до армии в Березниках и знал многие ходы и выходы. Он уговорил меня идти через комбинат, Леша жил напротив – через площадь. По правилам ехать надо было через весь город.

Через дыру в заборе вышли на территорию комбината. Чтобы не являться к Решетовым раным-рано, пошли в заводскую столовую, попили чаю.

Витя посмотрел на часы.

– Пожалуй, можно идти, уже девять часов, – неуверенно сказал Витя и повел меня опять же к забору.

Мы приехали к Леше около девяти часов, но все-таки это было рановато.

– Как только не стыдно в такую рань ходить! – кричала бабушка. У Ольги Александровны были грузинские корни, и она с грузинским темпераментом могла шуметь по каждой мелочи, несмотря на ее добрый и самоотверженный характер, но это я узнала потом. А тут я стояла робкая и не знала, куда деваться.

Леша вышел из своей комнаты, очень обрадовался нашему прибытию.

– Не обращайте внимания, – сказал он и потащил в комнатушку, где он спал. Там стояла большая старая широкая кровать и под стать ей письменный стол.

Бабушка еще что-то кричала, но мы были за дверями и могли облегченно вздохнуть. Поговорили о том о сем. Леша с Витей о чем-то пошептались.

– Ира, мы сходим за бутылкой сухого и быстро вернемся, – сказал Леша.

– Только быстрее. Что я буду одна делать?

Я постояла у окна, полистала книги. Но что-то у меня все из рук валилось. Прошел примерно час.

«Куда они ушли? – думала я. – Магазин близко».

Прошло и два часа, и три. Я поняла, что они куда-то забрели.

Так я просидела весь день, до самого вечера. Ольга Александровна мне уже сочувствовала и вовсю поносила Лешку.

– Сволочи, вруны, оставили девку на целый день одну! Кто так к барышням относится: стоит встретиться с Болотовым и пошло-поехало!

Меня Ольга Александровна только жалела, но все же в ее голосе порой слышалось некоторое осуждение. Видимо, думала: хороша барышня, раз кавалеры бросили.

Вместе приехали, так вместе надо было и идти. Я уже сто раз думала, зачем не ушла с ними. Я сидела весь день в Лешкиной комнатушке и даже не смела выйти в туалет. Ольга Александровна приглашала меня пообедать, но, конечно, я не пошла. Уж какой тут обед!

Начало смеркаться. Была ранняя осень, кажется, начало октября.

Бутылку сухого они все-таки принесли. Наверное, им стоило немало усилий сохранить ее, побывав в нескольких компаниях. Денег у них было только на одну бутылку.

– Ну, прости нас, прости! – виновато говорил Леша. – Все случайно получилось, встретили Юрку Маркова, потом завалились к Пашке Петухову…

Я ворчала:

– Все у вас случайно получается: случайно встретили, случайно зашли в гости, случайно забыли про меня.

– А ты и смотри, как на все случайное, – заметил Леша, – тогда и злиться не на кого будет.

Мы собрали деньги на один билет до Перми, Болотов сказал, что потом как-нибудь приедет.

Опять через двор калийного комбината мы шли на вокзал. Пришел поезд из Соликамска. Удачно купила билет, удачно села.

Поезд отходил, оставляя за собой неприветливый город…

Я смотрела в окно. На перроне стояли, поеживаясь под мелким дождем, два друга, два поэта, Решетов и Болотов. Счастливое было время. Но мы в молодости об этом не догадывались.

Глава 5
ДЕЛЬФИНЫ

...О разыгравшиеся дети!
Вас не обидят корабли,
И вашей кровью красить сети
Отвыкнут жители земли.
И вы, поэты, как дельфины,
Не избегайте с нами встреч –
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

А. Р.

Иосиф Бродский утверждал, что его разногласия с советской властью – стилистические. То же мог бы повторить и Решетов. Работникам идеологического фронта он сперва показался (да и сейчас порой кажется) этаким уральским Есениным. (Впрочем, Есенина они представляют кудрявым пастушком, сочиняющим певучие стихи о родных осинах.) Однако чутье на все чужеродное у идеологов было отменным. Скоро молодой поэт из Березников начал вызывать беспокойство.

А ведь начиналось все радужно. Не только читатели сразу отметили Решетова «особой строкой». Положительные рецензии на его вторую книгу появились в «Звезде», «Молодой гвардии», сборнике «Молодой человек», об авторе «Белого листа» говорили по радио и телевидению. Подборки Решетова напечатали альманах «Прикамье», журнал «Урал» и свердловский «День поэзии». По существовавшим тогда правилам, после выхода второй книжки автор мог подать заявление в Союз писателей. В местном отделении Союза за Решетова горой стояли Владимир Радкевич, Лев Давыдычев, Авенир Крашенинников и многие другие. В Москве на заседании комиссии по приему его представлял Марк Соболь – личность поистине легендарная. Маркони, как звали его друзья, имел бурную биографию. Бывший зэк (студент московского театрального вуза был арестован в 1934 году за «антисоветскую агитацию»), фронтовик (ушел добровольцем на фронт в 1941-м), он был известен в литературных кругах столицы честностью, безупречным

вкусом и остроумием. Высшей похвалой стихам или прозе в его устах было короткое – «точняк» (это словечко часто потом использовал Решетов). Что интересно, Марк Андреевич был сыном известного писателя Андрея Соболя, который в 1922 году состоял секретарем Всероссийского союза писателей, именно его подпись стоит на членском билете Сергея Есенина…

Уральского кандидата на вступление в Союз поддержал в Москве и знаменитый поэт Михаил Светлов. Как только решение было принято, Соболь отбил телеграмму в Пермь Льву Давыдычеву: *«Прочел два стихотворения принят единогласно»*. Решетов стал одним из любимых поэтов Соболя, многие его стихи Маркони знал наизусть и часто читал, уже не на официальных заседаниях, а в дружеских компаниях.

В августе 1967 года два стихотворения Решетова – «Нет, ты любовью не зови…» и «Я с природы осенней серых глаз не свожу» – были напечатаны в журнале «Юность», который выходил в то время тиражом полтора миллиона экземпляров. Публикацию сопровождал доброжелательный отзыв Бориса Слуцкого, одного из самых ярких поэтов военного поколения. (Вероятнее всего, сборник Решетова передал Слуцкому Владимир Костин, хорошо с ним знакомый.) Борис Абрамович не славился снисходительностью, его похвала стоила дорого. Слуцкий заявлял прямо: *«Решетов Алексей Леонидович – настоящий поэт и заслуживает, чтобы его читали далеко за пределами его города. Доказательство – стихи»*. Процитировав «Светолюбивых женщин», он комментировал: *«Вот, кажется, тема – исписанная, исхоженная, выжатая до последней степени. И три звездочки над этим стихотворением, как три сосны, меж которыми не сыщешь новой тропы. Решетов же сыскал»*.

Умение прокладывать собственный путь меж трех сосен избитой темы – свойство настоящего лирического поэта, ведь все темы чистой лирики избитые, они же вечные.

Слуцкий щедро расширил границы публикации, кроме «Светолюбивы женщины…», привел строки заглавного стихотворения сборника, так что в «Юности» березниковский поэт был представлен четырьмя текстами. Отдельно похвалил оформление «Белого листа» (работу художника Виталия Петрова отмечали практически все рецензенты). В то время Пермское книжное издательство начинало

зарабатывать свою славу (появился уже и фирменный знак – медведь с раскрытой книгой на спине, аллюзия на древний герб Перми). Так что для издателей «Белый лист» тоже стал явлением знаковым. *«Книга совсем тоненькая – лист с четвертью, менее тысячи строк. Но, кажется, это – хорошее начало»,* – писал Слуцкий.

Однако к моменту публикации в крупнейшем молодежном журнале страны Алексея Решетова взяла на заметку и кондовая партийная критика. Уже «Нежность» получила по заслугам. В первом номере журнала «Урал» за 1962 год появилась рецензия Николая Куштума «Опасные удачи». Название не предвещало ничего хорошего, и критик не обманул ожиданий: точно расставил красные флажки, огораживающие запретную территорию. Как заметил профессор Абашев: *«Куштум прозорливо оценивал Решетова не по тому, о чем он, нельзя было не признать, “удачно” написал, а по тому, о чем он “опасно” молчал».*

Критик не оспаривал талант молодого поэта, отметил его «зоркий глаз и тонкий вкус», «образную выразительность, живописность и мелодичность»: *«Особенно это заметно там, где поэт любовно и задушевно описывает красоту и прелесть уральской природы».* Но затем следовал внезапный поворот: *«Бесспорные удачи таят для поэта серьезную опасность».* Как и Слуцкий, Куштум использовал метафору топографическую, но если поэт хвалил Решетова за то, что тот нашел свою тропинку, то рецензент указывал: автор «Нежности» свернул со *«столбовой дороги нашей поэзии».*

«Я считаю, – писал Николай Куштум, – *что молодому поэту, который так хорошо видит, чувствует и изображает мир природы, теперь в первую очередь следует пристально приглядеться к духовному миру людей труда, живущих вокруг и совершающих великое дело во славу коммунизма. Приглядится, а затем упорно учится изображать этот духовный мир. <…> Право же, наши замечательные умельцы и новаторы, маяки и разведчики этого заслуживают».*

Цитируя далеко не самое сильное стихотворение сборника – «Осень» («Скоро небо закроют туманы…»), критик восклицал: *«А вот если бы поэт изобразил нам живого творца колхозного изобилия с его думами, делами и всякими житейскими противоречиями, как бы выиграло от это-*

го стихотворение и какую нагрузку оно бы несло!» Стих, где «длинный лунный половичок» рифмовался со строкой «все горит Ильича светлячок», а в финале колхозный счетовод мысленно восклицает: «Хороши трудодни!», Решетов больше не публиковал ни разу. Но не потому, что не изобразил там *«живого творца колхозного изобилия с его думами, делами и всякими житейскими противоречиями»*. Поэт, у которого между «Нежностью» и «Белым листом» сломался голос, стыдился некоторых текстов первого сборника. Пытался даже реабилитироваться. Однако не перед критикой, а, например, перед подснежником. В «Нежности» он сгоряча назвал подснежник «политруком травинок и цветов», и потом снова и снова возвращался к чуду появления первоцвета, пока не нашел нужную формулу:

Расцветет потом и роза,
И гвоздика, и сирень,
Но все это будет проза,
А поэзия – теперь.

(Кстати, в стихотворении 1993 года использована та же незамысловатая рифма, что и в стихотворении конца 1950-х: «валежник» – «подснежник», явная отсылка к давнему тексту, извинение перед цветком.)

…А пылкий Куштум никак не мог отвязаться от образа большака: *«Решетов пока идет не по главной магистральной дороге, а по таящей опасности окольной тропинке в сторону бездумного, созерцательного любования природой. Он, видимо, забывает о том, что человек – это хозяин природы, что именно она должна служить ему, а не наоборот* (с этим утверждением поэт, именовавший зверей большими, а не меньшими братьями человека, никогда не был согласен. – **К. Г.**). *Словом, надо в эти чудесные леса, поля и долины прочно поселить человека, и пусть он по-хозяйски преобразует природу. Вот, мне кажется, та дорога, которую следовало бы выбрать Алексею Решетову»*.

Указатель, воздвигнутый критиком, поэт проигнорировал. И продолжал двигаться тропками, стежками, кривыми улочками, воздушными путями. Что, конечно, не осталось без внимания.

В 1965 году в Перми вышел сборник «Современники». Под одной обложкой были собраны 22 стихотворца. Один

из участников этой книги, Семен Ваксман, через много лет прокомментировал: *«Двадцать два поэта – это вообще перебор. Есть один мощный поэт, и есть подлесок»*. Вскоре после появления сборника щепки полетели по всему бору. Виктор Астафьев опубликовал в газете «Звезда» резкую статью «Под одной крышей» и от души влепил каждой сосенке: и Валерию Бакшутову, и Белле Зиф, и Семену Ваксману: *«Как у дядюшки Якова – товару всякого, вот только поэзии кот наплакал»*. Получили выговор и составители сборника. Центр рощи Астафьев тоже не обошел вниманием: *«Два стихотворения Алексея Решетова – "Пора замаливать стихи" и "Ах, Пушкин, Пушкин…" – пожалуй, могут соперничать с произведениями тех авторов, что из кожи лезут, лишь бы выглядеть "оригинальными"»*. Так, с тяжелой руки Астафьева, Решетов прослыл оригиналом.

Нужно сказать, что потом Виктор Петрович изменил мнение о стихах Решетова. А Решетов на Астафьева даже не обиделся. Мощный талант Виктора Петровича он ценил высоко, свой же вечно недооценивал. Однако отношения Решетова с Астафьевым – тема отдельная. А в 1965 году один из составителей сборника Роберт Белов говорил про результат выступления «Звезды»: *«У Лешки-то брюхо крепкое, а мы с Валеркой* (Бакшутовым. – **К. Г.**) *с пузырями пошли на дно»*. Погром в центральной газете области пустяком не был.

Но чем серьезнее художественное высказывание, тем серьезнее последствия. После того, как в 1968 году вышло в свет второе издание «Белого листа», доработанное и дополненное, на Решетова со страниц все той же партийной «Звезды» обрушился некий А. Черкасов.

Однако прежде чем рассказать об этом, необходимо привести отрывок из воспоминаний Владимира Михайлюка. В 1966 году, за два года до переиздания «Белого листа», он еще работал проходчиком на строительстве Второго калийного комбината и жил в деревне Круглый Рудник. С Решетовым они подружились, и, приезжая в Березники, Михайлюк часто оставался ночевать в доме с аркой на улице Ленина. В одну из таких ночевок Владимир Максимович подарил Решетову сюжет стихотворения.

«Однажды я ехал после работы в Березники, рядом со мной в кузове под брезентовым тентом сидел на лавке сварщик

Михаил Ершов. <…> Говорили о разных разностях. Он недавно прочитал о дельфинах, много о них говорил, как они спасают людей на море, а мы, люди позорные, беспощадно их убиваем… Миша горячился…

Я и рассказал Алеше при встрече в тот же день про наш разговор под тентом… Его впечатлило не столько то, как убивают дельфинов, сколько переживания по этому поводу сварщика.

Я был с ночной, после трудовой смены; приходилось на вытянутых руках скалывать отбойным молотком выступы породы на стенах ствола. Адский труд! После ужина меня свалил сон. А в полночь Алексей меня разбудил, сунул мне в руки исписанный листок бумаги. Я протер глаза:

Дельфины, милые дельфины,
Мы вас научимся беречь –
Уже почти до половины
Мы понимаем вашу речь.

Я сразу очнулся. Это – чудо. В течение каких-то трех часов был создан этот шедевр поэзии».

Прочитав новые стихи друга, Виктор Болотов писал: *«Старик, ты пишешь чудные вещи. “Дельфинами” я прямо брежу. <…> Как ты выразился однажды, – исчезает бумага, ее не видно, стихи живут сами собой»* (4.05.1966).

Стихотворение было опубликовано в 1968 году в «Белом листе». Молодежная газета Перми, как и следовало, поместила рецензию на сборник. И тут – «Звезда». Грянул гром.

С точки зрения советской критики, жить сами по себе стихи не имели права. Статья А. Черкасова в главной партийной газете области подтверждала правоту поэта: смысл его речей критик наполовину понял, хотя и по-своему. Если в рецензии Куштума была известная безвкусная сентиментальность, то Черкасов рявкнул по-настоящему. Досталось и Решетову, и издательству, и автору рецензии Дмитрию Ризову, и молодежной газете. Оргвыводы последовали для всех.

Ризов называет историю с его рецензией на книгу Решетова типичной газетной переделкой того времени. В мемуарном очерке «О, матерь поэта – газета…» он вспоминает: *«Вышла <…> замечательная книжка “Белый лист”, вторым тиражом. Время идет, а отклика в прессе нет.*

Да и в самой книжке нет предисловия. <…> И я написал статью, которую озаглавил “Предисловие, которого не было”».

Молодого журналиста, пришедшего в газету с производства, не насторожило отсутствие реакции на сборник. Пропустила этот факт и редакция «молодушки». Ризов посвятил «Белому листу» эссе, полное любви к поэзии. «Предисловие…» опубликовали в «Молодой гвардии» 17 июля 1968 года.

Начинался текст неожиданно: *«Недавно я отдыхал в селе на берегу Чусовой. Было время гроз, и на домики, скалы, сосны, лес то и дело обрушивались потоки воды. И вот в один из грозовых вечеров за окнами сверкнуло летучее пламя молнии, и всю округу сотряс небывалой силы раскат. <…> Поворочалось громовое эхо и успокоилось. Но сквозь шум дождя услыхал я мелодичный звон. Звучала над кроватью гитара. <…> Мне подумалось, что если записать на магнитофонную пленку непроизвольные звуки гитары, то можно будет по ним определить, когда гром раскалывает небо, когда хозяйка ненароком стукнула о косяк подойником… Все в этой гитаре находило отзвук. Не так, как гром в скалах, а по-иному: не похож ведь гитарный звук на громовое эхо.*

Может, и грубо, и неточно сравнивать поэта с такой вот гитарой, но доля истины тут есть. Тем более что поэзия рождается не в тишине, как иные думают, а под громы жизни. Только иные поэты становятся на “горло собственной песне”, <…> а иные не делают этого, и жизненные громы свободно играют на “струнах души”. <…> Ну, а что касается таланта Алексея Решетова, то он и относится как раз ко второму варианту.

Язык “лобовых громов” понятней людям. Для его расшифровки не требуется сердце – достаточно одного ума. В “Белом листе” есть об этом прекрасное стихотворение».

Вот тут автор «Предисловия» и цитировал «Дельфинов». А затем писал о любовной лирике Решетова, называя его отношение к женщине рыцарским; о *«жадной пристальности и ощущении чуда»* его стихов о природе. И в завершение анализировал стихотворение «Когда музеи закрывают»: *«Это, если хотите, стихи о несостоявшемся мужестве – мужестве плакать, не скрываясь, когда тебе больно; мужестве смеяться во все горло, когда тебе смешно; мужестве выйти из уготовленных тебе обстоятельствами жизни рамок;*

мужестве быть собой». Невольно (журналисту тех лет это и в голову бы не приходило) Ризов процитировал два стихотворения Решетова с библейским аллюзиями: *«И все же нелегко / Тому, чье имя волки, / Пролезть через ушко / Твоей стальной иголки»; «Возле иудина древа / Черные птицы галдят, / Правда – моя королева, / Я – ее старый солдат».*

Подобное само по себе было крамолой. Да еще и очень несвоевременной: советские танки уже готовились войти в Чехословакию, а партийная пресса – восславить это событие.

«Через несколько дней после публикации заметок, – рассказывает Дмитрий Гилелович, – придя на работу, я с первой же минуты ощутил во всех четырех кабинетах редакции "Молодой гвардии" <…> какое-то взвинченное напряжение. Что-то случилось». Журналиста немедленно вызвали к редактору – Юрию Вахлакову, который протянул ему свежий номер «Звезды» за 21 июля. «В глаза бросился угрожающий заголовок: «Что за "Предисловием"».

Рецензент «Звезды» писал: *«То, что молодежная газета решила поговорить о творчестве молодого поэта, правомерно. Но тот ли это разговор, который нужен Решетову? Познакомившись с этой книжкой, мы не увидели главного – творческого роста поэта после выхода в свет первого "Белого листа", не ощутили художественного и гражданского возмужания автора».* Творческими неудачами были названы «Дельфины», «В эту ночь я стакан за стаканом…», «Душа и природа в предчувствии вьюг», «Нету милее напева», «Нет детей у меня, лишь стихи»…

«И не чует Д. Ризов, превознося "Дельфинов", – сокрушался Черкасов, – *что в стихах этих поэт предстает не как певец, "любезный народу", зовущий его на борьбу за все прекрасное на земле, а как некий не очень понимаемый, притом притесняемый подвижник».*

Рецензент заявлял: молодежная газета не выполнила своей задачи. Не помогла поэту вновь обрести голос, который он начал терять. Автора статьи многое настораживало: у Решетова исчерпался круг тем живой жизни, он все чаще *«замыкается в узком чуланчике личных творческих переживаний»*, уходит в созерцательность, многие из последних стихотворений *«проникнуты некой надмирной скорбью, нотами разочарования и обреченности».*

На «принципиальную, доброжелательную, но требовательную оценку» областной газеты нужно было реагировать. Как пишет Ризов: *«Требовалось в знак покаяния не только перепечатать “критику”, но и посыпать голову пеплом – опубликовав информацию о “принятых мерах”. <…> Этой перепечаткой мы как бы смачно плевали сами на себя… И в Алешу Решетова тоже. Публично отрекались от дружбы с ним. Он-то нас простит… Это мы знали заранее… На то он и Алеша Решетов».*

В «Молодой гвардии» в то время работали многие друзья Решетова: Дмитрий Ризов, Иван Байгулов, Ирина Христолюбова, Борис Гашев, Юлиан Надеждин, Владимир Михайлюк… Благодаря их таланту, остроумию и юной дерзости газету зачитывали до дыр. На несколько лет пермская «молодушка» стала уникальной, а впоследствии (после неизбежного разгона редакции) – легендарной.

Выступление «Звезды» заставляло редколлегию поступиться и совестью, и дружбой. Обширная статья Черкасова должна была занять полполосы малоформатной молодежной газеты. Такую публикацию читатель не пропустит. Журналисты ломали головы, как обойтись малой кровью, и тут в редакцию зашел Лев Давыдычев. Не мимоходом, а специально. Лев Иванович искренне любил Решетова и его стихи.

«– Готовитесь к самобичеванию? – поинтересовался он, таинственно улыбаясь. – Поди уже заслали в набор звездинскую статью? <…> А ведь можно и иначе. Руководство “Звезды” в большом накале чувств. <…> Такой накал долго не продержится. Если придержать перепечатку, через неделю они дадут еще одну реплику – на этот раз по поводу задержки перепечатки. И будет эта реплика строк в десять – не больше. Вот ее и перепечатывайте…»

Лев Давыдычев

Молодогвардейцы послушались совета. Публикацию придержали. И все произошло именно так, как предсказал опытный в подобных делах Давыдычев. *«Через неделю “Звезда” разразилась еще одной репликой <…> объемом в предсказанные десять строк, которые были тут же набраны петитом и загнаны <…> в самый неприметный угол газеты».*

Через некоторое время Владимир Михайлюк привез из Березников написанный Решетовым экспромт.

О, матерь поэта – газета,
И хочется мне закричать,
Поскольку тебя для клозетов
Скупают в «Союзе-печать».
Но что бы ни происходило
На свете, как перед концом,
А ты по утрам приходила
Ко мне с побелевшим лицом.

Первое четверостишие написано по случаю – это отклик на конкретное событие, второе – шире. В семье Решетова слишком хорошо знали, как начинаются и чем могут закончиться руководящие указания, прозвучавшие со страниц партийной печати.

На этот раз дело ограничилось отлучением от читателя. Третья книжка Алексея Решетова «Рябиновый сад» увидела свет лишь в 1975 году. Времена были вегетарианские.

Глава 6
СПИШИ СЛОВА...

...Поэзия! Странная штука:
Кому-то шутя, с кондачка,
Кому-то с немыслимой мукой
Дается любая строка.
И все же фальшивое – гаснет,
А то, что на совесть – горит.
И все же со временем ясно,
Поэт ли с тобой говорит.

А. Р.

Угодив в идеологический черный список, Решетов продолжал жить, как жил, и писать, как писал. Поэзия не была для него способом заработать известность, не она давала средства к существованию. Когда стихи приходили, он читал их родным, друзьям и коллегам на солемельнице.

По дороге от дома до работы находился книжный магазин. Решетов регулярно заглядывал туда и, если попадался интересный поэтический сборник, – покупал и проглатывал. Чужие влияния ему были уже не страшны, модные тенденции откатывали, даже не задев, но он хорошо знал, в какой традиции он работает – в традиции классического русского стихосложения. Труднейший путь к современнику!

Не только в пермской, но и в российской поэзии он стоял особняком. Выпадал из литературной среды (компании, ночные посиделки да письма друзей не в счет), не вписывался в свое литературное поколение. Не примыкал к группам. Не участвовал в интригах и коалициях писательского Союза. Следовал указаниям не критиков, а Пушкина, если не равнодушно, то спокойно принимая хвалу и клевету. И ровно ничего не делал, чтобы расширить круг своей известности.

Его тексты собирали друзья. Лев Давыдычев завел отдельную папку для стихов Решетова. В начале 1970-х они вдвоем с Дмитрием Ризовым разобрали решетовские черновики, сменяя друг друга, перепечатали стихи на машинке и сложили новый сборник. Рукопись Давыдычев отвез в Москву, в издательство «Современник». Книга лежала там довольно долго. Решетов время от времени спрашивал Льва Ивановича, как обстоят дела, но не слишком настойчиво. То ли ничего не ждал, то ли его не очень заботила московская публикация.

Он не следовал к цели, просто шел своим путем, и вот, тропинка вывела на лесную поляну, где можно отдохнуть, подумать и подождать, что будет дальше. Иногда казалось: поэта и читателя разделяет все более широкое пространство.

Даже от литературной жизни Перми Решетов держался в стороне и тем самым незаметно переместил ее центр. Несмотря на усилия партийной критики, он не исчез с горизонта, и все, для кого поэтическое слово имело значение, знали: лучший лирик Урала работает на Березниковском калийном комбинате. Быть может, вернувшись сегодня со смены, он напишет несколько строчек, а слово поэта, в конечном счете, значит больше, чем трескучая речевка газет.

В очерке «Собеседник сердца» Надежда Гашева, редактор четырех книг Решетова, писала: «*Я берусь утверждать,*

В. Радкевич, Н. Гашева, А. Решетов.
Пермь, 1986 год

что до Алеши в нашем крае не было поэта, который так твердо следовал бы избранным путем. Он не писал о ГЭС и ГРЭС, нет в его стихах никаких пусков заводов, фабричных труб и терриконов, хоть он и насмотрелся на них в жизни. Пейзажи, герои, мысли, заботы его лирики совсем иные. В четыре, восемь, двенадцать строк он под высоким напряжением укладывал самые простые слова, но живые, живые! И они сами находили путь к нашему сердцу».

У Решетова были твердые убеждения и по поводу жизни, и по поводу творчества. Но чем самобытнее писатель, тем чаще он получает руководящие указания. Обязательно найдется тот, кто объяснит; что сделано неправильно, а то и исправит «ошибки». Когда после одиннадцатилетнего перерыва Решетова вновь начали печатать, ему пришлось непросто. Цензурные рогатки стали острее, а рамки дозволенного – уже.

В 1975 году московское издательство «Современник» выпустило, наконец, в свет сборник Алексея Решетова «Рябиновый сад». Однако радость поэту отравили. Камнем преткновения стало заглавное стихотворение книги.

Лежу на больничной постели,
Мне снится рябиновый сад.
Листочки уже облетели,
А красные гроздья – висят.
И мать говорит мне:
«Мой мальчик,
Ты помни, когда я уйду,
Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в этом саду».

Редактор не разделил мнения поэта о горечи человеческой жизни и поправил предпоследнюю строку: «Но жизнь *и с грустинкою* ярче, чем ягоды в этом саду».

Конечно, образ матери в «Рябиновом саде» обобщенный, и все же представить в устах Нины Вадимовны Павчинской эту «грустинку» – невозможно!

Творческий портрет автора издатели тоже создавали сами, упрощая и обедняя его. В первый московский сборник Решетова не вошли стихи о творчестве (за исключением «Белого листа»), там не было ничего, что нарушило бы целостность образа уральского самородка. Если какой-то текст не влезал в заданные рамки, его растолковывали. Так, над стихотворением «Может, чет – а может, нечет» в книге стоит пометка: «шутливое». Что никак не соответствует тексту.

...Может, я тебя спасаю,
Может, я тебя гублю.

В аннотации к сборнику читателю объясняли, как ребенку: «В стихах Решетова ярко отражены характеры и судьбы простых тружеников. Через природу поэт стремится показать богатство души человека, его сложные чувства, неистребимую любовь к родной земле».

Все правда: и простые люди, и сложные чувства – и все приблизительно. Самое выразительное словосочетание в этом тексте – «неистребимая любовь к родной земле». Вот это точняк!

С московскими публикациями Решетову не везло. Столичные редакторы не считали нужным согласовывать с поэтом из провинции изменения в тексте, и когда их представления о прекрасном расходились с авторским, бесцеремонно вмешивались в текст.

Поэтому Решетов своих московских книг не любил. Особенно раздражал его сборник «Лирика», изданный в 1984 году издательством «Молодая гвардия».

Он страшно расстроился и разозлился, когда московская дама-редактор предложила заменить строчку «Я был пацаном голопятым» на умильное «Мальчонкой я был голопятым...». Надежда Гашева написала даме резкое письмо. Ответа не последовало. Получив экземпляр московской книжки, Решетов открыл ее и разорвал пополам. Издатели пошли на «компромисс», в книге строка выглядела так: «Я был сорванцом голопятым».

«Дурен вкус, матушка!» – как говаривал Решетов.

И все же после «Рябинового сада» и молодогвардейской «Лирики» поэта Решетова заметили за пределами Урала.

В 1975 году в московском журнале «Молодая гвардия» появилась рецензия Л. Королева на «Рябиновый сад» – «Когда строку диктует чувство» (поддержка Бориса Пастернака была отрадна и очень кстати). Рецензент называл работу уральского лирика над словом ювелирной и решительно выделял его из общего фона: *«За то время, которое работает в поэзии Алексей Решетов, издавались и очень талантливые книги. Но и на избранном фоне, как первый снег, неожиданные, как первый молодой лед на реке, за которым загадочная глубина, – решетовские стихи волнуют, тревожат, а порой и просто ошеломляют»*. В сентябре 1978 года Вадим Кожинов напечатал в «Литературной России» статью «Высокая простота». Влиятельный критик утверждал, что стихи Решетова лишь кажутся безыскусными, на самом деле «за них нужно дорого заплатить – заплатить верностью правде поэзии и правде самой жизни». В 1979-м альманах «Поэзия» опубликовал статью Станислава Лесневского «При свете совести и сказки». Автор назвал стихи Решетова циклом лирических гравюр и утверждал: как философский лирик поэт продолжает традицию Николая Заболоцкого. «*Нельзя не заметить, что Алексей Решетов создает красоту едва ли не из констатации, из факта, но просветленного идеалом...»*

Несмотря на одобрение критики (иногда искреннее, иногда снисходительное), пермские издания Решетова тоже, конечно, не избежали цензуры. Главной его виной считался пессимизм.

Надежда Гашева в очерке «Собеседник сердца» рассказывает:

<…> Я помню, как мы с Лешей «прятали» по сборникам «печальные слова». Их особенно рьяно подчеркивали разного рода рецензенты из Москвы и бдительный главный редактор издательства Б. Д. Гринблат. Установка была одна: больше бодрости и оптимизма! И что вышло? Леша всем дал урок поведения поэта. Он вообще-то был терпелив и скромен.

– Ну, уберем этот стишок, – говорил.

Всегда «стишок», а не «стихи» или «стихотворение». Словно стеснялся. <…> Так вот, Леша терпел. Дошло дело до верстки, то есть второй корректуры. Еще 6-7 «печалей» велят выкинуть из книги. И тут он взорвался:

– Я возвращаю аванс и забираю рукопись!

Это было прекрасно и сильно. Но я думала: ведь книга не выйдет! Больно. Разорительно. И читателя тоже жаль.

Но Леша оказался прав. Твердость и достоинство поэта победили. Текст больше не тронули, и книга вышла.

В советское время авторы крайне редко разрывали отношения с издателями. Издательств в стране насчитывалось немного, и все государственные. Существовал риск, что строптивого литератора вообще нигде не станут издавать. Не говоря уж о возврате аванса…

Среди биографических заметок Нины Вадимовны есть такая: *«Когда мне было 50 лет, на работе отмечали: подарили 2 корзины розовой примулы и сиреневый столовый сервиз, а у меня не было на курево в кармане денег».*

Пятьдесят ей исполнилось в 1964 году. Но Решетовы и потом жили небогато, а гонорары в советское время платили приличные.

Эпизод, описанный редактором Решетова, относится к концу 1970-х, когда к печати готовился сборник «Чаша» (книга вышла в 1981-м). Чтобы сохранить стихи, приходилось идти на различные ухищрения.

Автор и редактор маскировали вторые, третьи, девятые смыслы, отводили глаза. Например, обозначали в книге разделы, и «Дельфинов», которые вовсе не о природе (поэт вообще «о природе» не пишет) поместили в раздел «Волшебная книга природы». Уловка, как ни странно, удалась. Возможно, была молчаливо принята. Выручало то, что многочисленные

литературные начальники стихов не помнили. Надежда Гашева не раз тихонько возвращала убранный руководством (рецензентом) текст в сборник, просто переместив его в другое место, изменив или вовсе сняв название.

В конечном итоге, в «Чаше» многострадальные «Дельфины» были опубликованы в разделе о творчестве. Строчки, конечно, увечили. Авторский вариант удалось восстановить только в девяностые годы.

При большом числе поклонников недоброжелателей у Решетова тоже хватало. На Урале он был хорошо известен. И, без всяких сомнений, был талантлив. И то и другое порождало зависть, а уж сочетание!.. К тому же, по свидетельству тех, кто близко знал Алексея Леонидовича, он не всегда был сдержан, умел язвить, мог припечатать словом и «меньше всего был паинькой». Результатом стали доносы. О двух из них тоже рассказывает Надежда Гашева.

<...> Первый, о котором знаю, – дикий: якобы Решетов слишком много пишет о сексе! Письмо ревнителя нравов было написано в Москву, в Комитет по печати. <...> Все издательства страны были подчинены этому заведению. Пришлось мне писать длинное письмо с цитатами из Лешиных сверхцеломудренных стихов о женщине, о любви и посылать в Комитет. Благо, сделать это было легко. Обошлось. Когда я рассказала историю Алеше, он быстро вычислил доносчика. Леша ведь был человек очень умный, очень наблюдательный. У него был дар поэта, но и цепкая память и хватка прозаика: он видел, как человек ест, пьет, жестикулирует, двигается; он слышал, как человек говорит. Я даже боялась иногда Лешиного быстрого взгляда. Думаю, он был прав, назвав своего “недоброжелателя”. Но это случай патологический. А второй – из разряда того абсурда, каким пронизана была наша жизнь настолько, что абсурдность не сразу осознавалась, а лишь много после.

Меня позвали в ту комнатку Союза. <...> Там сидел молодой человек из КГБ. Незадолго до того происходило обсуждение новой книги стихов Алеши. <...> Гэбешник спросил меня: “Не можете ли вы мне сказать, как стихи Решетова попали на Запад?” Я удивилась, ничего не слыхала про это, но голова сработала быстро:

– Думаю, дело простое. Рукопись лежала в Союзе писателей перед обсуждением, любой мог прийти и почитать,

переписать. А уж кто это был – ума не приложу. Не Алексей же Леонидович! Ему такое и в ум бы не впало.

История со вторым доносом произошла в начале восьмидесятых, когда Решетов уже переехал в Пермь. Но ни тогда, ни прежде, ни потом ему действительно не приходило в голову посылать куда-то стихи. Не только на Запад, но и просто за пределы Урала. Анна Романовна Павчинская несколько лет уговаривала племянника дать подборку журналу «Дальний Восток» – там очень хотели опубликовать земляка, родственника известного хабаровского художника, сына хабаровского журналиста. Решетов так и не собрался.

Всего однажды он отправил за рубеж свое произведение. В конце 1960-х издательство Софии готовило сборник «Сто шедевров русской советской лирики». Решетов получил письмо из Болгарии с просьбой выслать одно собственноручно переписанное стихотворение по своему выбору. Ответил не сразу (в архиве сохранилось повторное обращение издателей). Его смущало слово «шедевр», и он советовался с друзьями, что выбрать. Многие предлагали «Михайловское», но Решетов предпочел «Шахматы».

Окошки – вроде желтых клеток
Для шахмат. И по ним порой
Передвигается нелепо
Разбитый вдребезги король.
Его ладьи лежат в пучинах,
И офицеры спят в земле,
Его жену чужой мужчина
Увез в серебряном седле.
Он за насмешкою насмешку
Теперь встречает на пути,
О, если б маленькую пешку
У самой пропасти найти.
Одну из тех, кто и без денег,
И без дворцовой мишуры
Тобой живет, с тобою делит
Все беды шахматной игры.

Если подумать, «Шахматы» – своеобразный парафраз «Воздушного корабля» Михаила Юрьевича Лермонтова.

...И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою...

Возможно, незримое присутствие Лермонтова примиряло Решетова с необходимостью печататься в книжке, куда отбирали шедевры. А вот тень Пушкина он болгарам не отдал, оставил себе...

Вплоть до девяностых Решетова придерживали: некоторые стихотворения вовсе не публиковали, некоторые увечили. Неизвестно, что мучительней для поэта. Ведь в хорошем стихе каждое слово незаменимо. Поэзия, как шифровка: поменяй один элемент – и смысл послания не распакуется. Но, несмотря на искажения и редакторский произвол, поэзия прорывалась к читателю. Решетов об этом знал, ему писали и знакомые, и совсем незнакомые люди, для которых его стихи стали открытием.

«Второй раз в жизни, без году семидесяти лет, <...> я читала книгу со слезами на глазах "всю дорогу". Тайна, наверное, в том, что Вам удалось добраться до самого дна собственной души. Это редко кому удается. А так как самое донышко у всех все же очень похоже (недаром говорят, что все люди – братья), <...> то вы этим "донышком" рассказали мне обо мне с такой откровенностью, с какой я не смела с собой говорить. Слезы, пролитые над Вашей книгой, это не только слезы боли и одиночества, но еще и слезы узнавания себя и общения с другими, значит, слезы счастья».

«Я рад, что открыл большого русского поэта – Алексея Решетова. Я таких комплиментов не делаю – во всяком случае, посчастливилось сделать в первый раз».

Приезжавшие в Пермь москвичи, ленинградцы и жители других городов открывали Решетова, как чудо, и увозили с собой его книги. Его строки действовали на любую аудиторию, поражали коллег по литературному цеху, знатоков поэзии и тех, кто обычно стихов вообще не читал.

Михаил Смородинов рассказывает, как однажды, по просьбе Нины Вадимовны, привел к Решетовым сантехника (в советское время это было непростой задачей). Мастер быстро справился с ремонтом, и хозяйка пригласила гостей за стол: выставила бутылку водки, квашеную капусту,

нарезала колбасы. Подняв рюмку, сантехник (отставной военный, комиссованный по болезни) прочел:

В эту ночь я стакан за стаканом
По тебе, моя радость, скорбя,
Пью за то, чтобы стать великаном,
Чтоб один только шаг – до тебя...

И сказал:

– Удивительные стихи у вашего сына. Вы можете им гордиться, и за это и вам, наверное, надо выпить.

«Это был единственный случай за много лет, когда на моих глазах Нина Вадимовна осушила рюмку сорокаградусной, – пишет Смородинов. – *Может быть, такая "рецензия" работяги-сантехника сказала ей о таланте сына больше, чем десятки критиков, вплоть до Кожинова».*

Но поэзию Решетова высоко оценил и Вильгельм Левик. В решетовском архиве сохранилась машинопись переводов Бодлера, подаренная знаменитым переводчиком. А великий палеонтолог Владимир Меннер ходил по коридорам своего института с книжкой молодогвардейской «Лирики» и, встретив знакомого, зажимал его в угол и начинал читать, читать Решетова...

В очерке «Такие тихие щемящие слова» Семен Ваксман пишет: *«На тумбочке у постели тети Любы, старой московской художницы, иллюстратора детских книжек, в самые последние ее дни – два томика – Андерсена и Решетова.*

– Помнишь, Сеня, "О, Боже, как на клюквенном болоте..."

– Да-да-да, "лягушки бедные поют"!

– Как ты не понимаешь! Безза-щит-ные! Лягушки беззащитные поют!

Разница есть? Разница есть».

Подобных историй множество. Одну из самых выразительных рассказал тот же Ваксман (зная его кристальную честность, можно смело утверждать: сюжет не выдуман и ничего не преувеличено).

Однажды Семен Иегудович лежал в больнице. В палате с ним находилось четверо: старик по фамилии Кукушкин; авиаконструктор, много лет проработавший на моторостроительном заводе («С самим Павлом Соловьевым работал!»), который почти не поднимал головы от сборника кроссвордов; страшный матерщинник и еще один человек,

тихо умиравший в углу. В тот день Кукушкина выписывали, он был мрачен, только что узнал от врача неутешительный диагноз…

«И вот, – рассказывает Ваксман, – *я решил прочитать стихотворение, которое помогало многим людям. Рискнул, нашел такой момент…*

Лежу на больничной постели,
Мне снится рябиновый сад…

Кукушкин перестал собираться и серьезно сказал: “Спиши слова”. Я вырвал листок из блокнота, списал слова. Тут поднял голову решатель кроссвордов и сказал: “И мне тоже”. Записал и ему. Следом матерщинник: “И мне тоже”. Вот это меня больше всего поразило. И человек в углу вдруг тоненьким голоском: “И мне спиши”. В это время входит хирург, краснощекий парень, и спрашивает: “Что это вы тут пишете?” Взял бумажку, прочитал, достал свой блокнотик и переписал слова».

В чем тайна? Слова-то самые обычные. Легко переписать. Обычные, но не случайные. Решетов не лгал читателю и не фальшивил. Платить за это приходилось дорого. В том числе молчанием. Литературной судьбой. Поэт хорошо это понимал и принял, как неизбежность.

Надежда Гашева вспоминает: *«В начале восьмидесятых годов у Алеши “зарубили” стихи, вошедшие позднее в цикл “Голоса ночных незнакомцев”. Там был и “Монолог сказочного солдата” с такой концовкой:*

Я бравый сказочный солдат,
Но очень стыдно мне
Морочить головы ребят
Неправдой о войне.

Я шла к Алеше домой, чтобы сообщить ему: стихи не прошли, и вдруг на раскисшем снегу увидела оловянного солдатика. Его и принесла поэту в утешение. Алеша обрадовался – в детстве он ведь играл солдатиками, вырезанными из газеты… А что цикл не прошел – к этому он был готов».

Глава 7
ЖЕЛТЫЙ ДОМ

С чем рифмуется «жизуха»?
– Рифма есть, – сказал мудрец. –
Показуха, невезуха,
Арестантская кирзуха
И шизуха, наконец.

А. Р.

Пока рукопись Решетова лежала в издательстве «Современник», автор действительно очутился на больничной постели с видом на сад.

«Положили меня 2 февраля, в пятницу. Я пил много дешевого вина, и шнурки стали выползать из дырочек ботинок и ползать всю ночь по комнате. Так я попал в дурдом», – спокойно сообщает Алексей Решетов в начале «Записок из «желтого дома». «Желтый дом, дом для умалишенных, от желтой окраски Обуховской больницы в Петербурге. В. Даль» – объясняет название один из эпиграфов.

Впервые повесть была опубликована в трехтомнике в 2004 году. Решетов сомневался, стоит ли включать ее в собрание сочинений, однако составители приняли верное решение. «Записки» – нечто большее, чем больничная хроника. Это важная часть биографической трилогии, жесткая и откровенная, а главный сюжет вещи – не лечение от алкогольной зависимости. В тексте слышна разноголосица, там возникают причудливые персонажи и разыгрываются странные сценки. И все это складывается в картину времени и места – не только известной пермской психушки, но и целой страны.

Неизвестно, когда возник замысел превратить записки в повесть, но дату начала работы можно назвать точно – 11 февраля 1973 года. Этим числом помечено первое письмо Решетова из больницы. Текст письма (как и последующих, адресованных матери, бабушке и племяннице), почти полностью вошел в произведение.

Обычно Решетов не указывал в письмах даты (мог поставить день недели или время). Редко датировал и стихи – не считал появление их особо важным событием. Но на

этот раз число на листке стоит. Случай особый. Так моряк из Йорка Робинзон Крузо вел календарь. Так узник подсчитывает дни до освобождения.

Соотнесение психиатрической клиники с тюрьмой важный мотив повести. Это очевидно уже из названия: «Записки из «желтого дома» Решетова отсылают, разумеется, к «Запискам из мертвого дома» Достоевского и еще к «Запискам сумасшедшего» Гоголя.

Если перефразировать материал Википедии о каторжной прозе Достоевского, можно сообщить: «Записки из *“желтого дома”* носят документальный характер и знакомят читателя с бытом пациентов и работников пермской психиатрической клиники второй половины XX века. Писатель художественно осмыслил все увиденное и пережитое во время двух госпитализаций (1973 и 1980 годов)».

Что касается Гоголя, то его повесть – дневник героя и сперва называлась «Клочки из записок сумасшедшего». Решетов тоже предлагает читателю фрагменты дневника, полного бредовыми монологами на фоне безумной действительности.

Основа повести – письма, адресованные, главным образом, матери. Нина Вадимовна хорошо понимала, что такое заключение. Хотя, конечно, причины и условия неволи, в которую попал ее сын, были совсем иными. Да он и не равнял опыт, просто невольно апеллировал к нему, обращался к собеседнику, которому не нужно объяснять, что такое прогулочный дворик в сто шагов, обритый лобок, два левых сапога не по размеру, лагерный бушлат, передачи и невозможность остаться одному. А главное – неизвестность: срок пребывания в клинике пациентам не сообщали, минимальный курс лечения занимал сорок дней, но мог растянуться и на два-три месяца. Решетова же, помимо прочего, беспокоила материальная сторона дела – нужно было зарабатывать, а значит, поскорее возвращаться на работу.

Иногда он обыгрывал тюремную тему иронически: *«Сижу за решеткой в палате сырой, / Вскормленный лекарством и кашей одной…»* Иногда писал всерьез: *«Здесь нет воли, обеих ее лучших половин – любви и работы; человек лишен самого главного иногда, увы, на всю жизнь. Нас, как в тюрьме, запирают на ключ, редко выводят гулять.* <…>

Баня – раз в десять дней, свидания – по четвергам и воскресеньям с 3-х до 6-ти. По телефону вынужден говорить суконным языком – рядом всегда сидит сестра, которая обязана все передавать лечащему врачу. Письма, туда и обратно, – вскрывают».

Свои послания домой Решетов передавал через друзей, приходивших его навестить, поэтому писал свободно. Он просил мать быть осторожной при общении с врачами: *«Они усмотрели во мне скрытность, мешающую им лечить от придурей. <…> Поэтому хотят говорить с тобой. <…> Профессор же сказал, что лет 15 я все делал для того, чтобы разрушить здоровье, и никто мне не помогал в смысле обретения воли. Вся жизнь была такова, что располагала к питью при повышенной восприимчивости и внешней отчужденности, замкнутости. <…> Будет интересовать и наш семейный вопрос, и биография, где отец и т. д. Все это говори, как есть. <…> Перед беседой с врачом нам надо обязательно увидеться, тут идешь по лезвию бритвы, легко переборщить. <…> Меру определишь на месте, по обстоятельствам и тону»* (03.1973).

Меру откровенности Нина Вадимовна определять умела. Она никогда не выдала бы медикам тайны их скрытного пациента. Мать и сын согласовали «показания», – в том числе легенду о причине душевного расстройства: некое давнее падение с высоты, головные боли – последствие травмы, семейное горе. *«Пью я, согласно сложившейся версии, с 60-го года, последние 2-3 года каждый день, не могу не опохмелиться. Трезвым бывал самое большее 2 недели».* 1960-й обозначал реальное и понятное всем событие – гибель брата. Тогда Решетов впервые попал на лечение, и история его болезни была доступна для пермских врачей.

Он предлагал рациональные объяснения своему иррациональному состоянию. А сам мечтал поскорее выбраться на свободу или хотя бы перевестись в березниковскую больницу. Тосковал, как герой Гоголя: *«Дом ли мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку!.. Ему нет места на свете!»*

Друзьям полностью не доверял. Они активно помогали в беде, но главной задачей считали избавление от приступов, страхов, депрессии и алкогольной зависимости.

Эпилептический припадок, по свидетельству бабы Оли, впервые случился с Алешей в четыре года. Потом приступов не было, но алкоголизм вернул их.

Курить Решетов начал в 8 лет, когда стал пить – сказать трудно. Бражку в бараках на Ждановских полях пробовали не только взрослые. И если за курение мать всыпала сыну, ученику техникума, по первое число (хотел показать, как умеет соскакивать с турника, а из кармана вылетела пачка сигарет), то в бражке поначалу никто не видел ничего плохого. Так жили все. В молодости Решетов пил в основном вино в веселых компаниях – *разговор оживился, и все приняли в нем участие.* Но жизнь в северном провинциальном городе располагала к водке: тяжелый физический труд, среда, беды, желание перейти в другое измерение или вовсе забыть обо всем.

В то, что Решетов после лечения бросит пить, не верили ни он, ни близкие. Но в 1973-м (как потом в 1980-м) он дошел до опасного предела, испугался начавшихся галлюцинаций и сам решил сдаться врачам.

Пермская психушка на Революции, 56 была местом известным, даже легендарным. Располагалась она в самом центре города, но, как часто случается в Перми, где среди городских кварталов внезапно возникают то лес, то пустошь, то овраг, то какая-нибудь загадочная слобода, была совершенно обособленной территорией. Деревянные корпуса, построенные в XIX – начале XX века, скрывал от глаз дощатый забор. Каждый корпус стоял изолированно, окруженный старыми высокими липами. Территория обширная – дорожки, скамейки, крылечки, зеленые насаждения – не клиника для умалишенных, а дачный поселок. Заведение было вечно переполнено – безумие походило на эпидемию. Впрочем, алкоголизм и был эпидемией, социальной, как туберкулез, или ментальной.

Договорился о немедленной госпитализации Решетова секретарь пермского отделения Союза писателей Олег Селянкин. Он же попытался оградить пациента от излишнего внимания (боялся, что принесут больному алкоголь). «Селянкин лично пообещал свернуть всем головы, если будут мне надоедать», – писал Решетов матери.

Олег Константинович был человеком решительным. Настоящий фронтовик. В 1941 году сражался на Балтике,

в 1943-м – под Сталинградом, в 1944-м в составе Онежской флотилии с боями прошел по рекам Европы и закончил войну в Германии. Ранен был четыре раза, имел боевые ордена. После победы Селянкин тоже много пил и теперь был полон решимости спасти от этого зла талантливого поэта. Посетители к Решетову, конечно, приходили, но обещание главы писательской организации никому пустыми словами не казалось. Впрочем, и сам пациент клялся: если будут приносить зелье – перестанет выходить к посетителям.

Друзья несли ему кильку и селедку (спасение от пресной больничной еды), сок, окрошку, в вербное воскресенье – веточки вербы, книги («Тройной полярный сюжет» Олега Куваева, «Мастера и Маргариту», что особенно соответствовало месту и, «интересное совпадение», повесть Джека Лондона «Белый клык», которую читал в 1960-м в березниковской больнице – в той же самой обложке!). Но в основном тащили курево. Решетов, по выражению его врача, без сигареты только спал. Многие соседи по палате были из области, посетители с передачами к ним не ходили, и страдальцы «стреляли» сигареты у безотказного товарища по несчастью. За день улетало до трех пачек.

Первое время лечением известного поэта занималась Зоя Ефимовна Шведова, однако после мартовских праздников она ушла в отпуск и передала пациентов Льву Зиновьевичу Трегубову. Решетова это обрадовало. Трегубов был хорошим другом Роберта Белова. А уже на Белова можно было положиться. Он, собственно, и проводил Решетова в клинику, переговорил с врачами и навещал больного почти ежедневно.

Вскоре после госпитализации (Белов утверждает: «в первые дни-ночи») было написано посвященное и подаренное Роберту Петровичу стихотворение «Грустный Бернс».

Был когда-то я парень не промах, друзья,
И какая беда ни приди –
И себя, и других успокаивал я:
Наихудшее – все впереди.

Покосился мой дом, развалилась семья,
Сердце мышью скребется в груди,
Но еще не развенчана правда моя:
Наихудшее все впереди.

Дождь устало танцует на кучах гнилья,
Ни луча, хоть глаза прогляди.
Ничего, не грустите, родные края,
Наихудшее – все впереди.

В таком виде Белов приводит текст в мемуарном очерке «Физики-лирики». Этот же вариант напечатан в 1989 году в пермском сборнике «Пульс» (Р. П. Белов был его составителем). В «Пульсе» впервые появились многие до того не опубликованные стихи Решетова: «Когда отца в тридцать седьмом» (почти одновременно состоялась публикация в «Юности»), «Почтальон Абрам Ароныч», частично «Монологи ночных незнакомцев», поэма «Колокольный глагол» (под названием «Проза в стихах»). В сборнике «Станция жизнь» и последующих изданиях финал «Грустного Бернса» изменен: *«Ничего, ничего, дорогая земля, / Наихудшее – все впереди».* Учитывая время выхода сборника (1990), правка, скорее всего, авторская. Выиграла точность рифмы, хотя чуть притупилась острота. Скорее всего, поэт, добиваясь большего обобщения, объединил землю – родные края двух Робертов: Бернса и Белова.

Если стихи в самом деле написаны в первые дни пребывания в больнице, можно лишь поражаться ясности ума и отчетливости речи пациента.

Той же ясностью отмечены повесть и письма домой. Память его была в полном порядке. Решетов, например, напоминал матери: *«Постарайся ответить иркутскому парню, насчет отца откладывать некуда...»* (Речь, вероятно, о письме А. Сатурина, в котором тот уточнял детали биографии Леонида Решетова и на которое Нина Вадимовна так и не написала ответ.) В «Записках из «желтого дома» безумие сквозит в каждой строке, прорывается в отрывочности повествования, но все побеждает зоркость автора, его способность видеть и запоминать детали, вычленять из потока событий и бредовых речей существенное.

Писать Решетов начал сразу, как только почувствовал себя лучше. Литературная профессия спасала от безумия лучше лекарств и бесед с психиатрами. Он сочинял стихи, делал заметки для памяти (хотя друзей уверял: я и так не забуду – и действительно, никогда ничего не забывал).

Сцены и персонажи были яркие. В сад сумасшедшего дома *«вышел профессор с табличкой под мышкой. На красном фоне белой гуашью написано: “Это – русская картина, это – Родина моя”. «Котенок в столовой. Зеленые, как елочные лампочки, глазки, а лапки – как вербные барашки»*, пациенты собрались вокруг и обсуждают, как можно убить кошку. Параноик Саня сосет леденцового петушка, хихикает и *«грозит кулаком свободной руки оконному вентилятору или Создателю». «Кокетливые, зеленые, как юная трава, занавески на зарешеченном окне». «Алкаш несет кружки <…>, надев их за ручки на все пальцы, и прищелкивает ими, как кастаньетами». «Нянечка кормит кашей страшного мальчика-олигофрена, убившего брата-младенца. Соседи по палате спорят: “Куда лететь-то?” – “На Марс не надо. Там Беломорканал роют. <…> Лучше на Уран”». «Всю ночь цветочный аромат боролся с запахом нестираных носок, табака и спрятанной ржавой селедки. И почти побеждал».*

Весна давала надежду если не на спасение, то на возрождение красоты.

«На клумбе проклюнулись настырные многолетки, и были прекрасны отбитые темно-красные грани кирпича, напитанные свежею водою и оклеенные зеленым плюшевым мхом».

Свое пребывание в «дурдоме» Решетов не собирался скрывать от читателей. Откровенность – так откровенность, в лучших традициях русской прозы. Сомнение, стоит ли публиковать записки, связано, скорее, с нежеланием отвечать на неизбежные вопросы, чем с желанием утаить постыдное. А может быть, он не был до конца уверен в ценности этого текста. Но не опыта. В клинике написаны несколько стихотворений, в том числе о любви, побеждающей даже безумие.

Потепленье, нетерпенье,
Чувств прорвавшихся стремнины.
Даже ворон чистит перья,
Собираясь на смотрины.
Даже самый наиробкий
Школьник, вымазанный мелом,
Вместо эллипсов и ромбов
Выдает сердца и стрелы.

Даже там, в больничном зданье,
За решеткой и за шторкой,
Бонапарт целует няне
Руки, пахнущие хлоркой.

В трехтомнике текст датирован 1970 годом, но, несомненно, создан весной 1973-го. Похожий эпизод: больной, целующий руку нянечке, есть и в повести. Рассказчик – внимательный наблюдатель не только собственной внутренней, но и внешней жизни, – видит эту сцену, скрытую от тех, кто находится по другую сторону решетки.

Любовь и пронзительная жалость к людям – главные темы «Записок».

Спрятавшись за розой на подоконнике, повествователь смотрит на танцы в «дурдоме». Валя нежно и укоризненно заправляет Сане рубаху, выбившуюся из-под резинки шаровар. А над ними: *«Портреты бородатых психиатров. Стенгазета со стихами: “Процедуры принимаем, хорошо питаемся и поправиться скорее почти все стараемся”».*

Появляется на страницах «Записок» и Вера Нестерова – воплощение красоты и женственности. И нянечка, моющая пол, вдруг извиняется, когда ей приходится побеспокоить пациента и его гостью: *«Я понял, как благоговейно относятся к любви, даже чужой, люди»*.

В «Записках», как в жизни, безумные монологи, страшные сны, рассказы об исковерканных жизнях и надломленной психике, беспросветный быт и необъяснимая жесткость соседствуют с нежностью, красотой и сочувствием. К старухе, поющей песни худой дворовой кошке. К больным детям, играющим в классы в загородке. К покалеченной собаке. К обитателям «дурдома», которым нельзя помочь. Ко всем людям.

Решетов знал, как легко сорваться за грань: «Какое-нибудь потрясение, и...» Нужный образ подсказал случай. *«Аннушка принесла цирковые снимки. По канату ходит Курбанов... Все мы ходим по канату разумного, рискуя свалиться в пропасть сумасшествия».* Цирк – безумие – жизнь...

В клинике (или вскоре после нее) написаны два «цирковых» стихотворения Решетова: «Я в цирке не был много лет» и «Уставшая от стирки, ты все же собралась...», где веселье неотделимо от смертельного риска. Во втором из этих стихов оживает фотография, которую Анна Бердичевская показала Решетову.

...Под рокот барабанов –
Орлиных круч кунак –
Гаджи Курбан Курбанов
Вступает на канат.
Мы все – канатоходцы
Над безднами судьбы
И знаем, как дается
Сеанс такой ходьбы.
Нам злые неудачи
Прохода не дают.
С Канатчиковой дачи
Привет передают.
Но лучше всякой лонжи
Меня всю жизнь берег
Твой добрый взгляд,
похожий
На горный огонек.

Канат разума натянут над Канатчиковой дачей, над желтым домом для умалишенных, над пермской психушкой на улице Революции. Упасть легко. Как в песне Владимира Высоцкого. Но там страховки у канатоходца нет, а Решетов ее делает – сохранить от беды может любящий взгляд милой женщины.

Эпизоды «Записок из «желтого дома» строго документальны. Решетов неизменно следовал принципам Сергея Третьякова и заветам отца и дяди – убежденных газетчиков. Безжалостно зафиксированы собственные кошмары и паранойя (то, что врачи назвали необоснованными страхами). *«Берегите себя, Ольгу не отпускайте ни на шаг, никому не открывайте»,* – писал он из больницы родным. Ужас, что беда может случиться с близкими, усиливался от увиденного и услышанного в клинике.

О себе он заботится меньше. Пушкинского «Не дай мне Бог сойти с ума» нет ни в письмах, ни в прозе. Может быть, потому, что безумие уже настигло. Нечего плакать о пролитом молоке. Он бредил, галлюцинировал, сорвался с каната. И сумасшедшие его не пугали.

«Психи малоинтересны. Один считает себя чертом и спрашивал у меня, не черт ли я. Я сказал, что пока электрослесарь, ему стало скучно – он отстал. Словом, развлечение на один день. <...> Грусти особой у меня нет, только чувство бессмысленности».

«Претерпевший же до конца спасется» – последняя фраза «Записок из «желтого дома». Это цитата из Евангелия от Матфея (24.13). Иисус говорит эти слова апостолам, предупреждая, сколько испытаний ждет их в пути. Решетов терпеливо ждал освобождения. Сокрушался лишь, что впервые поздравил мать с днем рождения письменно и не сможет выпить за ее здоровье «по фужорчику». Он не верил в эффективность лечения. Зато был убежден: игрушечная собачка, которую ему дала Олеся, хранит его от беды.

Врачи утверждали: *«Вы сейчас травинка, не умеющая гнуться, – вас жизнь сразу сломает. А мы постараемся сделать вас пружинистым – гнуться и выпрямляться»*. Но с натурой, судьбой, мучительным божьим даром-поручением медицине было не справиться.

В саду пермской клиники Анна Бердичевская сделала замечательный снимок. Рядом с Решетовым на скамейке Лев Давыдычев и Ирина Христолюбова. Историю этой фотографии Анна Львовна запомнила. Хотя ничего важного, вроде бы, не произошло. *«Был цветущий день. Леша был в хорошем настроении. Он уже выздоравливал. На нем была кепочка, сложенная из газеты. Но Лев Иванович принес ему новую газету. Леша ее быстренько просмотрел, старую кепочку выкинул, сложил другую из новенькой газетки и надел ее. Этот эпизод я и сняла: смеется Давыдычев, улыбается Ира, а посередине сидит Леша в новой кепочке»*. На снимке он печален. Хотя поводы для радости были: друзья, солнышко, близкая воля…

Л. Давыдычев, А. Решетов, И. Христолюбова

Решетов провел в клинике около двух месяцев. Улучшение, безусловно, наступило. Он не избавился от пристрастия к алкоголю, но пить старался меньше, перешел на пиво, иногда не пил месяцами. И гордился этим. Про канат разума и бездну безумия он никогда не забывал.

…В 2019 году Лев Трегубов, лечащий врач Решетова, говорил: *«О своем состоянии он все рассказал сам. Поэтому никакой медицинской тайны здесь быть не может: история болезни напечатана в количестве пяти тысяч экземпляров. Эти его записи можно давать студентам как образец. Для специалиста они интересны оценкой больным своего состояния. В медицине это называется ВКБ – внутренняя картина болезни. Не каждый может так все зафиксировать, далеко не каждый. Действительно большой мастер!*

…Лечение мы начали вовремя и симптоматику купировали, слава Богу, достаточно быстро. А когда Решетов пошел на поправку, я дал ему личностный тест. Называется “король тестов”: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), 550 вопросов, на которые надо ответить “да” или “нет”. Психолога у нас не было, я в меру сил сам расшифровывал… Я долго этот тест хранил, Решетов на нем расписался. Но всем хотелось посмотреть… Короче говоря, увели, и не знаю кто. Но ничего примечательного там не было. Обычный больной в состоянии легкой астении после перенесенного психоза, темперамент смешанный сангвинически-меланхолический. Ничего особенного. Не научились мы делать тесты, которые бы говорили о таланте».

Глава 8
Glück auf!

– А на шахту вы случайно попали?
– Я бы не сказал.

Дмитрий Шеваров «Легкие санки». Последние интервью Алексея Решетова (2002)

В мемуарном очерке «Взгляд Блока» Анна Бердичевкая описывает свою поездку в Березники в конце 1960-х: *«Зашла в редакцию местной газеты, застала там Петухова, который “как раз ждал Лешу”. Дальше три пронзительных, залитых ледяным дождиком, а потом и посеребренных инеем октябрьских дня мы провели, практически не расставаясь, с Лешей и Пашей».* События, встречи, разговоры – картина в духе импрессионизма, но концовка вполне реалистическая: *«Вдруг Решетов исчез. Оказывается – просто ушел на работу. Прошла пятница, кончились выходные, зазвонил будильник. Леша встал и ушел».*

Звонок будильника мгновенно превратил поэта в горного мастера. Пора на смену.

Алексей Решетов проработал на Березниковском калийном комбинате 26 лет («как солдат царской службы» – однажды заметил он). Случай уникальный: ни у одного крупного лирического поэта нет такого рабочего стажа. Он настолько стал частью местного пейзажа, что, когда однажды потерял фотокарточку с пропуска, а племянница приклеила на ее место фотографию пса Милорда Первого, Решетова спокойно пропускали через проходную.

В горно-химический техникум он поступил не по призванию. Но и случайностью это не назовешь. Возможно, случайностей вообще не бывает.

Куда еще в 1954-м было поступать после семилетки березниковскому мальчишке? Ритм жизни города определял химкомбинат. На БКРУ работала Нина Вадимовна. А под ногами горожан лежало, замерев, древнее Пермское море.

Решетов не раз сожалел, что никогда не видел моря. Не было в его жизни свободной стихии, шума волн и соленых брызг. Но долгие годы его судьба, как и судьба его земляков, была связана именно с морем, тем, что шумело

в Верхнекамье миллионы лет назад, а потом отступило, оставив после себя гигантские засоленные лагуны. На месте этих лагун возникали залежи калийных солей, волнообразные, словно застывшие в полете морские валы.

В 1925 году геологическая экспедиция Павла Преображенского открыла на Верхней Каме крупнейшее месторождение калийных солей, и вскоре здесь началось строительство химического комбината, а вокруг него города, который могли назвать Химград, Дзержинск, Верхнекамск, но назвали прозрачно-белым именем Березники (в честь лесного урочища и железнодорожной станции близ содового завода предприимчивого купца Любимова). Журналисты стали именовать молодой город «Республикой химии».

Алексей Решетов окончил техникум и пришел на первый калийный горным механиком в 1956 году. В конце 1980-х он рассказывал журналисту березниковской газеты «Соль земли»: *«Что я тогда умел делать? Учился по электрооборудованию, но не мог даже лампочки поменять. Шахтеры меня учили. И ни разу не упрекнули. За что и благодарен людям, с которыми свела меня судьба. <…> Богдан Павлович Лисаник, электрик отделения размола. На нем, собственно, и держалась тогда вся эта электрочасть. <…> То есть встречается в коллективе такой один человек, который научит тебя и руками работать, и головой соображать. <…> Я знал уникальных людей, неповторимых, таких, как Лев Александрович Кондратов. Он у нас в техникуме преподавал, и я у него диплом защищал. Когда пришел работать на солемельницу, Лев Александрович был ее начальником, потом возглавлял горный цех, а далее до “Союзкалия” дошел. При встрече он мог не только работой поинтересоваться, но и спросить, почему настроение скверное, не болеет ли кто. Причем часто люди, задающие такие вопросы, слушают ответы уже спиной. Но этот человек был не таким. <…> Интересно преподавал у нас геологию – потом я с ним встречался по работе – Николай Константинович Чудинов. Интереснейшая личность, человек, который открыл анабиоз в калийных удобрениях. За рубежом он был бы академиком. Если бы я был врожденным прозаиком, обладал даром Андрея Платонова, я бы написал прекрасный роман об этих калийщиках».*

Роман о калийщиках Решетов не написал. А какие были сюжеты, какие герои! Тот же Чудинов…

Свое фантастическое открытие Николай Константинович совершил в 1955 году, именно тогда Алеша Решетов посещал в техникуме его занятия. Геохимик Березниковского комбината первым из людей увидел в соляном растворе древнейшие живые существа, которые пролежали под землей 250 миллионов лет, заключенные в кристаллы соли, а затем очнулись и вновь начали развиваться. Эксперимент потряс научный мир. Специалисты считали, что в свете открытия Чудинова должны быть пересмотрены не только некоторые разделы естествознания, но и сами представления о сущности жизни, философское понимание ее природы.

О работах березниковского ученого писали в стране и за рубежом. В 1963 году во Франции прошла научная конференция по жизнеспособности организмов палеозоя, в 1965-м работа Чудинова была представлена на Международной выставке в Москве. Фильм «Узники Пермского моря», посвященный открытию, получил Ломоносовскую премию.

Конечно, в Березниках следили за этими событиями, и ученики Николая Константиновича по праву гордились своим наставником.

Нельзя не упомянуть еще одну удивительную вещь. Геолог-петрограф Николай Чудинов был родным братом палеонтолога Петра Чудинова, экспедиция которого в 1957–1960 годах обнаружила в Очерском районе гигантское захоронение пермских ящеров. Крупнейшего саблезубого хищника Очерской коллекции Петр Чудинов назвал «Ивантозавром меченосным» в честь своего учителя Ивана Антоновича Ефремова. А Ефремов – настоящая легенда: выдающийся палеонтолог, геолог, историк, естествоиспытатель. И писатель-фантаст, романами которого зачитывалось не одно поколение. Монография Ефремова «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках» посвящена «Безымянным горнорабочим старых рудников Западного Приуралья». Сюжет возвращается к тайнам земли. Кольцевая композиция выстроена самой жизнью, что в очередной раз доказывает: в мире все связано.

...Когда-то Вадим Павчинский чувствовал гордость, вливаясь в колонну рабочих «Дальзавода», в те же годы Леонид Решетов вместе с товарищами разгружал вагоны на

саратовском комбайнстрое. Однако потом оба лишь писали о трудовых подвигах колхозников и пролетариев. Алексея Решетова в газету не взяли, и его стихи о горняках – репортаж с передовой. Одно из них – «Баллада о волшебном слове» – впервые опубликовано в московском сборнике «Лирика» в 1976 году. (Название, скорее всего, дано составителями книги.)

Когда мы всеобщей победой горды,
Я вижу суровых шахтеров ряды.
Электролампадки на касках
зажглись,
И гулкая клеть устремляется вниз.
– Счастливо, бурильщик!
Счастливо, взрывник!
Я знаю, насколько опасен рудник,
Когда разъяренная сила,
как вепрь,
Крушит и ломает сосновую крепь...
Но кто говорит, что другие труды
Не могут сравниться с добычей руды?
– Счастливо, геолог!
Счастливо, солдат!
Счастливых и вам возвращений назад!
Моя дорогая,
как только за мной
Примчится
встревоженный ветер ночной,
Ты руки на плечи мои положи
И тихо: – Счастливо, Алеша! –
скажи...
Как много на свете беспечных планет,
А нашей – и часу спокойного нет.
От вечной заботы,
от вечной
тоски
Ее полюса –
как седые виски.

Первоначально в тексте «Баллады» не было слова «счастливо». Вместо него стояло немецкое – Glück auf. Однако московские издатели поэта поправили. Жаль, что во всех

книгах Решетова, включая трехтомник, это стихотворение напечатано в их редакции.

Буквальный перевод в общем точен – «счастливо вернуться назад!» Однако значение немецкого выражения шире: Glück auf – традиционное приветствие немецких горняков. Пароль, которым обменивались те, кто шел под землю, и те, кто поднимался на поверхность. Возникло приветствие еще в те времена, когда не существовало подъемников и рабочие выбирались из шахты по длинным деревянным лестницам. Дорога занимала часы, а гибель шахтеров была делом обычным. Скорее всего, Решетов узнал все это еще в годы учебы, ведь тема его диплома – шахтенный подъем.

Потом выражение стало рефреном известной в Германии горняцкой песни, начало которой можно перевести так:

Счастливо на-гора, счастливо на-гора, идет горняк,
У него свой яркий свет в ночное время,
Уже зажжен, уже зажжен…

Вот они – *электролампадки* на шахтерских касках! Этот образ появится и в другом стихотворении Решетова – о женщинах-горнячках.

Профессиональный журнал немецких горняков тоже назывался Glück auf.

Среди соседей Решетовых по бараку было много немцев. Возможно, от кого-то из них Алексей и услышал пароль горняков. (Кстати, Бетал часто вставлял в письма немецкие словечки, иногда приписывая для брата: «Посмотри в словаре!»)

Уважение к профессии – это и знание ее языка. В «Балладе о волшебном слове» поэт был более точен, чем его редакторы. Да и фонетически стихотворение проиграло: немецкое Glück auf звучит куда энергичнее русского «счастливо»!

Однако и в исправленном виде «Баллада» обратила на себя внимание столичной прессы. Как и весь сборник – «Рябиновый сад» раскупили мгновенно.

Весной 1978 года в Березники приехала корреспондентка газеты «Труд» Е. Воловик, чтобы написать большой очерк о рабочем поэте Алексее Решетове. Он был идеальным героем: талантливый стихотворец с настоящей рабочей

специальностью. Материал «Соль земли» появился в газете 7 апреля. Основное внимание журналистка «Труда», конечно, уделила производству.

> Если над копром горит звезда, значит, план выполнен», – объяснял мне Алексей Решетов по дороге к Первому калийному. <…> Мы забрались на высокий четвертый этаж солемельницы, потом прошли еще по каким-то узеньким лесенкам, и я увидела, как поднимаются сюда прямо из недр земли огромные ящики-скипы, как шумно выдыхают они руду, как несется эта руда дальше, по транспортерам, перемалываясь в огромных жерновах дробилок. Дрожат стены, напряженно гудят машины. За эти машины, за то, чтобы не сбивался, не захлебывался их мерный труд, чтобы беспрерывно поднимались из шахты очень нужные стране минералы – сильвинит и карналлит, в ответе он, дежурный электрослесарь Решетов. В его обязанности входит следить за работой моторов, пускателей, автоматов, трансформаторов, датчиков, реле. Забарахлит какая-нибудь «релюшка» – остановится поток, остановится солемельница. А ей нельзя простаивать: солемельница – связующее звено между шахтой и фабрикой.

Описывая трудовой процесс, Воловик то и дело впадала в пафос, но герой был ей искренне интересен, и в тексте прорывались его живые интонации.

> Мой спутник взял в руки один из кристаллических осколков, погладил его пальцами по шершавой белой поверхности и сказал: «Это самое ценное – чистая соль. С ней можно варить картошку».

Вот про картошку он точно мог сказать!

Объяснив читателям, чем, собственно, заняты работники солемельницы, журналистка оговаривалась:

> Здесь, на руднике, трудно точно придерживаться узких рамок административного предписания. Если забивает проход большой глыбой – негабаритом, или руда завалит ротор дробилки, или если из-за обвала сходит с рельсов кратцер-кран – машина, похожая на огромного клыкастого мамонта, –

Алексей не делит обязанности на свои и чужие. Он берет лом и кувалду и вместе с товарищами принимается за тяжелую работу.

В 2002 году Дмитрий Шеваров спросил Решетова: «Работали механиком, кажется?» – И тот ответил: «Ну, реально-то лопатой...»

Принимай работягу, работа!
Обогрей,
накорми,
умудри!
Не потребуй кровавого пота,
А седьмой и девятый – бери!

Ни малейшего блага по блату
Не имел я – не то ремесло,
Двадцать лет
то кайло,
то лопату,
То лопату держу,
то кайло.

В этих стихах, тоже напечатанных в «Рябиновом саде», нет преувеличения. А в поздней автобиографической повести «Я себя не прощаю» сказано: *«Мы мололи разноцветную, сургучно-красную, индигово-синюю, молочно-белую и бесцветно-прозрачную, как слеза подземного бога, руду, соль земли с самого донышка Великого Пермского моря – карналлит и сильвинит. Без нашей добычи не было бы дивных удобрений и наилегчайших металлов, не росли бы сказочные урожаи и не летали ракеты и спутники. Полдела на нашей мельнице делали старенькие немецкие дробилки “Блек”. Нам же, дежурным слесарям, все время приходилось помогать им кайлом и лопатой, ломиком и кувалдой. “Ничего, – утешал я себя, – все великие умы часто занимались какой-нибудь механической работой. Спиноза шлифовал стекло. Толстой ходил за плугом. Павлов играл в городки. Как-нибудь перезимуем! Слесарную работу любил сам Циолковский!”»*.

Не случайно в списке нет лирических поэтов. Механическая работа не мешает мысли, а вот чувства притупляет. Единственное исключение – Решетов. «Зимовать» ему пришлось долго.

Обязанности на свои и чужие в бригаде действительно не делили. Об этом рассказал Константин Шестаков, бывший электрослесарь по ремонту и монтажу промышленного оборудования Березниковского калийного комбината. Константина Шестакова – Костю – Решетов называет в стихотворении «Заповедь» в числе ближайших друзей. Много лет они работали бок о бок.

На шахте тогда использовали буровзрывной метод. Бурили шпуры, закладывали взрывчатку, потом – ух! Иногда отваливалось чуть не полстены. Подробят немного – и в скип. Скипы поднимали на солемельницу и по конвейеру поставляли в дробилку. За процессом следила транспортерша. Если что-то постороннее оказывалось на ленте конвейера – палка, мусор, бумага – надо было убрать, слишком большие куски руды приходилось разбивать вручную. Под мерный стук машин дежурная могла и задремать. Особенно ночью. Однажды Решетову это чуть не стоило головы. Задремавшая транспортерша внезапно очнулась, может, от наступившей тишины, увидела, что конвейер стоит, и машинально нажала кнопку. Начальника смены по плечам и спине ударили куски породы. Услышав крик, дежурная остановила машину. Решетов вылез слегка оглушенный, но сказал только: «Я же просил: не включай!»

«Он везде лез, – рассказывает Шестаков. – Хоть за электрика, хоть за слесаря, хоть за транспортерщиц… Не ждал никого. Что мог, делал. Все мы так делали. Порода застревала часто. За смену несколько раз. А смен много».

Валерий Виноградов, оказавшийся однажды у Решетова на солемельнице, жалел, что у него не было под рукой кинокамеры. Не удалось снять сменного горного мастера на его рабочем месте: засаленная телогреечка, каска на обшарпанном столе, полное спокойствие. Среди гула и грохота ему, в отличие от гостя, было комфортно. Не сохранила пленка *«грязное, потное, вдохновенное лицо поэта не с пером в руках, а с тяжелым ломом в забое…»* Выдающиеся были бы кадры.

О том, что работник солемельницы пишет стихи, на комбинате хорошо знали. Перед началом смены мастер должен был проводить раскомандировку (зажечь коллектив, как объясняет Константин Шестаков). Во время наряда Решетова нередко просили почитать стихи. И он читал,

чаще чужие (из только что купленной книги или любимые по памяти), реже – свои.

Друг Решетова Юлий Полуянов, журналист «Березниковского рабочего», вспоминал: *«У себя на Первом калийном Алексей перед каким-нибудь собранием раскладывал на стульях листы со стихами, не указывая авторства. А потом ждал, что скажут люди».* Женщины от его стихов плакали.

Сам Алексей Леонидович говорил корреспонденту «Соли земли»: *«Мне в основном пришлось работать с женщинами. Прекрасные все люди. Самоотверженно, причем за копейки, работали. Очень добросовестно. Вот их и вспоминаю».*

Где вы, милые землячки,
Ныне, в мирные деньки?
Где вы, женщины-горнячки,
Мотористки, взрывники?
От кайла и от лопаты
На ладонях – словно жесть.
Негасимые лампады
Я зажег бы в вашу честь!..

«Все службы, которые с нами были связаны, его уважали. Особенно женщины. Его нельзя было не уважать. Он мог, как говорится, влезть в душу», – рассказывает Константин Шестаков.

Уважение было взаимным. Решетов говорил в интервью: *«У меня настолько с людьми были хорошие отношения, что меня начальство за это недолюбливало. <…> Нет, мне повезло с земляками. Они меня всегда понимали. Кроме благодарности, ничего в душе нет».*

К слову о начальстве. Руководство комбината с пониманием отнеслось к одной особенности рабочего поэта – он отказывался писать стихи на заказ. Об этом рассказал журналистам Анатолий Данилов, знавший Решетова 30 лет. В 1964 году он начал работать на БКРУ-1 горным мастером. *«Раз пришел утром на пульт управления и увидел на столе листки из школьной тетрадки. Стал читать: стихи. Надо сказать, что к стихам я всегда относился довольно спокойно, можно сказать, равнодушно. <…> А эти стихотворные строки сразу запали в душу. Я поинтересовался, чьи они. «Да есть у нас такой, Алексей Решетов, на солемельнице, на участке размола работает. Стихи пишет, а ребята из бригады их переписывают».*

Через три года Данилов стал председателем профкома. Приближалась какая-то дата, и он, вспомнив, что на комбинате имеется свой поэт, решил заказать тому стихотворное поздравление. Вызвал Решетова. «Он внимательно выслушал, не спеша с ответом, а потом тихо сказал: «Я не могу писать стихи к датам на заданную тему. Не умею». Данилов понял и не обиделся. После этого случая они сблизились, тем более что оказались земляками – оба с Дальнего Востока: Решетов родился в Хабаровске, Данилов – в Магадане.

Когда вышла книга «Рябиновый сад», профком организовал встречу поэта с работниками комбината. Актовый зал (мест 250–300) был полон. Пришел и Евгений Васильевич Решетин, начальник рудоуправления. Поэта он знал с детства, они были соседями по бараку. После вечера вспоминали, как летом 1953 года с другими ребятами грелись на солнышке, растянувшись на фундаменте будущего дома № 8 по проспекту Сталина, где Нина Павчинская получила потом квартиру. Сталин умер весной, и пацаны обсуждали, какие перемены произойдут в стране. «Может быть, отец домой вернется!» – мечтательно произнес Алексей…

Решетову
Алексею Леонидовичу
ПОЧЕТНЫЙ КАЛИЙЩИК
ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
посмертно

Удостоверение «Почетный калийщик»

Отец Евгения Решетина погиб на фронте. Отец Анатолия Данилова, слушавшего их разговор, пропал без вести. У них были сходные биографии, общее дело, общая память.

«Под землей я встречал таких людей, на земле подобных им мне не удавалось видеть. И это не какая-то литературная присказка. Горняки действительно очень интересные люди», – сказал Решетов в интервью.

Он работал на Березниковском калийном комбинате до 1982 года. В 1989-м был удостоен медали «Ветеран труда». В 1991 году награжден знаком «Шахтерская слава» III степени. Звание «Почетный калийщик» присвоили поэту посмертно в 2005 году.

Глава 9
ТРЕЩИНА

...Отчего человеческий отклик,
Слабый свет незнакомой души
Я ловлю, как растерянный отрок,
Потерявший дорогу в глуши?
Отчего это каждый прохожий
Мне становится близким навек,
Словно все мы, как братья,
похожи,
Словно все мы один человек?

А. Р.

В 1981 году БКРУ-1 готовилось к пятидесятилетию (строительство комбината началось в 1932-м). К юбилею реши-ли выпустить книгу об истории рудника. Написать ее предложили Алексею Решетову и Сергею Суханову, журналисту газеты «Уральский калийщик». Времени на сбор материалов и создание очерков им дали в обрез – два месяца.

Для Решетова это была единственная в жизни большая журналистская работа. В основу текста легли не только архивные материалы: документы, письма, дневники, воспоминания, но и интервью с «героями глубин» – ветеранами предприятия. В эти два месяца Решетов словно попробовал дорогу, по которой ему не дали пойти, примерил иной вариант судьбы.

Соавторы прекрасно знали тему и к сроку успели. Книжку назвали торжественно – «Слово о руднике». Однако в Пермском книжном издательстве текст не приняли. Так и осталось «Слово» в рукописи. Два экземпляра неизданной книги хранятся теперь в музее «Уралкалия» в фонде Алексея Решетова.

Трудно сказать, чем издателей не устроил текст. Там было все, что полагается: цитаты из партийных документов, приезд на Урал Серго Орджоникидзе, огонь пятилеток, пафос героического труда... Правда, на первый план в книге вышли люди. Решетов и Суханов писали о производственных победах, за каждой из которых стояли

конкретные жизни и нелегкие судьбы. Героями очерков стали проходчики первых стволов, которые *«в середине июля поднимались на-гора с обмороженными лицами и ушами»,* горные инженеры, строители, диспетчеры, *«с которыми можно работать»* (высшая похвала в устах рабочих). Книга рассказывала об ушедших на фронт горняках, о женщинах и детях, заменивших их в шахте и на стройке. О девчонках, которые в военные годы *«с плачем спускались первый раз в шахту в бадье. <…> А через некоторое время становились взрывниками, машинистами. Их любовно называли "муравьями", так как носили взрывчатку тяжеленную».* О солдатах, которые выросли до руководителей, об изобретателях, автомеханиках, маркшейдерах, компрессорщицах, стволовых, бригадирах, монтажниках… Драматизм человеческой жизни приглушал победительный тон, а иногда прорывалась чистая лирика: *«А помнишь самодеятельные заполночные танцы у проходной комбината?! Выйдешь после вечерней смены, примешь душик и вливаешься… Теплая струя в сердце».*

Один из очерков – «Справедливая жизнь» – о почетном горняке Аркадии Николаевиче Протасове и его семье в 1981 году был опубликован газетой «Березниковский рабочий», а затем вошел в третий том сочинений Решетова. На фоне остальной прозы этот текст выглядит там немного странно, но не чужеродно. Как сообщают в комментариях составители, автор сам пожелал включить очерк в трехтомник. И если знать историю его создания, становится ясно почему.

Горный мастер Решетов гордился грандиозными задачами и успехами предприятия, добычей, без которой *«не было бы дивных удобрений и наилегчайших металлов»*, но поэта интересовали, в первую очередь, те, кто дал спутники и урожаи стране. И что страна дала им в ответ. Истории товарищей по работе (так же как соседей, друзей, родных) вырастали до обобщения. «Слово о руднике» стало своего рода подходом к теме.

В «Справедливой жизни» Решетов писал: *«Калийные шахты, конечно, не так опасны, как угольные. Но шахта есть шахта. А собственная неосторожность человека, и вечная спешка – "давай, давай!", и коварство непокорной природы – все это заставляет быть всегда начеку».*

Решетов знал, о чем говорит.

Я верил в розовые сказки
И не считал природу злой,
Покуда сам в шахтерской каске
Не очутился под землей.
Как черный ворон, кружит уголь,
И мне понятно, отчего
Хозяйка ищет пятый угол,
Заждавшись мужа своего.
И поперек не скажет слова,
И уж светла, как поглядим,
Когда он с фронта трудового
Приходит цел и невредим.

Впервые он едва не погиб во время производственной практики на втором или третьем курсе. Рассказывал об этом не раз. Подробнее всего в интервью 1995 года:

«Еще на практике я встретил хорошего человека по фамилии Лоскутов, все хочу о нем написать... Помню, мы попали с ним в ночную смену. Отчего-то оказались в шахте немного раньше, и он говорит: “Ищи деревяшки – мы их постелем, вздремнем пока”. А деревяшки – от ящиков с аммонитом. Поспали чуток. “Теперь давай бурить, – говорит Лоскут, – ты меня только придерживай”. Сверло 22 кило весит. И нам с ним надо забуриться на три метра в тоннель над головой, чтобы сделать верхний шпур – отверстие, куда вставляют аммонит. А ни стремянок, ни лестниц – ничего нету. Только ящики поломанные, из-под взрывчатки. И вот Лоскут бурит, а я его держу, чтобы не свалился. Сделали мы шпур, а другие сделали свои шпуры, пришли взрывники, аммонит заложили, и по свистку все укрылись куда надо. А я неосознанно, в порыве неведенья, побежал в обратную строну. Темно, страшно, но я бегу, как ошалелый, хотя в тоннеле не очень удобно бегать. И вот Лоскут бросился за мной, поймал, как щенка, а в это время рвануло. Нас присыпало, но только пылью, а не камнями. “Ну, – сказал, – керя, теперь будешь жить вечно”».

В повести «Я себя не прощаю» Решетов тоже вспоминает эту историю: он рванул туда, где *«только потрескивали на бикфордовых шнурах огонечки»,* и ангел-спаситель Лоскут выволок его из-под взрыва. Обоих *«накрыло лишь волной*

мелкой крошки, а не теми пудовыми глыбами, которые и челюстям дробилок не по вкусу».

«Его уже нет, – завершает Решетов, – *а я живу, как видите, и не могу простить себе, что даже не поблагодарил его, не поставил пузыря за спасение».*

«Пузыря» по молодости лет не поставил, но поблагодарил. И не раз – в газетах и в последней своей итоговой прозе.

Алексей Решетов сетовал, что не вел дневников, однако цепкая писательская память держала все. Он и через тридцать лет не забыл не только бурильщика Лоскутова, здорового мужика, который за словом в карман не лез, но и ловкую взрывницу Шуру Негодину, зарядившую забур, что едва не стал роковым. Он многое и многих помнил. И хотя жизнь редко была справедливой, помнил добром.

Корреспонденту березниковской газеты говорил: *«Не менее тысячи человек я знал, работая в течение 26 лет на солемельнице. Но подлеца встретил одного. И он не только для меня был плох, он был плох для всех. Да, бывали люди и с недостатками, и с трудным характером, но отпетого негодяя знал одного на тысячу. Так что считайте, кого на свете больше? Если бы хороших людей было меньше половины всех живущих, то земля бы перевернулась. Добра в принципе всегда больше…»*

Конечная победа добра – жизненная установка Решетова. Удивительная, если вспомнить, сколько трагедий хранилось в его душе. *«Я бы, конечно, написал о прошлом. Собственно, я жив только прошлым»,* – повторял он не однажды. Прошлое семьи, прошлое страны и любимого города – Березников – его не оставляло.

В январе 2002 года он сказал Дмитрию Шаверову: *«Чем больше отдаляюсь от тех лет, тем больше переживаю. Снятся задавленные, придавленные товарищи. И они все дороже становятся, все ближе и ближе».*

Калийная шахта считается наиболее безопасной – сравнительно неглубокая, около трехсот метров или чуть больше. Но шахта есть шахта. Да и помимо – мало ли какие случайности подстерегают людей. По их собственной вине. Или без вины.

Об этих людях должна была рассказать повесть «Трещина». Решетов говорил о замысле друзьям, пересказывал эпизоды. Сюжеты были мрачные: гибель товарищей, изломанные судьбы, дикость, жестокость, но и доброта, велико-

душие, благородство... Он хотел написать о человеческих трагедиях XX столетия в России.

В какой-то мере замысел реализовался в «Ждановских полях». Вероятно, эта повесть – вариант «Трещины», просто название в ходе работы изменилось. Во всяком случае, некоторые эпизоды, о которых Решетов рассказывал, вошли в текст.

Например, история Бено Руфа – «Бени-гимназиста», самого истощенного мальчишки поселка горняков. И самого доброго и стойкого. В пионерлагере его избили, потому что Бено не хотел менять хлеб на деревянное – но как настоящее! – оружие. Он, единственный, не бросил камень в лошадь, забредшую на картофельное поле. Потом Бено вырос, женился, начал работать на подстанции рудника... Что-то перегорело. Он забыл плоскогубцы, вернулся за ними, а кто-то врубил ячейку. Десять тысяч вольт. Некролог Бено Руфа герой-рассказчик прочитал на обрывке газеты – приготовил на самокрутку. *«И рудник из-за него два часа простоял... Так что премия нам не светит!..»* – сказал кто-то.

...Печальною кучкой друзья
Собрались в столовой на рынке.
Дешевая водка, кутья –
Не первые в жизни поминки.

Другой сюжет – вечный: несчастная любовь. В черновиках этот рассказ назван «Старая лодка». Девушку звали Галя Катаева. (По крайней мере, так она названа в повести, где все персонажи сохранили имена прототипов, поэтому нет оснований сомневаться: первая настоящая любовь и будущая жена Решетова носили одну фамилию.) Герой познакомился с Галей, когда учился в техникуме. Посвящал ей стихи. Про Тристана и Изольду, которые так смешили его дворовых приятелей. Или такие:

На берегу пустынных волн
Стоит Катаева Галина.
Она мне счастье подарила,
И я надежд великих полн...

Но счастья не было. Галя выбрала другого – самоуверенного Мишку Галкина. И на первом в жизни свидании герой повести оказался на берегу реки, возле старой лодки,

не с Галей, а ее подругой. Когда через несколько лет жизнь снова свела вместе молодых людей, оказалось, что ни один из них не счастлив. У нее неудачное замужество, ребенок, тяжелая работа. У него одиночество, неуверенность в себе, стихи… Они никак не могли найти нужный тон, понять друг друга по-настоящему. Какие-то нелепые случайности их преследовали. Хотя Галя по-прежнему много значила для героя. Он думал о ней и о себе. «Мысли: что ты умрешь. Или будешь больной. Мечта: ты больна – я прихожу. Еще мысль: ты уезжаешь – я останавливаю поезд…» В общем, вечные вариации на тему несчастной любви, зубной боли в сердце и скрытая цитата из Леонида Мартынова:

…Грусть – это когда
Пресной станет вода,
Яблоки горчат,
Табачный дым, как чад.
И как к затылку нож,
Холод клинка стальной, –
Мысль, что ты умрешь
Или будешь больной.

В финале торопливый, на ходу, рассказ товарища по литкружку – милиционера Рассудихина, автора детских стишков и песни «Большая химия идет».

«Вчера вот весь вечер <…> на цементном разбирались. <…> Ты что – не слышал? <…> Подорвались двое. Одна молодая, ребенку три года. Другая, как матушка моя, давно на пенсии была. <…> Сам понимаешь, по правилам уничтожения «ВВ» патроны надо разминать в руках, сыпать аммонит, как соль в суп, осторожно. А они, видать, торопились и махнули в костер всю сумку – сорок килограммов. <…> Очевидно, с аммонитом попал и детонатор. Сам знаешь – разнесло во все стороны».

Что молодая – Галя, герой и читатель понимают сразу. Невообразимое случается. *«Все это бред, раз нету тебя. Значит, тебя и не было. И меня нет. А может, правы были родные? – Разумеется, ты ее не любил, раз не подох сам».*

«Мир раскололся, и трещина прошла по сердцу поэта», – сказал Генрих Гейне. В любой судьбе соединяются поэтические метафоры и жизненные реалии. Но для горного мастера – знаковая на Урале профессия! – слово «трещина» имеет особое значение. Трещина горной породы, сосновой

крепи, жизни. Подземные пустоты и пустота, которая возникает в душе после невосполнимой утраты.

В названии ненаписанной повести Решетова есть что-то мистическое. Предвиденье? Предчувствие? Ведь действие происходит в Березниках. А Березники стоят над пустотой – под городом выработки. В некоторых местах шахтное поле и жилые кварталы разделяет купол всего в 250–300 метров.

Город строили методом штурма, развивали методом натиска, каждый раз решали проблемы сегодняшнего дня, не думая о том, что будет завтра. Пришлось платить. За Камское водохранилище, которое оказывает на недра огромное давление. За десять подземных атомных взрывов, с помощью которых вышибали из земли нефть. За все тонны добытой руды.

Подземная гидрология рядом с рудниками изменилась, превратив это место в неустойчивую опасную зону. О том, что подобное возможно, ученые предупреждали еще в семидесятые. А с конца восьмидесятых на Березники обрушилась чреда катастроф. Провалы вокруг города, затопленные рудники (в том числе старейшая шахта Первого калийного рудоуправления), ушедший под землю вагон с сильвинитом, зловещие трещины на стенах домов и зловещие слухи. В Березниках работали ученые и правительственные комиссии. Все случившееся отнесли к разряду стихийных бедствий и природных аномалий. Меры, конечно, приняли. Закрылась железнодорожная ветка, началось расселение жилых кварталов, были перекрыты улицы, разобраны здания (так исчезли многие дома, связанные с жизнью Решетова, в том числе дом с аркой). Горожан начали переселять на другой берег Камы. Пустоты под городом закладывали. Но и выработки продолжались.

3 апреля 2013 года появились трещины на площади Решетова перед первым рудоуправлением. В тот день поэту исполнилось бы 76 лет. Он словно предупреждал любимый город об опасности. Беспокоился о его жителях. Уж Решетов-то не хотел бы видеть вокруг Березников таблички «Опасная зона!». Для него город был домом, уютным, родным и единственным.

Глава 10
ГОРОД НА ЛАДОНИ

Как это раньше не мог я
Вырваться,
мчать прямиком?
Мне от вокзала до морга
Весь этот город знаком.
<…>
Я не собой озабочен!
Господи, как мне милы
Добрые лица рабочих,
Давних свиданий углы,
Этот рябиновый скверик,
Где, не боясь детворы,
Скачет воробушек серый,
Как поплавок из коры…

А. Р.

Книгу «Слово о руднике» завершал очерк Алексея Решетова «Город на ладони». В тексте прошлое проступало сквозь настоящее и открывалась панорама одушевленного места, где за любым углом – история, в каждом дворе – сюжет.

С семидесятиметрового копра третьей шахты чаны с кипящим гудроном кажутся кофейными чашечками, а горы силиконового кирпича – горсточками пиленого сахара. И весь город как на ладони.

Там, где прежде бугрились землянки первостроителей или просто шумели дикие леса, теперь дворцы культуры, школы, высотные здания…

Вот Дворец культуры калийщиков <…> с колоннами, со статуями горняка и горнячки у входа. Но старожилы помнят и другой «очаг культуры» – маленький клуб-сарайчик «Калиец». Иногда, в торжественные дни, стулья в кинозале сдвигались в сторону, и усталые навальщицы, взрывники и мотористки в неуклюжих «танкетках» или кирзовых тапочках танцевали друг с другом вальс. Мужчин было мало. После войны для танцующих часто играл на гармони бравый Георгий Николаевич Демидов. Он и в пионерские лагеря не отказывался съездить – поиграть ребятишкам у костра…

ДК Калийщиков. Березники, 1950 год

Вот школа имени Герцена, каменная, трехэтажная. А те, кому за сорок, помнят деревянную школу на Зырянке, где на первом этаже были классы, а на втором жили учителя и директор Ангелина Степановна Кудрявцева. <…>

Как-то незаметно исчезли бараки, скрипучие деревянные тротуары, водонаборные колонки, хлебные магазины с весами, где хлеб отпускался по карточкам… Исчезли картофельные огороды, обнесенные колючей проволокой, где кремовым и сиреневым цветом цвели «ленинградка» и «скороспелка». Исчезли переполненные сонными людьми машины «антилопы», комфортабельные троллейбусы и автобусы мчат по проспекту Ленина – улице, берущей свое начало с калийрудника. <…> Неузнаваемо изменилась и сама промплощадка первого калийного. Мощные «Белазы» и «Кразы» проводили на заслуженный отдых чахлых лошадок. Грузовые мотороллеры заменили тачки-грабарки. Деревянные, похожие на старинные сторожевые башни копры уступили место железным богатырям. Там, где мальчишки – «зырянские ширьколобы», как их дразнили городские, – собирали на заброшенных пастбищах щавель и грибы шампиньоны, поднялись новые цехи, ушли в поднебесье фабричные трубы, мачты высоковольтной передачи.

В этом тексте на ладони не только город, но и поток времени. Автор создавал идеальный образ своего места на земле.

Решетов родился в Хабаровске, лучшей рекой на свете считал Амур. Двадцать последних лет прожил в Перми и Екатеринбурге (Свердловске). Его мама тосковала по Дальнему Востоку, бабушка – по Грузии. Память об отце была связана с Москвой и Крымом. Но для себя он выбрал Березники. Если в его лирике возникает городской пейзаж (что бывает не так часто – он предпочитал лес, поле, берег реки), то это почти всегда Березники. Исключения редки.

Мой город тих и невелик,
Без шумных улиц с гаражами,
И облаков прощальный клик
Прекрасно слышат горожане...

Однако когда Решетов называл город по имени – получалось слабо. Картинка становилась плоской, текст заштампованным, как газетная статья. «Березники мои, Березники...», «Ни триумфальных арок, ни соборов», «Березниковские мальчишки», «Комсомольская сказка» – не только не лучшие его вещи. Эти вообще стихи не его уровня. Настоящая любовь не терпит прямого высказывания.

Хотя о Березниках Решетов всегда говорил искренне. Там были лучше слышны собственные мысли. Ближе природа. Меньше пафоса и суеты. Но и возможностей в маленьком городе меньше, а рамки дозволенного – уже.

Дмитрий Шеваров писал о Решетове в книге «За живой водой. Урал XX век (100 лет книг, событий, биографий)»:

Издалека его судьба выглядит самоизоляцией. Или, по старинке говоря, – уединением. Вдали от столичных искушений, моды, общественного поприща – тоже, можно сказать, романтика. А на самом деле – совсем другая жизнь. Романтики в ней и со спичечный коробок не наберется. Березники. Круг общения, конечно, далеко не литературный и не всегда изысканный. <...> Ранние утраты, проводы в последний путь товарищей, приятелей, соседей. Обвалы на калийной шахте – событие, увы, всего лишь районного масштаба. Тут все слишком всерьез. Убивают – до смерти. Напиваются – вдрызг. И если что-то падает – обязательно вдребезги. Для иронии – не тот климат.

В этих словах есть доля истины, но это взгляд со стороны. Изнутри все выглядело немного иначе.

Анна Бердичевская за три дня непрерывного общения с Решетовым и его березниковскими друзьями выхватила взглядом профессионального фотографа нужный ракурс: *«Было видно, как он живет. И, что сейчас удивит многих, он жил тогда счастливо. Ему нравился запах этой городской, заваленной желтой тополиной листвой земли, это абсолютное знание (как любимой с детства и зачитанной до дыр книги) родимой местности, проходных дворов, “ямок”, “точек”, скверików, где под известной скамьей хранился известный граненый стакан… Это низкое, с желтизной, небо, этот горький воздух, этот собачинский холод не раздражали, они были совсем, совсем свои. Леша не был уныл, он был зорок, глубок и абсолютно внутренне свободен. Он был волком этого леса. Не кроликом».*

В 1966 году Решетов и сам подтвердил правильность этого наблюдения.

Увы, я счастлив…
Лишь порою
Я вспоминаю, словно сон,
Что мир еще не так устроен,
Как должен быть устроен он.

А с волком он и сам себя не раз сравнивал. В лирике Решетова волк, с одной стороны, – знак беды (войны, опасности, загнанности), с другой – силы и свободы: поэт не был ни кроликом, ни покорной овцой. Однако чаще всего волк – это голос, одинокая тоскливая песня в дальнем лесу. Хотя и у волка есть своя стая: *«Нам долгие ночи с тобой коротать, стихи, завывая по-волчьи, читать».* И свое логово.

Из многих дорогих Решетову мест в Березниках можно выделить три: солемельницу (работу, задающую ритм жизни), дом на проспекте Ленина (семью) и редакцию «Березниковского рабочего», где начались многие жизненные сюжеты. (Энциклопедический словарь Березников сообщает, что именем газеты названа звезда в созвездии Тельца!)

«Березниковский рабочий» – единственное издание, куда Решетов сам приносил стихи. В редакции работали многие милые ему люди, в том числе Павел Петухов.

В 1961 году при газете был организован литкружок, который свел Решетова с Виктором Болотовым, Верой Нестеровой и молодыми поэтами – Юрием Марковым, Станиславом Божковым, Александром Медведевым. Эта компания собралась в кружке в 1963-м. Решетов не играл там первую скрипку. По воспоминаниям Юрия Маркова: *«Несмотря на только еще начинающий возникать ореол известности Алексея в Березниках, доминировал на литобъединении не он, а его друг Виктор Болотов, резкие оценки и жесты которого по поводу стихотворений членов "лито" меня тогда обескураживали и вызывали чувство неприязни»*.

В этих словах и через десятилетия звучит отголосок обиды. Болт, как звали его друзья, «за поэзию не врал» и ничьи чувства не щадил.

Петухов и Марков – «Паша, Юра…» – названы в стихотворении «Заповедь», где поэт обращается к своему ближайшему кругу. Отдельные посвящения Маркову и Петухову у него тоже есть. Отношения прошли через всю жизнь, Решетов был верен дружбе.

Юрий Марков родился в Перми в 1946 году, вырос в детском доме в Кунгуре. В Березники приехал в 1960-м, окончил там техническое училище. Потом работал на Севере – в шахтах Печоры, Усинска и Воркуты. Вернувшись в Березники, трудился на калийном руднике и в нефтеразведке. В юности он не только писал стихи, но и сочинял песни. Марков со своей гитарой появлялся не только в дружеских компаниях и на выступлениях литобъединения, но и на радио и телеэкране. В более поздние годы Юрий Петрович увлекся живописью. Он выпустил шесть поэтических книг, представлял картины на выставках, стал членом Союза писателей. Березниковским классиком.

Первая публикация Юрия Маркова прошла в «Березниковском рабочем» в 1963-м. Тогда семнадцатилетний стихотворец и познакомился с Решетовым. Но сблизились они позднее – в 1965 году. Дружбе не помешала значительная разница в возрасте. В небольшом городе люди, объединенные страстью к поэзии, притягиваются. Марков стал бывать у Решетова (как он пишет, был принят в доме; Нине Вадимовне нравились некоторые его песни). Но обычно виделись они в другом месте. В мемуарном очерке Марков рассказывал: *«Наши встречи с Алексеем чаще*

происходили на солемельнице Первого рудоуправления. Именно там мы, приходившие сюда повидаться – Саша Медведев, Слава (Божков. – **К. Г.**) *и я, – читали Алексею свои новые стихи, и случалось, да простит нас Господь и начальство рудника, выпивали. Потом возникла петуховская кухня, в которой мы просиживали ночи – я с гитарой на коленях – в жарких спорах о стихах, о женщинах и любви. <…> Время, несмотря на безденежье и даже откровенное нищенство, было великолепное».*

Тогда каждый из них только нащупывал свой путь. Марков писал:

Перейдем поперек дорогу.
Вдоль дорога длинна, длинна.
Нам дано посмотреть немного –
Вдаль дорога видна, видна…
Посмотреть и уйти надолго
Не в обиду и не в упрек.
Поперек – это тоже дорога.
Может, лучшая из дорог.

Решетов познакомил Юрия со своими березниковскими друзьями: Акуловым, Шестаковым, Чеховым и с пермскими, в том числе с Давыдычевым. Льву Ивановичу понравились песни юного барда, и он организовал тому дебют на телевидении. Одно время Марков даже жил у Давыдычева в Перми.

«Петуховскую кухню», где чаще всего собиралась литературная компания, упоминают многие. Ночные бдения с бутылкой и немудреной закуской, с разговорами и чтением стихов Павел Петухов вспомнил потом в стихотворении, посвященном Алексею Решетову.

…Ночь черна. А нам какое дело.
В редких встречах нам не до ночей.
Утомленно лампочка горела
Светом желтых пушкинских лучей.

Отец Павла погиб на фронте, в послевоенной деревне мать одна тянула троих сыновей. В Березники юноша приехал после службы в армии. Работал на ТЭЦ-2, окончил училище, стал рабкором газеты «Березниковский рабочий», затем перешел в штат редакции – десять лет возглавлял информационный отдел. Петухов окончил факультет

Павел Петухов

журналистики Уральского университета и через некоторое время переехал в Усолье, где продолжал писать для газеты «Красное знамя» (тезки владивостокского издания). В Усолье выпустил первый поэтический сборник «Звонкая тишина».

Из березниковского литературного кружка 1960-х наиболее благополучная литературная судьба оказалась у Александра Медведева. (Решетова выносим за скобки, он не часть круга, а центр.)

Медведев родился в победном 1945-м в городе Колпашеве Томской области. Родители были учителями. В Березниках он оказался в пятидесятых. Окончив ПТУ, работал на заводах. Впервые его стихи были напечатаны все тем же «Березниковским рабочим». В 1968 году Александр Медведев покинул Березники, перебрался в столицу. В Москве вышли семь его книг, стихи печатались во многих российских изданиях, а также в журналах Германии и США. На Урале поэт стал редким гостем.

Я сошел, отряхнув от условной
пыли странствий шевро башмаков.
Тут знакомому я – незнакомый,
дальний свойственник полузаконный.
Кто таков? Много тут ездоков,
едоков без гроша, проходивших
ниоткуль из нигде, по статье;
песни певших, слова говоривших
о своем ли, чужом ли бытье.
Расставались мы, не печалясь.
И теперь меня черт ли принес?
Поезд, к зябнущей станции чалясь,
изогнулся с приязнью, как пес.

Самая драматичная судьба оказалась у Станислава Божкова. Он тоже родился в 1945 году, родом был из Лысьвы. В Березники приехал в 1965-м. Сменил много профес-

сий, в лихие девяностые был даже фермером, а последние годы жизни работал печником. При этом стихи Божкова печатались не только в местных изданиях, но и в «Новом журнале» (Нью-Йорк), газете «Русская мысль» (Париж) и в сборнике «Ради перемен» (Оксфорд). В 1992 году вышел единственный его сборник «Красный квадрат». А в 1994-м поэт погиб при невыясненных обстоятельствах. Его стихотворение «Поэзия» определяло долю стихотворца и его место в мире с трагической ясностью.

Это странная ноша, поверьте!
И она не для всякой руки.
Состоянье клинической смерти
Начинается с пятой строки.
И в стране, где закон и порядок,
Ты опять наказуем, как враг,
Исключеньем из общего ряда,
Отлученьем от всяческих благ.
Но когда далеко до рассвета,
Когда некуда жить, наконец,
В миллионной когорте поэтов
Иногда возникает Творец.

По прошествии лет дружеский кружок березниковских поэтов стал восприниматься как литературная группа, возникновение которой – отражение поэтического бума шестидесятых. Присутствие в этом кругу Алексея Решетова придавало объединению особый статус.

Впрочем, Решетова статусы не волновали. Зато друзьям он был безоглядно предан. Помогал, если мог. Старался не огорчать. Не терпел, если о ком-то из них при нем отзывались дурно, и резко такие разговоры пресекал. Помнил всегда и о них, и о собственной юности. Дружба была убежищем от тоски и неурядиц.

Как бы хотел узреть я
Отчие тополя,
Старый Чуртан, Веретье,
Ждановские поля.
Здесь никуда не деться
В горести. Только там,
Где проходило детство,
Можно пойти к друзьям.

Милые сердцу березниковские названия наполняли строчки жизнью. В «Избушке на старом Чуртане» – память о первых послевоенных годах. В поздних стихах – ностальгия о юности.

Однако отношение Решетова к городу не сводилось к собственным лирическим переживаниям. Для него сложная и яркая история Березников была жива. С некоторыми ее персонажами он чувствовал родство, кого-то встречал на улице или знал лично.

Березники, как многие уральские города, прирастали стройкой, ссылкой и эвакуацией. Жизненные перипетии заносили туда людей неординарных и талантливых. Одних – проездом, других – на долгие годы.

В 1929 году на березниковской стройке работал заключенный Варлам Шаламов. Всего за год до этого он посещал литературный кружок при журнале «Новый ЛЕФ», хорошо знал Сергея Третьякова и Владимира Маяковского. А возможно, и Леонида Решетова.

Зимой 1931 года корреспондент московской «Рабочей газеты» Константин Паустовский писал серию очерков о строительстве Березниковского химического комбината, а по вечерам, вернувшись в барак, где размещалась редакция маленькой местной газетки, сочинял романтическую повесть «Кара-Бугаз». В тридцатиградусный мороз Паустовский перешел по льду Каму, чтобы встретиться с Иваном Коноваловым. Так среди рассказов о строителях, геологах, химиках и инженерах появился очерк «Коноваловские ребята», посвященный выдающемуся уральскому краеведу.

Биография Ивана Коновалова не могла не напомнить Решетову отцовскую биографию. Пламенный комсомолец участвовал в ликвидации безграмотности в Березниковском районе, потом был уполномоченным по трудгужповинности и лесозаготовкам, экономистом-плановиком, работал в системе образования и на строительных предприятиях. Затем основал музей, который стал делом его жизни. Вместе со своими учениками боролся против уничтожения старинных Строгановских варниц и загрязнения Камы, изучал и защищал историю родной земли. В 1938 году Коновалов был арестован. Он выдержал следствие, не подписал предъявленных ему нелепых обвинений и в 1940-м вышел

на волю седым. Реабилитировали Ивана Коновалова в 1957 году.

«Он любил свой музей, – писал Паустовский, – *любил комбинат, любил медистые песчаники и сильвинит, любил весь этот край, зеленый от лесов и белый от снега».* Алексей Решетов в книге «Слово о руднике» тоже упоминает директора городского музея: *«Иван Федорович Коновалов – это старожил Березников, это живая история города. Он молод, как тополиные Березники, и ему миллионы лет, как Пермскому морю».*

В 1934 году отдельное издание очерка Паустовского «Великан на Каме» вышло с иллюстрациями Фридриха Лехта. Один из учредителей Ассоциации художников революционной России (АХРР) создал более 100 графических листов и этюдов, посвященных строительству Березниковского химического комбината. В конце 1950-х Лехт снова побывал в Березниках и вновь их рисовал – выбрав на этот раз мягкую акварель.

Благодаря Валентину Миндовскому, инженеру-лесоводу и ученому-экспериментатору, Березники к тому времени стали одним из самых зеленых городов края.

В эти же годы главным врачом Березниковской городской больницы был Евгений Вагнер, имя которого носит ныне Пермская медицинская академия. Встретив както на улице Нину Павчинскую, Вагнер бросился к ней, вскрикнув: «Ниночка!», обнял, помог донести сумки до дома. Они давно знали друг друга. В военные годы Евгений Антонович, арестованный на фронте хирург, отбывал срок в том же лагере в Боровске, что и мать Решетова, а потом был переведен с общих работ в лагерный госпиталь.

…Все это тоже Березники. Разные ракурсы города. Правда, их невозможно разглядеть даже с семидесятиметрового копра третьей шахты.

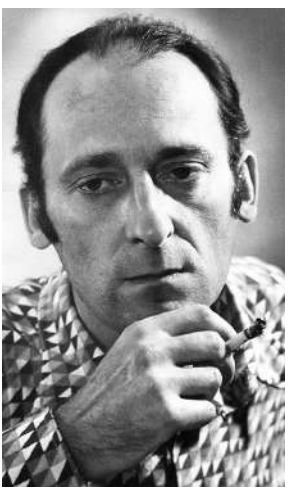
Кстати, с серым поплавком из коры Решетов однажды сравнил самого себя в письме к Виктору Болотову.

Глава 11
ДОМ С АРКОЙ

За окнами снег серебрист.
На девочке теплый платочек.
А в доме расцвел декабрист,
Цветок, помещенный в горшочек.
<…>
Покуда зима не пройдет
И льдины хребты не сломали,
Он розовым цветом цветет
Во имя земных аномалий.

А. Р.

Решетов не случайно приглашал приятелей-литераторов не домой, а на солемельницу. Там он чувствовал себя свободнее. Дома командовали мать и бабушка, и обе постоянно боялись за внука и сына. Он обладал удивительной способностью попадать в неприятности. Заступился за пьяного ветерана войны, с которым грубо обошлась милиция, и вместе с ним загремел в вытрезвитель, хотя был трезв как стеклышко. Попытался спасти от живодеров бездомную собаку, и его избили… Словно притягивал несчастья. Домашние места себе не находили, когда он уходил из дому. Нина Вадимовна неизменно ждала на балконе возвращения сына, а потом и внучки.



Алексей Решетов. 1970 год

Страх за близких стал своего рода семейной манией. Ирина Христолюбова вспоминала: *«Алексей не любил перемен, боялся неизвестности. <…> Боялся дурных вестей. Как раз они во многом определили его судьбу и характер взаимоотношений в семье. В ней судорожно держались друг за друга, как будто их могли разлучить в любую минуту. Бабушка Ольга Александровна, мама Нина Вадимовна, дочка брата Олеся… Смерть брата Бетала*

сплела их в один узел, из которого нельзя было выдернуть даже ниточку».

Дело, конечно, не только в Бетале. Слишком много было потерь. Решетов, по свидетельству Тамары Катаевой, боялся телеграмм и не любил подходить к телефону, словно сообщить могли только о беде.

В Березниках семья известного поэта была на виду и для многих притягательна. Но скрытность стала для Нины Вадимовны и ее сына второй натурой. Да и гордость не позволяла откровенничать. Даже друг с другом. В «Ждановских полях» Решетов объясняет: *«Мать не хотела, чтобы я с малолетства познавал жестокий порядок жизни, и я тоже делал вид, что ем только пастилу и вермишель с рисом. Эта манера скрывать свои личные несчастья друг от друга у нас до сих пор, слава Богу, сохранилась».* Были темы, на которые в доме не говорили. Молчанье – золото.

Исключением, в какой-то мере, была баба Оля. С годами она приобрела привычку громко и грозно критиковать действительность, за что получила в семье прозвище Бисмарк.

Лилия Жук, близкая подруга Олеси, рассказывает: *«Ольга Александровна была очень импульсивна, высказывая свою точку зрения, она ничего не боялась… Когда показывали какой-нибудь съезд или просто выступление дорогого Леонида Ильича, она всегда стучала кулаком по телевизору и ругалась. Сейчас-то я понимаю, что это был внутренний конфликт человека с властью. Ольга Александровна не могла простить, что посадили дочь. Но сама Нина Вадимовна никогда ничего не говорила. О том, что она столько лет провела в лагерях, и даже о том, что у семьи дворянские корни, я узнала уже потом. Они скрывали это. И никогда в доме не было разговоров о какой-то обиде из-за того, что с ними произошло».*

Даже в интервью перестроечных лет Решетов утверждал, что всегда был лоялен к советской власти, а его мать никогда не чувствовала себя жертвой режима и в день похорон «вождя народов» не могла удержаться от слез… Возможно. Только о причине этих слез он ничего не сказал. Воспоминания Нины Павчинской, и особенно ее черновые записи, не дают возможности представить ее сталинисткой. Она осмыслила случившееся с семьей, со многими

знакомыми ей людьми, со страной. К прошлому и настоящему относилась более критично, чем ее старший брат. В архиве сохранилось множество вырезок из газет и журналов 1990-х годов, когда потоком хлынули публикации о сталинских репрессиях. Да и в черновых набросках стихотворения «Ночь. 15 февраля…» Решетов вкладывает в уста матери слова:

…Кобу вынесли из Кремля,
А убавилось ли жулья?..

Семейная трагедия 1960 года связывалась с трагедией 1930-х. То, что Бетал ушел из жизни в день рождения отца, не казалось случайностью его матери и брату.

Контраст между страстной бабушкой Решетова и его закрытой матушкой бросался в глаза людям, приходившим в дом с аркой. Юрий Марков вспоминал: *«Ольга Александровна Павчинская <…> была очень живым для своих лет человеком. Запомнилась она мне с горящим взором, часто с экспрессией в движениях. <…> Мать Нина Вадимовна Павчинская-Решетова была, напротив, ушедшей в себя. <…> Казалось, она внутренне от всего пережитого окаменела. Я и сейчас думаю, что она никогда не плакала».*

Драматизм образа Нины Вадимовны (в то время уже только Павчинской, двойная фамилия исчезла из документов в 1964 году) почувствовал и Валерий Виноградов. В 1967 году он стал заведующим сценарным отделом Пермской телестудии и активно искал сюжеты и героев для документального кино. Писатель Алексей Домнин предложил сделать фильм о Решетове: «Лучшего поэта на Урале никогда не было». Виноградов загорелся и приехал в Березники в надежде уломать поэта на эту идею. Решетов отказался наотрез, а когда речь зашла о биографии его родителей, и вовсе замолчал. Во время разговора – кинематографист настаивал, поэт не отвечал – вошла Нина Вадимовна. *«Какое-то темно-коричневое платье на ней, белый, много раз кипяченный воротник. Предельно строгая. <…> Встала у стенки рядом с портретом Хемингуэя. Меня как током шибануло: ничего общего между нами! И точно:*

– Ничего не выйдет, – говорит. – Рано вам фильм снимать. Надо материалы к нему собирать, а у вас, как я понимаю, ничего нет.

<…> В номере гостиницы меня вдруг осенило. Так вот на кого похожа мать Решетова! Долорес! Есть такой портрет Долорес (Ибарурри. – **К. Г.**)*, на том портрете вся горечь Испании. А в ней, в Нине Вадимовне, – вся горечь России. Она – камень, Алеша – осколок камня».*

Внимательные гости чувствовали отпечаток трагедии. Однако сам дом с аркой вовсе не был холодным и закрытым.

Галина Мотина впервые пришла к Решетовым в 1974-м, в ту пору ей было 18 лет. Принесла Ольге Александровне пачку цейлонского чая (все знали, что без чая бабушка Решетова жить не может, а хорошей заварки в продаже не было). Соседская любезность, семья Галины жила неподалеку, на том же проспекте Ленина. Первое впечатление от дома она описывает так: высокие потолки, широкие окна, нарциссы на балконе – *«словно заходишь в свет. Мне понравилось, что там нет завала мебели, нет лишнего. Ощущение простора и понимание, что тебя приняли. <…> Решетовых отличали манеры, речь и достоинство, с которым они себя вели. Глубокая интеллигентность».*

Лилия Жук, в детстве и юности часто бывавшая у Решетовых, тоже чувствовала, что семья эта не только радушная, но и особенная. *«Меня потрясла теплота, которая существовала в доме. <…> И еще какая-то утонченность, изящество. Все было очень красиво: красивая скатерть на столе, посуда, очень красиво накрытый стол. Даже капусту резали красиво, тонкими пластинками, и квасили все вместе… В доме всегда толпилось много народу. Это были не только друзья Алексея Леонидовича, но и друзья Ольги, приятельницы Нины Вадимовны. Было очень весело – дружеские посиделки с вином и песнями. Музыка всегда звучала. Постоянно музицировала Ольга, и пели под ее аккомпанемент и бабушки, и сам Алексей Леонидович, и гости. Особенно любили романсы и песни Вертинского».*

Вертинский – старая любовь, привет прошлого. Вадим Павчинский в одном из писем рассказывал сестре и матери, что концерт Александра Вертинского в Хабаровске в 1951 году заставил его вспомнить молодость: *«гитару, неумелое подражание после рюмки хереса…»* И баба Оля, как сказано в «Зернышках спелых яблок», часто исполняла внукам ариетки о лиловом негре и бананово-лимонном Сингапуре…

Под Новый год посреди комнаты ставили елку до потолка, наряжали ее старыми и самодельными игрушками. В праздники за нарядно накрытым столом собиралось много народу. Люди шли в эту семью. Очень разные люди. И всем хватало места.

По воспоминаниям Лилии Жук, для детей – друзей Олеси – проводили поэтические состязания, которые судил Алексей Леонидович (судя по всему, играли в буриме). Дети устраивали домашние спектакли: *«Мы ставили – не поверите! – “Отелло”! Олеся была мавром Отелло, я – Кассио, сестра Олеси Лера – Дездемоной».*

Девочек Ольга Александровна, «барышня другого века», учила вести себя за столом, давала советы. От ее рассказов веяло тайной и романтикой. И через какое-то время подругам Олеси начинало казаться, что они не в XX, а в XIX столетии.

Часто в доме зажигали свечи, которые стояли в подсвечниках на пианино. И, конечно, особое место занимали книги. Много книг.

В очерке, опубликованном газетой «Труд» в 1978 году, большая библиотека занимает главное место в описании скромной комнаты поэта (не забыт и портрет Хемингуэя – непременная примета времени). Когда-то, сообщала журналистка, книг в семье было еще больше (видимо, Решетов упомянул об отцовской библиотеке). *«Даже когда застывали в войну в холодной комнате, книгами не топили».*

Нину Вадимовну многие вспоминают именно с книгой в руках. Так же – с книгой и папиросой – она описала в мемуарах свою любимую бабу Сашу…

В конце 1980-х, когда начали издавать произведения, долгое время находившиеся под запретом, друзья Решетова по его просьбе искали для подруг Олеси «Доктора Живаго» Пастернака и «Чевенгур» Платонова.

Собственно, присутствие в доме детей (следующего поколения) и спасло семью. В 1960-м маленькая дочка Бетала не дала дяде, бабушке и прабабушке рухнуть в беспросветное горе. Людмила Рассказова, конечно, не хотела отдавать ребенка родным погибшего мужа. Ее убедили с трудом – Ольга Александровна и Нина Вадимовна уверили, что ребенок поможет Алеше выбраться из страшной депрессии. Но и сами они обрели новый смысл жизни, причину держаться.

Пока внучка росла, Нина Вадимовна продолжала собирать забавные эпизоды, случаи и реплики.

* * *

– Я не люблю ходить по публичной стороне!

* * *

– В пятом классе учились два хулигана: братья-близнецы Лев и Тигрик Безобразовы.

* * *

Нашу собаку звали Милорд. Старуха соседка никак не могла запомнить имя.

– Я его зову всяко: то Капитан, то охфицер, а он не подходит.

(Пес Милорд Первый однажды увязался за Решетовым на улице, да так и остался. Потом в доме всегда были собаки, обычно бывшие уличные.)

Особый блокнот был посвящен Олесе.

* * *

– Я пляшу от радости.

– От какой?

– От всякой такой. Ведь такой Олесеньки в жизни больше нет!

* * *

– Эта цепочка похожа на бабу Нину.

– А почему?

– А потому что она золотая (молния на кошельке).

* * *

– Я так испугалась, что у меня чуть сердце из души не выскочило.

* * *

– Выходила на берег Катюша… принесла с собой грушу и съела ее.

* * *

– Тебя кондуктор не пропустит с куклой. У нее билетика нет.

– А я ее крепко-крепко буду держать, а я глаза закрою, и кондуктор не увидит.

* * *

– Олеся, скажи девочке: ты не обижайся, я тебе дам велосипед.

– Девочка, ты обижайся. Я тебе не дам велосипед.

* * *

– У нас в Березниках холодно, и поэтому к нам крокодилы не приближаются.

* * *

– Карандаши белые бывают?
– Нет.
– А зимой?

* * *

– Оставьте меня в покое, пусть я буду какая есть. Жизнь разбита.

* * *

– Бабе Нине только курить, да с Олесей играть, да на работу ходить.

Курить Нина Вадимовна бросила благодаря внучке.

Олеся заболела воспалением легких. Родные сходили с ума от беспокойства. И Нина Вадимовна дала зарок: если девочка поправится, она навсегда откажется от дурной привычки. Как только внучка пошла на поправку, бабушка бросила курить и ни разу больше не взяла в рот сигареты.

Олеся была центром семьи. В детстве она очень походила на отца (взрослой, что удивительно, стала напоминать дядю). Ее обожали, баловали и хорошо учили. Языкам – говорила по-итальянски, по-французски и по-английски. Рисованию – гостей поражала Олесина комната, стены которой она сама расписала. Музыке – учительница приходила на дом (Константин Шестаков вспоминает, как тащили по лестнице дома с аркой пианино). Девочка была талантлива, много читала, оригинально мыслила. В отрочестве вместе с Луизой сочинила роман (затем рукопись сожгли, но творческий процесс доставил обеим огромное удовольствие). Олеся интересовалась историей искусства и историей религии, отрыла подругам Библию – в доме было старинное издание с немецкими гравюрами. Она так хорошо знала вечные библейские сюжеты, что могла «разобраться в любом музее».

В общем, Олеся была человеком сложным. И ей было непросто. Людям рты не заткнешь: многие удивлялись, почему при живой-здоровой матери ребенок живет с бабуш-

ками и неженатым дядей. В подростковом возрасте Олеся воспринимала эту ситуацию (не до конца ей понятную) болезненно. Страдала, считала, что мать предала ее. Хотя Людмила, а потом Валерия всегда ее поддерживали.

В школе тоже возникали проблемы. Если Олесе нравился предмет, она училась блестяще, если не нравился – не училась вовсе. Резко высказывала свое мнение, бунтовала, была своевольна: могла встать и уйти посреди урока или спрятаться за шторой на подоконнике. Одноклассники сперва не принимали ее, дразнили, тем более что в детстве она была крупной и полной – пошла в бабушку с материнской стороны. Лишь к старшим классам соученики признали: Олеся особенная и очень умная.

Для бабушек и дяди Алешеньки (так называла его маленькая племянница, пока не появилось прозвище – Шарль) девочка была главным источником тревог. Ольга Александровна не находила себе места, если правнучку увозили отдыхать. В письмах требовала не спускать с ребенка глаз и ни в коем случае не разрешать купаться – обязательно простудится!

Когда Олеся заканчивала школу, перед семьей встала проблема. Способной девочке необходимо было учиться дальше, но отпустить ее из дому родные просто не могли. Судьба отца висела над Олесей дамокловым мечом, хотя сама она долго не знала почему (когда ей рассказали правду и решились ли рассказать – неизвестно). Столичные вузы отпадали.

Правда, маленькую Олесю бабушка в Москву привозила. Уже не к Татьяне Степановне. Баба Таня умерла 30 сентября 1960 года, ненадолго пережив старшего внука. Но родственники в Москве остались: двоюродные сестры и племянники Леонида Сергеевича. В гости постоянно звали и Костины… Однако Нина Вадимовна была уверена: столица погубила Бетала, и отправить туда еще одного ребенка было выше ее сил.

Олеся устроилась на работу в детский сад. Училась на каких-то заочных курсах. Много времени проводила с подругами. У нее появились поклонники, которых родные считали неподходящими. Сама она посмеивалась. В 1980 году в одном из писем дяде (он «находился в бедственном положении» – лечился от алкоголизма в Перми),

племянница развлекала его стихами, оставленными навязчивым поклонником на стене подъезда.

Я еще могу влюбиться!..
Боже, я еще живой,
Прыгнувший самоубийца
В эту стенку головой.

«Я специально выходила в подъезд и списала эти шедевры, – комментировала Олеся, – *чтобы порадовать тебя, любезный дядя, хорошими стихами в твоем унылом заточении. <…> Как же без твоего заступничества я смогу отделаться от притязаний этого типа? Возвращайся скорей и восстанови порядок в доме. Но смотри, не опоздай, а то ведь я возьму и отвечу взаимностью на чувства»* (28.06.1980).

В письмах Олеся уверяла: «Живем мы неплохо». На самом деле ей было тесно – молодость, силы и таланты требовали выхода. Нужно было поступить хотя бы в пермский вуз. Но даже в Пермь родные не решались отпустить ее одну. А переехать семья не могла. К концу семидесятых пошатнулось здоровье Ольги Александровны.

Сперва начались просто возрастные недомогания. Журналист «Березниковского рабочего» Юлий Полуянов вспоминает забавный эпизод. Однажды Решетов и Петухов отправились по грибы. Корзины быстро наполнились, и Алексей Леонидович положил сверху мухоморы, из которых его бабушка делала настойку для больных суставов. Когда возвращались, встречные покатывались со смеху: казалось, чудак тащит из леса полную корзину мухоморов. Смущенный Петухов предложил прикрыть корзину, но Решетов спокойно ответил: «Зачем? От меня не убудет, а видишь, как весело».

В письмах 1980 года Олеся старалась успокоить дядю относительно здоровья Бисмарка.

«Приветствую тебя, мой сиятельный дядя! Сегодня наконец-то получили твое письмо и фотографии. <…> Насчет фотографий могу сказать следующее: Бисмарк тебя не узнала, баба Нина заявила, что рожа у тебя, как у иезуита из Ватикана (я только цитирую). Я же нашла, что ты похож на немецкого адвоката. <…> Бисмарк чувствовала себя довольно неважно, но за последнее время появились изменения к лучшему. <…> Она иногда вновь, как раньше, принимается

критиковать окружающую действительность, правда, не так пространно, как прежде. Стало быть, она на пути к выздоровлению» (28.06.1980).

И через пару недель: *«Баба Нина все тревожится и переживает за всех – за тебя, за меня, за Бисмарка. Хоть я не вижу никаких оснований для тревоги. Ибо я веду в высшей степени скромный образ жизни, а Бисмарк заметно поправляется. Если раньше она бросала отдельные замечания, то теперь ворчит, не переставая. Ей не нравится, что я сижу у себя в комнате, что Иринка приходит каждый день в новых нарядах, что дверь на балкон открыта, что телевизор до сих пор не починили, что я играю Бетховена, что баба Нина читает и прочие мелочи. Так что – все в порядке»* (13.07.1980).

Однако улучшение оказалось временным. У Ольги Александровны диагностировали рак желудка. Умирала она тяжело. Мучилась от боли. В последние дни почти не приходила в сознание. Только тревога за близких могла заставить ее очнуться.

Лилия Жук вспоминает: Олеся попала в больницу с аппендицитом. Бабушку и дядю к ней не пустили, но подруга сумела прорваться в палату. Олеся написала домой записку, и Луиза помчалась к Решетовым с хорошими новостями.

«Алексей Леонидович был настолько счастлив, столько добрых слов наговорил за то, что я принесла ему такую радостную весть. А Ольга Александровна была уже на препаратах, очень сильных… И вот, когда я прибежала из больницы, она пришла в себя. Все повторяла: “Оля… Оля… Оля…” Вы можете себе представить? Она столько дней была без сознания, а в этот момент что-то почувствовала и пришла в себя».

Олеся поправилась. А баба Оля, старейшая жительница проспекта Ленина в Березниках, грозный Бисмарк, Ольга Александровна Павчинская скончалась 29 апреля 1981 года. Ее похоронили рядом с Беталом.

В 1982-м Нина Вадимовна, Алексей Леонидович и Олеся решились, наконец, уехать в Пермь. Олеся поступила на библиотечный факультет института культуры. Специально для Решетова в пермском Союзе писателей придумали новую должность – литературный консультант.

Отъезд в Пермь. 1982 год

В день отъезда на вокзале в Березниках собралось множество народа. Каждый хотел что-то сказать напоследок, сфотографироваться, выразить любовь и благодарность. Все понимали: город теряет что-то важное. Прибыл поезд. Решетов долго не заходил в вагон, все махал с подножки, прощался с друзьями, с Березниками, со своим первым настоящим домом, с огромной частью своей жизни.

Часть IV
ИНАЯ РЕЧЬ

Глава 1
ТАИНСТВЕННЫЙ, ПО СУТИ, КРУГ

Уж если я умру и не воскресну,
Не превращайте комнату в музей,
Не берегите трость мою и кресло,
А берегите всех моих друзей.

А. Р.

В Пермь Решетова звали давно. Друзья и знакомые – писатели-издатели-журналисты – убеждали: пора оставить тяжелую работу на солемельнице и сосредоточиться на литературной деятельности. Его ждали и обещали помочь.

В этом есть что-то удивительное. Решетов был закрытым человеком, отдельным от всех. Но всегда и везде находились люди, для которых электрослесарь-аристократ, печальный поэт, князь, лишенный наследства, становился особым собеседником. Список его друзей, приведенный в очерке Тамары Катаевой, широк и разнообразен. А ведь Тамара Павловна упомянула лишь тех, кто был связан с писательским ремеслом.

«В Березниках и Перми это – Виктор Болотов, Владимир Михайлюк, Павел Петухов, Юрий Марков, Слава Божков, Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Владимир Радкевич, Надежда Гашева, Роберт Белов, Ирина Христолюбова, Дмитрий Ризов, Семен Ваксман, Валера Виноградов, Федор Востриков, Анатолий Гребнев, Виктор Соснин, Николай Вагнер, Николай Кинев из Кишерти, Александр Старовойтов, свердловчане: Яша Андреев, Майя Никулина, Саша Кердан, Андрей Комлев, Сергей Кабаков, Юрий Казарин, Володя Чижов и многие-многие другие, близкие ему по духу и творчеству люди».

Как складывается дружеский круг? И что это вообще такое? Анна Бердичевская сформулировала: круг – магический знак бесконечности жизни. А Виктор Болотов написал:

Определился круг знакомых,
Загадочный, по сути, круг.
В каких он вычерчен законах –
И вот –
определился вдруг!
Та яростная тяга к людям,
К незнаемым,
Там – в глубине,
Оборотилась чуть не клубом,
Уж чуть не Аглицким – вполне!

Отъезд из Березников в Пермь. Слева от А. Решетова– Ю. Марков, справа – племянница Олеся. 1982 год

Болотов, как всегда, пытался осмыслить явление в целом. Но сказано это о конкретной дружеской компании. Той, что описана в «Дворянском гнезде» Ирины Христолюбовой. Алексей Решетов стал ее частью в конце 1960-х. К *загадочному, по сути, кругу* принадлежали некоторые журналисты «Молодой гвардии» (в Перми это была его газета, пока редакцию в конце «оттепели» не разогнали), издатели и писатели, причастные к решетовским публикациям и книгам. Люди, искренне любившие его.

Отношение Решетова к друзьям было пушкинским. Он тосковал без общения, радовался успехам товарищей, старался поддержать их, посвящал стихи, дарил книги. Музыкант Владимир Чижов утверждает, что Решетов редко употреблял само слово «друг», боясь затаскать его. Однако в стихотворении «Заповедь» он не только произнес это слово, но и назвал конкретные имена.

Паша, Юра, Костя, Вова,
Надя, Ира, все друзья.
Это письменное слово –
Воля, заповедь моя…

Стихи написаны в 1996 году. По жанру – это поэтическое завещание, исполнителями которого назначены люди доверенные и духовно близкие. Кроме березниковцев – журналиста Павла Петухова, поэта Юрия Маркова, товарища по работе на калийном комбинате Константина Шестакова, о которых речь уже шла, Решетов упоминает в «Заповеди» трех пермяков: Владимира Михайлюка, Надежду Гашеву и Ирину Христолюбову. (Без сомнения, в список вошел бы и Виктор Болотов, если бы дожил до 1996-го.)

С Михайлюком Нина Вадимовна безбоязненно отпускала сына. Знала: при любых обстоятельствах Володя сделает все, чтобы оберечь и защитить Алешу. Такое доверие возникает благодаря сходному трудному опыту.

Мы с тобою живем по соседству,
И почти двойники по судьбе,
Но тюремная азбука сердца
Моего не понятна тебе.

Эти строчки могли быть обращены к разным людям, но только не к Михайлюку. Он тюремную азбуку сердца знал хорошо.

Владимир Михайлюк был старше Решетова, родился 22 апреля 1933 года на Украине, в селе Чернелевка Хмельницкой области. По удивительному стечению обстоятельств, это село в конце войны освободила от немцев часть, где служил «веселый солдат» Виктор Астафьев.

На Урал Михайлюк и Решетов попали в разное время и с прямо противоположных сторон, но цель приезда была одна. И точка назначения та же – лесной поселок Боровск.

История жизни Владимира Михайлюка заслуживает романа. Это был бы роман о времени. И о судьбе, столь же уникальной, сколь и типической.

Мать он потерял в 11 лет, ее убили немцы во время оккупации. Отца лишился еще до войны, тот был арестован в беспощадном 1937-м. Мальчика растила бабушка Уля, так же как баба Оля растила и хранила Бетю и Алешу.

В очерке, посвященном Виктору Астафьеву, Михайлюк вспоминал День Победы.

Мы с бабушкой Улей бежали к сельсовету на митинг. Два сына бабушки воевали, а младшая дочь, окончившая в 1941 году десятый класс, была угнана в Германию. Дед был расстрелян на третий день после ареста, а старший сын бабушки Ули, мой отец, отсиживал срок где-то в лагерях как «враг народа». Позже выяснится, что он с 1937 по 1947 год трудился на лесоповале в Соликамской тайге. Я увидел его, когда мне было уже 20 лет…

А тогда, в День Победы, мы бежали с бабушкой, надеясь, что должно произойти что-то прекрасное, коли Победа! В ту весну буйно цвели вишни, и мы бежали белым коридором цветущих деревьев.

В начале 1950-х Михайлюк служил на Балтийском флоте, занимался радиолокацией, слушал море. В то время воды Балтики освобождали от мин, оставшихся после войны (потом написал об этом повесть «Долгое эхо»). В 1953 году он впервые приехал на Урал. Чтобы увидеть отца. Эта встреча, как для Решетова встреча с матерью, определила на карте место, которое стало главным.

В 1959 году студент факультета журналистики Ленинградского университета Михайлюк (окончил журфак в 1962-м) был направлен в Пермь и начал работать в «Молодой гвардии». Он всегда гордился званием журналиста,

хотя профессий сменил множество. Мог бы сделать блестящую карьеру, но карьериста из него не вышло. Михайлюк принадлежал к породе вечных работников, как его любимый исторический персонаж – Василий Никитич Татищев. Владимиру Михайлюку предлагали должности фельетониста «Комсомольской правды», секретаря Березниковского горкома партии по идеологии, помощника начальника политотдела Тихоокеанского флота. А он работал проходчиком вертикальных стволов на втором калийном комбинате, инспектором Северо-Уральской инспекции по охране водных ресурсов, санитарным инспектором «Камуралрыбвода», егерем в Осинском лесхозе. И все это время продолжал заниматься краеведением и публицистикой.

В 1963 году судьба привела Михайлюка в Круглый Рудник. На краю старинного села остались следы шахт, снабжавших рудой первый на Руси медеплавильный завод, заложенный в 1640 году при Пыскорском монастыре. В эти шахты спускался когда-то Татищев... В 1968-м в «Молодой гвардии» появилась статья Владимира Михайлюка о Татищеве. В оригинале она заканчивалась предложением поставить в Перми памятник основателю города. При публикации концовку сняли, однако автору вскоре предложили написать книгу о Перми – в 1973 году решено было отметить 250-летие со дня рождения города. После выхода книги «Город мой – Пермь» Владимир Максимович вошел в круг серьезных пермских краеведов.

Он автор нескольких книг о Пермском крае. Четыре из них – о Березниках. О первой березниковской книжке друга, «Сражение за мечту» (1971), Алексей Решетов писал: *«У него была неимоверно трудная задача: не “засушить”и не “разжижить” повествования, он выбрал самый правильный для публициста путь: вместо тройных сальто-фантазий скрупулезно собрал редчайшие документы, бережно перенес в книгу забытые письма, ездил, беседовал с людьми, вглядывался в дымчатые любительские снимки, листал дневники – пока не заговорила сама полувековая история».*

Владимир Михайлюк

Такого принципа работы Михайлюк придерживался всю жизнь. А Березники были для него особой темой, личной. Это он убедил парашютиста-испытателя Олега Хомутова, сына одного из «коноваловских ребят», писать воспоминания. Он разыскал документы, связанные с судьбой Татьяны Бирюковой (в 1984 году в Березниковском театре был поставлен спектакль об отважной разведчице, для которого Решетов написал две песни). О своих друзьях, Алексее Решетове и Викторе Болотове, Михайлюк тоже считал долгом рассказать. И не только. Слово для него было связано с делом. Его трудами – во славу русской поэзии – разбит в Березниках рябиновый сквер, а в Павловске – рябиновый сад. (Идею перенести строки Решетова с бумаги на землю в 1980-е поддержал академик Дмитрий Лихачев, в 2003-м проект «Рябиновый сад» получил премию Союза журналистов России.)

И то, что памятник Василию Никитичу Татищеву стоит сегодня в Перми, тоже личная заслуга Владимира Михайлюка.

Решетов посвятил другу не только «Дельфинов», Михайлюку адресованы несколько стихотворных посланий.

Как парубок статный, красивый,
Вернейший из верных друзей,
Скажи мне, о чем ты, Максимыч,
Задумался в свой юбилей?

Написаны честные книги,
А сколько их будет еще!
И, значит, плевать на интриги.
И все злоключенья – не в счет!

Гляжу в твое «Зеркало» или
По «Городу белых берез»
Брожу – и не скрыть, не осилить,
Как в детстве, нахлынувших слез.

Бывалый матрос и проходчик,
Ты выбрал свой собственный путь
И ради фанфар не захочешь
На легкую тропку свернуть.

Пускай мы с тобой керосиним
Все реже: бюджет скудноват,
Но ты, как и прежде, Максимыч, –
Мой старший заботливый брат.

Прими же мои поздравленья
Не как фимиам и елей –
Как искренний знак уваженья
Душой благородной твоей.

В этом посвящении на пятидесятилетие упомянуты названия двух книг Михайлюка – повести «Зеркало» (1979) и краеведческой книжки «Город белых берез» (1982).

К юбилею Владимира Михайлюка появилось еще одно выдающееся произведение – Ирина Христолюбова написала продолжение шуточной хроники «Дворянское гнездо». Первая часть была создана в 1973 году без особого повода, просто от избытка любви и таланта. Вторая, по завету Дюма, – десять лет спустя. В выходных данных специального юбилейного издания значилось: «Автор – И. Христолюбова, редактор – Н. Гашева, художник – О. Решетова, рецензент – Г. Мещеряков, ответственный за выпуск – А. Решетов. Сдано в набор – 1973 г., подписано в печать 1983 г. 20/VI. Печать высочайшая. Тираж – 1 экз. Цена – бесценная».

Анна Бердичевская, одна из героинь хроники, прокомментировала:

«Все это правда. И автор – И. Христолюбова, и цена – бесценная. И печать высочайшая, потому что ручная. Рисовала готический шрифт и виньетки – Оля, племянница поэта Алексея Решетова, тогда совсем юное создание. <…> Фотоколлажи делали сообща из фотографий, какие Бог послал, узнаю и весьма туманные снимки моей работы. <…> Редактор, как всегда, Надежда Пермякова, она же Гашева. Рецензент – муж Иры, любимый всеми ее друзьями и любивший всех ее друзей Гриша Мещеряков. Детдомовец и беспризорник, человек горячий, пылкий и добрый. <…> В семидесятых переехал в Пермь и возглавил кинопроизводство на Пермской телестудии. Влюбился в Иру с первого взгляда… Ответственный за выпуск – поэт Алексей Решетов.

Что тут скажешь? Документ! И очень солидный, никаких фальсификаций. <…> Герои “Дворянского гнезда” – реальнейшие живые люди, друзья автора. Правда, на страницах рукописи они участвуют в событиях и временах не вполне реальных и в качестве гусаров, маркизов, грузинских князей, потомков декабристов. Но вот в чем дело: в этом качестве они, по прошествии нескольких десятилетий, кажутся гораздо более самими собой, чем позволяла им быть самими собой

та далекая и вполне реальная советская жизнь. <…> Здесь, в “Дворянском гнезде”, “все они красавцы, все они таланты, все они поэты…” Христолюбова их разглядела».

Персонажи хроники – дворяне города Пермебурга – и есть пресловутый дружеский круг. Кому-то посвящена отдельная новелла, кто-то лишь упомянут в тексте, но каждый на своем месте и в своем амплуа. «Дворянское гнездо» может многое рассказать о жизни и нравах пермской творческой интеллигенции 1970–1980-х годов. На страницах, как живые, предстают пермские писатели, журналисты, телевизионщики…

Безумно храбрый гусар Болотов – *«глаза его блестели нездешним блеском, и лицо освещалось интеллектом»*. Его жена-красавица, которая потрясла весь Пермебург. Гусар Соснин, который *«органически не переваривал всякие драки, походы и марши»*, и *«во время сражения никто его не мог найти – ни враги, ни свои»*. Коня же он просто отпускал: *«Пусть, паразит, попасется!»* Замкнутый и холодный маркиз Надеждин, который время от времени спускал в игорном доме все состояние, а потом исчезал *«то ли к себе во Францию, то ли к себе в Польшу»*. Надежда Пермякова (она же Гашева), родственница декабриста. Она решила идти в народ, чтобы просвещать его и делить с ним последний кусок мяса. И ее подруга Маня, которую в народ не пустили родители (отец Марины Лебедевой был директором Мотовилихинского завода). Муж Надежды – *личный секретарь государя* – ироничный Борис Гашев. Вольнодумец Владимир Михайлюк. Купеческий сын Солодников, который *«хотел получить образование, а также воспитание, но так и не получил»*, зато жег деньги пачками *«по примеру этой психопатки Настасьи Филипповны и хохотал густым крестьянско-купеческим смехом»*. Белов, основная черта характера – благородство, *«об этом все знают, но все молчат»*. Он тянулся к разночинцам и любил послушать недозволенные песни. Таинственный, как граф Монте-Кристо, Виноградов – *«яркий представитель зарождающегося капитализма, который потом загниет и породит пролетариат – могильщика Виноградова»*. Нина Субботина, которую однажды увез заезжий актер, но потом выяснилось, что *«они едут не в ту сторону – пришлось вернуться»*. Внучка опального дворянина Анна Бердичевская и ее муж – красавец-

генерал (писатель Леонид Юзефович). Ризов, который совсем не признавал государя и руки ему не подавал. Мудрый и многоопытный Давыдычев. В последней новелле хроники в Пермебурге появляется, наконец, друг Лермонтова, грузинский князь Решетов, со дня на день ожидающий черного дня…

Автор этого блистательного текста в хронике не действует. Зато воспоминания о «Дворянском гнезде» и его создательнице написала Анна Бердичевская. Кажется, это единственный рассказ об Ирине Петровне Христолюбовой, которая *«это самое “Дворянское гнездо” не только написала, она свила его. <…> У “дворянского гнезда” был совершенно конкретный адрес: Малая Ямская, 5».*

Дом этот давно снесен. Стоял он как-то на отшибе, не вдруг найдешь, и с виду ничем не выделялся: двухэтажный барак, правда, с центральным отоплением и даже с ванной (вода из крана лилась холодная). На первом этаже барака находилась коммуналка, где в одной из комнат и жила Ирина Христолюбова. Комната как комната. Ничего особенного. Если бы не хозяйка.

Анна Бердичевская пишет:

«Какая тогда была Ира Христолюбова? Не могу передать, какая хорошая… Серьезная, и в то же время с редким чувством юмора. Длинноногая, статная, очень русская, задумчивая женщина без суеты. <…> Вот что еще было удивительно: все, кто попадал в Иринину комнату на Малой Ямской, 5, все, кто там прижился. <…> были, на мой взгляд, либо очень хорошими, либо еще лучше. Причем – не правильно хорошими. Но безусловно.

Ну, вот, например, поэт Витя Болотов попадал сюда иногда через форточку. Потому что был безумно отважен, <…> но, главное, Болотов был достаточно интеллигентен, чтоб не стучаться после десяти вечера в дверь коммунальной квартиры, рискуя разбудить старушку-соседку тетю Лизу (Бедную тетю Лизу – так ее звали Ирины гости). Тетя Лиза долгонько враждовала с дворянами Пермебурга, но, будучи в глубине души женщиной доброй, всю эту компанию приняла и полюбила. Потому что – люди хорошие. Хотя и не всегда трезвые. <…>

Выпивали. Не больше, чем в среднем по стране. Но и никак не меньше. Однако – лучше. Не в смысле закусывали лучше,

нет. Пили интереснее, вдохновеннее и чище. <…> *Пили как Пушкин с няней Ариной Родионовной, или Блок с Незнакомкой, или, на худой конец, Денис Давыдов с гусарами. Конечно, водка, она и в Африке водка, то есть вещь жесткая и опасная.* <…> *Но процесс – важен. И процесс процессу рознь. Даже Бедная тетя Лиза это поняла».*

Собирались, конечно, и по другим адресам. Однако комната на Малой Ямской долго была самым посещаемым «салоном» города Пермебурга. Потом Ирина Христолюбова поселилась в многоэтажном доме на улице Пушкина, и дружеская компания переместилась за ней. Один из «светских раутов» Решетов описал в стихотворении.

Нежданная пирушка.
В кармане ни гроша,
Но так и ходит кружка,
От уст до уст спеша.
Хозяюшка – простушка,
Хозяин – вертопрах,
Но мудрая кукушка
Живет у них в часах!
И вот уже мы встали,
И вот уже ушли
В неведомые дали
Без неба и земли.

Решетов не был щедр на посвящения. Если он дарил стихи человеку, значит, этот человек был для него особенно важен. Ну, а стихов, посвященных женщинам, у него (при обширной любовной лирике) по счету.

Если не считать тексты, обращенные к бабушке, матери и племяннице, в трехтомнике пять посвящений женщинам: Вере Нестеровой, Тамаре Катаевой, Марье Семеновне Корякиной (Астафьевой), Надежде Гашевой и Ирине Христолюбовой – «хозяюшке-простушке».

Ирина Петровна Христолюбова родилась 25 октября 1938 года в Кировской области, в деревне с симпатичным ботаническим названием Пижанка. Единственную дочь растила мать, отец погиб на фронте. После школы Ирина Христолюбова работала в районных газетах в селе Сива и Соликамске. Потом пришла в «Молодую гвардию». В 1968 году окончила филологический факультет Пермского университета. Затем работала в газете «Звезда» и на

Пермской телестудии. По ее сценариям снято несколько документальных фильмов, в том числе «Белый лист» об Алексее Решетове. Но главный дар Ирины Христолюбовой был редкий и драгоценный – она была настоящим детским писателем. А для детей, как утверждала Астрид Линдгрен, надо писать так же, как для взрослых, только лучше.

У Ирины Петровны получалось. Ее первая книжка «Загадочная личность» вышла в Пермском книжном издательстве в 1982 году. Решетов тут же откликнулся. Рецензию назвал строчкой Мандельштама, которого в 1982-м на родине еще не печатали, – «Только детские книги читать», и не только отдал дань таланту, юмору и тонкости автора, но и уверял: «Загадочная личность» помогла ему «из глубокой печали восстать». Особенно нравился Решетову рассказ «Старший брат Геня». Герой этого рассказа, девятиклассник Гена Дубровский, приезжает в старый парк, чтобы полежать на осенних листьях, глядя в небо. И умеет разговаривать с деревьями. Решетов тоже с ними разговаривал, даже стихи деревьям читал. И любимую фразу Гени поэт мог повторить: «Шумно тут у вас. Любите вы все шуметь».

Ирина Христолюбова написала еще две замечательные детские книжки: сказку «Топало» и повесть «Колокольчики мои». В 1998 году была принята в Союз писателей.

Стихов она не сочиняла, хотя и стала одним из авторов сборника «Княженика», наделавшего в Перми много шуму в 1968-м. В книгу вошли стихи 10 молодых женщин. У Ирины Христолюбовой там напечатаны такие строки:

«Одиноким предоставляется общежитие!
Одиноким предоставляется общежитие!» –
Извещает репродуктор бодрым голосом.
Где, где спасают от одиночества?
Пожалуйста, точный адрес…

Первоначально текст был короткой новеллой. Но составитель сборника Надежда Пермякова (она же Гашева) уловила лирическую ноту и решительно построила строчки в столбик. К моменту выхода «Княженики» она уже четыре года работала в Пермском книжном издательстве, ей нравилось придумывать и делать книги.

Родилась Надежда Пермякова в Березниках 8 января 1941 года. Вскоре отец ушел на фронт. До войны он работал на строительстве Березниковского калийного комбината,

на войне инженер-строитель стал сапером. Семья – жена, сын и маленькая дочка – осталась в Березниках. Получили участок под огород на Ждановских полях, жили трудно, но выжили.

Летом 1943 года капитан Пермяков был тяжело ранен на Курской дуге и после госпиталя вернулся домой. В 1948-м семья переехала в Пермь.

Надежда Пермякова окончила филологический факультет Пермского университета и в 1964-м стала редактором книжного издательства. Она очень любила книги. И поэтов. Стихотворцы звонили ей (в любое время суток), чтобы прочитать новое творение. Решетов в таких случаях говорил: «Я тут стишок написал. Хочешь послушать?» Как будто она могла ответить: не хочу! Она и другим так никогда не отвечала, а уж ему...

Она знала наизусть огромное количество стихов и всегда была готова читать или слушать поэтов. В молодости писала сама, потом бросила.

Она была профессиональным редактором. Получив новую рукопись, тут же ее открывала. Азартно придумывала и составляла книжные серии. Выдумывала идеи оригинальных изданий. Видела, слышала, чувствовала текст. Ее вкусу доверяли. И не только вкусу – доверяли ей самой. Память Надежды Гашевой заменяла поисковики (которых в то время не было). Ей звонили (в любое время суток) и спрашивали: чья это строчка? кто написал?.. в каком году?.. чей псевдоним?.. *отчего пальба и клики и эскадра на реке?* что это за стихи Пастернака про север с такими длинными строками? где найти определение понятия «культура»? и где они, эти мазурские топи?..

Надежда Пермякова. Начало 1960-х годов

Надежда Гашева работала с Алексеем Решетовым над книгами «Чаша», «Автопортрет», «Жду осени», «Иная речь». В конце 1970-х для работы над «Чашей» приехала в Березники. Решетов обрадовался. Ему хотелось поговорить. Рукопись лежала, а поэт таскал редактора по городу (дневному, ночному), знакомил с друзьями,

рвал цветы на клумбе перед горкомом партии – дарил и рассказывал-рассказывал… Надежда Гашева утверждала, что тогда и произошло ее настоящее знакомство с городом детства. Решетов подарил ей Березники, как цветы с клумбы. А через некоторое время подарил стихотворение.

Хочу, чтоб только ты
глаза мои закрыла,
Когда пробьют часы,
когда блеснет коса.
Мне так вдвоем с тобой
неодиноко было.
Мне бедная земля
была, как небеса.
Увы, во мне струна
бродяжья говорила
Порой сильнее, чем
другие голоса.
Хочу, чтоб только ты
глаза мои закрыла,
Когда пробьют часы,
когда блеснет коса.

В доме Гашевых всегда отмечали день рождения Пушкина: пекли пирог, покупали черешню, пили шампанское. Гости читали стихи по кругу… И еще Надежда Николаевна неизменно отмечала день рождения Решетова. Даже после его ухода. Дружбу с ним она считала одной из главных удач своей жизни…

Финал стихотворения, посвященного Ирине Христолюбовой, звучит сегодня особенно грустно. Многие люди, составлявшие таинственный круг, ушли в неведомые дали… Но в 1982 году все еще были живы, собирались за столом, где кипела «каша вздора» – спорили, читали стихи, выпивали, пели, влюблялись. И с восторгом приветствовали прибытие в Пермебург грузинского князя Алексея Решетова.

Глава 2
ЛИТКОНСУЛ

Непослушное перо,
Ненасытная бумага,
Все вторично, все старо.
Зря стараешься, бедняга.
Ни берлоги, ни жены
У тебя, седоволосый.
А кому, скажи, нужны –
«Кровь – любовь», «морозы – розы»?
Что ж, освистанный пророк,
Жизнь толкуешь ты как благо?
Непослушное перо.
Ненасытная бумага.

А. Р.

Переезд Решетова из Березников в Пермь поставил символическую точку в дискуссии о физиках и лириках.

Квартиру в центре города, в доме на углу улиц 25 Октября и Кирова (ныне Пермской), выхлопотал Союз писателей. Вполне приличную по тем временам. Планировкой она напоминала березниковское жилье Решетовых: второй этаж, три комнаты, балкон и лоджия, где Нина Вадимовна могла разбить свой цветник. Даже окна и полы к приезду жильцов вымыли. Транспортом переселенцев тоже обеспечили. Забыли одно – грузчиков. Таскать вещи из машины, доставившей к подъезду нехитрый скарб (единственная тяжелая вещь – пианино), оказалось некому. К счастью, помочь с переездом явился Роберт Белов (основная черта характера – благородство!). Он-то и позвонил на кафедру общей физики Пермского политеха. Сотрудники кафедры в свободное от науки и преподавания время подрабатывали перевозкой-погрузкой-выгрузкой. Заведующий кафедрой Владислав Белецкий, узнав, в чем дело, немедленно прислал подмогу. *«Безбакшишные нештатные шабашники»* с учеными степенями быстро справились с задачей. Денег с Решетова не взяли. А историю эту часто потом с удовольствием вспоминали. Так что физики снова оказались в почете, но и лирики не в загоне.

Правда, литература, да и вообще искусство, играла тогда в областном, по преимуществу промышленном, центре роль второстепенную. Если «Республику химии» Березники Михайлюк назвал «Городом белых берез», то книга о Перми, изданная к очередному юбилею, обозначила Пермь как «Город в глубине России». Это во всех смыслах соответствовало действительности. Советская власть в рамках великих географических закрытий смела имя «Пермь» с карты. Город, словно буйки, держали над глубиной военные предприятия. Официальных культурных брендов насчитывалось немного: деревянная скульптура, балет, выпускник Пермской семинарии Павел Бажов, второклассник и второгодник Иван Семенов… Однако Решетов, если и не считался брендом (да и слова такого в словаре граждан еще не существовало), был явлением. Специально для него в пермском Союзе писателей придумали должность – литературный консультант. Друзья стали звать Решетова «литконсул».

На работу он, по привычке, приходил аккуратно и к определенному часу, честно отрабатывал смену. Идти было недалеко – на Сибирскую, в знаменитый Дом чекистов. История этого дома напоминает историю Дома печати в Хабаровске, откуда увели в тюрьму Леонида Решетова. (В любом крупном городе есть свой «Дом на набережной».) Здание в стиле конструктивизма построено в 1930-е в виде гигантской буквы «С». Рядом должны были встать другие дома-буквы, чтобы фамилию «вождя народов» могли прочесть с высоты птицы и пилоты. Но помешала война – дальше первой буквы дело не пошло.

В Доме чекистов жила пермская элита: советские и партийные руководители, комсомольские вожаки, начальники НКВД, директора и главные инженеры военных заводов. В годы большого террора к этому дому по нескольку раз за ночь подъезжали «воронки», а население его еще до войны полностью сменилось несколько раз.

На первом этаже круглого пристроя-«фонарика» (завитка буквы «С») в 1970-х расположился Союз писателей. На втором этаже пристроя находилось Пермское книжное издательство. И Союз, и издательство были своего рода клубом, туда приходили по делу или забредали без дела художники, писатели, журналисты, артисты. Местные и

приезжие. В небольшом зале Союза проходили вечера клуба «Лукоморье», где мог выступить местный поэт или прозвучать стихи Федерико Гарсиа Лорки…

Литконсультант Решетов сидел в маленькой комнате напротив входа. К нему тянулись визитеры – маститые писатели, начинающие авторы, графоманы. Все надеялись пообщаться, посоветоваться, показать рукопись, выпить с классиком. Вкусу Решетова доверяли, его имя и авторитет много значили в литературных кругах Перми. Да и просто – он вызывал любопытство. Живой поэт, и поэт настоящий!

Должно быть, сперва новая деятельность его занимала, но довольно быстро чтение самотека надоело. Интересные рукописи и собеседники попадались нечасто. Однако свои обязанности Решетов выполнял аккуратно: консультировал, давал оценку. Он привык работать. Более того, считал работу одной из основных жизненных ценностей. Но работа должна иметь смысл.

Несмотря на булгаковское название должности, консультант мог немногое. Хотя изредка ему удавалось помочь талантливым людям.

Например, Решетов приложил немало усилий, чтобы поддержать поэта Михаила Сопина. Сопин был старше его, родился в 1931 году, и биографию имел легендарную. Пережил оккупацию, в качестве сына полка с армией дошел до Потсдама. После войны оказался беспризорником и получил срок за хранение оружия, потом еще один по печально знаменитому указу «семь-восемь», известному также как «Закон о трех колосках». В 1970-е Сопин жил в Перми. Судьба товарища по перу не могла оставить Решетова равнодушным, а в стихах Сопина многое было ему близко.

Если гордость наша – пыль парада,
А плоды победы – дым в горсти,
С нами происходит то, что надо,
Что не может не произойти.

Еще в конце 1970-х, когда Вадим Кожинов готовил к изданию сборник «Страницы современной лирики», Решетов попросил его помочь Михаилу Сопину опубликоваться в столице. Сперва критик отнесся к просьбе сдержанно, хотя и признал, что «в поэзии Михаила есть подлинность». Даже заметил: «Поэту истинно необходимо не призвание,

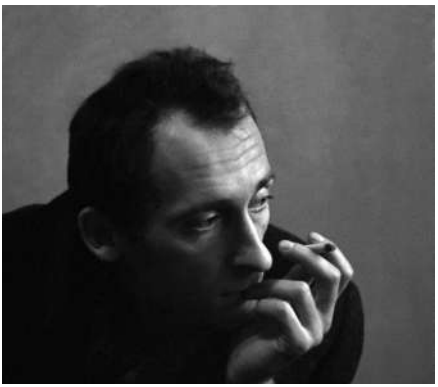
а Поэзия!» (18.01.1979). Заняв должность литконсультанта, Решетов вновь написал Кожинову. Тот ответил: *«Дело нужно начинать там, где автор живет. <…> Не сомневаюсь, что, если Вы сделаете настоящее усилие, несколько лучших и наиболее “проходимых” стихотворений Михаила напечатают. <…> Век прокатился по М. Сопину так, как он прокатился по Вашим родителям. Сделайте же усилие, Алексей! <…> Ведь есть у Вас власть, которой, я думаю, Вы не очень уж дорожите!»* (5.02.1983).

Критик или преувеличивал возможности литконсультанта местного Союза, или недооценивал крепость идеологической обороны, а скорее всего, просто не хотел вмешиваться в судьбу бывшего сидельца. Он советовал Решетову обратиться за поддержкой в МВД и в обком КПСС.

Пока шла эта переписка, Михаил Сопин перебрался в Вологду. Там в 1985-м и вышел в свет его первый сборник. Помог изданию критик Вадим Кожинов. Об этом можно прочитать в материалах, посвященных Сопину. Об участии Решетова в этой истории нигде не сообщается. В 1991 году Михаила Николаевича Сопина приняли в Союз писателей России.

Литконсультант Союза участвовал в литературной жизни города. (Но даже когда не участвовал – был ее частью.) Само присутствие Решетова в Перми обогащало литературную жизнь. Он рекомендовал рукописи к изданию, писал рецензии. В печати предпочитал хвалить, а не громить. Писал обычно о книгах друзей и хороших знакомых. Так было с произведениями Владимира Михайлюка, Ирины Христолюбовой, Нины Бойко (к ее прозе он позже охладел), Федора Вострикова, позднее – Игоря Неверова. Дружеский долг Решетов ставил выше долга принципиального рецензента. Не в том смысле, что мог написать положительный отзыв на книгу приятеля, которую хвалить было не за что. Мог *не написать* отрицательную.

В его архиве сохранилась рукопись разгромной рецензии на два сборника А. Манджосова («Зодиак» и «Монологи»), изданные в Березниках в 1990-е. Решетова эти книги привели в негодование. Он написал резкий отзыв, где доказывал, что сочинитель – *«литературный жулик, переложивший в стишата максимы Ларошфуко и мысли Паскаля»*. Однако, выпустив пар, от публикации отказался, не хотел



Алексей Решетов

обижать Юрия Маркова и Павла Петухова – оба уже успели похвалить в печати Манджосова.

На обсуждениях в Союзе писателей, где часто решалась судьба рукописей, литконсул высказывался порой резко и всегда умно. Формулировал точно. Авторов, которых считал одаренными, защищал решительно. Выдержку из протокола одного такого заседания приводит в мемуарном очерке Семен Ваксман.

Дело происходило 20 марта 1983 года. Обсуждали рукопись стихов Германа Митягина. Решетов старался отстоять сборник.

РЕШЕТОВ. Герман обладает одним недостатком: он не стереотипен. Он не идет в русле гладкого письма. Рукопись среди потока единична. <…>

СМОРОДИНОВ. Не было ни Гомера, ни Софокла до Митягина…

РЕШЕТОВ. Ни Смородинова.

СМОРОДИНОВ. Суньте его редактору, и Митягин исчезнет. Этим стихам в понедельник исполнится сто лет.

РЕШЕТОВ. Ну и что? Аввакум был полным консерватором по отношению к общественному мнению.

Литконсультант ценил не только авторов, близких ему по поэтике или взглядам. Он был убежден, что дар первичен, а литературное направление вторично. Не терпел лишь подделок под стихи. Говорил с раздражением: «У них муза круглосуточная!» Гладкопись и выкрутасы раздражали его одинаково. Обычная ироническая рецензия: «Грамотно» или «Как складно!». Но любое проявление таланта он принимал с восхищением. Среди любимых поэтов Решетова не только Пушкин, но и Мандельштам («Вот где свобода!»), Заболоцкий, Пастернак, Цветаева, Ксения Некрасова, Тютчев, Ахматова, Тарковский, в поздние годы Бродский.

В конце 1990-х с первой маленькой публикации он высоко оценил Бориса Рыжего. Рекомендовал журналу «Урал» опубликовать стихи молодого Виталия Кальпиди. Ему нравилась проза Нины Горлановой…

С Ниной Викторовной и ее мужем писателем-фантастом Вячеславом Букуром, работавшим тогда в Пермском книжном издательстве, Решетов познакомился в 1980-е. В мемуарном очерке «Ты рано открыл Ли Бо» Нина Горланова пишет об этом времени.

<…> Он поражал глубокой образованностью, хотя окончил только техникум. Тут Бродский прав: провинция способствует великому искусству, потому что имеет место тоска по мировой культуре.

Когда Леша признался, что рано открыл Ли Бо и тот сильно повлиял на него, я сразу поняла, откуда эта прозрачность и акварельность в его творчестве, а то все думала: вроде, пушкинская линия, но все-таки и нет, что-то тут еще есть… Мир на самом деле более един, чем мы думаем. В Березниках молодой Решетов читал Ли Бо, и просторы отступили словно…

Открытие Ли Бо произошло в начале 1960-х. В 1959 году в Москве вышли две книги: «Юэфу. Из древних китайских песен» и «Классическая китайская поэзия». Оба сборника были у Решетова, один из них сохранился в его библиотеке, второй в 1964-м он подарил Вере Нестеровой.

О решетовской книжке юэфу (традиционный жанр китайской поэзии эпохи Хань) есть любопытная запись Тамары Катаевой. Разбирая после смерти мужа архив, она обнаружила на страницах этого сборника полустертые карандашные записи.

«Вооружившись лупой, я занялась расшифровкой. <…> Ведь именно тогда, в 1960 году, погиб его брат Бетал, возможно, к этому времени и относятся стертые записи. То было время переживаний и бессонницы, время уединения. <…> Я обнаружила и первый вариант стихотворения “Время закрытых дверей”, помеченный в трехтомнике 1963 годом. <…> Мне удалось прочесть в той книге китайских песен <…> записи размышлений и отрывки стихов того периода: “Всегда искусство будет выбирать тех, кто способен ***смертию смерть попрать”****». “Искусство – то же самое*

сраженье – в нем кровь, и пот, и воронов круженье". "Картина неизвестного художника, могила неизвестного солдата". "Свет солнца над царством художника, цветение подорожника на холме над могилой".

Здесь красок мир,
Там – царство подорожника.
Здесь – холст,
Там – холм.

<…> *Настроение следующего стиха, на мой взгляд, связано с потерей самого дорогого для него человека.*

МЕРТВАЯ ТРАВА

Я – вторая трава – отава,
Я расту из сырой земли,
На которую статные травы
И цветы под росой легли.
До травинки на них похожим
Надо быть мне, траве живой.
А не справлюсь с суровой ношей –
Не зовите меня травой.

В словаре В. Даля я нашла следующее о траве отаве: "Восток и Сибирь – следы, остатки травы на пастбище, ветошь, подснежная трава, оттаявшая по первой весне". <…> Под второй травой Алексей, видимо, подразумевал себя».

Что касается Ли Бо, то интонация и сюжеты великого китайца Решетову были близки. Настоящая поэзия легко преодолевает расстояние в 12 веков.

Среди цветов поставил я
Кувшин в тиши ночной

И одиноко пью вино,
И друга нет со мной.

Но в собутыльники луну
Позвал я в добрый час,

И тень свою я пригласил –
И трое стало нас…

(«Под луной одиноко пью». Перевод А. Гитовича.)

«Тень стихотворца тенью кружки / Пьет участь горькую свою…» – отозвался Решетов в 1962-м, присоединив к компании еще одного собутыльника.

Некоторые стихотворения в книге отмечены. Например, это:

Плывут облака
Отдыхать после знойного дня.

Стремительных птиц
Улетела последняя стая.

Гляжу я на горы,
И горы глядят на меня.

И долго глядим мы,
Друг другу не надоедая...

(«Одиноко сижу в горах Цзинтиншан». Перевод А. Гитовича.)

Образование – не диплом вуза. Решетов хорошо знал поэзию, и не только отечественную. Он постоянно читал и размышлял о прочитанном. Многое помнил наизусть, поражал собеседников, с легкостью цитируя самых разных поэтов. Так что профессиональную квалификацию мастера, призванного судить чужие произведения, оспаривать не приходится. Тем более что вкус у него был безупречный, слух к слову абсолютный.

В 1988 году в журнале «Уральский следопыт» появился материал Германа Иванова «Непослушное перо, ненасытная бумага...» – интервью с Алексеем Решетовым. Там зафиксирована типичная сцена: разговор консультанта Союза с очередным посетителем.

– Посмотрите мои стихотворения, – автор, далеко не юный, протягивает литконсультанту несколько смятых листочков, вырванных из школьной тетрадки.

– Хорошо, оставьте...

– А вы сейчас посмотрите. Здесь ведь немного, – настаивает автор.

– Ну, что я вам сразу могу сказать? Нужно внимательно прочитать, подумать, нужно время, чтобы не ошибиться в оценке, – увещевает Решетов. – Вам же больше пользы будет.

Однако автору не терпится.

– Ну вы хотя бы бегло посмотрите. Я ведь самодеятельный композитор и пишу тексты для себя. Ничего здесь сложного нет.

Решетов с покорным вздохом надевает очки и начинает разбираться в рукописи. Почерк корявый, некоторые

строчки зачеркнуты и сверху еще более мелкими буквами – варианты.

– Не знаю, как насчет музыки, но стихи явно на уровне плохой самодеятельности, – наконец говорит Решетов. – В каждой строке – штампы, трафареты, абсолютно ничего нового. Думаю, все это не более чем для домашнего пения.

– А может, если поправить, то пойдет? – в голосе звучит надежда.

– Хорошо, попробуйте, хотя я не вижу, как это можно поправить, – следует откровенный жесткий ответ.

– Я переделаю и снова принесу, – посетитель складывает свои листочки и раскланивается.

– Заурядный случай, – Решетов разминает свою «приму», но прикуривать не торопится. – Поверьте, за пять лет работы я встретил только двух одаренных людей, да и то познакомился с ними не здесь. Талант – штука редкая. А консультацию при Союзе писателей, по моему убеждению, нужно закрыть. Ведь нет никакого толка от нее. Если автор не самостоятелен, не может оценить свою продукцию, то разве помогут ему чьи-то, пусть распрекрасные, наимудрые советы? А для неуверенных в своих способностях либо слишком самоуверенных – бывают и такие – необходимы платные консультации.

Не знаю, как в других странах, но у нас – подлинная эпидемия писательства. Творят все – от пионера до пенсионера, и большинство не отдает себе отчета, что написать стихотворение, повесть, рассказ может только человек, обладающий не просто знаниями, но и способностями к профессии литератора. Именно профессии, ибо любительство здесь, впрочем, как и в любом другом деле, противопоказано. <…> Странное дело – если у человека нет, скажем, голосовых данных или слуха, он не подумает претендовать на роль оперного певца. А вот сочинителю – и малограмотному, и высокообразованному, но лишенному врожденного чувства слова, у которого, по образному выражению Павла Петровича Бажова, «суконная варежка на язык надета», никакие доводы не указ. Даже термин «поэтическая глухота» он относит к кому угодно – только не к себе.

Решетов уверял, что талант видно сразу. И объяснял: читаешь рукописи: так… так… так… так… Ах, вот как?!

Впрочем, рифмоплетам он, скорее, сочувствовал (слово «графоман» не жаловал, утверждал, что лучше писать стихи,

чем бегать с ножичком по улицам). Поэзия – занятие благородное и благотворное. Решетов никогда не позволял себе разговаривать свысока с начинающими. Мог пошутить. Подруге Тамары, Ирине Белмас, сказал, послушав ее стихи: «Замечательно! Но больше не пиши! Все равно лучше не напишешь!» Когда один «рифмоплет» попросил его придумать оригинальную рифму к слову «цветы», тут же подсказал – «кранты».

А ведь к нему и за пределами Союза шли литераторы всех мастей и возрастов, несли на суд свои творения. Являлись даже домой. (Так все знакомые рассказывают доктору о болезнях.) Худшей разновидностью были творцы, абсолютно в себе уверенные.

Неуверенность в собственной непогрешимости Решетов считал одним из признаков таланта. Слишком серьезное отношение человека (в особенности творческого) к своей персоне и значимости воспринимал иронически.

Однажды некий стихотворец из Сибири опубликовал под своим именем поэму «Хозяйка маков». Изменил только несколько строк. «Но вот в чем дело, – говорил Решетов, рассказывая знакомым эту забавную, по его мнению, историю, – одна строка стала лучше, чем у меня».

Он и не подумал отстаивать свои права и поднимать шум. Простил наглый плагиат за единственную строку.

Решетов знал себе цену и к дару своему относился с уважением. Но реализация этого дара его часто не устраивала.

Зачем ремесленник-кустарь,
Когда есть вечный Дант?..

Талант зарывать нельзя. За поручение, данное свыше, придется отчитываться. Однако свои произведения Решетов именовал *стишками*. Мол, не «Божественная комедия», не «Реквием», не «Парус», не «Буря мглою небо кроет...».

Владимир Михайлюк вспоминал: «Леша стихи не пишет, а роняет. Если ему самому не нравится – все пропало! Я спас десятка полтора стихотворений. Он инопланетную “Невыдуманную поэму” выбросил с ее потрясающим финалом: “И все вздыхал, что вот уж снег, а у него не копана картошка”. – Почему выбросил? – У нее нет середины. – Так напиши, закончи поэму! – Ее нет. – Она есть! Я подобрал».

Надежда Гашева тоже выуживала черновики из мусорной корзины. А иногда записывала оброненные мимоходом четверостишия. Потом она пришлет Тамаре Катаевой несколько стихотворений, о которых Решетов забыл, в том числе «Магадан» и «Деревянную Пермь».

Правда, некоторые стихи спасти было нельзя. Время от времени поэт жег черновики. В этом не было унижения творчества.

Все, что случится мне впредь написать,
Буду в огонь беспощадно бросать.
Он ведь не только трещал и блистал,
Он ведь и «Мертвые души» читал.

Слава Богу, спалил не все!

О поэзии Решетов рассуждал редко. И не потому, что был практиком, а не теоретиком. О судьбе говорят лишь с близкими. Мог побеседовать о Пушкине с теми, кто понимает.

И все же один монолог Решетова о поэзии сохранился. Записал его Семен Ваксман. Дело было в конце 1960-х или в начале 1970-х на новоселье у геолога и поэта Валерия Бакшутова. Слова зафиксированы если не дословно, то совершенно точно. Эта сумбурная застольная речь – «прима» тлеет в тонких пальцах, взгляд направлен в пространство – достойна настоящего Литконсула.

«Если есть дар, с этим рОдятся. Не рождаются, а рОдятся. Это единственно точный разговор, потому что творчество, как и наука познания, понятие философское. Что такое философия, вы знаете. Это такая же загадка, как и вся наша жизнь. Если люди поймут смысл, все полетит к чертовой матери. Творчество – это взгляд и передача взгляда. А что внутри этого, никто не знает… Не надо ожидать ничего определенного. Всем говорить или поздно, или рано. Поэт работает в одиночестве. Ему невозможно помочь в процессе работы. Подсознание невозможно улучшить никакими разговорами. Мы дожили до предельного ханжества, притворства. Мы не понимаем синтаксиса Пастернака. Безграмотность современного чувства, невозможность пойти ва-банк… Может быть, потому что кого-то приучили к нелепой мысли, что поэт семи пядей во лбу. У Винокура есть стихотворение “Мне писалось лучше в поездах, в тамбуре набитой электрички” и так далее… “сладко вдруг под

вздохом защемило" и так далее, и так далее... А для поэта самое важное – оставаться не в детстве, инфантильности, а в отрочестве. Человек своим творчеством себя уравновешивает. Богатство души? Нет, душа обязана трудиться и все такое? Нет. Ведь человек борется сам с собой. Это, с одной стороны, омрачает картину, а с другой – дает какой-то шанс. Ведь искусство возникает там, где плохо. Так было у Ксении Некрасовой. А с хорошей жизни оно не возникает, оно возникает ради хорошей жизни, а не с хорошей жизни. Леонид Леонов сказал: все произведения – это загубленные замыслы. А нам и Бог велел. Мне лично критические нравоучения не помогают... Спасибо, что остановили меня».

Глава 3
ПРОСТОЛЮДИН

Я поэт, я не гнусный обманщик,
Никогда не солгу, хоть убей:
Мой любимый цветок – одуванчик,
Мой любимый певец – воробей.

А. Р.

«Мы люди бедные, но честные», – говорила когда-то баба Оля внукам Бете и Алеше. А то, что человек усвоил в детстве, с ним остается. Алексей Решетов всю жизнь испытывал отвращение ко всякого рода обману. В том числе к обманкам творческим. Себя сравнивал не с алхимиком, добывающим философский камень, а со старателем, промывающим песок ради нескольких золотых крупинок. В искусстве ничего легко не дается. Все оплачено.

Пускай себе шумная слава
Меня не задела крылом,
И я своей строчкой корявой
Пытался бороться со злом.

Пускай опускаются руки
И голову трудно поднять,
Но в черном предательстве внуки
Не будут меня упрекать.

Пускай не могу веселиться
Без доброй бутылки вина,
Но Пушкин в глазах не двоится,
И Родина в сердце одна.

Слова о черном предательстве сказаны всерьез. Читатель доверяется поэту, а предать доверившегося – худший из грехов. Нельзя заговаривать зубы, поражать эффектами, отводить глаза от главного – истины.

Решетов беседовал с читателями на равных и предлагал: *«Давайте вещи называть своими именами»*. Простые слова, по его мнению, больше соответствовали аскетическому быту и строю жизни соотечественников. Даже манеру Решетова читать стихи Валерий Виноградов называет *совестливой*.

Отказ от словесного шаманства и всякого рода эквилибристики – позиция поэта. Умел ли он строить из алфавита причудливые конструкции? Да. Знал, «сколько фосфору в букве “ф”». Одним звуком передавал звон зимнего утра: «Забава. Забота. Зима».

Иногда экспериментировал. Мог поставить себе формальную задачу и решить ее. Однако подобные опыты на публику не выносил. Они предназначались для испытания собственных сил и для узкого круга друзей. Как, например, «Патриотическо-патологическая поэма», сочиненная в девяностые.

Все слова в этом тексте начинаются с одной буквы – «п» (что ясно уже из названия). В произведении этом советские штампы вбиты в абсурдный сюжет, фразы лепятся одна к другой плотно, как детали пазла, и складываются в безумную карикатуру. В то же время повествование течет так плавно, что, не приглядевшись, не сразу и поймешь, что к чему.

«Приближалась пора пробужденья. Первозданная природа Прикамья постепенно преображалась. Появились первые проталины, покрытые пестрыми пушистыми подснежниками, полопались пахучие почки, повсюду пищали птенчики, плавали пескари, производили патоку пчелки. <…> Пионеры пели прекрасные песни Пахмутовой, повторяли программу партии-правительства, плели превосходные поделки. Передовые педагоги постоянно помогали подопечным производить

поиски прекрасного, поднимать планку патриотических поступков и порывов».

На фоне этой вдохновляющей картины *пионервожатая Полина Пузырькова* ведет свой отряд к *памятнику павшим пермским пролетариям-партизанам на патриотические посиделки*. И вот *«после пятидневного похода показалась посреди пышного пихтовника прославленная пещера павших партизан Прикамья. Пятнадцатиметровый платиновый памятник поднимался подле пещеры: поджарый плечистый паренек, подняв полыхающее полотнище, призывал подразумеваемых подвижников порвать прочные путы порабощения, пробиться прямо под Полюд, преобразовать планету пролетариев, посвящая прекрасные порывы победе первой пятилетки».*

Цель достигнута. Посиделки состоялись. Утомленные пионеры отправляются *поспать под прохладный потолок пещеры*. Но *«полночью произошло прискорбное происшествие. Потолочные плиты, повалившись, придавили пионеров».* Пионервожатая, *похоронив пятьдесят пять пионеров и пионерок, <…> почти поседела, подобно прабабушке Прасковье, потом подумала: “Полно, преступно плакать подле пантеона посмертного почета…”* И нашла выход: *“перечитала Песнь песней, подборку “Пионерской правды”, поэзию Петрарки, Пушкина, Пастернака, По, Поженяна, Прасолова, постелила пышную постель, потом послала письмецо Паше: “Паша, приходи после полуночи. Получишь партийное поручение. Предстоит половой процесс, посвященный пополнению подрастающего поколения Прикамья. Помоги произвести полноценную плеяду пытливых пионеров, покорителей Полюса, поэтов, плотников, пилотов, пулеметчиков, полеводов, председателей производственных предприятий”».*

Дальше описана пылкая встреча Полины и Паши, который признал, что *«планомерное пополнение пролетарского племени – прекрасный подвиг».* И, когда *«прошел положенный промежуток, пионервожатая подарила пермской публике прекрасного первенца Парамона Павловича, полуторакилограммового пупсика, попердунчика, попрыгунчика. Подрастет – перестроит планету».*

Совершенно нерешетовский текст. Он нарушает гармонию читательского представления о *нежном* уральском лирике. Но Решетов и не был нежным лириком. Как

поэт-живописец он в поздние годы явно предпочитал акварелям гравюру. Так почему бы для разминки не попробовать злой шарж? Не пропадать же урокам дяди – профессионального художника-карикатуриста.

Парамон Павлович – перестроечный персонаж. А сама «Патриотическо-патологическая поэма» – разрядка, защита от фальшивого пафоса действительности. Вещь эта осталась в черновиках. Печатать ее Алексей Леонидович не собирался. Не случайно в набросках к этому произведению есть фраза: «...Почему поднебесный Пушкин пишет печальным потомкам: "Пора, перо покоя просит?"»

Пушкин – мерило искусства и правды. Высшая проба поэзии. Решетов никогда себя с ним не равнял, но всегда оглядывался на него. Пожалуй, яснее всего это можно увидеть, вчитавшись в стихотворение «Владимир Даль».

Владимир Даль (казак Луганский),
В отставку выйдя, пишет сказки.
И даже сам Виссарион
Белинский ими восхищен.
Но в академии имперской
Его пословицам и песням
Свободный вход не разрешен,
Зане народу служит он.
Увы, вошло в слепую моду
Натурой называть природу
И двести тысяч слов родных
Менять на несколько ввозных
Слов супротивных, чужедальних.
О, как бы жили мы без Даля?
Кого бы Пушкин попросил
Поднять его, лишаясь сил.

Даль здесь – символ языка, Пушкин – поэзии, то есть высшего проявления языка. Язык же символизирует отечество, историю и народ. Ни язык без поэта, ни поэт без языка существовать не могут. Да и народ, понимает он это или нет, немыслим без Даля и Пушкина, сказок и поговорок, «Маленьких трагедий» и «Капитанской дочки». *«И Пушкин в глазах не двоится, и родина в сердце одна»* – формула не только этическая, но и эстетическая.

Сказанное вовсе не означает, что Решетов не принимал естественных процессов, неизбежных изменений, происхо-

дящих в языке, или был яростным противником авангардного искусства. Он не предлагал остановиться в развитии: закуклиться в рамках критического (или соц-) реализма. Но считал: если писатель чувствует боль за свое время и осознает свое предназначение, он *«уберет все наносное и впадет в неслыханную простоту»*. Простота – самое сложное в искусстве. *«Стихи не терпят кавалерийского наскока,* – утверждал Решетов. – *Со словом надо обращаться бережно, ответственно».* В интервью Герману Иванову он говорил: *«А что такое "авангардисты"? Есть талантливые стихи и неталантливые – это я понимаю. Все остальное – деление "наши – не наши", эпатаж, взаимные счеты – все это шелуха. Любой, даже самый авангардный, эксперимент несет в себе традицию. Хотя бы затем, чтобы оттолкнуться от нее в своем прыжке в незнаемое. И если поэт выполнит прыжок талантливо – он скоро сам станет традиционным, никуда не денется. Так и живем».*

Решетов, выросший в бараке и почти три десятилетия проработавший на солемельнице, не был склонен лакировать действительность и виртуозно владел разными штилями. Но словарь Живого великорусского языка Даля – основа *колокольного глагола.*

Поэт любил старинные слова. Его стихи – заповедник для архаизмов.

Владимир Абашев утверждает, что *«архаически окрашенные лексические вкрапления придают искомый оттенок величавой важности лирическому жесту, и они весьма показательны для творческого сознания Решетова»*, словарь которого в целом не выходит за рамки среднего штиля, *«но функционально подобные элементы стиля "высокого" важны постольку, поскольку обнаруживают хотя бы тенденцию стилистического движения».*

Ученый сочувствует попыткам поэта стилистически разнообразить свой бедный стих. Однако если взглянуть на дело пристальней, можно заметить: лексические единицы, свойственные скорее XVIII и XIX векам, чем XX столетию, в текст Решетова вплавлены безупречно. Они там на месте, потому что входят в активный словарный запас поэта. Как слово «матушка», например.

Ирина Христолюбова в очерке «Я жил далеко на Урале…» рассказывает, что Решетов «писал друзьям удивительные

письма. Его обращения, обороты речи были словно из XIX века». Даже если сочинял письмо, сидя на солемельнице в ночную смену, что случалось нередко.

В его семье была в ходу стилистическая игра. Племянница поэта Олеся в юности подписывала свои послания «сиятельному» почтенному дядюшке – «скромная племянница Жаннет», сводную сестру именовала «Лорелей», подругу Лилию – Луизой, а Ирину – Ирхен. Решетовы словно травестировали свои княжеские корни, ненужные, даже опасные, в советское время. Но и не отказывались от наследия.

Для Ольги Александровны Павчинской понятие «простолюдин» имело прямой первоначальный смысл, ее внук сам называл себя простолюдином. А иногда резче: плебеем, чернью, бомжом от поэзии. Он был простолюдином по убеждению – простым человеком, просто человеком. Семь классов образования, техникум и четыре тома словаря Даля за плечами.

Архаизмы в стихах Решетова не игра и не украшение. А уж велеречивости и жестов любой степени важности в жизни и литературе он избегал, как чумы. Но чтобы слово жило, его нужно хоть изредка употреблять. Решетов это и делал. Настраивал *«великое русское слово, его золотые лады»* с экологической, то есть словоохранной целью. Свое отношение к выбору лексики он выразил в восьми строчках.

В заповеднике лани,
В заповеднике рысь.
Как нам быть со словами,
Чтоб не перевелись?

Мы так часто трубили
В чистом поле стиха –
Столько слов истребили,
Дорогих, как меха!..

Старинные слова вмонтированы в решетовский текст так органично, что незаметно возвращаются в обиход читателя, который этого и не замечает. *Очи, чело, чредой, убогий, внимать, пичуги, планида, участь, вопрошать, златые черновики, ослепительные думы, усталая глава* – все эти, с позволения сказать, стилистические единицы, вкрапленные в рамки среднего стиля, можно рассматривать не только как прием, но и как лирическую дерзость.

Часто архаизмы у Решетова не только соседствуют, но и рифмуются со словами нарочито иной – советской или сниженной – стилистики. Он мог начать стихотворение с бытовой, мгновенно узнаваемой, сцены и двумя словами превратить унылый черно-белый фотоснимок в фрагмент фрески.

Девчата с железным венком,
Фотограф с притворной тоскою.
На скорую руку домком
Хоронит газетчика Колю.
<...>
Нас ангелы плохо хранят,
А сколько кровавых ристалищ...
Все чаще под утро звонят,
Что умер хороший товарищ.

Рифма «ристалищ» – «товарищ» выглядит совершенно естественной. А слово «товарищ», как по волшебству, очищено от советской казенщины и обретает первоначальный высокий (ремарковский) смысл. Потому и ангелы уместны в тексте не меньше, чем домком.

Мифологическую Парку, прядущую нить человеческой жизни, Решетов легко рифмует с «кочегаркой». И уж совсем вызывающей выглядит рифма в заключительной строке стихотворения «Было время – люди мерли...»:

И старушки у параши,
Только смолкнет стук сапог,
Вспоминали «Отче наш» и
Северянина стишок.

Впрочем, обычно поэт не шаманил с рифами. Даже иронизировал: «Кровь – любовь», «морозы – розы». Так же делали классики.

...Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!

Это уже не рифма, а каламбур. Оксюморон. Метафора, за которой литературная традиция с богатой историей, где Лотман комментирует «Онегина», Пушкин спорит с Вяземским, а Вяземский пишет Жуковскому:

Умел бы, как другой, паря на небеса,
Я в пляску здесь пустить и горы и леса
И, в самый летний зной в лугах срывая розы,
Насильственно пригнать с Уральских гор морозы.

Правда, литературных аллюзий Решетов тоже не жаловал. Огорчился, поняв, что *жгучий ельник* перекочевал в строку стихотворения «Зимний бор» из Мандельштама. (Хотя подобная перекличка – вещь законная.) И все же его Муза не столь простодушна, как кажется на первый взгляд. У нее два образа.

Если бы читатели сказали:
– Музу нам свою изобрази, –
Я бы вспомнил девку на вокзале,
Спящую, ботиночки в грязи.

Эту Музу видят все. И сказано совершенно искренне. Вокзал – универсальный образ: в нем и странничество, и бегство, и неустроенность, и бесконечная круговерть, и неизвестно откуда доносящиеся голоса. Краткость бытия и неизбежность смерти, поскольку на *станции Жизнь* поезд стоит только миг. Простонародное «девка» соседствует в тексте с нежным – детским – «ботиночки». А к детским ботиночкам никакая грязь пристать не может. Эта Муза беззащитна и одинока среди людей – там, где народ, к счастью или к несчастью, был.

Но есть и вторая. Она возникает лишь на мгновение, и рассмотреть ее трудно. В стихотворении «Ночь. Бессонница. Обида…» типичная для Решетова ситуация: поэт один-одинешенек – никого рядом.

…Даже слесарь с четвертинкой
Не появится теперь,
Даже муза нос с горбинкой
Не просовывает в дверь.

Этот «нос с горбинкой» запускает длинный ассоциативный ряд, напрочь сметая слесаря с неизбежной четвертинкой. У музы ахматовский профиль. Значит, за ней – весь Серебряный век, но еще и век железный, двадцатый, с его катастрофами. Тень Ахматовой вызывает в памяти ее собственную *милую гостью с дудочкой в руке*, а следом – другой горбоносый профиль:

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

В полушутливом стишке Решетова жизнь лирического героя тоже ад и тоже висит на волоске, *продержаться до*

утра ему помогает лишь *любимой фото*. Проверенный способ забыть *о доблестях, о подвигах, о славе,* а заодно *о горестной земле.*

Вторые, третьи, девятые смыслы в простых речах Решетова имеются. Только они скрыты, растворены в тексте. Все зависит от внимания и взгляда читателя. Пожалуй, самый показательный пример – стихотворение «Все, что мог, я отдал букинисту…», где герой расстается на книжном развале на Кузнецком с Гулливером и Гаврошем.

…Но волшебная книга природы
Остается со мною пока –
Ее степь, ее вешние воды,
Ее листья травы – до листка.

Надежда Гашева вспоминает: «Леша обрадовался, когда я догадалась (хотя и не сразу), что возникли в этом четверостишии “Степь” Чехова, вся ее ширь, открывшаяся мальчику Егорушке, вся даль, звенящая в русской песне; и “Вешние воды” Тургенева, трепет первой любви, отзвук тютчевского стиха и романса; и “Листья травы” Уитмена, новые ритмы поэзии XX века».

Так что речь не только о Книге природы, но и о другой Книге, из которой тоже вырвано множество страниц. Можно расстаться с приключениями и выдуманными героями, но то, что вошло в плоть и кровь – пространство русской культуры, – оторвать от себя немыслимо. И только кажется, что Уитмен – лишний в этом ряду. Ведь книга «Листья травы» была еще в саратовской библиотеке Леонида Решетова. Значит, в строке незримо возникает отец поэта, память о его судьбе.

Подобных сплавов – внезапных поворотов, когда сквозь ткань стиха мерцают образы другого смыслового ряда – у Решетова много.

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу.

В стихотворении «Михайловское» мгла – это не просто темнота ночи, но любые тревожные сумеречные времена (мелькает Уэллс). А слово «сверчок» следовало бы писать с заглавной буквы – такое прозвище было у Пушкина

в обществе «Арзамас», то есть в «Арзамасском обществе *безвестных* людей»: «С треском пыхнул огонек, крикнул жалобно сверчок, вестник полуночи».

Рефрен «Грустного Бернса»: «наихудшее – все впереди» – отсылает к английской пословице: «Бодро смотри вперед – худшее впереди». Посвящено стихотворение Р. Белову, который, как и Бернс, – Роберт. Ну, и «Честная бедность» в переводе Маршака возникает на краю сознания.

...Не пробежит за мышкой кошка,
Пчела цветок не посетит,
Лишь у разбитого окошка
Береза-бабушка грустит.

Разбитое окошко в третьей строке – синоним разбитого корыта, ушедшего из «Сказки о золотой рыбке» в поговорку. И еще есенинская белая береза покачивает здесь ветвями.

Нагим пришел я в этот мир
Зелено-голубой.
И ничего в последний миг
Я не возьму с собой.

В этих стихах о жизни и смерти первая строка прямо отсылает к Книге Иова – человека истины: «Тогда Иов встал, и разорвал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился. И сказал: “Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял: да будет имя Господа благословенно!”» (Иов 1:20, 21). Если увидеть это, глубина текста меняется, и трагизм возрастает.

Не сразу сообразишь, как перевернут мир в строчке *«до чего же мы счастливы были! Пели розы, цвели соловьи»*. Не с первого взгляда заметишь, что на пушкинской руке горят не драгоценные перстни, а *драгоценных женщин перстни*. А в стихе о розе: *«Отец ее – сельский шиповник, но вряд ли она это помнит»* – можно и пропустить сельского священника. Одни образы на виду, другие за ними. Как круг чтения в насмешливых строчках:

Катит последняя зима,
А ты читай себе Дюма –
Еще успеешь до конца
Прочесть и сына, и отца!

Отец и сын, опять же если написать их с заглавной буквы, окажутся не двумя знаменитыми Александрами. И возникнет вопрос: какие книги стоит прочесть последней зимой?

Наконец, первая строка стихотворения «Не плачьте обо мне» может быть продолжена евангельским текстом: «…но плачьте о себе и о детях ваших» (Лука. 23.28).

Тайнопись Решетова стерта. Его стихи – как шкатулка с секретом. Если читатель секрет разгадал – «Молоток», как говаривал сам Алексей Леонидович, если нет – ничего страшного. Но поэт надеялся на читателя.

Глава 4
ГОРЮНЫ-ГОРЕМЫКИ

Мои стихи для тех, кто одинок,
Они – воды и воздуха глоток.
А. Р.

В фильме «Белый лист», снятом на Пермской телестудии в 1990 году, Алексей Решетов говорит: «Бессмертие писателя – в его читателе». Это не просто фраза.

Не то чтобы Решетов думал о бессмертии, разве что в христианском смысле – о бессмертии души. Он думал о читателе. Хорошо представлял его себе и уважал. Поэт и читатель имели сходный опыт, слишком трудный, чтобы играть в слова. Не нужно было ничего объяснять, нельзя было лгать, кричать, поучать, бессмысленно притворяться. Они словно сидели рядом за столом или на берегу реки у костра. Оба понимали:

Суровая доля –
Шальная цена
Покоя и воли
Во все времена.

Как всякие человеческие отношения, отношения с читателем Решетов строил. В одной из его рабочих тетрадей есть записи о теории речевого общения Михаила Бахтина – металингвистике: *«Концепция адресата (речи)*

имеет громадное значение для литературы (надо определить читателя). Понимание текста как диалога».

«Строя свое высказывание, – пишет Бахтин, – я стараюсь его (возможный ответ собеседника. — **К. Г.**) *активно определить; с другой же стороны, я стараюсь его предвосхитить, и этот предвосхищаемый ответ в свою очередь оказывает активное воздействие на мое высказывание. <…> Говоря, я всегда учитываю апперцептивный фон восприятия моей речи адресатом: насколько он осведомлен в ситуации, <…> его взгляды и убеждения, его предубеждения, <…> его симпатии и антипатии – ведь все это будет определять активное ответное понимание им моего высказывания. Этот учет определит и выбор жанра высказывания, и выбор композиционных приемов, и, наконец, выбор языковых средств, то есть стиль высказывания».*

Алексей Решетов филологом не был, однако для поэта язык – рабочий инструмент, и концепция великого культуролога оказалась ему близка. Бахтин понимал любой текст как диалог, а для того, чтобы диалог состоялся, надо не только понять, кто адресат речи, но и откровенно рассказать о себе. Иначе не будет доверия.

Читатели знали о Решетове достаточно, чтобы чувствовать его своим. Он не скрывал ни биографии, ни чувств. В стихах было все: портрет, бытовые подробности, детали биографии. У поэта серые глаза. Он родился 3 апреля. Жил на Урале, в тихом городе, где нет ни триумфальных арок, ни соборов. Отправлялся утром на работу и привык к тяжелому физическому труду. Был одинок, не победителен, несовершенен. Он рассказал о гибели отца и брата, о военном детстве и соседях по бараку. На глазах читателя поэт расставался с возлюбленной, ждал письма, глушил горе водкой. Читатель слышал голос его матери, знал имена друзей. Они вместе бродили по осеннему лесу, не спали тревожной белой ночью, радовались весне…

Даже среди чистых лириков мало найдется тех, кто настолько откровенен в стихах. Решетов не пытался казаться сильнее, умнее или удачливее своих собеседников. И в то же время заставлял их увидеть вещи, которые сами они никогда бы не разглядели: в облаках, на земле или в собственном сердце.

Он прямо обращался к читателям. Задавал вопросы, рассказывал истории, просил прошения. *«Прости меня,*

читатель милый, / Что часто я тебя стращал...»; «Ты знаешь, что такое рань? / ты просыпался рано?..»; «Читатель милый, книгу эту я очень медленно писал...»; «Не надо спрашивать, друзья, / Зачем я глух и нем. / Лежат в могиле у меня / Десятка два поэм»; «Случалось ли вам на опушке / Глухих беспробудных лесов / Внимать кукованью кукушки? / Печальнее нет голосов».

Он объяснял, зачем затеял этот разговор.

Чинов не хочу и червонцев не чаю.
Зачем же сижу и пишу я ночами?
Зачем я не сплю
И у Музы суровой
Прошу, трепеща, драгоценное слово?
Хочу, чтобы вам, горюны-горемыки,
Чуть-чуть помогли мои грустные книги.
Хочу, чтоб моя невеселая чаша
Была бы куда тяжелее, чем ваша.

И горюны-горемыки верили. Понимали, кто с ними говорит.

Определение «горюны-горемыки» очерчивало дружеский круг: читатели, автор, его герои. Соотечественники узнавали в стихах себя и свое: родной пейзаж, привычный вид из окна, людей, которых встречали каждый день или видели когда-то.

Хозяйка маков Кузьмичиха потеряла на фронте трех сыновей. Дядька раздувает самовар сапогом, дошедшим до Берлина. Старый художник в пасмурном подвале учит рисовать сына прачки и убитого солдата. Ослепший на фронте скрипач водит смычком, как будто режет черный хлеб. Школьник делится завтраком с товарищем. Старуха кланяется грибам и зовет синявку голубушкой. Мальчишка на ходулях стыдится глядеть сверху на безногого инвалида. Женщина пилит двуручной пилой толстые бревна одна. Цыганка на Перми Второй гадает по ладони. Дядька продает напарафиненные розы у кладбищенских ворот, а на самом кладбище девочка уснула невечным сном. Об этих людях он думал. Для них писал. Мы все в этом ряду.

Местоимение «мы» у Решетова звучит не так часто, но им легко заменить лирические «я». Любому нетрудно поставить себя на место автора.

Друг работал в кочегарке,
Копоть черную глотал,
По ночам стихи Петрарки
Псу бездомному читал.
Друг работал в кочегарке
И, конечно, поддавал,
Сразу после первой чарки
Он вторую наливал.
Друг работал в кочегарке.
В ней и жил, и умер в ней.
Для таких, как мы, у Парки
Нету ниток подлинней.

На это «мы» отзывалось не только «поколение дворников и сторожей», похожие друзья имелись у многих. И многие могли повторить:

Мы еще не сломались.
Не волнуйся, будь спок.
Приносил меня аист,
Уносил «воронок».
<...>
Мы потом выходили
На свободу, но там
Мало что находили
Незнакомое нам.

Решетовские стихи – зарисовки с натуры, сделанные в лучших традициях русской литературы с ее сочувствием к ближнему – маленькому человеку или любому другому живому существу. Его портреты, пейзажи, натюрморты – настолько родные, что душа сразу отзывается жалостью к бездомной собаке, благодарностью к закадычной черепахе, восхищением отважной иволгой, останавливающей дождь.

Владимир Абашев сравнивает Алексея Решетова с жалобщиком удодом – вещим юродом из его стихотворения.

Прозрачен купол небосвода.
Леса окрестные цветут.
Откуда жалоба удода:
Тут худо, худо, худо тут!

В книге «Пермь как текст» сказано: «Главное в Решетове – попытка проснуться, внушение этой своей маяты, тихая одинокая жалоба на потерю памяти, жалоба на язык –

на то, что стал он слишком прост. Его природно глубокое поэтическое сознание стремится вырваться из плена жалких по содержанию, но бетонных по мощи их насаженных схем».

Автор книги не хочет «упрощать проблему», но невольно упрощает. Решетов не был самородком-недоучкой, который поет, как птица небесная, потому что солнышко встало. Не действовал по наитию. И уж на потерю памяти пожаловаться не мог ни в каком смысле. Дело не в том, что он не умел писать иначе – играть формой, рифмой, экспериментировать с поэтикой или жанрами – он не желал этого делать. Свободно и сознательно поэт выбрал свою лексику и свои темы, собственный способ существования в литературе.

Конечно, драма нашей культуры отразилась в его лирике и в его судьбе. Поэтический дар Решетов реализовал не полностью. Всей глубины – души, языка, мира – не вычерпал. Но это и невозможно. Подобное не удавалось ни одному художнику. Как написал однажды сам Решетов другу Виктору Болотову: *«Ты разуверился в поэзии (хотя в общем и знал, что ни один писатель не написал той единственной книги, которую хотел, а лишь приближался к ней всем своим творчеством). Лучшие книги каждого так и не написаны»* (27.07.1964).

Тоска по иной речи – это вечная тоска творческого человека, который не в силах приблизиться к совершенству. Ностальгия по недостижимому. Иную речь никто не проходил, ее никто и никогда не изучит. Ни в советской школе, ни в Лицее, ни в античном гимнасии.

Боже, до чего мне надоели
Комнатные, книжные слова!
Неужели лишь для этой цели
Создана людская голова?

Прочь из дома, к лодкам у причала,
В бездну, в ночь, к раскатам громовым.
Огненная письменность!.. Сначала
Слово было именно таким.

В начале было Слово – Книга Бытия. В *том* Слове, должно быть, заключался не только звук человеческого языка, но и голос мирозданья. Разве не знали об этом другие поэты? Все они мучились немотой, *вотще рвалась душа* за

пределы очевидного, и одновременно каждый страшился услышать грозную, но единственно точную иную речь, внятную там, где *«бездна нам обнажена с своими страхами и мглами»*. Потому что даже из этой бездны встает прообраз боли человечьей, которую поэт должен принять на себя.

Если же вернуться к орнитологическим метафорам, то поэзия Алексея Решетова – вовсе не жалоба пессимиста удода. Не будем прятать «печальные слова», их, конечно, много, но куда точнее определяет поэта песня иволги – отвага вопреки обстоятельствам.

Хмурое солнышко еле встает,
Пасмурно в роще,
Но кто-то поет,
Иволга!
Иволга!
Только они
Свищут в такие ненастные дни.
<...>
– Фиу! – и дождь присмирел,
перестал.
– Лиу! – И плес хрусталем
заблистал.
– Фитиу-лиу! –
И в мире светло, –
Иволга знает свое ремесло!

Алексей Решетов неизменно убеждал читателя: *«Исключено сплошное счастье, исключена сплошная мгла»*. Горюнам-горемыкам, склонным видеть стакан наполовину пустым, важно поверить: не только в хмурый, но даже в самый черный день может блеснуть луч надежды.

Что касается простоты... Простота и упрощение – вещи настолько разные, что в искусстве эти слова даже не однокоренные. Только кажется, что в немыслимую простоту впадают, как в ересь. На самом деле ее добиваются огромным трудом и мастерством.

Решетов в этом отношении даже перегибал палку. Если у него вырывались слишком яркие, на его взгляд, строки, он начинал сомневаться, пытался их заменить, успокоить. Надежда Гашева пишет: «Помню, как я уговаривала его оставить в стихотворении “Март” строку: *и хрипит, задыхается март, как февраль с перерезанным горлом.* Алеша считал ее

чересчур дерзкой, но я сослалась на Льва Толстого, хвалившего Фета за лирическую дерзость. Тот же спор возник у нас о строчке: *Пускай и идет каждый вечер на мокрое дело закат.* Алексей согласился оставить строчку, но нехотя, и я поняла почему – он добивался неслыханной простоты, прозрачности, ясности. Он говорил: “Не надо делать стихотворение на приеме. Белые нитки не должны быть видны”. И приводил в пример пушкинское “Буря мглою небо кроет”».

Для Решетова было важно ни в одном слове, ни в единой интонации не солгать читателю. Словно тень старшего друга отца Сергея Третьякова стояла на страже. Переживал: «Что я написал! “Летят хлопотливые пчелы на флоксы ее и виолы…” На флоксы и виолы пчелы ведь не летят». В результате изменил строчку: *«И падает дождик веселый на флоксы ее и виолы…»* Перелив буквы «л» наполовину исчез, но правда жизни была восстановлена.

Если Решетову казалось, что стихотворение не удалось (а казалось ему часто), говорил: «Недовернулся». Он не любил слишком ударных («гладких») концовок: *«Я в России живу не на птичьих правах»; «Потому что упрямо хватался за соломинку с крыши родной»; «Только глажу новую тетрадь, / Белую голодную ворону…»*. У читателя не должно появиться ощущение, будто весь стих написан ради последней строки.

Кстати, стихотворение «Опущу усталую главу», где новая тетрадь сравнивается с белой вороной, в трехтомнике Решетова датировано 1969 годом, но написано в 1967-м. Об этом свидетельствуют Семен Ваксман, записавший разговор с поэтом о «подземной траве и потоках косвенного света», и письмо Виктора Болотова: *«В “Опущу усталую главу” меня смущает кажущаяся непонятность одной последней строки, хотя она и играет – смыслово. <…> Хотя, повторяю, удивительно точно по сути. Но как тебе удается найти эти ритмы! Вот теперь днями звучит: опущу усталую главу… <…> Это, старик, на грани немоты, когда музыка и свет»* (28.03.1967).

Так что строчку «поздно для хорошего поэта» Алексей Леонидович написал в 27 лет. В этом возрасте Пушкин был еще, слава Богу, жив. Правда, Лермонтов уже погиб…

Решетов уверял: ему не хочется писать так, чтобы иметь массового читателя. И тут мог быть спокоен – *массового*

читателя с начала времен не имел ни один поэт. Но свой читатель был ему дорог, и Решетов делал все возможное, чтобы его понимали правильно.

В начале 1990-х в Пермском книжном издательстве готовился к публикации сборник «Иная речь». Предполагалось, что это будет тонкая книжечка, куда войдут лишь неопубликованные стихи. Автор написал к изданию предисловие. Потом замысел изменился, увеличился объем книги, и предисловие, где Решетов как всегда внятно объяснил свою позицию, не было в ней напечатано. К счастью, оно сохранилось.

«Название книжки "Иная речь" не претензия на что-то необычное. Сборник мог называться и "Тревога", и "Старость", и просто "Стихотворения".

Как раз я люблю традиционную форму письма, мне кажется, что она ближе к единопониманию человечества.

Просто в конце високосного нашего века, на ущербе собственной жизни, хотелось бы говорить сдержанней и разумней, чем прежде».

Он никогда не изменял себе. С первой книги до последней лексика (и круг понятий) Алексея Решетова были выверены по высшему образцу: земля, небо, мама, отец, дом, хлеб, любовь, смерть... Фундамент любого языка. Фундамент жизни людей.

Глава 5
ПОСЛЕ УЖИНА – ГОРЧИЦА

Прощай, двадцатый, високосный,
И нас, детей своих, прости.
Еще, мне кажется, не поздно
Другому времени прийти.

А. Р.

В 1980-е кроме «Чаши» и молодогвардейской «Лирики» у Решетова вышли две книги, обе в Перми, – «Жду осени» (1985) и «Автопортрет» (1987).

«Автопортрет», куда кроме стихов была включена повесть «Зернышки спелых яблок», издали к пятидесятиле-

тию автора. Книга подводила творческий итог, но название получила по стихотворению 1965 года.

Сюртук засаленный и драный,
И на губах запекся бред.
Зачем,
зачем, художник странный,
Ты создавал автопортрет?
Зачем не сглаживал пороки,
Чтобы не ставили в вину
Тебе их некие пророки,
Чредой стекаясь к полотну?
Зачем пристанище сырое
Убогой свечкой освещал,
И не писал своих героев,
А впалой грудью защищал?

Ответов нет, сплошные вопросы. Но поэт лукавит – ответы известны. Он знал их уже в 28 лет, когда поставил перед читателем и перед самими собой.

Зачем?.. Затем, что речь о судьбе, а не о жизненной стратегии. Как заметил Дмитрий Шеваров: все агитпоезда, сколько их было на его веку, Решетов пропустил, ни на одно актуальное событие не откликнулся. Он не поддался *соблазнам изменчивых дней*. Писал, не сообразуясь с эпохой и вкусами публики. Для поэта это единственно правильный путь, но он редко приводит к жизненному благополучию, особенно в провинции.

К пятидесятилетию Решетов получил Почетную грамоту Правления Союза писателей СССР за подписью Сергея Михалкова, автора слов трех гимнов страны (впрочем, третий вариант тогда еще не был написан), и поздравление Пермского обкома КПСС. Времена настали новые. Печальный поэт не изменился ни на йоту, так и не свернул на «столбовую дорогу» советской поэзии, это власть сдавала позиции. Обкому оставалось существовать 4 года. Столько же было до раскола писательского Союза.

С началом перестройки *настал свой черед* стихам Решетова, которые еще недавно «рубили» местные идеологи и столичные рецензенты. Об уральском лирике начали больше писать – словно открыли заново.

В 1989 году появилась большая подборка Решетова в журнале «Юность».

С «Юностью» у него была связана радость – рецензия Бориса Слуцкого 1967 года и сильное разочарование. После отзыва Слуцкого в журнале должна была появиться подборка стихов молодого уральца. В то время Решетову казалось: такая публикация означает настоящее признание. Это был переломный момент. Когда очередной номер «Юности» появился в продаже, взволнованный поэт бросился его покупать. Но его подборки там не оказалось. Потом Решетов рассказывал, будто скупил все номера «Юности» в киоске «Союзпечати», словно мог пропустить свое имя, спрятанное в одном из них. Так ребенок снова и снова смотрит фильм, надеясь, что герой, в конце концов, спасется.

Впрочем, это, вероятно, легенда. Скорее всего, поэт сперва купил журналы, а потом уже обнаружил недостачу. И трансформировал обычную, в общем, историю в сюжет о грандиозном разочаровании.

Публикация в «Юности» 1989 года не произвела на Решетова особого впечатления. Она уже не могла ничего изменить. В 52 года даже нелепо публиковаться в «Юности». «После ужина – горчица», – определил он.

В одном из интервью 1980-х Алексей Леонидович уверял: если бы всесоюзный молодежный журнал напечатал его стихи в 1967-м, он, скорее всего, уволился бы с калийного комбината, уверенный, что стал профессиональным писателем и должен заниматься только литературой. И неизвестно, добавил он, что бы из этого вышло. Профессиональный писатель и настоящий – не одно и то же.

1 января 1991 года Алексей Решетов оставил должность литконсультанта пермского Союза писателей. К тому времени его трудовой стаж превышал возраст, если считать годы работы на солемельнице и годы писательства. Предстояло жить на пенсию и гонорары, которые в перестроечные времена становились все иллюзорнее.

Девяностые были временем трудным, но чрезвычайно оживленным. Решетов ощущал их трагически, однако вполне в русле отечественной истории и культуры.

Мела на Родине метель,
И Николай Васильич Гоголь
Сидел и сочинял «Шинель»,
В раздумье лоб усталый трогал.

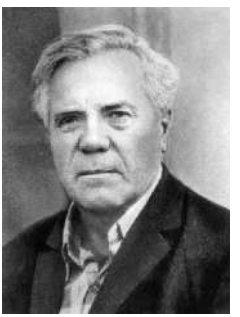
Но я подумал не про то,
Ветрам полуночным внимая:
У нас и драное пальто
У бедных путников снимают.
Метет по Родине метель,
Все пишет Гоголь про шинель...

В общем: *все течет, но ничто измениться не может.* Однако для самого поэта в последнее десятилетие века изменилось многое. Прежде всего, странным образом раздвинулись географические границы.

В 1990-е у Решетова вышли три сборника в трех городах: «Станция Жизнь» (1990) в Свердловске, «Иная речь» (1994) в Перми и «Не плачьте обо мне» (1999) в Красноярске. Все эти издания стали частью поэтических серий. «Станция Жизнь» была очередной книгой «Уральской библиотеки». «Иная речь» по качеству стихов и формату вписывалась в поэтическую библиотечку, которую затеяли в Пермском книжном издательстве (в рамках этого проекта вышли томики лучших отечественных поэтов XIX и XX веков). «Не плачьте обо мне» стал шестым сборником серии «Поэты свинцового века».

Издать Решетова в Сибири предложил Виктор Астафьев. Поэт и прозаик не виделись давно. В 1969 году Виктор Петрович с семьей переехал из Перми в Вологду, в 1980-м вернулся в родные края – в Красноярск. К Перми у него было много претензий. А некоторые пермяки все еще не могли простить Астафьеву давнего выступления по поводу сборника «Современники». Но не Решетов.

В 1982 году он говорил корреспонденту газеты «Соль земли»: *«Я Витю знал еще до того, как был написан "Последний поклон". Помню, прочитал рассказ "Конь с розовой гривой" и настолько очаровался, что ходил, как помешанный... А потом он уехал на Высшие литературные курсы, и вернулся с них уже не Витя, а как мне один наш общий приятель сказал: "Это не Витя, а какая-то глыба, человечище". Что-то невероятное, непредсказуемое с ним случилось буквально в год-два – в смысле высоты, красоты его прозы».*



Виктор Астафьев

В 1997 году пермская газета «Звезда» праздновала юбилей – 80 лет с начала издания. В юбилейном номере была литературная страница, где в числе других напечатали стихи Решетова (поэт не поминал редакции давние обиды). Поздравления газете прислал и Виктор Астафьев. Его письмо «Звезда» опубликовала 9 января 1998 года.

> Всем звездинцам – поклон. Юбилейный номер «Звезды» хорош, и литературная страница смотрится, а стихотворение Алексея Решетова «Не плачьте обо мне» украсит любую хрестоматию. При случае передайте ему привет и мое восхищение этим стихотворением.
>
> К сожалению, и в этом году, несмотря на все старания поклонников Алеши, с премией ему ничего не вышло, хотя я писал Ельцину насчет Алеши и назвал его “современным Баратынским”. Не подействовало, не верят прислужники царевы, что в провинции может существовать и творить замечательный поэт, да еще тот, который о себе вестей не подает...

Виктор Петрович действительно пытался добиться для Решетова Государственной премии, на которую был выдвинут сборник «Иная речь». Но даже Астафьеву продвинуть уральского лирика не удалось. Стихи звучали как-то негосударственно. А фамилия «Баратынский» чиновников Министерства культуры не убедила.

Решетов тут же отозвался на привет, переданный через «Звезду», – он посвятил Виктору Астафьеву стихотворение, которое так ему понравилось. Оно в самом деле может украсить любую хрестоматию.

Не плачьте обо мне:
я был счастливый малый.
Я тридцать лет копал подземную руду.
Обвалами друзей моих поубивало,
А я еще живу, еще чего-то жду.
Не плачьте обо мне.
Меня любили девы.
Являлись по ночам, чаруя и пьяня,
Не за мои стихи, не за мои напевы.
И ни одна из них не предала меня.

Не плачьте обо мне.
Я сын «врагов народа»,
В тридцать седьмом году
поставленных к стене.
В стране, где столько лет
отсутствует Свобода,
Я все еще живу. Не плачьте обо мне.

Через год Астафьев написал Решетову: *«Дорогой Алексей! <…> У нас в Красноярске издаются книжечки в серии “Поэты свинцового века”. <…> Я подумал о тебе и предложил издать в этой серии твою книжечку, чтобы сибиряки узнали тебя как поэта. Сам я никогда не переставал следить за твоим творчеством, и оно мне и Марье моей очень близко. Твое хрестоматийное стихотворение “Не плачьте обо мне” Марья Семеновна читает наизусть. <…> Мне нужна твоя записка с согласием на издание, остальное все я сделаю сам»* (3.03.1999).

Письмо было не только деловое. Виктор Петрович рассказывал о работе над собранием сочинений, о недавно законченной повести «Веселый солдат» и удивлялся, что, судя по фотографии, уже и Решетов успел стать бородатым стариком.

Поэт подтвердил согласие на издание, и книга вышла. Предваряла ее статья Астафьева «Звук капели». Виктор Петрович писал о судьбе и цельности образа автора нового сборника серии: «Интеллигентный, тонкого вкуса и ума человек, он как писал свою интимную лирику, напоминающую вешнюю иль преддождевую, музыкально звучащую капель, так и продолжает слагать ее». Открывало сборник стихотворение «Не плачьте обо мне».

По замыслу красноярских издателей, серия «Поэты свинцового века» представляла читателю выдающихся русских поэтов, которые волею судьбы оказались в тени и не были оценены по достоинству. Решетов оказался шестым *поэтом свинцового века* и первым живым, чья книга вышла в рамках этого проекта.

Переписка поэта с Астафьевым и его женой продолжалась. Виктор Петрович посылал Решетову новые книги, писал об издательских делах и литературных впечатлениях. Марья Семеновна сообщала новости. Ей Решетов тоже

посвятил стихи – «Побелели на холоде, онемели уста...». После смерти Виктора Петровича в 2001 году Решетов и Тамара Катаева продолжали писать его вдове. В 2004 году статья Виктора Астафьева «Звук капели» стала предисловием ко второму тому собрания сочинений Алексея Решетова.

Каждая выходившая книга была радостью и для поэта, и для читателей. Но в отечественных изданиях не было ничего необычного. Однако мир расширялся и преподносил сюрпризы. В 1990 году Пермь перестала быть закрытым городом. И вскоре Решетов получил нежданные вести из дальних краев.

В 1996-м его окликнула Грузия. В республиканской прессе появилась статья о возможном родстве русского лирика с грузинским классиком Акакием Церетели, а Гули Салуквадзе перевела стихи Решетова на грузинский язык. Это взволновало поэта не на шутку, он словно прикоснулся к прошлому своей семьи, которое становилось для него все важнее.

В том же, 1996-м, Алексей Леонидович получил послание из Англии. Международный биографический центр Кембриджа планировал включить статью о нем в третье издание справочника «Выдающиеся люди мира и их достижения». Издатели извещали: их внимание к русскому поэту привлек художник Евгений Широков. В вольном переводе в письме говорилось следующее.

В Международный справочник входят сведения о широком круге наиболее известных интеллектуалов мира. Приглашение принять участие в издании посылается после самого тщательного рассмотрения кандидатур издателями и исследователями Кембриджского центра. Этой чести удостаиваются лишь наиболее достойные претенденты. Каждый том в обязательном порядке поступает в библиотеки, институты и университеты всего мира, в том числе в Библиотеку Конгресса США, национальные библиотеки Канады, Шотландии и Ирландии, публичную библиотеку Нью-Йорка, а также университетские библиотеки Оксфорда и Кембриджа.

«Уважаемый мистер Решетов! – писал редактор Международного биографического центра Джоуслин Тимоти. – *Вы входите в число тех немногих, кому гарантировано включение в наше издание. Мы понимаем, что Ваша жизнь мо-*

жет послужить примером другим людям, особенно молодым. <…> Вам предоставляется возможность увековечить свои свершения, поделиться своей философией и взглядами на лидерство в книге, которая, возможно, будет передаваться из поколения в поколение. <…> Надеемся, что Вы примете это почетное приглашение».

Ответ британские издатели просили дать до 2 сентября 1996 года и в случае согласия заполнить анкету и выслать фотографию.

Решетова предложение позабавило и смутило. Едва ли его взгляды на лидерство могли увлечь молодых и способствовать их карьере. Он не разделял уверенности британских издателей, что статья в международном справочнике принесет ему всемирное признание. Не был уверен, что кто-нибудь, прочитав его биографию в Библиотеке Конгресса, начнет следовать его жизненной философии. Наконец, ему, принципиальному простолюдину, претило слово «элита». И все же поэт был польщен.

Он принял приглашение, а через некоторое время получил еще одно письмо из Кембриджа. Издатели сообщали, что справочник выходит в трех версиях и спрашивали, сколько экземпляров книги мистер Решетов хочет приобрести. Прейскурант цен выглядел устрашающе.

Том библиотечной версии (массовое издание в тканевом переплете) стоил 95 фунтов стерлингов. Подарочное издание (ограниченный тираж, переплет из искусственной кожи) – 175 фунтов. Королевская версия (тираж не более ста экземпляров, натуральная кожа, футляр) – 395 фунтов стерлингов (675 долларов по тогдашнему курсу).

Между тем в декабре 1996 года курс доллара к рублю составлял 5560 рублей. Поэт жил точно так же, как все прочие пенсионеры в стране.

3 апреля 1996 года, к пятьдесят девятому дню рождения Решетова, Ольга Штраус опубликовала в «Звезде» большой материал о нем, названный строчкой: «Все прозрачнее тело, все заметней душа». Текст заканчивался заявлением: «*Прошу областную администрацию и управление культуры рассматривать эту статью как запрос о предоставлении А. Решетову пожизненной стипендии. О. Штраус*».

Администрация не отреагировала. У нее своих забот хватало. Так что кембриджского справочника «Выдающиеся

люди мира и их достижения» ни в одной из его версий в библиотеке Решетова нет.

А вот том «Строфы века», выпущенный в 1995 году минско-московским издательством «Полифакт», у него был. Авторы получали его бесплатно. Монументальная антология подводила своеобразный итог достижений русской поэзии за сто лет. Составитель этой грандиозной книги Евгений Евтушенко включил туда 875 авторов: знаменитых и безвестных, «красных» и «белых», «сочувствующих» и диссидентов, эмигрантов и невыездных... В «Строфах века» было напечатано одно стихотворение Решетова – «Михайловское». Справок об авторах в общепринятом смысле в издании не было. Каждого поэта Евтушенко представлял по-своему. Решетова одной строкой: «Поэт из Перми, уровнем своей преданности к поэзии доказавший, что в поэзии нет провинции».

Глава 7
ВИСОКОСНЫЙ ВЕК

Ночь темнее копирки
или черного дня.
Не светлее коптилки
и душа у меня.
Завтра солнышко встанет,
как вставало вчера,
Только вдруг не дотянет
фитилек до утра.

А. Р.

Жизнь Алексея Решетова в Перми мемуаристы описывают по-разному. Большинство утверждает, что отъезд из Березников был ошибкой: поэт тосковал по родным улицам и людям, был одинок и несчастлив. Его пермская квартира напоминала жилище ссыльного, часто переезжающего с места на место и потерявшего свои корни. Минимум вещей, ощущение пустоты, откровенная бедность. Есть и прямо противоположные свидетельства: Решетов был ве-

сел и счастлив. Он оставил тяжелую работу, мог, наконец, свободно заниматься литературой. В дом приходили люди, с которыми было о чем поговорить.

И то и другое правда, и то и другое неправда. Речь о человеке сложном. Да и не могут 15 лет пройти в одной тональности. Пермский период Решетова разбит на две части социальными переменами, начавшимися в стране, и большой личной трагедией. Трагедия была неизбежна. Решетов давно ее ждал.

Владимир Михайлюк вспоминает ночь 1965 года, когда появилось стихотворение, породившее многие толки. После тяжелой смены он снова ночевал в Березниках в доме с аркой, и Решетов вновь разбудил его.

Помнится, я пробурчал, что он мог бы и до утра подождать.

– Ты что, спать сюда приехал? – парировал Алеша.

Он прочитал мне только что написанное стихотворение «Мама». Хотя и спросонья, но я сразу врубился, что ему необходимо уточнить у мамы, можно ли ему так о ней писать.

Ты слышишь, мама, я пришел –
Твой милый мальчик, твой Алеша.
Нигде я, мама, не нашел,
Таких людей, как ты, хороших.

Руками желтыми всплесни,
Какое солнце над востоком!
Не бойся, мама, мы одни
На этом кладбище жестоком.

Уж сколько зим – не знаю сам –
Скребется вьюга по окошку.
А ты все бродишь по лесам,
Сбираешь ягоду морошку.

<...> В стихотворении он пришел на могилу к матери, которая мирно спала в другой комнате. <...> Потеряв маму в десять лет, я, честно говоря, растерялся.

– Что же теперь делать с ним? Порвать? – нерешительно сказал Алексей.

– Зачем рвать? Но и ждать тоже нехорошо... Если уж оно написалось, лучше показать ей.

– Я тоже об этом думал.

И Алеша уверенно пошел в другую комнату, где спали бабушка, племянница Олеся и Нина Вадимовна. Мне было

слышно, как, не включая света, он наизусть стал читать стихотворение. Затем послышался голос Нины Вадимовны.

– Все правильно, Алеша. Так должно быть, чтобы сын приходил на могилу матери, а не мать на могилу сына. И ничего страшного в том нет, что преждевременно писано. Шьют же для себя к смерти одежду, делают гробы. От смерти никуда не уйдешь.

Решетов часто писал по ночам. И, закончив, будил Нину Вадимовну, просил: «Мама, послушай…» Она легко просыпалась и слушала, а утром перепечатывала стихи непослушными, отмороженными в лагере пальцами.

Но тут был случай особый. При ночном разговоре матери с младшим сыном словно присутствовал старший. Нина Вадимовна хорошо знала, как нарушается естественный порядок мироздания, когда мать хоронит ребенка, а не ребенок мать.

Слова пришли, не записать их поэт не мог. Михайлюк, как всегда, не позволил ему порвать листок с текстом. И стихотворение «Мама» было напечатано во втором издании «Белого листа» в 1968 году. Не будь оно таким хорошим, может, и разговоров было бы меньше. Недоброхоты злословили: как можно заживо похоронить родную мать? Друзья недоумевали.

В мемуарном очерке Михаил Смородинов приводит объяснение самого Решетова: *«Так ведь это не о маме Нине, а о маме Оле, о моей бабушке.* <…> “*Мой милый мальчик, мой Алеша*” *говорила мне только мама Оля, то бишь бабушка Ольга Александровна».*

Должно быть, поэта не раз спрашивали, как он мог написать такое (да он сам себя об этом спрашивал), и он выдумал правдоподобную версию. Однако правды не сказал. В 1965 году Ольга Александровна была жива-здорова и услышала новые стихи внука одновременно с Ниной Вадимовной.

Дмитрий Ризов комментирует этот эпизод воспоминаний Смородинова: «На самом деле пронзительное стихотворение – чисто решетовское объяснение в любви к живой матери, возникшее среди вдруг охватившего его страха при мысли, что он однажды может ее потерять. Алексей тщательно оберегал от нескромного взгляда тайны своей души. Не стеснялся вводить в заблуждение любопытствующих».

Однако кроме ужаса от мысли, что мать смертна, кроме не подающейся объяснению диктовки свыше, у стихотворения «Мама» есть еще один источник.

В юности Нина Павчинская мечтала о писательской стезе. Не сложилось. Она оставила лишь отрывочные воспоминания, письма и несколько стихотворений для детей. А ведь старший брат писал ей когда-то: *«У тебя всегда были прекрасные литературные способности. <…> Почему же ты, в таком случае, до сих пор ничего не написала? Я предчувствую, я, наконец, твердо верю, что ты должна стать литератором. <…> Ведь я помню твои дневники и твои опыты в этом направлении еще в наши юные годы. Пиши, пиши и пиши! Ты зря скромничаешь. Я все эти годы ждал, что вот появится в списках книжных новинок твоя книжка. <…> Ты ведь не из бесталанных, уж я-то знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Ты находишься в самой гуще жизни, среди интересных людей, среди интересных дел. Какая прекрасная возможность для литературного творчества. Давно уж с твоими “писучими” свойствами роман об уральцах надо было бы накропать»* (15.01.1950).

Совет прозвучал не в самый благоприятный для литературных занятий период. Вадим просто не представлял, в какой гуще жизни живет его талантливая младшая сестра. И все же страсть заносить слова на бумагу Алексей Решетов унаследовал не только от отца, но и от матушки.

17 февраля 1957 года газета «Березниковский рабочий» опубликовала стихотворение Нины Павчинской «Осень».

Пожелтели, засохли былинки
По краям у лесной тропинки.
По полянкам замшелым меж сосен
Бродит тихо уральская осень.
<…>
Хорошо и привольно в осеннем лесу,
Я из леса с собой всего принесу:
И опят большое лукошко,
В туесочке брусники немножко,
И букет из огненных листьев,
И рябины огненной кисти.

Сколько раз Нина Вадимовна с Бетей и Алешей бродила по лесу, собирая ягоды, грибы, цветы… Это были редкие часы свободы и радости. Решетов до конца жизни любил

лесные прогулки, хотя ориентировался плохо. Запоминал дорогу по-своему: «Да, мы правильно идем: вот куст – лисий хвост, вон кочка – белесый ежик».

В стихотворении «Мама» сын приходит на кладбище, но в последнем четверостишии оживает память о счастье – и мать остается не под землей, а в щедром осеннем лесу. Решетов переместил Нину Вадимовну в ее собственный текст. Она и сегодня бродит по лесам, *сбирая ягоду морошку*, опята, бруснику. И лукошко ее прикрывают осенние листья и ветки огненной рябины, горькие и яркие, как короткая человеческая жизнь.

У Алексея Решетова много стихов, посвященных матери, и не раз ее смерть возникала в них страшной тенью в годы, когда Нина Вадимовна была жива. В «Рябиновом саде» (1963) мать сама говорит сыну о своем уходе. В стихотворении «Пальто и шапочку надень...» (1975) герой просит гостей не шуметь, потому что мама спит – *«не в темноте земли сырой, а в нашей комнате второй»*. В стихотворении «У мамы цветы на балконе» (1975) дождик веселый падает *«на белый табак и левкои, / а мама на вечном покое»*.

А у стихов «Отчий кров. Береза у окошка» (1977) житейский сюжет: сын приехал в родные места, чтобы помочь матери выкопать картошку. Но в финале звучит тоска от близкой и неизбежной разлуки.

Выроем картошку, спустим в яму.
Я уеду. Выпадет снежок.
И хранить мою седую маму
Будет только Бог.

В предисловии к сборнику «Станция Жизнь», изданному в Екатеринбурге в 1990 году, Сергей Иоффе писал: «Злобящим холодком недобрых предчувствий веет от этих строк. <...> И когда вырастает вдруг перед тобой строка “Ты слышишь, мама, я пришел” – горькая догадка становится явью, а между двумя стихотворениями натягивается нить, подобная незримому нерву: выходит, не уберегли маму ни сын, ни Бог».

Горькая догадка читателя посетила рано – когда вышла «Станция Жизнь», Бог еще хранил Нину Вадимовну. Но *знобящий холодок* пробегал по страницам снова и снова. Леденил сердце.

В статье «При свете совести и сказки», опубликованной в альманахе «Поэзия» в 1979 году, Станислав Лесневский особо выделил стихи «Пальто и шапочку надень» и «Мама».

Я давно не встречал в нашей поэзии таких простых, кратких и сильных строк о жизни и смерти. Всем все ясно – где сын, где мать и как все непоправимо… Но разве об этом сказано? Мы слышим голос сына, слышим молчание матери, слышим их встречу, знаем, что мать слышит сына, но не может ему ответить… А как это сказано – не определить. <…> Память о матери подсказывает поэту слова, отвергающие обманное благополучие. Голос матери – голос совести; при свете материнской совести отпадает лишнее, остается жесткая правда, и в стихи приходит высокая красота. <…> В несоответствии предустановленного с пережитым – драматизм поэзии Решетова.

Нельзя подготовиться к большой беде, можно лишь смягчить удар, пережив горе прежде, чем оно настигнет. И, быть может, отсрочить его, заговорив зубы судьбе.

Ведь и о разлуке с Верой Нестеровой Решетов написал прежде, чем любимая уехала. Не раз описывал он и собственную близкую (или уже наступившую) кончину. Но потеря матери была самым страшным. Он уже терял ее, они чудом выжили друг без друга и чудом встретились. Вторичное сиротство, на этот раз окончательное, казалось непереносимым. Хотя отношения их вовсе не были идиллическими. Нина Вадимовна жестко контролировала сына, часто не одобряла его, и подчиняться ее воле с каждым годом становилось труднее.

Начало перестройки они встретили вместе. Жадно следили за событиями. Читали газеты и книги, вырвавшиеся из-под запрета. Спорили. Чувства были противоречивые: с одной стороны, долгожданная и неправдоподобная свобода, с другой – страшный экономический кризис, социальная катастрофа, на грани которой балансировала страна. И все-таки правда была дороже благополучия. В конце концов, привычки к хорошей жизни у Решетовых (как у большинства их соотечественников) не было. Нина Вадимовна еще успела узнать правду о судьбе мужа. Письмо из Хабаровска пришло в 1991 году. Последний долг был исполнен.

Нина Павчинская могла после лагеря устроить свою жизнь, ей не раз делали предложение, но долгие годы

она надеялась на возвращение Леонида. Не хотела предать его, а потом его память. После гибели старшего сына она совсем перестала думать о себе. Волновалась лишь о благополучии Олеси и Алеши. Было страшно их оставить. Как справятся?..

«Отворил я оконные рамы,/ За которыми нет уже мамы», – написал Алексей Решетов весной 1992 года. На этот раз все было правдой. Нина Вадимовна умерла 12 мая 1991 года от острой сердечной недостаточности. Ей было 77 лет. На обороте свидетельства о смерти запись, которая говорит об эпохе больше, чем многостраничные статьи: *«Выданы платки носовые, кура, маргарин, жир, 20 бутылок водки».* В магазинах в то время не было ничего.

Сын готовил себя к сиротству, но не смог подготовиться. Рухнул в горе. Пил, тосковал. Все потеряло смысл.

Нину Вадимовну похоронили в Березниках, рядом с Беталом и Ольгой Александровной. Они собрались вместе. Решетов ждал «своего подселения». Готов был *вернуться домой* – туда, где находились мама, отец, бабушка и брат.

Осмыслить случившееся помогли стихи и сны.

Мне снился рай, и там, в раю,
Я видел матушку мою.

* * *

Мне снится наш забытый Богом край,
Как будто мама грядки поливает.
– Ты больше никогда не умирай, –
Я говорю. Она в ответ кивает.

Происходящее вокруг – неразбериха, нищета, обвал страны – стало для поэта естественным фоном его утраты. Мать пережила страшный високосный век и ушла, когда этот век подходил к концу. Ее смерть словно подвела итог прошлому.

…В сентябре 1990 года Решетов сочинил четыре строки, в которых время отразилось точно и ясно. Толчком стала жутковатая картинка перестроечных времен. Пермское книжное издательство, как и другие предприятия, переживало кризис. Книги еще выходили (гласность открыла перед издателями новые возможности), но покупать их читателям было не на что. Государственного финансирования больше не было. Система книготорга рухнула. А продуктовый кризис заставлял думать о бартере. В тот день привезли картош-

ку. Грязные мешки свалили на первом этаже под лестницей, рядом со входом в Союз писателей. Работники издательства, спустившись вниз, перебирали подгнившие и хорошие клубни, набивали сумки. Решетов вышел на шум из комнатки литконсультанта, поглядел на происходящее и произнес:

Закусим картошкой печеной,
Сухую ботву подпалим
И будем смотреть обреченно,
Как все обращается в дым.

Надежда Гашева тут же записала экспромт. В 1999 году четверостишие было опубликовано в альманахе «Пермь третья». Позднее, скорее всего уже после смерти Нины Вадимовны, Решетов присоединил к тексту еще 12 строк. Возник сюжет. Начинается он несостоявшейся лесной прогулкой.

Идиллия бабьего лета.
Теплынь, тишина, благодать.
Ходить бы с корзинкой по лесу,
Да надо картошку копать…

Дальше: мужчины копают, женщины кладут в ведра, а белые и фиолетовые цветы, которыми пестрели недавно картофельные поля, напоминают о краткости человеческого века. В трехтомнике изменена предпоследняя строка финального четверостишия: «И будем смотреть *отрешенно,*/ Как все превращается в дым». Вероятно, такой вариант был в черновиках, но при замене пострадала не только точность рифмы «печеной – обреченно», изменилось состояние лирического героя. Разница между обреченностью и отрешенностью существенная. Кроме того, финал стиха (появившийся прежде остальных строк) так и не примкнул к бытовому сюжету. Художественная ценность этого четверостишия потерялась в рассказе о сельхозработах.

В комментариях приведены и варианты текста. Один из них такой.

А помню, как в детстве бывало,
Мы в поле ходили втроем,
И мама картошку копала,
А мы собирали ее.
И если картошку лопата
Разрежет, вся наша семья,
Все трое глядят виновато:
И мама, и брат мой, и я.

Становится понятно, почему от горящей картофельной ботвы потянуло дымом Отечества. Мешки подгнивших овощей соединились с памятью о голодном детстве и самых дорогих людях.

Собранную картошку хранят в яме (так на Урале именуют погреб). А слово «яма» легко обретает страшный смысл. В 2000 году от давнего стиха, где сын помогает матери копать картошку, протянулась еще одна нить. Дурные предчувствия сбылись. Знобящий холодок отозвался ледяным погребальным хладом.

Порой мне кажется, что мама
Не умерла, не умерла.
И в глине вырытая яма
Пустой закопана была.

Смерти противостояла память. И дни детства становились все дороже.

...И стоит тихо обернуться,
Открыть без скрипа ворота,
И мне, как в детстве, улыбнутся
Живые мамины уста.

Золотые ворота детства не могут скрипеть. Как врата рая.

Уход матери окончательно прояснил вопрос о бессмертии души. Решетов множество раз писал о смерти матери, о смерти вообще, но в то же время всегда понимал – смерти нет. В его мифологии, вернее, в его концепции вселенной мать бессмертна.

Образ живой женщины соединяется в стихах с образом Матери-земли, безмерной и вечной. *Голос матушки печальной* слышится сыну в шуме осин. Она продолжает говорить с ним во сне и наяву.

Счастливая мама
просила сынка:
– Взгляни, как по небу
плывут облака.
Вот это твой дедушка,
старый, седой
С его шевелюрой,
с его бородой.
Вот это твой
в белой рубашке отец

Куда-то направился,
видишь, малец?
А это вот –
бедная мама твоя,
С лицом утомленным,
белее белья.
Закрой свои глазки,
в себя загляни –
Там добрые сказки и
страшные сны.

Не только мать, все родные были рядом – ничто никуда не исчезло. *Поскольку есть на свете Бог, / И он нас всех простит.* Нужно лишь набраться терпения и дождаться встречи.

Жизнь проплывала перед глазами, как облака или кинолента. Но и на земле оставались люди, которые были Решетову дороги. Из глубокой депрессии его вытянула Тамара Катаева.

Глава 8
ТАМАРА

О, Господи! Как это редко –
Одна и другая душа
Сольются, как малые реки,
И дальше текут не спеша.
А. Р.

Тамара Катаева приехала в Березники из Свердловска 10 января 1971 года. Ей было 26 лет. Она была хрупкой и застенчивой. И была музыкантом. Выпускница Уральской консерватории имени Мусоргского начала преподавать в Березниковском музыкальном училище и потихоньку осваивать незнакомый город.

Имя Алексея Решетова она слышала часто и от разных людей. Директор училища Эрна Андреевна Тибелиус рассказывала, каким он был в детстве – когда-то она преподавала будущему поэту немецкий язык в средней школе. Постоянно говорил о друге Юрий Марков, с дочкой которого

Тамара занималась музыкой. Фотографии Решетова она видела в газетах, а сидя в жюри на детском конкурсе чтецов, слушала его стихи в исполнении конкурсантов. Поэт казался далеким и недоступным небожителем.

Познакомились они в 1973 году в книжном магазине на улице Свердлова. Клуб книголюбов организовал встречу читателей с Павлом Петуховым, Юрием Марковым и Алексеем Решетовым. Марков пригласил Тамару и представил ее товарищам. Решетов был оживлен и весел – выступление закончилось, а выступать он не любил. К тому же после мероприятия поэтам подарили сборники Есенина.

Вскоре и девушка получила подарок: Решетов передал ей через Маркова свой «Белый лист» с надписью: «Тамаре, незнакомому, но близкому мне человеку…»

Она была польщена и взволнована. Молодой поэт все сильнее занимал воображение. А когда Марков привел Решетова в однокомнатную квартирку Тамары, вдруг проступили некие, пока неотчетливые, знаки судьбы.

Они слушали пластинку Эдит Пиаф и говорили про ее книгу «Моя жизнь». Тамаре казалось, что она давным-давно знает Решетова. Обнаружилось даже какое-то внешнее сходство. У обоих был поврежден указательный палец (руку Решетова однажды затянуло в конвейер, когда он пытался выколупать камешек, застрявший в ленте, – многие мемуаристы вспоминают его длинный «пушкинский» ноготь). У обоих имелось на лице родимое пятно (на одном и том же месте), у Тамары круглое, у Алексея – вытянутое. Когда они сели лицом друг к другу, родинки очутились напротив. (Через несколько лет Ольга Александровна предскажет внуку: это знак, что когда-нибудь Тамара придет к тебе.)

…Позже обнаружится пересечение на краю семейной истории. Ход совершенно романный. Война. Группу заключенных гонят по этапу. Обессилевшую Нину Фохт, младшую сестру Ольги Александровны, буквально на себе дотаскивает до места назначение Надежда Дукельская. Спасает от гибели. Задолго до того, еще до революции, в богатой екатеринбургской семье Дукельских служила экономкой бабушка Тамары Катаевой, а ее мать росла в их доме.

В 1973 году Решетов и Тамара об этой истории не знали, но странную тесноту мира почувствовали. Тамару поразили внешние сходства. Решетова поразила сама Тамара,

беззащитная и отважная. Она забыла дома ключ, и чтобы впустить гостей в квартиру, перелезла на свой балкон через балкон соседей. Этаж был пятый.

На прощание поэт подарил девушке листок с экспромтом.

Зря несут на мужиков:
Дескать, взял и был таков.
У любого мужика
Перво-наперво – тоска.

Он работает как черт,
А его никто не ждет:
Не погладит, не пошьет
И за хлебом не пошлет.

Но однажды, в жизни раз
Белый локон, синий взгляд
Он сочтет своей судьбой
И ведет к себе домой.

Спи, мой райский стебелек –
День рабочий недалек.
Спи, мой маленький родник, –
Я навек к тебе приник.

Начало стиха – шутка, середина – надежда, финал – заклинание.

Они стали видеться, в маленьком городе не миновать встреч. Тамара чувствовала к Решетову необъяснимое доверие. В тяжелые минуты поджидала его во дворе, чтобы выговориться и попросить совета. В квартиру подняться не решалась. Ей уже рассказали, что на попечении Решетова дочка погибшего брата, а мать и бабушка не жалуют его подруг.

Решетов мечтал о собственной семье, о жене и детях. Но считалось, что сперва нужно вырастить Олесю. Он должен был подождать с женитьбой, пока племянница пойдет в первый класс, пока закончит школу… Каждую возможную невесту встречали настороженно. Сначала он бунтовал, потом смирился. Ради памяти брата. Чтобы не огорчать мать и бабушку.

Конечно, Решетов влюблялся и встречался с женщинами. И в него часто влюблялись: ни на кого не похожий, умный, талантливый, страстный – грузинская кровь. С тонким породистым лицом и удивительным взглядом. Он относился к женщинам рыцарственно: преклонялся

и восхищался «прекрасной вечной тайной без ключа» – женской природой. Вся любовная лирика ставила женщину на пьедестал. А еще было в его стихах (и в нем самом) некрасовское сочувствие женской доле – одиночеству, терпению, стойкости. В конце 1990-х, создавая текст для фоторомана Владислава Бороздина «Чувства», Решетов сформулировал: *«В малом космосе нашего познания самая яркая звезда – женщина...»*

Он не забыл ни одну свою любовь: ни школьницу в брезентовых туфлях и детдомовской форме, ни девочку, с которой летел с горы на санках, ни Галину Катаеву, гибель которой словно ставил себе в вину... Ни Веру Нестерову. Историю романтического соперничества двух поэтов, влюбленных в одну красавицу, Тамаре рассказал Марков. Этот сюжет уже тогда стал легендарным.

Тамара долго не могла до конца разобраться в своих чувствах. Через много лет она написала: *«О сближении не могло быть и речи, но для описания того моего душевного состояния я не нахожу нужных слов. <...> Это было нечто, как бы отрывающее душу от тела и уносящее ее куда-то из реальности, когда все окружающее становилось иным, менее грустным...»*

Уже в 1970-е Решетов написал первые стихи, посвященные Тамаре Катаевой. Однако Тамара меньше всего чувствовала себя лирической героиней. Она не была в себе уверена, комплексовала по поводу внешности. После Решетов говорил, что Тамара просто не видит себя со стороны: порой у нее проступает *«сквозь лицо – лицо»*. Для него она была особенной и прекрасной. И он очень боялся чем-то ее обидеть, невольно омрачить ее жизнь. Решетов был уверен, что недостоин любви. Оба мучительно переживали собственное «несовершенство». И в результате расстались.

Молодой женщине нужно устраивать жизнь. Летом 1978 года Тамара Катаева приняла решение (позже она назовет его глупым и скоропалительным) уехать из Березников с человеком, которого, ей казалось, она полюбила. Уезжать не хотелось. Ей нравился город, трудно было бросить учеников. Больно расставаться с Решетовым. Но мысль, что между ними возможны серьезные отношения, даже не приходила в голову. Оба проявили деликатность: он не хотел мешать ей, она – ему.

Отъезд Тамары вышиб из Решетова стихи.

Вообразил, что ты – жар-птица,
Что ты – мой выстраданный свет.
А в самом деле ты – лисица:
Ушла, хитро запутав след...

Честно говоря, след не был так уж запутан. Тамара обменяла свою березниковскую квартиру на комнату в областном центре. Приезжая в Пермь, Решетов встречал ее в доме Болотовых. С Виктором и Верой Тамару познакомил неугомонный Марков – чтобы не было одиноко в чужом городе. Они быстро подружились, тем более что жили по соседству.

Тамара увидела, наконец, героиню знаменитого любовного треугольника. Вера произвела на нее впечатление: *«У меня возникло ощущение, что передо мной египетская царица, неизвестно как попавшая в наше время, больная и уставшая от предложенной ей серой жизни».*

Вера была по-прежнему убеждена, что она единственная любовь в жизни Решетова, и часто рассуждала об этом. Как ни странно, именно благодаря этой уверенности Тамара впервые оказалась у Решетовых дома. Она работала тогда в управлении культуры методистом по средним и высшим музыкальным заведениям Пермской области (по совместительству была концертмейстером в Институте культуры). Время от времени приходилось выезжать в музыкальные училища Чайковского и Березников.

Перед Новым 1981 годом Тамара Катаева пришла в дом с аркой, чтобы передать очередной привет от Веры. А в 1982-м Решетовы перебрались в Пермь. Показалось, что судьба проявила благосклонность.

Тамара давно рассталась с человеком, который увез ее из Березников. Почти каждый день после уроков она заходила в Союз писателей и тихонько сидела в уголке, наблюдая, как Решетов беседует с авторами. Виделись они постоянно. Одна беда, Нина Вадимовна и Олеся долго не принимали этих отношений всерьез.

Тамара навсегда запомнила, как летом Решетов впервые появился у нее. Он не знал точного адреса. Плохо ориентировался в Перми. Помнил только, что живет она в огромном доме на улице Ворошилова. Открыв дверь, Тамара не поверила глазам. *«Он стоял передо мной, ошарашенной его внезапным появлением, с загадочным и в то же*

Тамара Катаева

время торжествующим видом. В руках у него был букет. Оказывается, он стучал в разных подъездах во все двери, пытаясь найти меня по приметам и по имени. И ведь нашел! Как потом мне рассказывала Нина Вадимовна, в тот день он вдруг сорвался с места и выбежал из дома. Из лоджии она видела, как он во дворе на глазах у остолбеневших людей стал рвать посаженные у подъездов цветы и на ходу зубами обрывать у них корни. Не видя никого и ничего вокруг себя, он помчался куда-то и скрылся за аркой».

Они стали близки. Жизнь могла, наконец, устроиться. Было еще не поздно для счастья и для детей. Но в семье Тамары случилась беда: у ее отца произошел инфаркт. Братья и сестры жили далеко от родителей. Стало понятно, что Тамаре придется вернуться в Свердловск.

Незадолго до новой разлуки Решетов привез ее в деревню, где жил его старый друг писатель Виктор Соснин. Три первых дня августа 1982 года стали идиллией. Решетов хотел жить именно так: с любимой женщиной, в бревенчатом доме у реки, топить печь, слушать тишину, выбираться в лес.

Правда, в тот раз поездка за грибами на другой берег Сылвы обернулась приключением. Выяснилось, что ни Решетов, ни Тамара не умеют грести. Это было даже весело, пока на середине реки их не застала непогода. Лодку едва не перевернуло. Оба вымокли до нитки, продрогли. Причалить удалось с трудом. Течение снесло лодочку, и, оглядевшись, они поняли, что не знают, где деревня, и даже не помнят ее названия. И костер развести не удалось – спички отсырели… После долгих блужданий собирались уже заночевать в лесу. Но тут появился Соснин. Обеспокоенный долгим отсутствием своих гостей, он отправился искать их на катере.

Но дело было не в счастливом окончании опасной прогулки. Решетова вновь восхитила Тамара. Она не паниковала, полностью доверяла ему, ни в чем не упрекнула. Без колебаний согласилась ночевать у костра, делить с ним последнюю подсушенную сигарету и, кажется, была счастлива.

…После смерти мужа Тамара Катаева обнаружит среди бумаг листок со стихами.

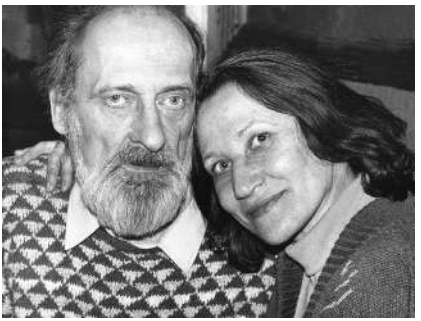
Мы плыли в лодке-плоскодонке.
Горой встающая волна
Мне, старику, и ей, девчонке,
Была нисколько не страшна.
И удаляющийся берег,
И в черных избах желтый свет
Не в силах были разуверить,
Что даже в смерти счастья нет.

В конце августа 1982 года Решетов проводил Тамару на вокзал.

Для обоих это был трудный период: редкие встречи и телефонные звонки выматывали душу. Изредка Решетов приезжал к Тамаре в Свердловск (познакомился с ее родными), чаще она срывалась в Пермь. Отношения на расстоянии трудны, а если люди зажаты семейными обстоятельствами и не уверены в собственном совершенстве – особенно. Не раз они могли расстаться из-за непонимания или пустой обиды.

В 1986 году, сразу после Нового года, Тамара приехала в Пермь. У Решетовых, как всегда, были гости и елка до потолка. Любимый праздник дарил ощущение чуда, и Решетов, наконец, предложил Тамаре стать его женой. Она приняла предложение. А Нина Вадимовна, услышав об этом, сказала: «Ну, и слава Богу».

Наверное, матери хотелось видеть рядом с сыном более решительную женщину. Зато Тамара, приезжая в Пермь, играла для Нины Вадимовны на стареньком фортепьяно Шопена и вальс из оперы Владимира Ребикова «Елка», который когда-то любил Леонид Решетов. Музыка – идеальный способ лучше понять друг друга. Сама Нина Вадимовна играть не могла – не слушались пальцы. Она учила Тамару готовить, выдала свой «кулинарный секрет»: главное – делать все с любовью к тем, для кого делаешь.



Алексей и Тамара. 1997 год

Это Тамаре можно было не объяснять.

А свадьба все откладывалась. В сентябре 1984 года умер отец Тамары, она не решалась оставить мать одну. Решетов это хорошо понимал, для него долг перед семьей тоже был важнее всего. В мае 1991 года, узнав о смерти Нины Вадимовны, Тамара примчалась в Пермь – поддержать, как-то защитить от беды... И еще три долгих года они виделись лишь изредка. Стало казаться, что вместе они уже не будут.

Алексей Решетов и Тамара Катаева поженились зимой 1994 года. О свадьбе никого не известили и никого не позвали. Брак был зарегистрирован 11 февраля. На 13-е назначили венчание в старейшем пермском соборе – Петропавловском, где в то время работала Олеся. К обряду готовились серьезно. Два дня постились (Решетов воздерживался даже от курения). Накануне Олеся читала Писание перед иконой Тихвинской Божьей Матери. Утром пошли к исповеди. Решетов составил целый список своих грехов.

«Алеша исповедовался очень доброму и милому отцу Николаю, который на каждый следующий озвученный Алешей грех удивленно восклицал: "Алексей Леонидович, как же так, неужели и это? <...> Не может быть – наговариваете на себя? Ну, ничего, ничего – все это простится". А Алеша все продолжал печально, с мрачным и решительным видом зачитывать свои, как он считал, страшные грехи».

Самым большим грехом Тамары исповедовавший ее отец Василий признал тоску. *«Никогда не забуду, как после исповеди, когда я отошла от отца Василия, у меня долго безостановочно текли слезы»,* – пишет она.

Храм недавно вернули церкви, реставрация еще не закончилась. А мороз в феврале стоял тридцатиградусный. Жених и невеста были закутаны с ног до головы. От дыхания поднимался пар. Венчали их оба батюшки. Рядом была лишь Олеся. Горели зеленые венчальные свечи.

«Все было прекрасно и таинственно. Колец своих у нас не было, поэтому пришлось воспользоваться кольцами моих родителей. <…> Они были нам обоим велики, сразу после венчания мы их сняли и больше не надевали. <…> Когда мы с Алешей в коронах обходили вокруг алтаря, на меня вдруг нашел нервный смех – я с трудом сдерживала себя, душила в себе всхлипы. Возможно, это была невольная реакция на напряжение, которое, как нарыв, прорвалось, когда я увидела Алешу в валенках, тулупе, серьезного, оглядывавшегося на меня, в соскальзывавшей с головы короне».

Некоторое время они продолжали жить в разных городах. Но с каким удовольствием вставлял теперь Решетов в стихи это слово – «жена»: *«Спит жена моя Тамара белым личиком к стене»; «Жена моя, вот тебе мой кошелек…», «…там жена моя жарит картошку, до которой охоч я, плебей…»* Поэт, наконец, нашел *«одну из тех, что и без денег, / И без дворцовой мишуры, / Тобой живет, с тобою делит / Все беды шахматной игры».*

Глава 8
ТЕНЬ СТИХОТВОРЦА

И не видать в окне Россию,
Всю погруженную во мглу,
И только перышком гусиным
Скрипит сверчок в своем углу.
И льются нянюшкины песни,
Как будто слезы по щеке,
И драгоценных женщин перстни
Горят на пушкинской руке.
И на одной из стен лачужки
В глухом затерянном краю
Тень стихотворца тенью кружки
Пьет участь горькую свою.

А. Р.

Даже после свадьбы Тамара Катаева и Алексей Решетов продолжали жить на два города. Понадобилось больше трех лет, чтобы окончательно преодолеть расстояние от Перми

до Екатеринбурга. Решетов не решался изменить сложившийся уклад, несмотря на то, что уклад был плох. Тамара жила вместе с матерью в маленькой квартирке, и он не хотел стеснять ни их, ни себя. Но главное – боялся оставить Олесю. Талантливую, своенравную, несчастливую. Их – Решетовых – осталось двое. От всей семьи, от всей памяти.

Олеся так и не окончила институт культуры. Некоторое время она работала в Пушкинской библиотеке. В хранилище. Находила в заставленном томами подвале заказанные книги и отправляла их наверх, в читальный зал. В восьмидесятые годы Олеся пришла к вере. Строго одевалась и строго держала себя, соблюдала церковные обряды. Нина Вадимовна называла внучку «наша монашенка». Когда в стране началось восстановление храмов, Олеся уволилась из библиотеки и стала работать в соборе Петра и Павла. Писала иконы. Вошла в церковную общину.

Она и дядю уговорила креститься. Обряд оба прошли в храме Похвалы Пресвятой Богородицы поселка Орел Усольского района (то есть в Орлинской церкви старинного Орла-городка).

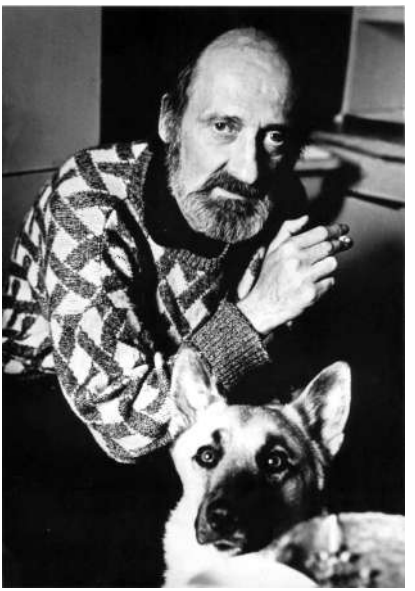
Духовная жизнь давала ощущение гармонии. Личная жизнь обернулась катастрофой. Олеся Решетова познакомилась с Олегом Антипьевым случайно. Он заговорил с девушкой на улице, и она почему-то ответила, чего не делала прежде никогда. Вскоре после свадьбы Решетова и Тамары Олеся тоже вышла замуж.

Антипьев прошел Афганистан, может быть, его психику искалечила война. Или жестокость была в его натуре. Жизнь Олеси, а значит, и ее дяди, превратилась в ад. Олег пил, вел себя все более агрессивно и безумно. По ночам бродил по дому с топором, останавливаясь над изголовьем спящей жены. За угрозами и оскорблениями последовали побои. Защитить Решетовых никто не сумел. Олеся терпела, пока муж избивал ее, но, когда он поднял руку на дядю, не выдержала. Она боялась мужа и умоляла Решетова уехать из Перми. Это был не переезд, а побег. Вскоре и сама Олеся тайно собрала вещи и перебралась к матери в Березники.

Незадолго до того, как хозяева покинули *разоренный дом,* пропал Милорд.

Милорд Второй – самая знаменитая из решетовских собак. Олеся купила его на рынке вскоре после смерти Нины

Вадимовны. Крошечный щенок был похож на лягушонка. В тот же день его чуть не потеряли в закамском лесу: увлеклись прогулкой и не заметили, как Милорд вывалился из сумки. Решетов, Тамара и Олеся долго бродили, отыскивая пропажу, пока не обнаружили мирно спящего щенка в густой траве.



А. Решетов с Милордом

Милорд вырос в крупного пса, похожего на сибирскую лайку. Он обожал хозяина и усвоил многие черты его характера. Отличался редкой независимостью, любил одинокие прогулки, чувствовал, когда по лестнице поднимаются графоманы – рычал на дверь. Был очень музыкален. Заманить пса домой можно было не косточкой, а песней. Милорд, как загипнотизированный, поднимался вслед за мелодией на второй этаж. Если при нем пели или читали стихи, он тут же присоединялся. Особенно любил романс «В лунном сиянии ночь серебрится…». Решетов демонстрировал гостям, как они с Милордом поют дуэтом.

Исчезновение пса стало знаком – жить в этом доме больше нельзя. Олеся подозревала, что муж убил собаку (словно тень страшного дворника Коляды выросла на пороге). Решетов тосковал по Милорду и сделал единственно возможное: отправил друга в бесконечное странствие.

Едет собака в трамвае куда-то,
На контролеров глядит виновато.
Где же ей денежек взять на билет,
Если хозяев давно уже нет?..

Бесприютные хозяева пропавшей собаки тоже пустились в путь.

Решетов расстался с Пермью без сожалений. А Пермь так и не заметила, что потеряла поэта. Хотя на его последнем

выступлении, организованном фондом «Юрятин» в Пушкинской библиотеке, публика не помещалась в зал. Люди стояли вдоль стен, сидели на подоконниках, толпились в дверях. Решетов читал, как всегда, негромко, но в тишине было слышно каждое слово.

Александр Старовойтов (в то время директор пермской библиотеки им. А. М. Горького) вспоминает, как зашел к Решетову накануне его отъезда. Они сидели на лоджии, где когда-то благоухали цветы Нины Вадимовны. Решетов долго смотрел на огромную березу под своим окном и вдруг спросил: «Ты не знаешь, сколько эта береза стоит? Я ее настолько полюбил. Она мне дороже квартиры».

Любимая поэтом береза и сегодня растет во дворе дома на 25 Октября. Разоренную квартиру продали. Решетов почти ничего оттуда не захватил, взял лишь иконы и несколько книг.

28 июня 1998 года поэт навсегда покинул Пермь. Его провожал фотохудожник Вячеслав Бороздин. До Кунгура доехали на машине, дальше – поездом. Решетов не глядел в окно вагона. «Было такое впечатление, что вся эта жизнь ему давно известна, и один лишний взгляд ничего к этому знанию не прибавит», – вспоминал Бороздин.

Решетов уже встретил шестидесятилетие. На Урале он был признанным классиком, независимо от места жительства. Кроме многочисленных (серьезных и шутливых) дружеских посланий к юбилею он получил правительственные телеграммы от председателя Законодательного собрания Пермской области Евгения Сапиро и от трех губернаторов – Пермского, Свердловского и Тюменского. Союз писателей Грузии приветствовал его как соотечественника. Березники присвоили поэту звание Почетного гражданина города. Кроме того, неожиданно достигло земли приветствие из космоса. Командир орбитального комплекса «Мир» Василий Циблиев и бортинженер Александр Лазуткин желали юбиляру вдохновения и успехов в творчестве. Телеграмма прилетела с орбиты в Звездный городок, потом ее переслали в администрацию Березников, а оттуда – Решетову.

Это была ответная любезность. В феврале 1997 года березниковская администрация поздравила с днем рождения космонавта Циблиева стихами Решетова. Уральский город и космический отряд связывала знаменитая история при-

земления в Усольской тайге в 1965 году экипажа корабля «Восход-2». Решетов эту историю, конечно, прекрасно помнил и по просьбе Игоря Неверова, работавшего тогда в мэрии Березников, сочинил экспромт.

Отдельное поздравление ко дню рождения 3 апреля 1997 года прислал из Звездного городка дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

Впрочем, поэты и без телеграфа умеют разговаривать с Космосом. Труднее им приходится на земле.

Решетов не знал Екатеринбурга и не интересовался им. Хотя в уральской столице его всегда ценили. Он входил в редколлегию журнала «Урал». В свердловских изданиях печатали его стихи и рецензии на его книги (чаще положительные, порой восторженные). В общежитии Уральского университета сборники его ходили по рукам. На интеллигентских кухнях читали Решетова наизусть. В Екатеринбурге были друзья и единомышленники, люди, которых он уважал и которые его поддерживали: Борис Марьев, Майя Никулина, Андрей Комлев, Леонид Быков, Владимир Чижов, Юрий Казарин…

Но атмосфера города, идеально совпадающая с атмосферой времени, была Решетову чужой. Энергичный Свердловск, он же харизматичный Екатеринбург, отстоял от его жизненного идеала еще дальше, чем сонная Пермь. Там трудно было существовать созерцательно. Если бы поэт мог выбирать, то возвратился бы в Березники – к родным могилам или сбежал в деревню – поближе к тишине и покою (он мечтал об этом, только своей Овсянки у него не было).

На азиатской стороне Уральских гор быстро запрягали и шумно ехали. А Решетову шум не нравился. Екатеринбург вызывал у него мрачные ассоциации.

В том городе, где царскую семью
Всю расстреляли, я завел свою…

Борис Рыжий, тоже поэт не регионального значения, написал в 1997-м:

Живи, как Решетов в Перми,
Цени уральские морозы,
Что останавливают слезы,
Или сегодня же умри…

Стратегия обозначена с юношеской прямотой: или прими то, что есть, или погибни откровенно. За иронией –

боль, поскольку речь, конечно, не о Решетове, а о себе, не о конкретной географической точке, а о судьбе. Решетов – идеальный символ. Варианты биографии провинциального лирика не слишком разнообразны.

Только вот решетовский овчинный тулупчик не каждому по плечу. Поэты не ангелы. Они редко выбирают аскезу. Идеальная цельность человеческого и поэтического образа, скорее, уникальна. Безразличие к славе – тем более.

И все же переезд Решетова в Екатеринбург логичен. Не столько для поэта, сколько для Урала. В конце концов, Екатеринбург – уральская столица, а Решетов – центральная фигура уральской поэзии. Впрочем, о символике своего перемещения он, конечно, не думал.

Писал много (хотя уединиться в тесной квартире было негде) и мало принимал участия в литературной жизни. Редко выступал. Но все же в 1999-м, когда страна шумно отмечала двухсотлетие со дня рождения Пушкина, Решетов читал свои стихи на юбилейном вечере в Камерном театре Екатеринбурга. В Перми в это время по улицам бежали троллейбусы, в салонах которых были развешаны листовки со стихотворением «Михайловское».

След пушкинского зайца петляет, но никогда не прерывается. Круг замкнулся: от траурной годовщины 1937-го – к радостной 1999 года. Кроме Пушкина, у граждан страны в конце века было мало поводов для гордости и ликования. Новое столетие не вызывало доверия. За державу было обидно:

Новый век еще щенок,
Но уже сбивает с ног.
Этот юный волкодав
Показал уже свой нрав.

На переломе веков Решетов сосредоточился на главном в жизни: семье и поэзии.

Тамара Катаева пишет о годах их совместной жизни: *«Он хотел свозить меня <…> в Хабаровск, Владивосток, Грузию и даже в Париж. Не осуществилось. Любил ходить по магазинам и рассматривать, как на экскурсии, появившиеся в изобилии продукты, особенно овощи и фрукты. Всегда помогал мне готовить и делал это красиво и тщательно. Любил наши гуляния по городу и, особенно, наши частые походы в лес за грибами. Сначала мы садились на электричку и вы-*

ходили там, где нам больше нравилось, а потом облюбовали постоянную станцию – Мраморскую. <…> Мы часто читали друг другу то, что было интересно обоим».

Тамара Павловна преподавала в музыкальном лицее. Решетов с нетерпением ждал ее с работы, встречал на остановке. Он приходил на концерты детей и радовался, глядя на их вдохновенные лица. Это были юные лицеисты, *племя младое, незнакомое, молодые потомки мои…*

У Решетова не было детей, лишь стихи. Только их он оставлял на земле. Слова хранили память, опыт и чувства. Продолжали угасающий род.

Дмитрий Ризов писал ему: *«Ты оставляешь себя, отвердевшего до состояния абсолюта, в стихах, которые для многих и многих – готовый абсолют среди текучей множественности, где глазу не на чем задержаться. И они начинают воспринимать образ мира, нарисованный тобой – как собственный. Думаю, ценность искусства в том и состоит, что дает людям абсолют в готовом виде»* (13.03.2002).

Поэт приближался к абсолюту, к месту своего назначения, и подводил итоги. *«У Решетова абсолютный поэтический слух. В нем дар равен уму»,* – написала Надежда Гашева в статье к его шестидесятилетию. Такая редкая гармония ума и таланта драгоценна для творчества, но очень трудна в жизни. А Решетов обладал еще и обостренной совестливостью. Он трезво и жестоко оценивал себя, размышляя о том, что должен был, но не сумел сделать. Его раздражало почтительное отношение со стороны многих коллег по цеху, недоставало объективного взгляда на новые стихи.

Поэт Андрей Комлев вспоминает: *«Он не был удовлетворен тем, что делал. Говорил: "Слушай, поругай меня хорошенько, я что-то плохо стал писать! Зря меня хвалят!" Я почитал новые стихи, мне показалось, что есть несколько довольно корявых конструкций. Я их попытался довести, и такая грубая ретушь получилась! Я понял: ничего с этим сделать нельзя. Только так должно быть. Это Решетов».*

Это Решетов.

…Для чего ты старалась, природа,
Ясный свет сберегая во мгле,
Если правят не жизнь и свобода,
А неволя и смерть на земле?

Угнетала бедность. Решетов не мог свозить жену в Париж, Тбилиси или родной Хабаровск. Когда-то давным-давно они мечтали поехать в город его детства всей семьей. Одному, без мамы и брата, вернуться туда было невозможно, вот если бы с Тамарой… Утешала природа: солнечный день, вечно бегущие по небу облака, какой-нибудь *кустик-бересклет – меньшой брательник.*

Он всегда стремился к лаконизму, а теперь писал все короче. Молчание порой казалось ценнее слов. Должно быть, он готовился к окончательной тишине. Или ждал, что там, за чертой, станет, наконец, внятной иная речь.

Высокие ели
И сосны в снегу,
Они онемели,
Они ни гу-гу.

Решетов все реже выходил из дома один. Единственный город, куда готов был ехать, несмотря на болезни и усталость, – Березники. Но две последние поездки в родной город дались нелегко.

В 1999 году Решетов присутствовал на первом фестивале своего имени. «Решетовские встречи» продолжались два дня. Поэту было трудно все время находиться в центре

Решетовские встречи. 1999 год

внимания, роль почетного гостя была не по нему. Хотелось спокойно поговорить с друзьями, пройти по любимым улицам…

В 2001 году Тамару Катаеву пригласили на сорокалетие музыкального училища. Решетов поехал с женой. Он захватил с собой пачку книг и дарил всем желающим сборник «Не плачьте обо мне», словно заранее уговаривал не печалиться в предстоящей разлуке. Закончился праздник трагедией – пришла весть о самоубийстве Игоря Неверова. Этот талантливый деятельный человек всегда помогал Решетову. Они по-настоящему ценили и уважали друг друга. И оба очень любили Березники. Неверов, строитель по профессии, написал книгу о городе и его людях. Решетов отозвался рецензией – «Книга – лучше памятника». Гибель товарища стала для него настоящим ударом.

Все меньше оставалось людей, с которыми мог говорить. Но уходить из этого мира ему не хотелось. Тут были несколько друзей, любимая жена, природа и работа.

Решетов вновь начал писать прозу. Автобиографическую. Итоговую.

Помолился. И вот приступаю
К описанию жизни моей.
В прошлом времени тихо ступаю,
Головой побелевшей киваю
Вереницам знакомых теней.

Работа над «Ждановскими полями» (*жизнь и есть «Ждановские поля», вечное ожидание*) позволяла вновь пережить самые важные и острые моменты судьбы. В очерке «Я себя не прощаю» он сжал жизнь до предела, и в финале вновь составил список своих грехов, как для исповеди.

Думая о прошедшей жизни, я за многое себя не прощаю. Я не могу простить себе, что не пошел учиться дальше, в литинститут или хотя бы в педагогический; что не знаю никакого иностранного языка, что грузинских слов знаю только несколько: пури, квели, чемо таво, чемо гуло – хлеб, сыр, моя голова, мое сердце. Не могу простить себе, что ни с первой стипендии, ни с первой зарплаты не купил маме туфли. У нее никогда их не было. То лагерные опорки, то послевоенные танкетки, то полуботинки на микропоре, хотя в последние

годы она уже работала на инженерной должности. Я не могу простить себе, что в самые черные мгновения меня не было около брата. Не могу простить, что писал заурядные стихи, вместо поэзии высшей пробы, что книгам часто предпочитал ликеро-водочные изделия, что никогда не видел моря и не летал на самолете. Ничего уже не исправить...

В конце стоит многоточие.

Судил Решетов только себя. Не время, не обстоятельства, не страну. Не судьбу, в которую верил. (Он раскладывал порой пасьянсы, гадал на картах, но, в отличие от бабы Оли, десятку пик из колоды не выкидывал.)

В 2001 году в Екатеринбурге вышел в свет сборник «Темные светы» (очередной том «Библиотеки Каменного пояса»). В 2002-м, к шестидесятипятилетию, Решетов получил за эту книгу премию губернатора Свердловской области.

Темные светы ненастной погоды,
Тусклые светы предзимнего дня.
Горькое чувство ущербной свободы
Вдруг пробудилось в душе у меня.

Будто душа никогда не взмывала
В самую высь, возражая судьбе.
Будто бы все, что со мною бывало,
Я сочинил на потеху себе.

Нет! Я знавал и счастливые годы.
Нет, не всегда угнетали меня
Темные светы ненастной погоды,
Тусклые светы предзимнего дня.

Весной 2002 года Решетов лег в пульмонологию. Он не мог вздохнуть. Врачи поставили диагноз: силикоз легких, профессиональное заболевание шахтеров. Состояние ухудшало постоянное курение. Тамара не отходила от мужа. В больнице он писал прощальные стихи. Боялся не дожить до тепла, но к лету его выписали.

Примерно в это время поэт получил из Перми предложение составить свой трехтомник. Он подошел к делу серьезно, так, как мог только он один. Решетов принадлежал к редкой, почти не существующей категории стихотворцев, которые не втискивают лишнее стихотворение в книгу,

а выбрасывают *стишки* из нее, даже если редактор уговаривает оставить текст в книге.

«Алексей Леонидович, <…> проведя беглый осмотр всех своих <…> опубликованных стихов, склонился к выводу, что многие из них не заслуживают включения в современный достойный итоговый отчет и что следует уложиться в двухтомник, где первый том отводился бы под избранные стихотворения, а второй – под избранные поэмы и немногие произведения прозаические», – пишет Андрей Комлев, который вместе с Тамарой Катаевой разбирал решетовский архив и стал составителем трехтомного собрания, выпущенного в 2004 году «Банком культурной информации» Екатеринбурга. Это издание поддержали администрация Березников, правительство Челябинской области, министерство культуры Свердловской области и Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева. Пермь участие не приняла.

23 сентября Решетову пришлось вернуться в больницу. Он собирался работать (начал отбирать стихи для собрания сочинений и успел забраковать бóльшую часть сборника «Нежность»). Почитать взял новую книгу Виктора Астафьева, присланную из Красноярска Марьей Семеновной.

29 сентября Тамару Катаеву срочно вызвали в больницу. Лечащий врач предупредил: надо готовиться к худшему.

Они сидели рядом. Решетов был в сознании. Склонил голову на ладони жены. *«Дыхание его постепенно стало ровным, спокойным, потом он повернул голову ко мне, улыбнулся и как-то легко вздохнул. Произошло это в половине пятого в воскресенье, 29 сентября 2002 года»,* – рассказывает Тамара Катаева в очерке «Алеша».

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Зачем, поэт, словарь толковый
Такой большой тебе иметь?
Нужны всего четыре слова:
Земля и небо, жизнь и смерть.
А. Р.

2 октября 2002 года Алексея Решетова отпевали в соборе Пресвятой Троицы в Екатеринбурге. 5 октября тело кремировали (очередь на кремацию растянулась на два дня). 7 октября, в понедельник, урну с прахом поэта захоронили на березниковском кладбище, *рядом с матушкой и братом*. Решетов вернулся домой.

Смерть поэта заставила осознать масштаб его дара и личности. Березниковские, пермские и екатеринбургские газеты поместили материалы, посвященные его памяти. В трех городах память эту хотели сохранить. У многих было ощущение личной утраты.

Союз писателей Екатеринбурга подготовил к сороковому дню большую публикацию – «Серебряный голос России» (так назвала Решетова Майя Никулина). Юрий Казарин писал:

«Провинция – явление государственное. В культуре и языке провинции нет. <…> Поэт Алексей Решетов жил и живет уже после смерти своей в самой середке русского национального сознания и языка вне какой-либо прагматики, литературной продажи и предательства. Так жили и живут стихи Евгения

Площадь Решетова в Березниках

Баратынского, Иннокентия Анненского, Николая Рубцова и других "тихих" (по мнению государственных литературоведов и критиков) поэтов.

Алексей Решетов всей жизнью своей подтвердил трагическую сущность подлинного поэта, что, с точки зрения обывателя, невероятно и что, с точки зрения Бога, нормально, ибо все подлинное – мучительно, прекрасно и неприметно. Его поэзия осталась в пределах языка, в том круге, центр которого везде, а окружность – нигде. Поэзия Алексея Решетова давно уже стала частью души всех тех, кто говорит, печалится, плачет и поет по-русски».

3 октября 2003 года в Березниках на проходной Первого рудоуправления была установлена мемориальная доска. Скульптор Николай Заграбов изобразил Решетова молодым – таким он пришел на комбинат в конце 1950-х. Площадь перед БКРУ-1 стала носить имя поэта. Анатолий Данилов, знавший Решетова многие годы, считал: лучше бы назвали в его честь уютный скверик или тихую улицу. Больше соответствует характеру.

Владимир Михайлюк предлагал разбить рябиновый сад в Усолье. Ничего более национального и представить себе нельзя. И ничего более уральского. Ведь если «вся Россия – наш сад», то Урал – сад рябиновый. Да и березниковские

Олеся и Тамара в день открытия мемориальной доски в Перми

традиции садоводства, заложенные Валентином Миндовским, были бы поддержаны. Но проект не осуществился – рябиновый сад с аллеями, прудами и полянами, где можно полежать на листьях и поглядеть в небо, остался в стихах.

В 2004 году в Екатеринбурге тиражом пять тысяч экземпляров вышел трехтомник Алексея Решетова. Всем желающим книг не хватило. Собрание сочинений готовила к изданию редакционная коллегия, куда вошли представители Березников, Екатеринбурга и Перми. Составителями стали Тамара Катаева и Андрей Комлев.

В последующие годы было издано три посмертных сборника: «Овен» (2003, Екатеринбург, «Библиотека Каменного пояса»), «Избранное» (2005, Пермь), «Избранное» (2009, Санкт-Петербург). В эти книги включены не печатавшиеся при жизни стихотворения, обнаруженные Тамарой Катаевой в архиве поэта или присланные ей друзьями.

В 2006 году в Перми опубликована книга воспоминаний о поэте «Друзья расскажут», составленная Дмитрием Ризовым и Александром Старовойтовым. В тот же год открыта мемориальная доска на доме по улице 25 Октября, где Алексей Решетов прожил с 1982 по 1997 год.

…На деньги от продажи пермского жилья племянница поэта купила себе квартиру в Березниках (дядя отдал ей и свою долю). Она жила со вторым мужем Анатолием. Работала санитаркой в городской больнице и психиатрической

клинике (устроиться туда помогла врач-психиатр Тамара Черепенина, лечившая Решетова после гибели брата). Олеся уверяла, что работа ей нравится. *«Я как будто нашла свое место. Я порой сама себе удивляюсь: в музее – работала, в библиотеке – работала, в детском саду – работала, в школе – работала, в Церкви служила (но это другое), и все как бы не там. А тут – на работу с радостью иду. Пока еще сама не поняла, почему это?»* (18.02.2002).

После развода с Олегом Антипьевым Ольга Беталовна вернула девичью фамилию и вновь стала Решетовой.

Где наши мысли бесстрашные?
Где наши светлые сны?
Где наши грезы вчерашние?
Ветром каким снесены?

Господу Богу помолимся,
Твердо уверуем в то,
Что устоим, что не сломимся
С самым тяжелым крестом.

К стихам, посвященным племяннице, поэт выбрал эпиграф – строку Осипа Мандельштама: *Легкий свет одиноких прогулок.* Последняя из семьи, Ольга Беталовна Решетова с каждым годом становилась все более одинокой. Ее мать и сводная сестра в 2000 году переехали в Москву. Но скучала Олеся не о них. *«Читаем часто твои стихи, смотрю фотографии старые. А недавно прочла еще раз "Зернышки спелых яблок". Читала и плакала все – плакала»,* – писала она дяде 8 февраля 2001 года.

Решетов считал, что племяннице необходимо о ком-то заботиться. О человеке, о собаке, о больных, о птицах небесных. Только о себе позаботиться она не сумела. Все меньше общалась с друзьями, почти исчезла из их жизни. На свою махнула рукой. Пила, болела. *Оставьте меня в покое, пусть я буду какая есть. Жизнь разбита.* Каким-то мистическим образом родные и после своего ухода пытались ее защитить. Во всяком случае, Лилия Жук рассказывала: однажды ей приснилась Нина Вадимовна и упрекнула, что она давно не навещала Олесю. На следующий день Лилия пошла к подруге детства, обнаружила, что та сильно больна, и вызвала «скорую»…

Умерла Ольга 14 октября 2016 года. Род Решетовых прервался.

Вертикальная звездная даль
Мою душу зовет все сильнее,
Но чего-то земного ей жаль,
Высота не всевластна над нею.
Как забыть ей, что было вчера,
В неизвестность полет свой
направить,
А на грешной земле и пера
Из крыла своего
не оставить...

В 2017 году Тамара Павловна Катаева передала семейный архив Березниковскому историко-художественному музею им. И. Ф. Коновалова. Сама она живет сегодня с сестрой и племянниками в Тюмени.

...4 марта 2005 года в Березниках открыли памятник Алексею Решетову. Случай уникальный. Центральные газеты писали: в провинции умеют любить поэтов. Автором памятника стал скульптор Юрий Устинов. Решетов словно остановился по дороге со смены домой: в своем беретике, распахнутом пиджаке, с неизменной сигареткой, и, как всегда, думает о чем-то своем.

Памятник Алексею Решетову

День открытия был пасмурный. Народу в небольшом сквере рядом с культурно-деловым центром собралось много, звучали торжественные речи. Андрей Комлев вспоминал свои чувства в эти минуты: «Все это как-то не имело к Леше касательства. И я бормотал его никогда не печатавшееся стихотворение, которое нашел в архиве:

Людей не надо разделять
Ни на плохих, ни на хороших,
Ведь все от их житейской ноши
Зависит, надо полагать.

Ведь все зависит от судьбы,
Врагом сочтут или героем,
Положат в красные гробы
Иль в общий ров тебя зароют».

Александр Старовойтов, тоже находившийся серди гостей, рассказал о странном природном явлении, случившемся тогда в Березниках.

«Памятник был еще накрыт. Шел мелкий дождичек, небо заволокло тучами. Речи все продолжались и продолжались. Народ ежился под дождем. И вот, наконец, стали стягивать материю, закрывающую памятник. В этот самый момент в тучах вдруг открылось маленькое окошко, облака словно разошлись, выглянуло солнышко, и вокруг фигуры Решетова образовался световой круг. Это видели все, и все были поражены. Я схватился за фотоаппарат… Но потом, когда проявил пленку, неба на снимках не оказалось».

Кто остановил дождь и взглянул сверху на то, что происходит дома?

…Ангелы в белом
пришли и ушли –
Душу поэта не взять у земли.

В день открытия памятника Решетову 4 марта 2005 года

Уже в первой книге Решетова было стихотворение «Земля» и было стихотворение «Небо». Одно неотделимо от другого ни в жизни, ни в смерти. Землю Решетов знал на глубину, до дна древнего моря: в ней тянутся золотые жилы, покоятся кости и *зеленые медали солдат, которых девушки не ждут*. Полярной землей стал его отец. В земле – история и последний приют. Там всем хватит места.

Но мир продолжается: шумят леса, бегут реки, живут люди, пишутся книги. Родную землю, как бы трудно ни приходилось, поэт не согласен был променять даже на седьмое небо, где возле Божьего престола кружат серафимы

и херувимы, откуда Бог смотрит вниз детским взглядом. А в густой траве, по которой скользят солнечные блики, лежит ребенок и сквозь стебли мышиного горошка следит за полетом стрекоз. Где-то в пространстве, между небом и землей, их взгляды встречаются. Появляется линия горизонта. Небо и земля глядят друг на друга, они ничего никогда не забывают.

Небо в крови человека,
Небо в составе цветка.
Небо в росинках и реках,
В ангелах и облаках.

Притяженье земли любого уложит на лопатки. Кроме безумца Икара.

Валерий Виноградов рассказал, как однажды Решетов предложил ему разгадать древнюю японскую загадку.

Человек висит над пропастью, привязанный к тоненькой ветке. Если он не попытается освободиться, то так и умрет, но любое движение может привести к падению. Что нужно сделать, чтобы спастись?

«– Взывать о помощи, – ответил я.

– Нет. Всего лишь взлететь. Это же единственный способ остаться в живых.

– Сам додумался до этого?

– Сам до этого не додумаешься, надо видеть. Надо, чтобы был пример, понимаешь? Я, кода мне было еще 6-7 лет, не раз видел, как это делали другие. А потом научился сам».

...Мой герб – на фоне облаков
Четыре перышка Икара.

Небо в стихах Решетова такое, каким изобразила его Маргарита Тарасова на обложке «Нежности» – уральское, неяркое, с птицами и облаками: «*На дымок от русской печки опирается оно, / На три кедра возле речки опирается оно*». Домашнее, людское небо. Даже звезды выходят на небосклон, чтобы утешить в невзгодах, не бросают во мгле.

За облаками и реками – бесконечным течением памяти – можно следить вечно. С печалью или надеждой. Облака пробегают, как жизнь, но тучка золотая неизменно задержится *на груди утеса-великана* и заглянет в бедную комнату, где бабушка рассказывает детям сказку. Быть мо-

жет, облака – это души тех, кто оставил землю, но не забыл о ней?

В 2007 году учреждена Решетовская литературная премия. Алексей Решетов верил: что бы в России ни происходило, обязательно появится новый большой поэт, который скажет за всех. Скажет то, что другие, и он в том числе, сказать не сумели. Горюнам-горемыкам в их трудной земной жизни нужна поэзия. *Бессмертие поэта в его читателе.* Поэт никуда не ушел, пока кто-то листает его книги и помнит стихи наизусть.

Что человек? Ни зверь, ни птица
Не позавидует ему.
Ведь это значит согласиться
И на суму, и на тюрьму.
Что человек? Одни нарывы
На бренном теле с малых лет.
Зато душа, ее порывы,
Ее величественный свет.

Содержание

Вместо предисловия. **О зайцах, перебегающих дорогу**.....4

Часть 1. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА.....10

Часть 2. ЗОЛОТЫЕ ВРАТА.....139

Часть 3. ГОРНЫЙ МАСТЕР.....248

Часть 4. ИНАЯ РЕЧЬ.....353

P.S. **Земля и небо**.....430

Литературно-художественное издание 12+

Ксения Борисовна Гашева

РЕШЕТОВ

Дизайн *Л. Пенягина*
Верстка *Л. Клюева*
Корректор *М. Артемова*
Директор издательства *О. Данилова*

В книге использованы фотографии из архива Березниковского историко-художественного музея им. И. Ф. Коновалова, архива автора, семейного архива Решетовых, а также фотографии Анатолия Зернина, Виктора Брандмана и Александра Губарева

Гашева К. Б.
Г 12 **Решетов.** – Пермь: ИЦ «Титул», 2019. – 440 с. + 8 с. вкл.

УДК 66.54
ББК 83

ISBN 978-5-905546-52-5

© Гашева К. Б., текст, 2019
© МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова», 2019
© ООО «ИЦ “Титул”», макет, 2019

Подписано в печать 05.12.2019.
Формат 60x90 1/16.
Бумага ВХИ. Физ. печ. л. 28.
Тираж экз. Заказ №
ООО «Издательский центр “Титул”».

614000, г. Пермь, ул. Осинская, 2а. Тел. 8(342) 237-55-25,
e-mail: info@tl.perm.ru;
Сайт: tl.perm.ru